

Автобиографии с педагогико-антропологической точки зрения

Б. М. Бим-Бад и др.

АВТОБИОГРАФИЯ В СВЕТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ

Мир детства — мир, который мы покидаем, с радостью или печалью, с годами все более отдаляясь от него, в то время как новые поколения вступают в его границы. Взрослые тем не менее соприкасаются так или иначе с этим миром, вторгаются в чужое детство, и это неизбежно. Иногда такое вторжение приносит детям радость и пользу, иногда осуществляется грубо и неумело. С желанием хоть немного помочь избежать последнего создана эта книга, раскрывающая различные грани духовного мира ребенка.

Поскольку предмет педагогической антропологии — человек в процессе воспитания, то представляется необычайно важным для каждого специалиста в этой сфере знания, как, впрочем, и для рядового читателя, представлять себе природу ребенка, мир детских чувств и эмоций, определяющий его поведение в процессе развития, социализации, воспитания. Чтобы стать воспитателем, надо быть воспитуемым, знать, как тот смотрит на мир, как воспринимает нас с вами, как учится, фантазирует, любит или ненавидит, зачем играет, почему капризничает и как может перебороть страх или лень... Пути для этого существуют разные, мы предлагаем один из них: попытаться постичь внутренний мир ребенка, вернуться в свое детство и познакомиться с чужим — через воспоминания о детских восприятиях, реакциях и чувствах. Детство в его различных отражениях (зеркала), в воспоминаниях различных людей, живших в прошлом веке и живущих в этом, перекликается с Вашим.

Воспоминания как литературный жанр любим многими. Они в гораздо большей степени, чем научные исследования, передают дух и аромат времени, и происходит это через субъективное восприятие автора, личность которого раскрывается перед читателем. Однако воспоминания служат не только увлекательным чтением, но и широко используются в качестве материала для разного рода гуманитарных исследований. Не обходится без них и педагогическая антропология. Вряд ли будет преувеличением сказать, что для нее источники личного происхождения (мемуары, автобиографии, дневники) являются наиважнейшими.

Каковы же исторические особенности автобиографического жанра, в чем его ценность и значение и как с ними работает педагог-антрополог?

* * *

Несколько слов об истории жанра. История собственных жизнеописаний насчитывает не одно тысячелетие. Изучение жанра воспоминаний, зародившегося в древности и получившего небывалый расцвет в современности, показывает, сколь изменилось отношение человека к самому себе, к самоопределению в мире, а также то, как постепенно он "обретал дар речи", рассказывая о себе. Об особенностях автобиографий на том или ином историческом этапе написано немало исследований. Первая веха в судьбе автобиографии — позднеантичная и ранне-средневековая эпоха, когда утверждающееся христианство раскрыло понятие ценности перед Богом внутреннего мира человека. Особое место в этом отношении занимает "Исповедь" Блаженного Августина (354—430).

Другой важнейший этап — вторая половина XVIII в., когда пробудилось внимание к любым индивидуальным психологическим проявлениям в разном возрасте. Для нас особенно существенно то, что до этого времени период детства в различного вида жизнеописаниях занимал весьма незначительное место, теперь же такое отношение к детству начало претерпевать существенные изменения. В указанное время, не без влияния духовных автобиографий немецких пиетистов, появляется новый жанр в немецкой литературе — роман о воспитании (*Bildungsroman*), в центре которого стоит авторизованная история процесса взросления личности — ее воспитания и обучения, заметно влияющего на

дальнейшую взрослую жизнь. Одновременно на французском языке появляется произведение, оказавшее огромное влияние как на автобиографический жанр, так и на литературу в целом. Это "Исповедь" Жан-Жака Руссо (1764—1770), идейного предтечи и вдохновителя такого антропологического мышления, для которого одинаково интересны все этапы жизни личности. "Исповедь" показывает взаимосвязь развития личности в детском и взрослом состояниях и так много внимания уделяет детским годам автора, что по праву считается произведением, положившим начало новому направлению в автобиографическом жанре — воспоминаниям о детстве. Тем не менее, должно было пройти целых полстолетия, прежде чем "воспоминания о детстве" успешно утвердили себя в качестве самостоятельного, самоосознанного литературного жанра". Именно этот жанр наряду с "классическими" автобиографиями представляет для нас особый интерес.

Автобиография, целью которой является рассказ о себе как личности, о собственном духовном и умственном развитии и его психологический анализ, стала популярным жанром в начале XIX в., когда в новоевропейской литературе появились особые "автобиографии детства". Детство ставится в центр интересов автора, оно для него самоценно и не является предысторией его взрослой жизни. В XIX—XX вв. для всех видов и типов воспоминаний вообще становится обычным включение в них разделов о детских годах, хотя существуют и автобиографии, начинающие свое повествование с более поздних, более "сознательных" этапов своей жизни, но таких меньшинство.

Изложения периодов младенчества, детства и юности в литературе этого времени стали более объемными, акцент постепенно переместился с описания объективных условий, в которых проходило формирование автора, на воспоминания о субъективном восприятии ребенком тех или иных событий, о его отношении к разным явлениям окружающего мира. Подобное описание собственного детства, конечно, претерпевающее определенные изменения под влиянием времени, свойственно автобиографиям на протяжении последних 170—240 лет, и именно они — как в наибольшей степени отвечающие интересам педагогической антропологии — послужили материалом для этой книги.

Помещенные в ней воспоминания аккуратно расположились между настоящим и прошлым. Они не столь новы, чтобы искать в них отношение к компьютерным играм и событиям в Чечне. Самые молодые авторы отраженных в нашем издании воспоминаний родились в 1950-е годы. Но включенные в книгу тексты, с другой стороны, и не столь архаичны, чтобы стать непонятными современному читателю. Самый старший из авторов представленных автобиографий родился всего лишь в 1749 г. Таким образом, книга содержит "память детства" людей, живших с 50-х годов восемнадцатого века по 70-е годы века двадцатого. Она — зарисовка чувств и переживаний детей этой эпохи, эпохи, уже очень пристально взиравшей на младенческие годы своих представителей и потому чрезвычайно интересной для педагога-антрополога.

Мы попытались, однако, взглянуть на эти тексты и как на нечто большее, чем просто документы своего времени, — как на материалы, свидетельствующие о тех свойствах и особенностях детской души, которые уже были присущи или только становятся в эту эпоху присущими ребенку. Они составили ту историко-антропологическую базу, с которой вступали в наше сегодня мы и вступают в свое будущее наши дети и которая характерна для ребенка как такового. Именно учет всех внутренних особенностей детей, их мировосприятия есть столь важная как для педагогической антропологии, так и для всей педагогики задача. И воспоминания о детстве авторов самых разных исторических периодов представляют для воспитателя и родителя неоценимый познавательный и сравнительный материал.

Особенности автобиографии как источника. Г. Гервинус писал в 1860 г., что реконструкция истории, "историография достигает... наивысшего совершенства в описании собственной жизни". Он считал, что самая точная и единственно достоверная история — это собственная личная история. Именно анализируя свой собственный опыт, он предполагал разрешать запутанные загадки человеческой жизни, "вносить светоч ясного сознания в тьму развития души, ума и характера всякого другого человека". Автобиографии часто так и

рассматривают — как документальные памятники соответствующей эпохи, ее живые свидетельства, ценные тем, что они индивидуальны, что они открывают путь от одного сердца и ума к другому.

Но помимо информационной у автобиографий есть и литературная составляющая. Автобиография в первую очередь является литературным произведением, подчиняющимся законам своего жанра. Для нее свойственно стремление изобразить личную историю как оформленное связанное целое, более логичное и целенаправленное, чем реально прожитая жизнь, со своей особой завязкой в детские или юношеские годы, кульминацией и развязкой в старости, когда чаще всего и пишутся воспоминания. Автор создает в произведении собственное время и пространство, сотканное из прошлого и настоящего, он совершает своеобразный акт преодоления уходящего времени. Поэтому автобиография иногда представляет собой переписанную и дописанную жизнь, приближающуюся к роману, в котором реальные достижения и чувства перемежаются с вымышленными. "Автобиографии детства" ставят перед авторами еще и особые, специфические задачи, соответствующие этому жанру, например, передачу образов детского сознания через язык взрослых или облечение мелких, частных, тривиальных событий детства в интригующую и интересную для читателя форму.

В целом можно сказать, что автобиография представляет собой одновременно и литературный и исторический текст, нечто, стоящее между литературным произведением и документом, между вымыслом и историей. Она представляет собой и историю вымысла, и историю событий, документ души и источник представлений человека о себе самом.

Автобиография есть форма осознания человеком самого себя. Она ставит его перед историей собственной жизни, перед накопленным ею опытом. Она осуществляет незримую связь между человеком в солидном возрасте и им же — ребенком и юношей. Исследователем собственной биографии становится прежде всего сам ее творец, или, если угодно, ее жертва. Уже потом на обработанное им место приходят исследователи разных направлений. Среди них первое место занимают биографы.

Автобиографическое повествование отличается от биографического, относящегося к одному и тому же человеку. Если биография опирается в первую очередь на исторические источники и документы при осуществлении реконструкции жизни своего героя, то автобиография ищет опору прежде всего в памяти автора, а документы или другие материалы служат ей лишь подспорьем в процессе вспоминания. На основе автобиографий (хотя далеко не во всех случаях) пишутся биографии выдающихся, а подчас и обыкновенных людей. Биограф как раз и занят тем, чтобы проверить при помощи других свидетельств данные мемуаров и "подкорректировать" их. Хотя и сам биограф не лишен субъективности восприятия.

Например, он может боготворить своего героя или, что случается реже, его недолюбливать.

При работе с автобиографиями не будет лишним обращение и к биографическим произведениям. Следует, однако, учитывать, что критический метод работы с текстами, в том числе и с автобиографиями, основан на их сравнении. Но сравнение иногда выявляет лишь несовпадение фактов в разных свидетельствах, и тогда биографу приходится брать под защиту то, что лично ему представляется более вероятным, исходя из косвенных данных.

Дневник также отличен от автобиографии, он пишется по горячим следам событий, временной разрыв между происходящим и его фиксацией минимален, в нем более отражается ситуативное и скорее намерения и планы, не реализованные еще возможности, нежели исключительно и только уже прошедшее. В дневнике мы не встретимся, как в автобиографии, с изображением своей жизни как некоего целого и единого. В то же время часто именно дневники и личные записки ложатся в основу написания автобиографий. Отличается автобиография и от мемуаров, с которыми тем не менее она имеет многие общие черты.

Как правило, автобиографии и мемуары пишутся на склоне лет. Авторы, взявшись за перо, преследуют разные цели: оправдаться, выявить значимость собственной жизни и своей

личности, преподнести свою жизнь как образец или урок для потомков; запечатлеть для них же не столько себя, сколько важные события и интересных людей, встретившихся в жизни, разоблачить существующие слухи, сплетни и легенды; уйти в милое, Далекое прошлое от безрадостной старости, на время вернуться в "утраченный рай" детства; разобраться в себе и осмыслить: а) итог своей жизни; б) самого себя как характер; в) закономерность своей судьбы; и многое другое. Подобные цели и их модификации не всегда существуют порознь и в чистом виде. Нередко они переплетаются.

Таким образом, автобиография — это история самого себя, своей души, своей деятельности. Она и свидетельство культурных образцов той или иной эпохи, или даже нескольких эпох (когда автор начинал свою жизнь, и когда он писал автобиографию), памятник литературного жанра, документ своего времени. Ее герой — человек, антропос в его становлении и осуществлении, и поэтому автобиография является одним из главных источников по многим гуманитарным дисциплинам. Следует отметить, что изучение автобиографий, вторжение в область которых с "исследовательским скальпелем" долгое время считалось "неэтичным" вследствие их сугубо личного характера, требует от каждой из наук особых подходов. Изначально большую роль в изучении автобиографий, конечно же, сыграло литературоведение. Для него они в первую очередь — литературный жанр со всеми особенностями его становления и развития.

К автобиографическим материалам уже давно обращаются психология и психоанализ. Достаточно отметить известные работы Эрика Эриксона, который хотел подтвердить данными исторических биографий, основанными в том числе на автобиографических свидетельствах, свою теорию психологических и социальных кризисов в период детства. В фокусе внимания психологов находится и изучение "автобиографической памяти". Проводимые ими исследования механизмов запоминания при помощи как экспериментов, так и (в значительно меньшей степени) литературных материалов помогают отойти от примитивных оценок воспоминаний как "неправды", "выдумок" и показать работу памяти по отбору и определенной схематизации событий и явлений собственной жизни, все из которых доподлинно память удержать не в состоянии. Особую проблему для психологов представляет детская автобиографическая память, имеющая явные отличия от памяти взрослых. Ее изучение, имеющее к настоящему времени различные результаты, может представить важные данные для более глубокого понимания воспоминаний о детстве.

Автобиографии и в особенности мемуары широко используются как источник в исторических исследованиях социально-политического и историко-антропологического направлений. В исторической науке уже разработаны способы и методы критического анализа источников личного происхождения.

Не чужда соприкосновению с автобиографической литературой и педагогическая практика. Воспоминания великих людей педагоги часто рекомендовали и рекомендуют читать детям с целью получить образец того, как можно достигнуть в жизни больших высот. И действительно, подражание "герою", как видно из той же мемуарной литературы, часто приносило благие плоды.

Педагогическая антропология не может не учитывать специфические подходы и результаты исследований других наук в изучении такого структурно-сложного и многопланового источника, как воспоминания. Однако у нее имеются и собственные подходы к этому источнику.

Антрополог в первую очередь ценит в автобиографиях то, что историк считает их недостатком, а именно — субъективность изложения фактов, событий, впечатлений. Историк стремится к достоверной реконструкции исторических событий, и эту субъективность он пытается выявить и преодолеть, не идя на поводу у авторов. Антропологу интересны не сами события, а именно личность человека, вписанная в свою эпоху, и именно субъективность, личностное восприятие жизненных впечатлений привлекает его в автобиографиях. Для педагогической антропологии важно проследить факторы, влияющие на развитие личности в процессе воспитания и обучения ребенка. В отличие от остальных

наук педантропологический подход высвечивает, собирает и анализирует: отражение в автобиографиях внутреннего процесса развития, взросления человека; его особый духовный мир, как он изображен и осмыслен сначала самим автором, потом его исследователями. Три сферы духовного развития — интеллектуально-познавательная (рациональная), мотивационно-ценностная (эмоциональная), нравственно-практическая (волевая) — представлены в автобиографиях через единичную, особенную, уникальную жизнь человека, которая в то же время имеет и типические черты. Педагогическая теория и педагогическая практика своего времени оказываются представленными через индивидуальную жизнь и опыт ребенка и воспроизводят его личное к ним отношение, хотя и осмысленное уже в зрелом возрасте. Воспоминания людей разных времен, разных сословий, написание которых подчинено личным, литературным, этикетным и другим влияниям, доносят как общие черты, свойственные развитию человека, так и его историко-культурные особенности. Подчас их нелегко развести между собой, и следует иметь в виду, что при таком сложном предмете исследования, как человек и его жизнь, необходимо быть суперосторожным в прогнозах и выводах.

Очень редки попытки использовать в педантропологическом подходе к детству автобиографический материал. Обычную подозрительность исследователей по отношению к нему наилучшим образом выразил В.В. Зеньковский. Отдав должное интересности материала "всякого рода автобиографий и исповедей", он сетует на их хронологическую неточность и картинность, порождающую "выдумки" [Зеньковский 1995, 13]. Такая ситуация коренится не только в желании пишущего автобиографию представить себя с какой-то одной стороны, но и в своеобразии процесса запоминания в детском возрасте, и в смещении интереса к тому, что становится важно автору в его взрослом состоянии, в результате чего вытесняются более ранние воспоминания. И только немногие люди по разным причинам и особенностям сохраняют значительные пласты детских воспоминаний в своей актуальной взрослой памяти. Могут быть интересны также и сами "выдумки" как отражения образа ребенка во взрослых носителях той или иной культуры, то есть системы их нормативных восприятий сущности детства.

И все же автобиография может быть ключом к пониманию природы детского мира. "Наша память редко сохраняет тяжелые и неприятные переживания, точно стремится отодвинуть их в глубину души, — и наоборот, то, что сохраняет наша память, обыкновенно носит черты несомненного смягчения и ослабления "острых углов". Вместе с тем на наши воспоминания оказывает большое влияние отдаленность тех событий, о которых мы вспоминаем: чем позже мы вспоминаем те или иные факты, чем больше мы отодвигаемся от них, тем больше меняется наше понимание их, меняется наша психическая "установка", имеющая столь большое влияние на содержание всплывающих у нас воспоминаний. Подобно тому, как далеко отстоящие предметы кажутся нам во многом иными, чем при близком их восприятии, — и психическая "удаленность" значительно меняет то, что мы воспринимаем внутренним взором, т. е. наши воспоминания. Из этого ясно, что те остатки самонаблюдения, которые в виде воспоминаний сохраняются в душе от нашего детства, не могут служить нам в качестве основного материала при построении психологии детства. Тем существеннее значение воспоминаний детства в другом отношении: они имеют очень глубокое влияние на наше понимание детства, развивая в нас непосредственное, интуитивное вживание в душевный мир ребенка. Не сообщая нам точного материала, будучи неполными и отрывочными, наши воспоминания из времени детства сохраняют в нас способность конгениальной отзывчивости на то, что переживают наблюдаемые нами дети" [Зеньковский 1995, 21]. Именно с этой позиции — подойти к более глубокому пониманию детства, не претендуя на вторжение в сферы психологической науки, — мы и предлагаем обратиться к воспоминаниям, как собственным, так и чужим.

Задачи, концепция, содержание книги. Итак, книга, которую вы держите в руках, является пособием по педагогической антропологии. В узком и формальном смысле — это

антология или хрестоматия, составленная на основе автобиографий, рассматривающих детский и отроческий периоды человеческой жизни, снабженная обширными авторскими комментариями. Однако составлена она не вполне обычным для антологии образом. Тексты воспоминаний в ней представлены в небольших фрагментах, тематически скомпонованных по главам так, чтобы разносторонне представить антропологию детского возраста. Материал группируется по тем проблемам, которые, на наш взгляд, помогают вскрыть внутренний, эмоциональный мир ребенка. Это самые первые запомнившиеся впечатления и события; страхи и фантазии; эмоции, связанные с чтением книг и играми; рефлексия на школьное и домашнее воспитание; пробуждение жизненного призвания и многое другое. Конечно, они далеко не охватывают всех проблем, связанных с детством, а являются лишь их небольшой, но существенной частью.

Гораздо больше внимания, конечно, можно было бы уделить таким важным сюжетам, как первые попытки осмысления окружающего мира, восприятия себя и пространства, жизни и смерти, телесности и болезни. В рамках данной книги вполне органично смотрелись бы главы о детском счастье и горе, о формировании представлений о добре и зле, становлении нравственного сознания и пробуждении совести. Перечень можно продолжить, и становится ясным, что достижение полного представления об основных проблемах ребенка есть дело весьма отдаленного будущего. В начале работы над книгой нами было выделено более двадцати тем, по которым классифицировалась и распределялась информация, но лишь одиннадцать "доросли" до полномасштабных глав. Работа над другими темами — ближайшая перспектива и составителей, и, надеемся, читателей этой книги, которые уже в своей собственной памяти могут найти многое созвучное тому, что приведено на страницах данного издания. Мы лишь подчеркнем: человек целостен, и потому фрагменты воспоминаний, помещенные в той или иной главе, могут выступать документами памяти и о других, не связанных напрямую с тематикой конкретной главы аспектах природы ребенка и его мира. Возможность перекрестного использования текстов разных глав специально заложена в структуре и методическом обеспечении данной книги.

В критерии выбора фрагментов входили не только глубина их содержательного наполнения, но и степень законченности сюжетов, позволяющая использовать их в рамках данного издания и учебного курса. К сожалению, некоторые весьма интересные тексты носят столь обширный и плохо расчлняемый характер, что их невозможно было включить в учебное пособие данного типа.

В отличие от возможного *целостного* подхода к использованию автобиографий в биографическом ключе (т. е. сравнения детства человека с его взрослой судьбой, изучения истории жизни определенной личности), нами был избран подход *системный*. Анатомирование текстов воспоминаний и группировка их вокруг определенных проблем является не просто способом расположения материала, а методом его анализа. Этот метод намеренно разбивает цельность биографии человека, "режет по живому". Мы осознанно абстрагируемся в достаточной степени от персоны автора воспоминаний, так как, по сути дела, нас интересует не она, а определенная проблема, связанная с феноменом детства.

Однако, безусловно, такое абстрагирование не может носить абсолютный характер, так как не существует неперсонифицированного детства, оно всегда "чье-то", оно локализовано в определенном времени и в определенной культуре. Поэтому авторы воспоминаний выбраны по преимуществу из людей известных, современный читатель во многих случаях может самостоятельно воспроизвести контекст их биографий. Тем не менее книга снабжена комментарием, дающим необходимые сведения о той или иной персоне, причем более подробные в случае лиц малоизвестных. Однако было бы ошибочным решить, что "знаменитость" автора являлась критерием выбора текстов.

Знакомясь с данной книгой, читатель совершенно иначе, непривычным для него образом, воспримет автобиографические тексты, возможно, ему уже ранее знакомые. Дело в том, что, читая автобиографию в ее полном варианте, мы обычно интересуемся в ней биографией автора, знакомясь же с тематической подборкой автобиографических фрагментов, —

раскрытием определенной проблемы.

Тематический отбор материала был произведен в первую очередь, исходя из тех аспектов детства, которые наиболее часто затрагивают сами авторы воспоминаний и которые теснее связаны с проблемами, находящимися в кругу интересов педантропологии. Этот материал призван если не раскрыть, то хотя бы дать прикоснуться к эмоциональной сфере детства. Нас интересовал прежде всего вопрос, приоткрывает ли то или иное детское воспоминание, та или иная автобиографическая заметка дверцу в мир детских чувств, мыслей, отношений, восприятий. Иначе говоря, может ли автобиография служить материалом для размышлений о сущности ребенка, о его детской природе, независимо от конкретного имени и фамилии автора воспоминаний. Если да, то она — источник для педагога-антрополога.

И в этом отличие антропологического подхода к автобиографиям детства. Использование автобиографического материала в той же или иной методике другими науками, изучающими детство, ставит свои акценты на его проблематике.

Например, историю школы интересуют воспоминания об учебных заведениях, их порядках, организации учебного процесса, содержании образования, методике преподавания и т. д.

Этнографию детства интересуют традиции и обычаи, связанные с воспитанием и взрослением (как детей кормили, одевали, где их содержали, способы и ритуалы их включения во взрослую жизнь и т. д.).

Изучающих историю детства более всего привлекают исторические разночтения в восприятии взрослыми ребенка и связанное с этим семейное воспитание.

Все это, конечно, существенно и для нас, педагогов-антропологов, но лишь тогда, когда мы имеем не внешнее изложение запомнившихся событий, а эмоциональную рефлексию на них ребенка, так как, повторим еще раз, именно эмоциональная сфера является главным стержнем этой книги.

Однако следует иметь в виду, что проявления чувств в разные эпохи воплощаются в разных формах, равно как и способы поведения, восприятия и т. д. Но для нашего подхода раскрытие и показ исторического аспекта не является первостепенным, он выносится за скобки и лишь в некоторых случаях намечается слабым пунктиром. Но все же сам читатель не может не почувствовать исторического своеобразия, отраженного в текстах книги, хотя два выбранных столетия более близки к нашей современности и его собственным поведенческим реакциям и восприятиям, чем более отдаленные времена.

При нашем подходе к автобиографическим текстам проблема недостоверности и умолчания в воспоминаниях отходит на второй план, так как сознательные или бессознательные искажения в наименьшей степени проявляются в воспоминаниях о детстве, им подвержены обычно изображения более поздних периодов жизни. Однако неизбежную поправку на личное мнение автора, зависящее от имевшегося в его эпоху "образа детства", конечно, следует постоянно иметь в виду. В книге есть специальная глава, в которой авторы воспоминаний сами рассказывают о том, почему, зачем и как они пытались воспроизвести на бумаге свое детство.

Эта книга создавалась авторским коллективом в спорах и долгих обсуждениях. Каждый сотрудник имел свое собственное мнение о ее материалах. Такое разногласие связано как с личностной интерпретацией автобиографий, так и с вышеуказанными сложностью и многоуровневостью этих текстов. Трудности работы над книгой были связаны также с молодостью самой педагогической антропологии как науки, с одной стороны, и как учебной дисциплины — с другой.

Главное своеобразие книги заключается в том, что содержание текстов коррелирует с личной памятью читателя, как это случилось и с составителями. Именно она будет его путеводной нитью и позволит взглянуть на природу ребенка не только через автобиографические тексты, но через самого себя.

Одна из задач книги — постараться показать, как ребенок смотрит на мир, как относится к нему. При помощи воспоминаний мы хотели бы осуществить вместе с читателем безумную

попытку "влезть в шкуру" ребенка и его глазами посмотреть вокруг. Это почти невозможная задача. Еще ни один философ или педагог, историк и даже психолог не смог точно сказать, что происходит в психике и сознании ребенка в тот или иной момент, почему при применении к нему определенных воспитательных мер и дидактических средств на "выходе" получается тот, а не иной результат.

Мы отнюдь не претендуем на то, что в нашей книге это получилось. Мы только показываем один из путей поиска на данном направлении, путь, которым часто пренебрегают. При чтении и работе с этой книгой возможно рассчитывать на активное включение памяти самих читателей. Ведь, безусловно, столь насыщенно концентрированное чтение чужих воспоминаний не может не пробудить и собственных мыслей о своих ранних годах, которые пройдут через сравнение с прочитанным ("и со мной было такое... а такого не случилось никогда...") и выльются в самостоятельные размышления. А может быть, появится желание расспросить о детстве своих знакомых или написать о нем собственные воспоминания. Возможно также, что книга поможет и внимательнее приглядеться к окружающим читателя детям и глубже задуматься об их поведении. Иначе говоря, она поспособствует заинтересованному читателю встать на путь активного и творческого знакомства с педагогической антропологией.

Структура книги. Проблематика каждой главы отражена в ее названии. Главы открываются вступительным текстом, вводящим в проблему и обобщающим содержание нижеследующих автобиографических фрагментов. Эти введения не могут претендовать на полноту охвата проблемы, на ее всесторонний психологический анализ, они лишь подводят читателя к дальнейшей самостоятельной работе над текстами. Книга снабжена рекомендательным списком литературы для тех, кто учится педантропологии. Каждый фрагмент автобиографий также имеет краткий заголовок, данный составителями, которые старались прояснить им суть приводимого текста и настроить на его восприятие. Главы снабжены вопросами и заданиями для студентов.

В справочном разделе книги приведены краткие сведения об авторах автобиографий, использованных в книге, о времени их создания и ссылки на издания, из которых взяты тексты. В некоторых случаях использованы неопубликованные ранее материалы, что оговорено в соответствующих местах.

Авторский коллектив выражает глубокую благодарность профессору Института исторических исследований Общества Макса Планка (Геттинген) доктору Юргену Шлюмбу и руководителю Центра современной истории образования и науки Ганноверского университета, профессору доктору Манфреду Хайнеману за оказанную помощь в получении необходимой зарубежной литературы по теории и истории автобиографии.

См.: Misch G. *Geschichte der Autobiographie*. Bern—Frankfurt/Main, 1949—1969; Weintraub K.J. *The Value of the Individual: Self and Circumstance in Autobiography*. Chicago, 1978.

См., напр.: Зарецкий Ю.Л. *Ренессансная автобиография и самосознание личности*. Авторефер. дис. ... канд. ист. наук. М., 1993; Бойцов М.А. *Германская знать XIV—XV вв.: приватное и публичное, отцы и дети // Человек в кругу семьи: Очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового времени*. М., 1996.

Kontje T. *Private Lives in the Public Sphere: The German Bildungsroman as Metafiction*. University Park, 1992.

Coe R.N. *When the Grass was Taller: Autobiography and the Experience of Childhood*. New Haven — London, 1984. P. 30.

Clark AM. *Autobiography. Its Genesis and Phases*. Edinburgh-London, 1935. P. 7.

Olney J. *Autobiography and the Cultural Moment: A Thematic, Historical and Bibliographical Introduction // Autobiography: Essays Theoretical and Critical*. Ed. by J. Olney. Princeton, 1980. P.5.

Например, воспоминания революционеров начинаются, как правило, с момента своего приобщения к революционной деятельности.

Гервинус Г.Г. Автобиография. М., 1893. С. XII.

Там же. С. XIII.

Мильчина В.А. Автобиография // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 12.

Многие исследователи рассматривают автобиографию как разновидность биографии. Однако их принципы построения очень различны, равно как и критерии отбора материала, цели и позиции авторов и др. См. об этом: Olney J. *Autobiography and the Cultural Moments: A Thematic, Historical and Bibliographical Introduction* // *Autobiography: Essays Theoretical and Critical*. Princeton, 1980.

В качестве вариантов можно встретить: пожелания друзей, гордость за семью и за свое появление на свет, развлечение или работу за деньги, либо просто формулу типа "никто другой не может сделать это или сделать это хорошо". Очень часто в глубине авторского сознания, в тени любой иной причины написания автобиографии скрывается страх смерти, преодолеть который (на свой индивидуальный манер) призвано собственное жизнеописание.

Sturrock J. *The Language of Autobiography. Studies in the first person singular*. Cambridge, 1993. P. 2.

Autobiographical Memory / Ed. Rubin D. Cambridge MA, 1986.

Ross V.M. *Remembering the Past: descriptions of autobiographical memory*. Oxford, 1991. P. 190.

Темы "детство" и "автобиография" обычно рассматриваются совершенно отдельно друг от друга. Даже когда они соединены, то исследователей интересуют исторические, социально-экономические, этнографические проблемы. Среди отечественных авторов нужно прежде всего назвать Николая Александровича Рыбникова (1880—1947) с его работой "Автобиографии рабочих и их изучение" (М., 1930), "Крестьянский ребенок" (М., 1930) и "Юношеские дневники и их изучение" (в кн.: Психология. Т. 1. Вып. 2. 1928). Среди западных работ одной из последних является антология "Destiny Obscure". *Autobiographies of Childhood, Education and Family from the 1820s to the 1920s*. / Ed. by J. Burnett. L; N.Y., 1994.

Подобный подход, использованный, однако, не в антологии, а в монографии, можно увидеть в кн.: Hardach-Pinke I. *Kinderalltag: Aspekte von Kontinuität und Wandel der Kindheit in autobiographische Zeugnissen 1700—1900*. Frankfurt/Main—New York, 1981.

ЗАЧЕМ МНЕ МОЕ ДЕТСТВО?

Эта глава отлична от других: она вводит читателя в "кухню" создания воспоминаний о детстве, работа на которыми, как увидим, во многом отличается от работы над воспоминаниями о взрослых годах. Здесь предоставлено слово творцам воспоминаний, кто решил поделиться с читателем не только фактами своей биографии, но и причинами, вызвавшими к жизни их труд, а также сложностями, вставшими на пути самого процесса "воспоминания" своего детства.

Приблизительно с конца первой трети XIX в. в воспоминаниях о детстве появляются размышления о значимости детства для самого автора, а вместе с ними во многих автобиографиях помещается и вступительная к эпохе детства часть, в которой авторы затрагивают следующие проблемы: 1) причины, побудившие их начать писать о своем детстве; 2) анализ важности и значимости детского периода для их взрослой жизни; 3) возможности памяти адекватно воспроизвести впечатления ребенка. Эта саморефлексия чрезвычайно показательна для понимания современной культурой роли и места детского этапа в жизни человека. Она является важной опорой педагогической антропологии, строящей целостную концепцию развивающегося и социализирующегося человека.

Повод для написания воспоминаний о детстве. Редко кто из людей на склоне лет не

стремится мысленно проделать обратный путь по жизни, вернуться к ее истокам. Не все при этом берутся за перо. Но как часто каждый из нас слышал от пап и мам, бабушек и дедушек рассказы об их детстве и юности! В начале XIX в. ценность воспоминаний о детстве видится в их вкладе в становление адекватного самосознания. Это хорошо отразил Гете: "...ведь именно в том и заключается поучительность подобных очерков, что человек узнает из них случившееся с другими людьми и научается понимать, чего он может ожидать от жизни. Таким образом, что бы с ним ни случилось, он знает заранее, что это случается с ним, как со всяким человеком, а не с каким-нибудь особенным счастливецом или несчастливцем. Если такое знание не может предотвратить зла, то оно все-таки полезно в том смысле, что дает нам возможность выносить или даже преодолевать его" [Гете 1935, 83].

Более чем столетие спустя, Николай Бердяев объясняет значимость и цель автобиографии также и желанием разобраться в своей эпохе:

"Я решаюсь занять собой не только потому, что это может способствовать постановке и решению проблем человека и человеческой судьбы, а также пониманию нашей эпохи. Есть также потребность объяснить свои противоречия" [Бердяев 1990, 9].

Период детства отвоевывает всё больше места в автобиографиях. Из небольшого "вступления" к ним он не только перерастает в обширный и важный раздел, но и обособливается в самостоятельный жанр автобиографий, посвященных только и исключительно детству. Это одно из проявлений постепенного роста интереса в культуре нового времени к обыденной, повседневной жизни обычных людей, интереса, потеснившего изображения великих героев и монументальных драматических событий. Вот что об этом писал в 1940-е гг. В.М. Конашевич: "Двум-трем своим приятелям я признался, что пишу что-то вроде воспоминаний. Они очень удивлены тем обстоятельством, что я, исписав уже три толстые тетради, добрался только до девятилетнего своего возраста. Говорят, что обычно детские годы в мемуарах или вовсе опускаются, или занимают там мало места, служа лишь введением, — их цель показать только то, что французы называют *l'origine* [происхождение] автора. Воспоминания якобы приобретают интерес с того момента, когда уже взрослый, вполне сознательный автор становится участником или свидетелем великих или только значительных событий, сталкивается с людьми чем-нибудь замечательными. Якобы только рассказы о событиях необычных, о людях знаменитых могут иметь общий интерес, а все остальное, все события личной жизни так и остаются только личными, не могут приобрести интерес общечеловеческий.

Я вполне убежден, что это не так. Достаточно вспомнить хотя бы "Детство" и "Отрочество" Толстого, "Историю моего современника" Короленко или "Книгу моего друга" Ан. Франса. Может быть, это не просто честные, бесхитростные воспоминания о своих детских днях, может быть, только некоторые черты биографии стали толчком для создания этих замечательных хроник, имеющих поэтому не только ограниченно автобиографическое значение. Для меня здесь ценно то, что они, построенные как воспоминания детства, замкнуты в круг семьи, родных, знакомых. Авторы их не тянутся за великими событиями, за знаменитыми людьми. И тем не менее эти воспоминания детства читаются с великим интересом уже несколькими поколениями и, по-видимому, никогда этого интереса не утратят.

Пусть не подумает кто-нибудь, что я хочу своими воспоминаниями стать в ряд с помянутыми выше чудесными хрониками. Я их вспомнил, только чтобы пояснить свою мысль, которую хочу продвинуть еще дальше.

Должен признаться, что за личными, семейными — своими или чужими — событиями я признаю подлинный общечеловеческий интерес. Потому прежде всего, что личную и семейную жизнь всякий ощущает как наиболее близкую себе" [Конашевич 1968, 128—129].

Автобиография во многом продолжает оставаться связанной со своей "прабабкой" — исповедью и пишется не только для примера другим, но и для самого себя, для самоанализа. Иначе говоря, по выражению Давида Самойлова, "...главная мысль моя, главная цель — воссоздание собственного "я", исследование его опыта и через опыт возвращение к самому

себе" [Самойлов 1995, 31].

Значение детства для автобиографа. Именно в автобиографиях, ставящих целью самопознание, особую роль начинает играть период детства. В нем ищут ответы на вопросы: почему и как я стал именно таким? что я утратил и что приобрел, став взрослым? тот ли я сейчас, каким был в детстве? Вспоминая мир детства, его описывают как утраченный рай, а иногда и как ад, избавление от которого наступило (или не наступило) с переходом в следующую возрастную ступень.

Вот перед нами настоящая апология детства, которой начинаются воспоминания Б.П. Вышеславцева. Для него воспоминания традиционного "объективистско-описательного" типа уже "невыразимо скучны", неинтересны, потому что пишутся "с сознанием превосходства своей взрослой персоны с ее важными делами" над "милым вздором детства". "Такая персона, — пишет Вышеславцев, — обычно не знает ценности детства". Сам автор видит его ценность в открытости для бессознательного творческого восприятия мира, для непосредственной поэтичности и фантазии.

"Для взрослого духа, бесконечно раздвинувшего свои границы до пределов биографического, исторического, национального, общечеловеческого и даже космического сознания, маленький узкий мирок детства кажется тесным "тупичком", в котором нет, собственно, ничего объективно-значительного и о котором мало можно рассказать интересного; и, однако, субъективное значение этого "микрокосмоса" огромно — обратно пропорционально его объективной незначительности и миниатюрности. Не только потому оно огромно, что переживания детства определяют всю нашу судьбу и характер, как маленькие причины определяют большие следствия, не только по своим биографическим последствиям оно заслуживает глубокого внимания, как учит "психоанализ" — нет, и сам по себе микрокосмос детства есть "целый мир, полный бесконечности", только бесконечность эта совсем другая и осознанная — бесконечность бессознательного, а не бесконечность сознания; бесконечность субъективная, а не объективная; бесконечность интенсивная, а не экстенсивная" [Вышеславцев 1994, 121 —124].

Детство не только определяет будущее человека, но и обладает такими ценностями и возможностями, которые утрачиваются во взрослом состоянии. Подобный подход к ребенку, конечно же, вырос из семени, посаженного Руссо, и разительно отличается от идеи порочной сущности детского возраста, присущей христианскому средневековью и имеющей продолжительную жизнь: «...дети необразованны, к тому же еще ленивы делать добро и склонны ко злу, поэтому... "нагибай шею их"...». В наше время о самооценности детства точно и емко было сказано Н.А. Романовым: «Психический склад человека, его улыбка, отношение к людям в большой мере определяются тем, в каких условиях протекало его детство. В детстве никто из взрослых никогда не говорил мне: "Этого спрашивать нельзя". Я пишу здесь о детстве потому, что, по моему глубокому убеждению, в психике ребенка есть нечто, что приближает ее к психике ученого-исследователя; вопросы же научного творчества и являются главной темой настоящих воспоминаний...

Я люблю детей за их свежую способность удивляться. Мы, взрослые, видим куда меньше детей. Столько разных разностей оставляем мы без внимания. Как не правы те, кто с сознанием собственного горделивого тупого превосходства видит в ребенке лишь что-то еще не выросшее, не настоящее, нечто вроде глупой личинки или куколки будущего взрослого, умного человека. Психика ребенка заключает в себе ценности, которыми мы уже и мысленно не обладаем. С годами что-то чуткое, восприимчивое, как задрожавшая струна, что-то почти гениальное безвозвратно утрачивается, заменяется привычкой к уже надоевшим, неинтересным вещам. А в детстве? В детстве, помните? Каждая новая найденная коробка была новостью и кладом. ...

Не значит ли это, что истинная задача воспитания некоторых важных сторон человеческой личности состоит не столько в том, чтобы стараться привить ребенку что-то извне из нашего взрослого опыта, сколько в том, чтобы не убить в этом маленьком человечке

то, что есть в нем своего особенного, детского? Не является ли поэтому лучшей обязанностью тех, кто стремится стать истинным ученым, истинным художником, пронести через всю свою жизнь как бесценные крупы наивность детства, романтизм юности? И не это ли имел в виду О. Уайлд, когда писал: "В будущем душа человека будет так же удивительна, как душа ребенка"?» [Романов 1972, 217—218].

Работа памяти. Скептик часто склонен с недоверием относиться к точности и достоверности предлагаемых ему фактов из столь далекого прошлого, как детство. Действительно, воспоминания о жизни взрослого человека чаще поддаются проверке, но гораздо труднее обстоит дело с жизнью ребенка, не выходящей за узкие рамки семейно-школьного мирка. Здесь приходится полностью доверять самим авторам воспоминаний, но сомнений в их персональной объективности гораздо меньше, чем по отношению к воспоминаниям взрослого периода, так как меньше и причин к разного рода тенденциозности в изложении своего жизненного пути.

Собственно, и побуждения авторов, обращающихся к своему детству, иные, чем у тех, кто пишет о себе взрослом. Приступая к воспоминаниям о своих самых ранних годах жизни, автор обычно терзается сомнением, насколько соответствуют действительности возникающие в его памяти далекие и туманные образы детства. Трудно оказывается отделить собственные воспоминания от рассказов взрослых о себе-маленьком.

"Когда мы желаем вспомнить, что случилось с нами в самое раннее время нашей молодости, то нередко смешивается слышанное от других с тем, что мы знаем на самом деле из собственных впечатлений", — писал Гете, считая подобную работу выделения собственных воспоминаний бесполезной [Гете 1935, 25—26]. Софья Ковалевская тоже испытывает мучения, пытаясь разобраться, что же она помнит сама, а что лишь слышала позднее:

"И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих (детских. — *Ред.*) впечатлений я действительно помню, т.е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них" [Ковалевская 1989, 4].

Таковыми же трудностями и сомнениями в "чистоте" своих воспоминаний делится с читателями и Наталия Сац:

"Все, о чем написано на первых страницах этой книги, восстановила в своем воображении со слов и по дневникам мамы, отца, их близких. А вот сейчас начну писать о том, что, мне кажется, уже помню сама. ...Не фактов не будет, но до конца отделить, какие из них помню сама, какие ярко нарисовала в моем воображении мама, — не смогу" [Сац 1984, 11].

Вступив на путь воспоминаний, автор в работе своей памяти, этой, по словам Бердяева, "самой таинственной силы в человеке", обнаруживает многочисленные неожиданности. Память выходит из-под его контроля, на нее влияют различные психологические факторы; образы, возникающие перед мысленным взором, оказывается непросто передать в словах, в связном изложении. Анатолий Мариенгоф видит возможность передать в воспоминаниях лишь "дух" времени, а не его фотографическое запечатление:

"Говорят: дух, буква. В этих тетрадах все верно в "духе". Я бы даже сказал — все точно. А в букве? Разумеется, нет. Какой бы дьявольской памятью человек ни обладал, он не может буквально запомнить фразы и слова, порой сказанные столетия тому назад! Но суть, смысл, содержание диалогов сохранились в неприкосновенности. Такова человеческая память. В этом наше счастье, а иногда беда" [Мариенгоф 1990, 22].

Авторы, каждый по-своему, стремятся предупредить читателя о причудах памяти и найти какой-то выход из своих затруднений. И особенно тяжело оказывается рассказать именно о детских впечатлениях: язык взрослых с неизбежностью искажает их, привносит что-то чуждое детству.

"Воспринятое в детстве не всегда можно перевести на язык зрелости. Знаю, это изменит интонацию, но что делать! Какое-то "впадение в детство" произойдет", — пишет Наталия

Сац [Сац 1984, 17].

"Удивительная работа воспоминания, — размышляет Юрий Олеша. — Мы вспоминаем нечто по совершенно не известной нам причине. Скажите себе "вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства". Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно непредвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади вашего сознания. Черт возьми, воля почти не во мне! Скорее она рядом! Как мало она влияет на целого меня! Как мало я, сознательный, я, имеющий желание и имя, занимаю место во мне целом, не имеющем желаний и имени!" [Олеша 1965, 14].

Своеволие памяти, мешающее усилиям человека воссоздать в воспоминаниях адекватную картину собственной жизни, поэтично описывает и Рабиндранат Тагор:

"Кто создает картину жизни на холсте памяти — я не знаю, но кто бы он ни был, он создает картины. Иначе говоря, он не для того держит кисть в руке, чтобы зарисовывать все, что происходит. Он отвергает или избирает, согласно своему вкусу. Часто он уменьшает большое и увеличивает малое. Он, не колеблясь, отодвигает вглубь то, что было спереди, или помещает спереди то, что было позади. Словом, он — живописец, а не историк. ...Обычно у нас нет возможности подробно осмотреть скрытую в нас живописную мастерскую. Лишь иногда наш взор падает в тот или иной ее угол, но большая ее часть остается в непроницаемом ее мраке. Кто тот мастер, что непрерывно в ней живописует, каковы его замыслы, в какой галерее будут вывешены его картины, когда он закончит свое дело, — кто скажет?"

Несколько лет тому назад, когда меня спрашивали о событиях моей жизни, я спустился в эту мастерскую за сведениями. Я полагал, что соберу некоторое количество материалов для истории моей жизни, и этим ограничусь. Но когда я раскрыл дверь, я увидел, что воспоминания о жизни не суть история жизни, что они самостоятельное произведение незримого мастера. Пестрые краски, рассыпанные по его холстам, не являют нам отражения внешней действительности: они взяты с его собственной палитры и пропитаны страстью его сердца — вот почему повесть его холстов непригодна для показаний в суде" [Тагор 1965, 7—8].

Николай Бердяев пишет, по сути, о том же, но определяет этого "художника" как творческую активность памяти:

"Воспоминание о прошлом никогда не может быть пассивным, не может быть точным воспроизведением и вызывает к себе подозрительное отношение. Память активна, в ней есть творческий, преображающий элемент, и с ним связана неточность, неверность воспоминания. Память совершает отбор, многое она выдвигает на первый план, многое же оставляет в забвении, иногда бессознательно, иногда же сознательно. Моя память о моей жизни и моем пути будет сознательно активной, то есть будет творческим усилием моей мысли, моего познания сегодняшнего дня" [Бердяев 1990, 6-7].

Сравнение работы памяти с творчеством художника повторяется опять и опять в самых разных поворотах, что, видимо, не случайно. Борис Вышеславцев даже нащупывает аналогию собственным воспоминаниям определенной художественной манеры — импрессионизма:

«Сны редко представляют собою связно развивающуюся историю, обычно ряд импрессиональных образов большой насыщенности и силы. Точно так же и наше детство. Его можно вспомнить и вообразить, но трудно рассказать: оно "бессловесно" (алогично). Только искусство знает тайну подобного импрессионального изображения. Как передать тот особый мир, какой свойствен детству? Я вспоминаю лучшие достижения импрессионального изображения, например, хоть Коровина: какой-нибудь стакан чаю на летней террасе, теплую бронзу в вечерней гостиной, утренний мрак, в котором светился фарфор... есть что-то непостижимо значительное в этом уголке с фарфоровой чернильницей, какой-то утренний трепет перед неведомой далью жизни. Именно так я видел мир в детстве. А когда я любил прятаться один вечером в темной высокой гостиной моей бабушки, с ее французскими

диванчиками и бронзовыми амурами, я слышал ту самую музыку далеких времен, которая звучит у Чайковского в спальне графини, в этой пустынной спальне, где веют духи рококо и жуткого Калиостро. И когда я впервые услышал эту интродукцию оркестра при пустой сцене, я тотчас понял, что она говорит о том, что было в гостинной моей бабушки. И еще пример: это "Щелкунчик" Чайковского — в нем все наше детство, все переживания московской елки, с ее детской фантастикой, с ее невыразимой грустью убегающих времен, вложенных в этот вальс. Вот это все я хотел бы передать, сохранить, спасти "времен от вечной темноты"» [Вышеславцев 1994, 124].

Разгадывание тайн памяти в процессе воспоминания заставляет задуматься и о том, почему запомнились, казалось бы, незначительные события, а более важные — стерлись из нее? Н.И. гов размышляет об этом, полагая, что разгадка может быть полезной для интенсификации обучения, где запоминание играет огромную роль. Он пишет:

"Причины, почему от впечатлений детства остается тот или иной отрывок, часто ничем не замечательный и вовсе не характерный, так разнообразны, что никто не возьмется определить их. Но сила впечатления, без сомнения, зависит от того — в какой степени было напряжено внимание в самый момент впечатления: как бы сильным ни казалось впечатление извне, оно пройдет бесследно для того, кто не обратил на него внимания. Эта такая банальная истина, что не стоило бы о ней распространяться; к сожалению, однако же немногие родители и педагоги применяют ее так, как она того заслуживает, — заботятся более о свойствах и степени внешних впечатлений, — это легче и проще; усиливая стимул, думают достаточно, чтобы усилить внимание ребенка.

Между тем мы видим, что нередко самые ничтожные впечатления остаются в памяти на целую жизнь, тогда как, по-видимому, очень сильные исчезают из памяти бесследно, и это потому, что мы не умели или не могли сосредоточить на них внимание того, для кого необходимо было это сделать. По-моему, не тот хороший наставник, кто, обладая знаниями, излагает отчетливо и добросовестно свой предмет ученику, а тот, кто умеет хорошо обращаться со внимательностью своих учеников. Упражнение внимания — вот настоящая задача школы и воспитания. Преподавание наше не только всегда сосредоточивает, но, напротив, еще отвлекает и развлекает внимательность; так же действует и глупое воспитание" [Пирогов 1884, 227, 230].

Детская память автоматически и цепко удерживает впечатления детства. Об этом хорошо сказано другом Пушкина Павлом Нащокиным: "Кажется, и мудро помнить свое рождение, но я оправдываюсь следующим: ребенок, занимаясь в углу игрушками или пересыпая из помадных банок песок в кучу и обратно, невзирая на его равнодушие ко всему постороннему, все слышит, внимание его не затмено воображением и рассказы, слышанные в лета детства, так сильно врезаются в память его, что впоследствии времени нам представляется, что как будто мы сами были очевидцами слышанного" [Нащокин 1974, 284]. Здесь цепкость воспоминаний детских лет объясняется произвольной фиксацией чувств и мыслей ребенка, его внутреннего мира. Созвучны мыслям Нащокина и слова Аполлона Григорьева, как бы противопоставляющего свою точку зрения общепринятой:

"Детей большие считают как-то необычайно глупыми и вовсе не подозревают, что ведь что женибудь отразится в их душе и воображении из того, что они слышат или видят. Я, например, хоть и сквозь сон как будто, но очень-таки помню, как везли тело покойного императора Александра и какой странный страх господствовал тогда в воздухе" [Григорьев 1980, II].

По сути, к близкому выводу приходит и Самуил Маршак: не глупость детская, а несосредоточенность на самом себе позволяет памяти не перегружаться, и потому ребенок очень многое из событий детства запечатлевает автоматически и бессознательно:

"В сущности, в первые годы детства человек проходит самый трудный из своих университетов. Школьники изучают языки несколько лет, но редко овладевают хотя бы одним из них ко времени окончания школы. А ребенок усваивает всю речевую премудрость — по крайней мере настолько, чтобы довольно бегло и правильно говорить, — к двум годам.

Он изучает язык без посредства другого — знакомого — языка, а наряду с этим приобретает множество самых важных существенных сведений о мире: узнает на опыте, что такое острое и что такое горячее, твердое и мягкое, высокое и низкое. Но всего, что входит в сознание ребенка за эти первые годы, не перечислишь. Жизнь его полна открытий. Самые заурядные случаи и происшествия повседневной жизни кажутся ему событиями огромной важности. Так почему же все-таки эти события, глубоко поразившие двухлетнего-трехлетнего человека, только редко и случайно удерживаются в его памяти? Я думаю, что это происходит оттого, что ребенок отдается всем своим впечатлениям и переживаниям непосредственно, без оглядки, то есть без той сложной системы зеркал, которая возникает у него в сознании в более позднем возрасте. Не видя себя со стороны, целиком поглощенный потоком событий и впечатлений, он не запоминает себя, как "не помнит себя" человек в состоянии запальчивости или головокружительного увлечения" [Маршак 1961, 18—19].

Первые воспоминания. Тем не менее, несмотря на всю строптивость и неуправляемость памяти, желание найти свое самое первое впечатление оказывается непреодолимым. Человек стремится коснуться дна, достигнуть начальной точки своего сознательного состояния, "определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном "я" — первый проблеск сознательной жизни" [Ковалевская 1989, 4]. Уловить самое-самое первое воспоминание для многих равносильно определению дня своего действительного рождения, рождения себя сознательного. "Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить", — замечает Юрий Олеша [Олеша 1965, 15]. Первые младенческие воспоминания, по его мнению, остаются в человеке лишь в виде ощущений в ночных кошмарах, "некими продолжающимися в глубине сознания воплями". Делясь с читателем своей мукой вспомнить "самое первое", еще младенческое, Олеша рассказывает:

"Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление. Однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием. А первая? Какая же была первая? Вспомню ли я ее когда-нибудь? Возможно ли ее вспомнить?"

Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира, навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.

Я ем арбуз под столом, причем я в платье девочки. Красные куски арбуза... Вот что встает передо мной как наиболее раннее воспоминание. До того — темнота, ни одной краски" [Олеша 1965, 14—15].

Выловленные усилиями памяти первые впечатления, пусть на самом деле и не являющиеся действительно первыми, но автором определенные как таковые, относятся чаще всего приблизительно к трехлетнему возрасту. Этот возраст не зря отмечался как очень важный в процессе формирования памяти. Еще Л.С. Выготский в работе 1928 г. "Педология школьного возраста" обращает внимание на мнение В. Штерна о том, что около трех лет появляется "воля запомнить нечто", то есть впервые происходит "попытка овладеть процессом запоминания".

Такая попытка не проходит мимо ее регистрации в виде "первых воспоминаний" у авторов автобиографий. Американский исследователь Р. Коу просмотрел несколько сотен автобиографических текстов и пришел к выводу о доминировании в них среди первых воспоминаний именно воспоминаний, относящихся к трехлетнему возрасту. Он отмечает, что этот факт соответствует точке зрения психологов о связи между развитием памяти и наступлением периода, когда ребенок начинает говорить достаточно свободно. В то же время, пишет Коу, есть случаи отнесения первых воспоминаний к более раннему и к гораздо более позднему возрасту. Первые случаи представляются весьма загадочными, поскольку

"многие (но ни в коем случае не все) современные психологи будут отрицать, что какие-либо воспоминания возможны до того, как сформировалась речь, конкретизирующая восприятие в ясной и неизменной форме слов: *Worum man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen*". Однако утверждение о существовании столь ранних воспоминаний, сделанное многими авторами (см. в нашем издании воспоминания Л.Н. Толстого), заставляет ученых более пристально исследовать проблему "долингвистической памяти".

Р. Коу проводит условную классификацию первых воспоминаний на материале автобиографий литераторов и автобиографических романов. Во-первых, это — запечатленная статичная, но очень яркая картинка, "сфотографированная" и сохраненная памятью, отбросившей все, происходившее до или после данного момента. Это — зрительный образ. Часто подобное же связано не со зрением, а с другими чувствами, пробужденными запахом, вкусом, прикосновением, услышанной речью или музыкой. Во-вторых, есть группа первых воспоминаний, более обобщенных и менее связанных со сферой способов восприятия, — тяжелая болезнь, пожар, смерть близких. С. Е. Трубецкой, однако, отмечает несколько иную особенность первых воспоминаний: "Мне часто приходилось слышать, что детские воспоминания рисуют исключительно внешние явления. Мои личные воспоминания резко этому противоречат: я очень ясно помню не только внешние события, но и мои душевные переживания" [Трубецкой 1989, 11].

Часто автобиографы придают определенный символический смысл своим первым, безусловно случайным, но не случайно положенным на бумагу воспоминаниям. Они не без основания связывают их со становлением своей индивидуальности.

В справедливости этих умозаключений читатель сможет убедиться, дополнив и расширив их как собственными воспоминаниями, так и обратившись к некоторым приводимым ниже фрагментам, которые отобраны из невероятного множества "первых воспоминаний" автобиографов. Они — результат опускания старинной монеты памяти в живую воду раннего детства; "ощущение младенчества", складывавшееся "из элементов испуга и восторга" [Пастернак 1983, 414].

* * *

К а л а м б у р

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни.

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. "Не ушибите ребеночка!" — умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: "Кушайте на здоровье, сударыня", — говорит он ей.

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — трунит надо мной дьячок.

— Скажи, маточка: меня, мол, зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковской! — поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня, и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их по-своему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

— Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк, — говорит он, — когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: "висит крюк на воротах"

Крюковского" — сейчас и вспомните.

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась. Отец мой служил в артиллерии, и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы.

За эту первую, отчетливо сохранившуюся в моем воспоминании сценой следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков на шоссе, ночлеги на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты, — ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связанные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге. Нас было тогда трое детей: сестра моя Анюта была лет на шесть меня старше, а брат Федя года на три моложе [Ковалевская 1989, 4—6].

Безотчетная тревожность

Мне сказали, что я родился 13-го ноября 1810 г. Жаль, что сам не помню, не помню и того, когда начал себя помнить; но помню, что долго еще вспоминал или грезил какую-то огромную звезду, чрезвычайно светлую. Что это такое было? Детская ли галлюцинация, следствие слышанных в ребячестве длинных рассказов о комете 1812-го года, или оставшееся в мозгу впечатление действительно виденных мною в то время, двухлетним ребенком, кометы 1812-го года, во время нашего бегства из Москвы во Владимир, — не знаю.

Помню и еще какую-то странную грезу нити, сначала очень тонкой, потом все более и более толстевшей и очень светлой; она представлялась не то во сне, не то в просонках и была чем-то тревожным, заставлявшим бояться и плакать; что-то подобное я слышал потом и о грезях других детей. Но воспоминания моего 6—8-летнего детства уже гораздо живее... О времени моих воспоминаний, то есть о возрасте, к которому относятся первые мои воспоминания, я сужу из того, что живо помню еще и теперь: беличье одеяльцо моей кровати, любимую мою кошку Машку, без которой я не мог заснуть, белые розы, приносившиеся моею нянькою из соседнего сада Ярцевой и при моем пробуждении стоявшие уже в стакане воды возле моей кровати; мне было тогда наверное не более 7 лет [Пирогов 1884, 224].

Крики, слезы...

Первое мое сознательное воспоминание относится к апрелю 1849 года, то есть когда мне было два года восемь месяцев. Во дворе Нашего дома был ветхий сарай; мама решила его разрушить и построить новый. Рабочие собрались, сделали, что надо, и оставалось только свалить сарай на землю. Моя мать вышла на стеклянную галерею, чтобы посмотреть издали, как это будут делать, а за нею потянулась моя любопытствующая нянюшка со мною на руках. На беду, ломовые извозчики, жившие в глубине двора, замешкались; им кричали, чтобы они скорее проезжали, и они потянулись длинной вереницей. Казалось, что все выехали, но только что артель напрягла все силы, чтоб свалить сарай, как появился запоздавший извозчик. Все поняли, что если он не проскочит, то свалившимся сараем будет наверное убит вместе с своею лошадию. Раздался страшный треск падающего сарая и крики ужаса присутствовавших, пыль поднялась столбом, и в первую минуту нельзя было разобрать, не случилось ли беды? К счастью, все обошлось благополучно, но испуганные возгласы мамы и няньки так на меня подействовали, что я закричала благим матом. Когда я впоследствии расспрашивала о том времени, то отец мой, посмотрев хозяйственные книги,

удостоверил, что постройка нового сарая была произведена весной 1849 года.

Второе сознательное воспоминание относится к моей болезни, случившейся, когда мне было три года. Не знаю, чем я была больна, но доктор приказал поставить мне на грудь несколько пиявок. Я живо помню, как отвратительны были для меня эти извивающиеся червяки, как я их боялась и как старалась оторвать их от груди. Ясно помню также, как возила меня моя мама причастить и помолиться перед чудотворной иконой о всех Скорбящей божией матери (на Шпалерной). Видя, что мама и няня молятся и плачут, я крестилась и тоже заливалась слезами [Достоевская 1981, 45—46].

Хронология восприятий

Вот первые мои воспоминания (которые я не умею поставить по порядку, не зная, что было прежде, что после; о некоторых даже не знаю, было ли то во сне или наяву). Вот они: я связан; мне хочется выпростать руки, и я не могу этого сделать, и я кричу и плачу, и мне самому неприятен мой крик; но я не могу остановиться. Надо мной стоит, нагнувшись, кто-то, я не помню кто. И все это в полутьме. Но я помню, что двое. Крик мой действует на них; они тревожатся от моего крика, но не развязывают меня, чего я хочу, и я кричу еще громче. Им кажется, что это нужно (т.е. чтоб я был связан), тогда как я знаю, что это не нужно, и хочу доказать им это, и я заливаюсь криком, противным для самого себя, но неудержимым. Я чувствую несправедливость и жестокость

не людей, потому что они жалеют меня, но судьбы, и жалость над самим собой. Я не знаю и никогда не узнаю, что это такое было: пеленали ли меня, когда я был грудной, и я выдираю руку, или это пеленали меня, уже когда мне было больше года, чтобы я не расчесывал лишай; собрал ли я в одно это воспоминание, как то бывает во сне, много впечатлений, но верно то, что это было первое и самое сильное мое впечатление жизни. И памятно мне не крик мой, не страдание, но сложность, противоречивость впечатления. Мне хочется свободы, она никому не мешает, и я, кому сила нужна, я слаб, а они сильны.

Другое впечатление — радостное. Я сижу в корыте, и меня окружает новый не неприятный запах какого-то вещества, которым трут мое маленькое тельце. Вероятно, это были отруби, и, вероятно, в воде и в корыте, но новизна впечатлений отрубей разбудила меня, и я в первый раз заметил и полюбил свое тельце, с видными мне ребрами на груди, и гладкое темное корыто, засученные руки няни, и теплую, парную, страшную воду, и звук ее, и в особенности ощущение гладкости мокрых краев корыта, когда я водил по ним ручонками.

Странно и страшно подумать, что от рождения моего и до трех лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления, кроме этих двух. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, как и теперь страшно многим, представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами? Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь и смеялся и радовал мою мать? Я жил и блаженно жил! Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу, и приобретал так много, так быстро, что во всю остальную жизнь я не приобрел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня — только шаг. От новорожденного до пятилетнего — страшное расстояние. От зародыша до новорожденного — пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них.

Следующие воспоминания мои относятся уже к четырем-пяти годам, но и тех очень немного, и ни одно из них не относится к жизни вне стен дома. Природа до пяти лет не существует для меня. Все, что я помню, все происходит в постельке, горнице. Ни травы, ни

листьев, ни неба, ни солнца не существует для меня. Не может быть, чтобы не давали мне играть цветами, листьями, чтоб я не видал травы, чтоб не защищали меня от солнца, но лет до пяти, до шести нет ни одного воспоминания из того, что мы называем природой. Вероятно, надо уйти от нее, чтобы видеть ее, а я был природа [Толстой 1878, 319—320].

"Важный взрослый"

Себя я начала помнить очень рано. Но часто то, что я помню о себе в самом раннем моем детстве, путается в моем сознании с рассказами окружающих обо мне, а также и с чужими воспоминаниями.

Мой отец в своих "Первых воспоминаниях" пишет о том, что он помнит себя спеленутым и помнит, как мучительно он хочет выдрать свои руки из пеленок и как страдает от того беспомощного состояния, в котором он находится.

Читая это место, мне всегда кажется, что и я помню то же состояние, — помню себя туго спеленутой, негнущейся куклой, которую берут, поддерживая рукой под голову, так как единственное место, которое еще может перегибаться, — это шея, и кладут на что-то жесткое.

Но возможно, что я помню это не о себе, а впечатление это у меня осталось от того, что я много нянчила своих многочисленных младших братьев и сестер и часто пеленала их и брала на руки.

Самое первое, что я помню ясно и что я помню наверное про себя, — это мою няню Марью Афанасьевну Арбузову. Помню ее доброе, круглое, сморщенное лицо, черный шелковый шлык на гладко причесанных волосах, белую косынку на шее и уродливый указательный палец с отрубленным суставом.

Вечером, перед сном, мы сидим с ней в углу детской перед квадратным желтым березовым столом. Я сижу у нее на коленях, и она с ложки кормит меня вкусной душистой гречневой кашей с молоком.

Каша и молоко много душистее и вкуснее, чем они мне кажутся теперь, — точно это были другая каша и другое молоко. А когда няня на кухне не находит гречневой каши, то она крошит в молоко ржаной хлеб и кормит нас этой незатейливой похлебкой. И это так же вкусно, если еще не вкуснее каши. Вероятно, со мной ели кашу и мои два брата, которые воспитывались вместе со мной, но я их при этом не помню.

С детской чуткостью я понимаю, что няня кормит нас без приказа родителей, а сама это выдумала, находя, что мы недостаточно сыты [Сухотина-Толстая 1980, 34].

"Что значит "не обезьянничай"

Какое же самое раннее воспоминание в моей жизни и к какому возрасту оно относится?

В начале лета 1866 г., с введением земства, мой отец, бывший до того времени мировым посредником (первого призыва) и живший в деревне Висяга, занял по выборам должность председателя Алатырской земской управы и переехал в г. Алатырь.

Был в то время в Алатыре, да и много лет спустя, сапожник Алексей Нилыч и сделал он мне первые мои сапоги с голенищами по колено. Был у нас кучер Петр, купил он себе на базаре сапоги, и вот, играя на дворе, я увидел, как Петр подошел к лагуну с дегтем, взял мазилку и густо вымазал дегтем свои новые сапоги.

Конечно, не успел Петр отойти от лагуна, как мазилка уже была в моих руках, и я свои сапоги вымазал еще гуще, чем Петр, и пошел в комнаты похвалиться перед родителями. Результат оказался неожиданный, и я хорошо его запомнил: мой отец взял меня левой рукой за правую ногу, поднял головой вниз, а правой рукой нашлапал, приговаривая: "Не обезьянничай, не обезьянничай".

Мне в то время было, вероятно, немного меньше трех лет, и хотя я плохо понял, что значит "не обезьянничай", но с тех пор я комнатных сапог дегтем не мазал.

Второе воспоминание, дату которого впоследствии я еще точнее мог установить,

относится к августу 1867 г., т.е. когда мне только что минуло четыре года.

В 1867 г. была Всемирная выставка в Париже, на нее поехала вместе с моей матерью и добрая знакомая Дарья Леонтьевна Кир-малова. Меня перед этим отвезли в Казань к бабушке Марии Ивановне Ляпуновой; так вот я совершенно отчетливо помню, как, выйдя на улицу с младшим братом моей матери Николаем Ляпуновым, которому тогда было лет 12, мы увидели, что навстречу едут на извозчике мой отец и моя мать, и мы побежали домой с криками: "Сонечка едет", "Сонечка едет", так как, кажется, я лет до семи свою мать, подражая взрослым, звал "Сонечка", а не мама.

С пяти лет воспоминания, по-видимому, идут в более или менее связной последовательности, локализация их по времени становится точнее, ибо они приурочиваются или к собственному возрасту, или к событиям внешнего мира [Крылов 1949, 76].

Восторг луны

Память моя сохранила одно из ярких впечатлений далекого детства: я стою рядом с матерью на плоской крыше нашего глинобитного домика в ясную лунную ночь. По небу плывет белая полная луна, она мне кажется прекрасной, я тянусь к ней руками и настойчиво повторяю: "Мама, дайте мне луну". До сих пор я ощущаю восторг, охвативший меня в те минуты [Айбек 1959, 37].

Проснуться к жизни

К трем годам относится мое первое воспоминание. Я кувыркаюсь на постели моего отца. Вокруг стоят родные. В передней звонок, приехали гости. Все бегут встречать. Я продолжаю кувыркаться и, слетев с постели, ударяюсь лбом о железный сундук. Нечеловеческий рев, все бегут обратно.

Удар был здоровенный — шишка на лбу осталась на все детство и юность и сравнялась лишь к 30 годам. Когда, уже молодым человеком, я дирижировал в Париже, художник Ларионов трогал ее пальцем и говорил:

— А может в ней-то весь талант!

Другое воспоминание менее эффектное: раннее утро или поздний вечер: меня только что разбудили: вокруг все суетятся и торопят меня — мы едем в Севастополь.

Какое воспоминание более раннее, я в точности не помню, но думаю, что с кувырканьем. Во всяком случае хочется, чтобы оно было первым: уж очень шикарно проснуться к жизни от удара в лоб! [Прокофьев 1961, 26—27]

Пожарное пробуждение

Мои первые воспоминания связаны с пожаром. Я помню, как меня выбросили из верхнего окна в объятия полисмена. Мне, должно быть, было около двух или трех лет, но я отчетливо помню успокоительное ощущение — среди всеобщего возбуждения, визга и пламени — надежности полисмена, шею которого я обвила ручонками. Я слышу безумный крик своей матери: "Мои мальчики, мои мальчики!", и вижу, как толпа удерживает ее, не пуская броситься в здание, в котором, как мать думала, остались двое моих братьев. Затем у меня в памяти сохраняется то, что я вижу обоих мальчиков сидящими на полу в каком-то баре и надевающими носки и ботинки, далее — внутренность кареты и, наконец, то, что я сижу на прилавке и пью горячий шоколад [Дункан 1992, 8].

Первой мне запомнилась торжественность смерти

Мрачные толпы народа на улицах были моим первым сознательным и ярким восприятием.

Мне было ровно три года. Год был девяносто четвертый, меня взяли из Павловска в Петербург, собравшись поглядеть на похороны Александра III. На Невском, где-то против Николаевской, сняли комнату в меблированном доме, в четвертом этаже. Еще накануне вечером я взобрался на подоконник, вижу: улица черна народом, спрашиваю: "Когда же они поедут?" — говорят: "Завтра". Особенно меня поразило, что все эти людские толпы ночь напролет проводили на улице. Даже смерть мне явилась впервые в совершенно неестественно пышном, парадном виде. Проходил я раз с няней своей и мамой по улице Мойки мимо шоколадного здания Итальянского посольства. Вдруг — там двери распахнуты и всех свободно впускают, и пахнет оттуда смолой, ладаном и чем-то сладким и приятным. Черный бархат глушил вход и стены, обставленные серебром и тропическими растениями; очень высоко лежал набальзамированный итальянский посланник. Какое мне было дело до всего этого? Не знаю, но это были сильные и яркие впечатления, и я ими дорожу по сегодняшнему дню [Мандельштам 1990, 108—109].

Вся жизнь вышла из страха

Со страхом связано одно из самых отчетливых моих воспоминаний. Вероятно, мне было тогда года три с половиной—четыре. Мы жили тогда в Киеве, в маленьком доме на первом этаже. Ясно помню разговор о погроме, который вот-вот должен обрушиться на нас. Конечно, я тогда не знала, что такое погром, но мне уже было известно, что это как-то связано с тем, что мы евреи, и с тем, что толпа подонков с ножами и палками ходит по городу и кричит: "Христа распяли!" Они ищут евреев и сделают что-то ужасное со мной и с моей семьей.

Потом я стою на лестнице, ведущей на второй этаж, где живет другая еврейская семья; мы с их дочкой держимся за руки и смотрим, как наши папы стараются забаррикадировать досками входную дверь. Погрома не произошло, но я до сих пор помню, как сильно я была напугана и как сердилась, что отец, для того чтобы меня защитить, может только сколотить несколько досок и что мы все должны покорно ожидать прихода хулиганов. Но больше всего помню, что все это происходит со мной потому, что я еврейка и оттого не такая, как другие дети во дворе. Много раз в жизни мне пришлось испытать те ощущения: страх, чувство, что все рушится, что я не такая, как другие. И — инстинктивная глубокая уверенность: если хочешь выжить, ты должен что-то предпринять сам [Меир 1994, 145].

Соты памяти

С какого момента мы напрочь забываем то, что видим, что остро переживаем, смеясь и плача в таком вот возрасте? И вдруг — как отрезает, отрубает! Что-то остается в нас, но запечатанное, в каких-то сотах.

А если удастся расковырять, вдруг просачивается запах, липкость меда раннедетских впечатлений...<...>

Начал я с подробного записывания того, что сохранила ранне-детская память незапечатанным в тех таинственных сотах. Но попробуй сохранить строгий отбор своего и рассказанного тебе позже другими, кто был рядом. Чем глубже рука погружает в воду детский мячик, тем сильнее сопротивление и стремление его вырваться наверх. Я помню, как меня это поражало, мячик будто оживал в твоих пальцах. Вот так оживают, сливаясь со стихией собственной памяти, чужие воспоминания.

Но никто ведь из взрослых не мог мне рассказать про то, как выглядел мир нашей квартиры, забавный мир ног, подсмотренных движений, когда следишь за ними из-под стола, а еще лучше из-под низенькой "канапы". И как таинственно под столешницей перекрещиваются деревянные планки, бугрятся полоски клея на них снизу. И вот этот вечер — только мой, когда странным первым одиночеством, покинутостью всеми я был внезапно напуган и начал плакать. Не знаю уже, где все были, но лампа не зажжена, в комнате

полумрак, я смотрю в окно, в сторону шоссе, а там идут, идут, едут на лошадях солдаты... с белыми пиками. В том-то и дело, что Красная Армия тогда все еще гордилась буденновскими пиками, деревянными палками с металлическим наконечником. Потом мы не раз бегали к шоссе смотреть на красную кавалерию. Но вот эти, в полутьмедвигающиеся с белыми палками по шоссе, по "варшавке", по которой потом прикатила в Глушу война, от них в памяти остались слезы тревоги и покинутости... [Адамович 1990, 22].

Открытие себя

В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал, что безграничное на первый взгляд время есть на самом деле круглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, я обратился к изучению ее пограничной полосы — моего младенчества. Я вижу пробуждение самосознания, как череду вспышек с уменьшающимися промежутками. Вспышки сливаются в цветные просветы, в географические формы. Я научился счету и слову почти одновременно, и открытие, что я — я, а мои родители — они, было непосредственно связано с понятием об отношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток — и, судя по густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, по лапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений и колебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падает на песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне, летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уме точные ответы, полученные на них от отца и матери, — между которыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. <...>

Итак, лишь только добытая формула моего возраста, свежезеленая тройка на золотом фоне, встретила в солнечном течении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три и двадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом втором крещении, более действительном, чем первое (совершенное при воплях полуутопленного полувиктора, — звонко, из-за двери, мать успела поправить нерасторопного протоиерея Константина Ветвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую и подвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое я делил — как делишь, плещась, яркую морскую воду — с другими купающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, что двадцатисемилетнее, в чем-то белорозовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, — моя мать, а создание тридцатитрехлетнее, в белозолотом и твердом, державшее меня за правую руку, — отец. Они шли, и между ними шел я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца и опять семеня посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, — длинную, прямую, обсаженную дубками, — прорезавших "новую" часть огромного парка в нашем петербургском имении. Это было в день рождения отца, двадцать первого, по нашему календарю, июля 1902 года: и глядя туда со страшно далекой, почти необитаемой гряды времени, я вижу себя в тот день восторженно празднующим зарождение чувственной жизни. До этого оба моих водителя, и левый и правый, если и существовали в тумане моего младенчества, появлялись там лишь инкогнито, нежными анонимами; но теперь, при созвучии трех цифр, крепкая, облая, сдобно-блестящая кавалергардская кираса, обхватывавшая грудь и спину отца, взошла как солнце, и слева, как дневная луна, повис парасоль матери; и потом в течение многих лет я продолжал живо интересоваться возрастом родителей, справляясь о нем, как беспокойный пассажир, проверяя новые часы, справляется у спутников о времени.

Замечу мимоходом, что, отбыв воинскую повинность задолго до моего рождения, отец в тот замечательный день, вероятно, надел свои полковые регалии ради праздничной шутки. Шутке, значит, я обязан первым проблеском полноценного сознания [Набоков 1988, 142—143].

Луч сосредоточенности

Таким образом, родился я в Москве. Но в Москве моим родителям долго задерживаться было нельзя, так как отец — Михаил Андреевич, — живя в деревне, занимал там выборную

должность земского мирового судьи, и ему необходимо было к сроку возвратиться к месту службы. И вот, меня полуторамесячным ребенком отвезли в деревню, где я провел все мое раннее детство, если не считать нескольких зимних месяцев, прожитых в нашем уездном городе Калязине, когда мне не было еще и трех лет. По каким-то служебным соображениям отцу надо было на это время переехать в город. С ним переселилась тогда и вся наша семья. Упоминаю об этом только потому, что как раз с этого времени, когда мне еще не было трех лет, как это ни странно, я начинаю помнить себя. По крайней мере, некоторые эпизоды калязинской жизни встают в моей памяти живей, чем многое из позднейшего периода моего детства. Помню и дом на берегу Волги, в котором мы жили, на углу Соборной площади, помню ясно и расположение комнат, мебель и даже рисунок на обоях, помню и многих посещавших нас. А больше всего остался в моей памяти пароход, затертый во льду: он простоял всю зиму перед нашими окнами, застигнутый морозом, не успевши добраться до стоянки.

Разумеется, все эти воспоминания по большей части связаны с отдельными эпизодами, которые так или иначе совпадали с интересами детского возраста. Таково, например, возвращение в деревню. Для нас, детей, оно, разумеется, являлось целым событием и необыкновенно занимало нас. Вот почему, вероятно, все, связанное с переездом, со всеми подробностями — и так остро — осталось в памяти у меня на всю жизнь.

Это было в конце зимы, еще держался санный путь. Нас, детей, усадили в закрытый возок, до отказа наполненный всевозможным домашним скарбом. На нашем попечении были две собаки и клетка с канарейкой. ...Помню, было весело и оживленно в нашей кибитке. Но вот, дальше как будто провал в моей памяти, и воспоминания детских лет относятся уже к тому периоду, когда обычно начинается более или менее сознательная жизнь ребенка [Юрьев 1948, 4].

Вспоминаются виды городов — наших и европейских — в альбомах и открытках: всегда — собор, дворец, театр, вокзал, музей и т.д. Фотограф считает, что интересны только такие замечательные здания, и не догадывается снять просто городской пейзаж с обывательскими домами, среди которых оказались бы и дворец, и музей, и театр. Такой пейзаж был бы типичнее для города, дал бы о нем более верное представление.

См.: Coe R.N. When the Grass Was Taller. Autobiography and the Experience of Childhood. New Haven & London, 1984. P. 41—75.

Винсент из Воле. О наставлении детей знатных граждан // Антология педагогической мысли христианского средневековья. М., 1994. Т. 2. С. 112.

При работе над разделом о первых воспоминаниях рекомендуем прочитать дополнительно: Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М., 1979; Развитие личности ребенка. М., 1987; Менчинская Н.А. Развитие психики ребенка. Дневник матери. М., 1957; Флейк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П. Развитие ребенка и его отношение с окружающими. М., 1993; Штерн В. Психология раннего детства до шестилетнего возраста. Пг., 1915.

Цит. по: Выготский Л.С. Сборник статей. М., 1996. С.84.

Coe R. Op.cit. P.96, 99. См. также: Destiny Obscure. Autobiographies of Childhood, Education and Family from the 1820s to the 1920s. Ed. and introduced by John Burnett. L.—N.Y., 1994; Burr A.R. The Autobiographies. A Critical and Comparative Study. L, 1909.

Ларионов Михаил Федорович, художник-модернист.

ДЕТСТВО И СУДЬБА

Дети очень разные: некоторые с ранних лет отчетливо проявляют склонность к определенному роду деятельности и выказывают стойкие черты характера. Другие же долго не раскрываются, а третьи никак не могут найти свое место в жизни.

Любая судьба уникальна, у каждого ребенка свой внутренний мир, опосредствованный

его историческим временем, ближайшим окружением, случайными событиями. По-разному проходит детство.

У одних призвание определяется органично и плавно, постепенно рождаясь из микросреды семьи и окружения. У других, наоборот, — вспыхивает внезапно, как озарение, молнией. Их призвание никак не связано с бытом семьи, и часто его приходилось отстаивать в борьбе и страданиях.

Пройдя большую часть своего жизненного пути, люди творческие мысленно возвращаются к его истоку, чтобы уловить и запечатлеть в воспоминаниях момент, положивший начало процессу формирования их будущего "я". Нередко, но не всегда, это эмоциональное впечатление, перевернувшее внутреннюю жизнь ребенка, столь яркое, что оно запечатлевается на всю жизнь, но проходит незамеченным для окружающих его взрослых. Часто родители не в силах понять проявляющееся детское увлечение, считают его пустой прихотью (см. воспоминания Р. Коллингвуда, Ф. Шаляпина, Л. Гурченко, Е. Шварца, М. Шагала и др.), особенно когда сфера их собственной деятельности далека от увлечений детей.

В других же случаях (см. воспоминания Н. Сац, М. Добужинского, Айседоры Дункан и др.) роль семейной среды и ближайшего окружения, в которых вырастает ребенок, в избрании жизненного пути бывает велика, она фактически определяет его.

Характерен пример детства Сергея Прокофьева. От рождения слышал он в доме музыку. Вечерами он слушал, как "вдалеке, за несколько комнат, звучала соната Бетховена... сонаты... прелюдии, мазурки и вальсы". Музыкальные склонности проявились у него в четыре года. Мать, сама постоянно музицируя, давала возможность сыну подсаживаться к ней и играть одновременно в отведенном ему диапазоне. Импровизация потянула за собой творчество, начавшееся с самого стремления к нему, например, с писания нот как орнамента, ничего еще не обозначающего, но уже заменившего в сфере интересов рисунки человечков и поездов... Самостоятельность суждений и интерес к музыке постоянно развивались и поддерживались матерью композитора.

Влияние матери определило и круг интересов Жана Марэ. Она пристрастила его к миру кино. Поход в кино был несравненным по силе эмоционального воздействия событием. К удовольствию сидеть рядом с мамой добавлялись любовь и преклонение перед актерами. Их именами Жан называл своих кукол и проигрывал с ними целые пьесы и сюжеты кинофильмов. Переодевание стало одним из его любимых занятий, открыв путь к актерскому мастерству.

Бросается в глаза тот факт, что на наших авторов нередко оказывают решающее влияние не целенаправленные педагогические воспитательные действия, а неожиданное влияние, случайное обстоятельство. Случайно раскрытая книга дает Р. Дж. Коллингвуду внутренний толчок, чтобы почувствовать жажду к мыслительной работе. Непреднамеренно оклеенная математическими таблицами стена в детской маленькой Софьи Ковалевской навсегда запечатлевается в ее памяти. Невзначай принесенные краски и кисти в дом военных поселян Репиных с этого момента остаются на всю жизнь в руках Ильи Ефимовича Репина. Атмосфера, сложившаяся вокруг казни декабристов, пробуждает в маленьком Герцене борца за социальную справедливость. Ненароком увиденная девочкой Люсей Гурченко кинолента в оккупированном немцами городе помогает ей осознать себя актрисой, и так далее, и так далее.

Но, конечно, все эти случайности привели к закономерному эффекту. Они сыграли роль спички, поднесенной к факелу. В момент такого "возгорания", судя по воспоминаниям, ребенок испытывает глубокое потрясение.

Однако другие талантливые дети не испытали ничего подобного. Например, Н. Бердяев, по его словам, всегда чувствовал себя философом, М. Добужинский — художником. Карл Юнг вспоминает: "С самого начала у меня было чувство своего предназначения, как если бы моя жизнь была назначена мне судьбой и должна быть выполнена как задача. Это придавало мне внутреннюю уверенность. И хотя я никогда не мог объяснить это, судьба моя до-

казывала, что это так. Мне не нужно было иметь эту уверенность, она владела мной, часто даже наперекор обстоятельствам. Никто не мог отнять у меня убеждения, что мне было предписано сделать то, что хочет Бог, и не то, что хочу я".

Среди воспоминаний о поисках своего пути есть и такие, в которых рассказывается, как первые направления "детского призвания" оказались ложными. Об этом рассказывают Б. Пастернак и М. Цветаева. В подобных случаях действует сильное влияние взрослого, под обаяние или диктат которого попадает талантливый ребенок. Особенно сложная для детей ситуация складывается, когда их делают "наследниками" профессии родителей, сизмальства возлагая на них бремя ответственности за продолжение семейной традиции. Ярким примером тому является рассказ скрипача Г. Кремера.

Воспоминания представляют нам и случаи, когда тяжелые, мрачные впечатления определяют направление мыслей и деятельности. Тяжелой обстановкой в семье, конфликтом между родителями объясняет В. Печерин свою тягу бежать из родных пенатов, стать вечным странником. Борьба Айседоры Дункан с женским неравноправием имеет ту же подоплеку.

Мы вправе доверять авторам, полагая, что у них нет причин приукрашивать или сознательно искажать свои воспоминания о первых шагах на избранном пути.

Можно ли, наблюдая за ребенком, узнать, какое ждет его будущее? В силах ли он сам предугадать свое призвание?

Одни родители и педагоги пристально вглядываются в своих маленьких подопечных, надеясь увидеть в них те ростки, которые в будущем принесут хорошие или плохие плоды. Другие же планируют будущее детей самостоятельно, исходя из собственного понимания счастья и благополучия своих детей.

Возможно, что, прочтя предлагаемые ниже тексты, читатель глубже задумается о важных моментах собственного детства, а также детства детей, находящихся рядом с ним. Собранный здесь материал поможет воспитателям лишний раз убедиться в том, как много недоступного их взору происходит в душе ребенка.

* * *

Музыка — душа моя

Музыкальная способность выражалась в это время (до 8 лет. — Ред.) страстию к колокольному звону (трезвону); я жадно вслушивался в эти резкие звуки и умел на двух медных тазах ловко подражать звонарям. В случае болезни приносили малые колокола в комнаты для моей забавы.

Музыкальное чувство все еще оставалось во мне в неразвитом и грубом состоянии. Даже по 8-му году, когда мы спасались от нашествия французов в Орел, я с прежнею жадностью вслушивался в колокольный звон, отличал перезвон каждой церкви и усердно подражал ему на медных тазах.

Всегда окруженный женщинами, играя только с сестрою и дочерью няни, я вовсе не походил на мальчиков моего возраста, притом страсть к чтению, географическим картам и рисованию, в котором я начал приметно успевать, часто отвлекала меня от детских игр, и я по-прежнему был нрава тихого и кроткого.

У батюшки иногда собиралось много гостей и родственников; это случалось в особенности в день его ангела или когда приезжал кто-либо, кого он хотел угостить на славу. В таком случае посылали обыкновенно за музыкантами к дяде моему (брату матушки) за 8 верст. Музыканты оставались несколько дней, и когда танцы за отъездом гостей прекращались, играли, бывало, разные пьесы.

Однажды (помнится, что это было в 1814 или 1815 году, одним словом, когда я был по 10 или 11-му году) играли квартет Крузеля с кларнетом, эта музыка произвела на меня непостижимое, новое и восхитительное впечатление — я оставался целый день потом в каком-то лихорадочном состоянии, был погружен в неизъяснимое, томительно-сладкое состояние и на другой день во время урока рисования был рассеян; в следующий урок

рассеянность еще увеличилась, и учитель, заметя, что я рисовал уже слишком небрежно, неоднократно журил меня и наконец, однако ж, догадавшись, в чем дело, сказал мне однажды, что он замечает, что я все только думаю о музыке; "что же делать? — отвечал я, — музыка душа моя".

И действительно, с той поры я страстно полюбил музыку. Оркестр моего дяди был для меня источником самых живых восторгов. Когда играли для танцев, как-то: экосезы, матрадур, кадрили и вальсы, я брал в руки скрипку или маленькую флейту (*piccolo*) и поддевался под оркестр, разумеется, посредством тоники и доминанты.

Отец часто гневался на меня, что я не танцую и оставляю гостей; но при первой возможности я снова возвращался к оркестру.

Во время ужина обыкновенно играли русские песни, переложенные на 2 флейты, 2 кларнета, 2 валторны и 2 фагота, — эти грустно-нежные, но вполне доступные для меня звуки мне чрезвычайно нравились (я с трудом переносил резкие звуки, даже валторны на низких тонах, когда на них играли сильно), — и, может быть, эти песни, слышанные мною в ребячестве, были первою причиною того, что впоследствии я стал преимущественно разрабатывать народную русскую музыку [Глинка 1988, 9—10].

Казни разбудили младенческий сон души

Рассказы о возмущении, о суде, ужас в Москве сильно поразили меня; мне открывался новый мир, который становился больше и больше средоточием всего нравственного существования моего; не знаю, как это сделалось, но, мало понимая или очень смутно, в чем дело, я чувствовал, что я не с той стороны, с которой картечь и победы, тюрьмы и цепи. Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбудила ребяческий сон моей души...

Само собой разумеется, что одиночество теперь тяготило меня больше прежнего, мне хотелось кому-нибудь сообщить мои мысли и мечты, проверить их, слышать им подтверждение; я слишком гордо сознавал себя "злоумышленником", чтоб молчать об этом или чтоб говорить без разбора.

Первый выбор пал на русского учителя.

И.Е. Протопопов был полон того благородного и неопределенного либерализма, который часто проходит с первым седым волосом, с женитьбой и местом, но все-таки облагораживает человека. Иван Евдокимович был тронут и, уходя, обнял меня со словами: "Дай Бог, чтоб эти чувства созрели в вас и укрепились". Его сочувствие было для меня великой отрадой. Он после этого стал носить мне мелко переписанные и очень затертые тетрадки стихов Пушкина "Ода на свободу", "Кинжал", "Думы" Рыльева; я их переписывал тайком... (а теперь печатаю явно!).

Разумеется, что и чтение мое переменилось. Политика вперед, а главное — история революции; я ее знал только по рассказам m-me Прово. В подвальной библиотеке открыл я какую-то историю девяностых годов, писанную роялистом. Она была до того пристрастна, что даже я, четырнадцати лет, ей не поверил. Слышал я мельком от старика Бушо, что он во время революции был в Париже, мне очень хотелось расспросить его; но Бушо был человек суровый и угрюмый, с огромным носом и очками; он никогда не пускался в излишние разговоры со мной, спрягал глаголы, диктовал примеры, бранил меня и уходил, опираясь на толстую сучковатую палку.

— Зачем, — спросил я его середь урока, — казнили Людовика Шестнадцатого?

Старик посмотрел на меня, опуская одну седую бровь и поднимая другую, поднял очки на лоб, как забрало, вынул огромный синий носовой платок и, утирая им нос, с важностью сказал:

— Parce qu'il a ete traître a la patrie [Потому что он предал родину].

— Если б вы были между судьями, вы подписали бы приговор?

— Обеими руками.

Этот урок стоил всяких субжонктивов; для меня было довольно: ясное дело, что поделом

казнили короля.

Старик Бушо не любил меня и считал пустым шалуном за то, что я дурно приготавливал уроки; он часто говаривал: "Из вас ничего не выйдет", но, когда заметил мою симпатию к его идеям regicides [цареубийства], он сменил гнев на милость, прощал ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и как он уехал из Франции, когда "развратные и плуты" взяли верх. Он с той же важностью, не улыбаясь, оканчивал урок, но уже снисходительно говорил:

— Я право, думал, что из вас ничего не выйдет, но ваши благородные чувства спасут вас [Герцен 1970, 78, 80—81].

Тонкени ти

По благому русскому обычаю отец мой, разумеется, сек своих дворовых людей. Еще теперь слышу их вопли, как их драли в конюшне. Мать подсылала меня к отцу ходатайствовать за Ваську или Яшку. Я плакал, умолял, целовал руки у отца, и иногда мне удавалось смягчить суровость русской судьбы... Но и мать моя сама была жертвою... Однажды она взяла меня за руку, повела в уголок и поставила на колени подле себя перед образом св. Николая и со слезами сказала: "О, св. Николай! ты видишь, как несправедливо с нами поступают!" Между тем в ближней комнате шла вечеринка. Песенники пели с бубнами и тарелками модную в то время песню:

Посреди войны кровавой
Истреблю тебя, любовь!
Разорву твой плен суровый
И свободен буду вновь!

Но царицею этого праздника была не мать моя, а другая... Эта другая — была жена нашего полковника, хитрая и красивая полька, с которою отец имел почти открытую связь... Тут я бросаю перо и невольно задумываюсь. Вот где узел моей жизни! Вот таинство судьбы! Вот греческая трагедия! Вот Орест, отмщающий за обиду не отца, а матери! Думала ли маменька, какое впечатление слова ее оставят на мне? Эта обида, нанесенная женщине и матери, глубоко запала мне в душу. Какое-то темное бессознательное чувство мести овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по загранице, это беспрестанное желание отделаться от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом месте?

Мне было 12 лет в 1819 г., в Дорогобуже. Я решил бежать во Францию. Какой-то офицер был женат на француженке, и они собирались ехать за границу. В день их отъезда я вышел за ворота и поджидал их. Как только они подъедут, — думал я, — я брошусь к их экипажу и плачевным голосом скажу: "Je suis un pauvre petit enfant — je veux aller en France — prenez moi avec vous!" [Я бедный ребенок, я хочу отправиться во Францию, возьмите меня с собою! — фр.] Но никакой экипаж не проезжал, а далее ворот идти храбрости не стало. Но откуда же взялось это желание бежать во Францию? Неужели же от влияния французской литературы? Посмотрим.

Я начал учиться по-французски в 1817 г. (т. е. мне было 10 лет) у учителя народного училища в Велиже Витебской губернии. Первую французскую книгу я получил от одного из наших офицеров — это был роман Радклиф "La foret" ["Лес" — фр.]. Потом дядя, Василий Петрович Симоновский, прислал мне "Magazin des enfants" ["Журнал для детей" — фр.], который я изучил с величайшим наслаждением. В Дорогобуже я читал Телемака и переводил его для маменьки. Тут же я читал трагедии Расина и сам разыгрывал их на уединенной сцене. Неужели же эта литература могла иметь такое чрезвычайное влияние? Правда, с самого детства я чувствовал какое-то странное влечение к образованным странам — какое-то темное желание переселиться в другую, более человеческую среду. Правда и то, что в Дорогобуже это стремление было решительно к Франции. Всего забавнее, что в день рождества Христова, когда с коленопреклонением торжествовали избавление России от Галлов и с ними двадцати язык, я про себя молился *за французов и просил Бога простить

им, если они заблуждались! Как трудно следить за этими тонкими нитями жизни! Какая тайна — развитие человеческого растения! Почему это семя пустило корни в таком, а не в другом направлении? Зачем же оно не раскинулось шире и роскошнее? Зачем такие бледные цветы, такие тощие плоды? А ведь стремление соков, желание развития было великое! Недоставало, может быть, воздуха, солнца и благотворного дождя. Русская зима все убила на корню! О ты, который читаешь эти строки, помни, что они написаны кровью моего сердца! [Печерин 1989, 151—152].

Арбузик

На рождественские праздники к нам отпустили нашего двоюродного брата, сироту Троньку (Трофим). Он работал мальчиком в мастерской у Касьянова, моего крестного, портного для "господ военных".

Троша принес с собою рисунки, изображающие Полкана, и я очень удивился, как он хорошо рисует. Под каждым рисунком он старательно подписывал название "Полкан" и свою фамилию: Трофим Чаплыгин. У него была огромная голова, коротко остриженная. Он знал много сказок, таких занятных, что мы не могли оторваться, все слушали: "Струбметалл — Запечная Искра", "Зеленый" и особенно про царя Самосуда, как заспорили охотник и билетный солдат. Один говорил: "Песня — правда, а сказка — брехня", а другой: "Сказка — правда, а песня — брехня". Долго препирались охотник с солдатом, пока не дошли до дворца царя Самосуда. И царь Самосуд, усадив их по правую и левую руку, длинной историей объяснил им, кто прав.

Трофим и при нас вдруг нарисовал еще Полкана: чирк, чирк, все точками и черточками: потом аккуратно складывал вчетверо своих Полканов и прятал их в шапку на дно. Рисунки его были очень похожи один на другой, и нам показалось, что и Тронька, наш двоюродный, — сам Полкан; особенно его большой лоб и черные глазки, глубоко подо лбом, и короткие волосы, щеткой покрывавшие его круглую голову, были совсем похожи на рисованных им Полканов; каждый Полкан держал булаву. На другой день Трофим из плоской коробочки, завернутой в несколько бумажек, достал краски и кисточки. В городе в их мастерскую приходит много разных людей; аптекарь принес Трофиму краски и кисточки. В аптеке краски сами делают. Трофим знал названия всем этим краскам: желтая — гуммигуд, синяя — лазурь, красная — бакан и черная — тушь.

Красок я еще никогда не видал и с нетерпением ждал, когда Трофим будет рисовать красками. Он взял чистую тарелку, вывернул кисточку из бумажки, поставил стакан с водой на стол, и мы взяли Устину азбуку, чтобы ее некрашенные картинки он мог раскрашивать красками. Первая картинка — арбуз — вдруг на наших глазах превратилась в живую; то, что было обозначено на ней едва черной чертой, Трофим крыл зелеными полосками, и арбуз зарябил нам в глаза живым цветом; мы рты разинули. Но вот было чудо, когда срезанную половину второго арбузика Трофим раскрасил красной краской так живо и сочно, что нам захотелось даже есть арбуз; и когда красная высохла, он тонкой кисточкой сделал по красной мякоти кое-где черные семечки, — чудо! чудо!

Быстро пролетали эти дни праздников с Тронькой. Мы никуда не выходили и ничего не видели, кроме наших раскрашенных картинок, и я даже стал плакать, когда объявили, что Троньке пора домой.

Чтобы меня утешить, Трофим оставил мне свои краски, и с этих пор я так впился в красочки, прильнув к столу, что меня едва отрывали для обеда и срамили, что я совсем сделался мокрый, как мышь, от усердия и одурел со своими красочками за эти дни [Репин 1960, 68—69].

Первые прикосновения

Я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей,

и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он бывал занят какой-нибудь идеей, он только о ней- одной мог и думать и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мною как с большой, и я напрягала все усилия, чтобы понять его или, по крайней мере, сделать вид, будто понимаю.

Хотя он математике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений и любил пофилософствовать по их поводу, причем ему часто случалось размышлять вслух в моем присутствии. От него услышала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, о многих других вещах подобного же рода, — смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.

Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбуждившем во мне интерес к этой науке.

Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев не хватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга, это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.

Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаюсь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным.

Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, "точно я наперед их знала". Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределах показалось мне давно знакомым [Ковалевская 1989, 61—62].

Р а з и н у в р о т

Мне было лет двенадцать, когда я в первый раз попал в театр. Случилось это так: в духовном хоре, где я пел, был симпатичнейший юноша Панкратьев. Ему было уже лет семнадцать, но он пел все еще дискантом. Сейчас он протодьякон в Казанском монастыре.

Так вот, как-то раз за обедней Панкратьев спросил меня, не хочу ли я пойти в театр? У него есть лишний билет в 20 копеек. Я знал, что театр — большое каменное здание с полукруглыми окнами. Сквозь пыльные стекла этих окон на улицу выглядывает какой-то мусор. Едва ли в этом доме могут делать что-нибудь такое, что было бы интересно мне.

— А что там будет? — спросил я.

— "Русская свадьба", дневной спектакль.

Свадьба? Я так часто певал на свадьбах, что эта церемония не могла уже возбуждать моего любопытства. Если б французская свадьба, это интереснее. Но все-таки я купил билет у Панкратьева, хотя и не очень охотно.

И вот я на галерке театра. Был праздник. Народу много. Мне пришлось стоять, придерживаясь руками за потолок.

Я с изумлением смотрел в огромный колодец, окруженный по стенам полукруглыми местами, на темное дно его, уставленное рядами стульев, среди которых растекались люди. Горел газ, и запах его остался для меня на всю жизнь приятнейшим запахом. На занавесе была написана картина: "Дуб зеленый, золотая цепь на дубе том" и "кот ученый все ходит по цепи кругом", — Медведев-ский занавес. Играл оркестр. Вдруг занавес дрогнул, поднялся, и я сразу обомлел, очарованный. Предо мною ожила какая-то смутно знакомая мне сказка. По комнате, чудесно украшенной, ходили великолепно одетые люди, разговаривая друг с другом как-то особенно красиво. Я не понимал, что они говорят. Я до глубины души был потрясен зрелищем и, не мигая, ни о чем не думал, смотрел на эти чудеса.

Занавес опускался, а я все стоял, очарованный сном наяву, сном, которого я никогда не видал, но всегда ждал его, жду и по сей день. Люди кричали, толкали меня, уходили и снова возвращались, а я все стоял. И когда спектакль кончился, стали гасить огонь, мне стало грустно. Не верилось, что эта жизнь прекратилась. У меня затекли руки и ноги. Помню, что я шатался, когда вышел на улицу.

Я понял, что театр — это несравнимо интереснее балагана Яшки Мамонова. Было странно видеть, что на улице день и бронзовый Державин освещен заходящим солнцем. Я снова воротился в театр и купил билет на вечернее представление.

Вечером давали "Медею". Ее играла Пальчикова, Язона — Стрельский. У меня было удобное место. Я мог сидеть, облокотясь о барьер. Снова, не отрывая глаз, я смотрел на сцену, где светила взятая с неба луна, страдала Медея, убегая с детьми, метался красавец Язон. Я смотрел на все это буквально разинув рот. И вдруг, уже в антракте, заметил, что у меня текут изо рта слюни. Это очень смутило меня. Я осторожно поглядел на соседей, — видели они? Кажется, не видали.

— Надо закрывать рот, — сказал я себе.

Но когда занавес снова поднялся, губы против воли моей опять распустились. Тогда я прикрыл рот рукою.

Театр свел меня с ума, сделал почти невменяемым. Возвращаясь домой по пустынным улицам, видя точно сквозь сон, как редкие фонари подмигивают друг другу, я останавливался на тротуарах, вспоминал великолепные речи актеров и декламировал, подражая мимике и жестам каждого.

— Царица я, но — женщина и мать! — возглашал я в ночной тишине, к удивлению сонных сторожей. Случалось, что хмурый прохожий останавливался предо мной и спрашивал:

— В чем дело?

Сконфуженный, я убегал от него, а он, глядя вслед мне, наверное, думал: пьян мальчишка!

Дома я рассказывал матери о том, что видел. Меня мучило желание передать ей хоть малую частицу радости, наполнявшей мое сердце. Я говорил о Медее, Язоне, Катерине из "Грозы", об удивительной красоте людей в театре, передавал их речи, но я чувствовал, что все это не занимает мать, непонятно ей.

— Так, так, — тихонько откликнулась она, думая о своем. <...> При всем желании открыть для матери мир, очаровавший меня, я не мог сделать этого. И, наконец, я сам не понимал простейшего: почему — Язон, а не Яков, Медея, а не Марья? Где творится все это, кто эти люди? Что такое "золотое руно", Колхида?

— Так, так, — говорила мать. — А все-таки не надо бы тебе по театрам ходить. Опять отобьешься от работы. Отец и то все говорит, что ты ничего не делаешь. Я тебя, конечно, прикрываю, а ведь правда, что бездельник ты!

Я действительно ничего не делал и учился плохо. Когда я спрашивал отца, можно ли идти

в театр, он не пускал меня. Он говорил:

— В дворники надо идти, Скважина, в дворники, а не в театр! Дворником надо быть, и будет у тебя кусок хлеба, скотина! А что в театре хорошего? Ты вот не захотел мастеровым быть и сгниешь в тюрьме. Мастерские вон как живут: сыты, одеты, обуты...

Я видел мастеровых по большей части оборванными, босыми, полуголодными и пьяными, и я не верил отцу.

— Ведь я же работаю, переписываю бумаги, — говорил я. — Уж сколько написал!

Он грозил мне:

— Кончишь учиться, я тебя впрягу в дело! Так и знай, лоботряс!

А театр все более увлекал меня, и все чаще я скрывал деньги, заработанные пением. Я знал, что это нехорошо, но бывать в театре одному мне стало невозможно. Я должен был с кем-нибудь делиться впечатлениями моими. Я стал брать с собою на спектакли кого-нибудь из товарищей, покупая им билеты, чаще других — Михайлова. Он тоже очень увлекался театром, и в антрактах я с ним горячо рассуждал, оценивая игру артистов, доискиваясь смысла пьесы.

А тут еще приехала опера, и билеты поднялись в цене до 30 копеек. Опера изумила меня; как певчий, я, конечно, не тем был изумлен, что люди — поют, и поют не очень понятные слова, я сам пел на свадьбах: "Яви ми зрак!" и тому подобное, но изумило меня то, что существует жизнь, в которой люди вообще обо всем поют, а не разговаривают, как это установлено на улицах и в домах Казани. Эта жизнь нараспев не могла не ошеломить меня. Необыкновенные люди, необыкновенно наряженные, спрашивая — пели, отвечая — пели, пели думая, гневаясь, умирая, пели сидя, стоя, хором, дуэтами и всячески!

Изумлял меня этот порядок жизни и страшно нравился мне.

"Господи, — думал я, — вот, если бы везде — так, все бы пели, — на улицах, в банях, в мастерских!"

Например, мастер поет:

— Федька, др-ра-атву! А я ему:

— Извольте, Николай Евтропыч!

Или будочник, схватив обывателя за шиворот, басом возглашает:

— Вот я тебя в участок отведу-у! А ведомый взывает тенорком:

— Помилуйте, помилуйте, служивый-й!

Мечтая о такой прелестной жизни, я, естественно, начал превращать будничную жизнь в оперу; отец говорит мне:

— Федька квасу!

А я ему в ответ дискантом и на высоких нотах:

— Сей-час несу-у!

— Ты чего орешь? — спрашивает он. Или — пою:

— Папаша, вставай чай пи-ить!

Он таращит глаза на меня и говорит матери:

— Видала? Вот до чего они, театры, доводят.

Театр стал для меня необходимостью, и роль зрителя, место на галерке уже не удовлетворяли меня, хотелось проникнуть за кулисы, понять — откуда берут луну, куда проваливаются люди, из чего так быстро строятся города, костюмы, куда — после представления — исчезает вся эта яркая жизнь?

Я несколько раз пытался проникнуть в это царство чудес, — какие-то свирепые люди с боем выгоняли меня вон. Но однажды я все-таки достиг желаемого — открыл какую-то маленькую дверь и очутился на темной, узкой лестнице, заваленной разным хламом, изломанными рамами, лохмотьями холста. Вот он — путь к чудесам!

Пробираясь среди этих обломков, я вдруг очутился под сценой, среди дьявольской путаницы веревок, брусьев, машин, все это двигалось, колебалось, скрипело. В этой путанице шмыгали люди с молотками и топорами в руках, покрикивая друг на друга. Пробираясь среди них, как мышь, я вылез на сцену, за кулисы и очутился во сне наяву — в

компании краснокожих, испанцев, плотников и взъерошенных людей, с тетрадами в руках. Хотя индейцы и испанцы разговаривали, как плотники, тоже по-русски, но это не лишало их обаяния, я разглядывал крашенные рожи и яркие костюмы с величайшим восторгом. Тут же, среди них, толкались настоящие пожарные в медных шлемах, а над головой моей на колосниках упражнялись в ловкости какие-то люди, напоминая балаганного Якова Мамонова. Все это произвело на меня чарующее впечатление, незабвенное во веки веков!

А вскоре после этого я уже участвовал в спектакле статистом. Меня одели в темный, гладкий костюм и намазали мне лицо жженой пробкой, обещав дать пятак за это посрамление личности. Я подчинился окрашиванию не только безбоязненно, но и с великим наслаждением, яростно кричал "ура" в честь Васко да Гама и вообще чувствовал себя превосходно. Но каково было мое смущение, когда я убедился, что пробку с лица не так-то легко смыть. Идя домой, я тер лоб и щеки снегом, истратил его целый сугроб и все-таки явился домой с копченой физиономией негра! Родители очень серьезно предложили мне объяснить, — что это значит? Я объяснял, но их не удовлетворило это, и отец жестоко выпорол меня, приговаривая:

— В дворники иди, Скважина, в дворники!

— Почему именно в дворники? — не раз спрашивал я себя [Шаляпин 1957, 55—59].

Искание истины

Во мне необычайно рано пробудился интерес к философским проблемам, и я осознал свое философское призвание еще мальчиком...

У меня с детства было сильное чувство призвания. Я никогда не знал рефлексии о том, что мне в жизни избрать и каким путем идти. Еще мальчиком я чувствовал себя призванным к философии. Под философским призванием я понимал совсем не то, что я специализируюсь на какой-то дисциплине знания, напишу диссертацию, стану профессором. У меня вообще никогда не было перспективы какой-либо жизненной карьеры и было отталкивание от всего академического. Я не любил сословия ученых, не переносил школьности, считал предрассудком условную ученость. Я так же плохо представлял себя в роли профессора и академика, как и в роли офицера и чиновника или отца семейства, вообще в какой бы то ни было роли в жизни. Когда я сознал себя призванным философом, то я этим сознал себя человеком, который посвятит себя исканию истины и раскрытию смысла жизни. Философские книги я начал читать до неправдоподобия рано. Я был мальчиком очень раннего развития, хотя и мало способным к регулярному учению. Я вообще всю жизнь был нерегулярным человеком. Я читал Шопенгауера, Канта и Гегеля, когда мне было четырнадцать лет. Я нашел в библиотеке отца "Критику чистого разума" Канта и "Философию духа" Гегеля (третья часть "Энциклопедии"). Все это способствовало образованию во мне своего субъективного мира, который я противопоставлял миру объективному. Иногда мне казалось, что я никогда не вступлю в "объективный" мир. Каждый человек имеет свой особый внутренний мир. И для одного человека мир совсем иной, чем для другого, иным представляется. Но я затрудняюсь выразить всю напряженность своего чувства "я" и своего мира в этом "я", не нахожу для этого слов. Мир "не-я" всегда казался мне менее интересным. Я постигал мир "не-я", приобщался к нему, лишь открывая его как внутреннюю составную часть моего мира "я". Я, в сущности, всегда мог понять Канта или Гегеля, лишь раскрыв в самом себе тот же мир мысли, что и у Канта или Гегеля. Я ничего не мог узнать, погружаясь в объект, я узнаю все, лишь погружаясь в субъект. Может быть, именно вследствие этих моих свойств мне всегда казалось, что меня плохо понимают, не понимают главного. Самое главное в себе я никогда не мог выразить [Бердяев 1990, 20, 43].

Сумасшедший ребенок

Я родилась у моря и заметила, что все крупные события моей жизни происходили у моря. Мое первое понятие о движении, о танце, несомненно, вызвано ритмом волн. <...> Я полагаю, что в детстве ясно проявляется все то, что каждому предстоит делать потом в жизни. Я всегда была танцовщицей, никогда не мирилась с каноном и с обычаем. <...> Когда мне было около шести лет, мать однажды, вернувшись домой, обнаружила, что я собрала полдюжины соседских ребят, рассадила их перед собой на полу и принялась учить их плавно размахивать руками. Когда она потребовала у меня объяснения, я сообщила ей, что это моя школа танца. Ей это показалось забавным, и, сев за пианино, она начала играть для меня.

Школа продолжала свои занятия и стала очень популярной. Некоторое время спустя в нее поступили маленькие девочки, жившие по соседству, а родители их платили мне за учение небольшую сумму. Так было положено начало тому, что впоследствии оказалось очень доходным занятием.

Когда мне исполнилось десять лет, классы настолько разрослись, что я заявила матери, что мне бесполезно дальше ходить в школу, так как это напрасная трата времени, в то время когда я могла зарабатывать, что я считала гораздо более важным. Я зачесала волосы на макушку и говорила, что мне шестнадцать лет. Так как я была очень высокой для своего возраста, мне все верили. Моя сестра Элизабет, которую воспитывала бабушка, позднее переехала жить к нам и стала мне помогать в работе. Наши классы приобрели известность, и мы стали давать уроки во многих домах состоятельнейших жителей Сан-Франциско. <...>

Моя мать развелась с отцом, когда я была грудным ребенком, и я никогда не видела его. Как-то, когда я спросила одну из своих теток, был ли у меня когда-нибудь отец, она ответила:

— Твой отец был дьяволом, погубившим жизнь твоей матери. После этого я всегда представляла его себе дьяволом из книги с картинками, с рогами и хвостом, и когда остальные дети в школе говорили о своих отцах, я хранила молчание.

Когда мне было семь лет, мы жили в двух совершенно необставленных комнатах на третьем этаже. Однажды я услышала звонок у входных дверей и, выйдя в переднюю, чтобы открыть дверь, увидела очень благообразного господина в высокой шляпе, который спросил:

— Не можете ли вы мне указать, как пройти в квартиру миссис Дункан?

— Я дочь миссис Дункан, — ответила я.

— Так ты моя Принцесса Мартышка? — сказал незнакомец. (Так называл меня отец, когда я была ребенком.)

И внезапно, подняв меня на руки, он покрыл меня слезами и поцелуями. Я была крайне изумлена его поступком и спросила его, кто он такой. Со слезами он ответил:

— Я твой отец.

Я пришла в восторг от этой замечательной вести и бросилась в комнаты, чтобы сообщать ее своей семье.

— Тут пришел человек, который говорит, что он мой отец. Моя мать встала очень бледная и взволнованная и, пройдя в следующую комнату, заперла за собой дверь.

Один из моих братьев спрятался под кровать, а другой укрылся за буфетом, между тем как с сестрой приключился жестокий припадок истерики.

— Скажи ему, чтобы он ушел, скажи ему, чтобы он ушел, — кричала она.

Я сильно удивилась, но, будучи очень вежливой девочкой, вышла в переднюю и сказала:

— Все нездоровы и не могут вас сегодня принять.

Тогда незнакомец взял меня за руку и попросил пойти с ним погулять.

Мы спустились по лестнице на улицу. Я бежала рысцой возле него в растерянности и восхищении от мысли, что этот красивый господин — мой отец и что у него нет рогов и хвоста, каким я себе всегда его рисовала.

Он привел меня в кондитерскую и до отвала накормил мороженым и пирожными. Я вернулась домой в состоянии неистовейшего возбуждения, но застала всю семью ужасно подавленной.

— Он прелестный человек и придет завтра, чтобы угостить меня еще раз мороженым, — сообщила я.

Но вся семья отказалась встретиться с ним, и вскоре он вернулся к своей второй семье в Лос-Анджелесе.

После этого я не видела отца в течение нескольких лет, но внезапно он опять появился. На этот раз мать достаточно смягчилась, чтобы встретиться с ним, а он подарил нам красивый дом с большими танцевальными залами, теннисной площадкой, гумном и ветряной мельницей. Мы были обязаны этим тому, что отец в четвертый раз нажил состояние. В своей жизни он трижды наживал состояние и целиком терял его. Четвертое состояние также иссякло с течением времени, и вместе с ним исчез дом и все остальное. Но несколько лет мы прожили в нем, и он был для нас тихой пристанью между двумя бурными путешествиями.

Я рассказываю кое-какие факты из истории моего отца, так как эти ранние впечатления оказали ужасное воздействие на мою последующую жизнь. С одной стороны, я читала и перечитывала сентиментальные романы, с другой — перед моими глазами был практический пример брака. Все мое детство, казалось, прошло под мрачной тенью этого таинственного отца, о котором никто не заговаривал, и ужасное слово "развод" запечатлелось на чувствительной поверхности моего разума. Не имея возможности ни у кого спросить объяснения этих вопросов, я пыталась разрешить их сама. Большинство прочитанных мной романов кончались браком и блаженным благополучием, о котором не стоило больше писать. Но в некоторых из этих книг, особенно в романе Джорджа Элиота "Адам Бид", была выведена девушка, которая не выходит замуж, ребенок, появляющийся, когда его не хотят, и ужасное бесчестие, падающее на бедную мать. На меня произвела глубокое впечатление несправедливость этого положения вещей для женщин, и, сопоставив ее с историей моих родителей, я решила раз и навсегда, что буду бороться против брака, за освобождение женщины, за право каждой женщины иметь ребенка или нескольких детей, когда ей этого захочется. Может показаться странным, что маленькая двенадцатилетняя девочка разрешает такие вопросы, но обстоятельства моей жизни сделали меня не по летам развитым ребенком. Я изучила законы о браке и пришла в негодование, узнав о рабском положении женщины. Я принялась пылливо вглядываться в лица замужних женщин, подруг моей матери, и заметила, что на каждом виднелись печать зеленоглазого чудовища ревности и клеймо рабыни. Я дала обет на всю жизнь, что никогда не опущусь до этого унижительного состояния. Я всегда хранила его, даже когда он стоил мне отчуждения моей матери и превратного понимания всего света. Одной из наилучших мер Советского правительства была отмена брака. Там двое людей расписываются в книге, а под подписью напечатано: "Эта подпись не возлагает никакой ответственности ни на одну из сторон и может быть аннулирована по желанию каждой из них". Такой брак является единственным соглашением, на которое может пойти всякая свободолюбивая женщина, и единственной формой брака, под которой я когда-либо поставила бы свою подпись. В настоящее время, я полагаю, мои идеи более или менее присущи каждой женщине со свободным разумом, но двадцать лет назад мой отказ выйти замуж и борьба за право женщины рожать детей вне брака, продемонстрированная на личном примере, создали значительные недоразумения [Дункан 1992, 8, 9, 11 —15].

Музыка, обернувшаяся Лирикой

Музыкального рвения — и пора об этом сказать — у меня не было. Виной, верней причиной, было излишнее усердие моей матери, требовавшей с меня не в меру моих сил и способностей, а всей сверхмерности и безвозрастности настоящего рожденного призвания. С меня требовавшей — себя! С меня, уже писателя — меня, никогда не музыканта. "Отсидишь свои два часа — и рада! Меня, когда мне было четыре года, от рояля не могли оттащить! "Noch ein wenig! [Еще немножко!]" Хотя бы ты раз, раз у меня этого попросила!" Не попросила — никогда. Была честна, и никакая ее заведомая радость и похвала не могли заставить попросить того, что само не просилось с губ. (Мать меня музыкой — замучила.)

Но и в игре была честна, играла без обману два своих положенных утренних часа, два вечерних (до музыкальной школы, то есть до шести лет!), и даже не часто оглядываясь на спасательный круг часов (которых я, впрочем, лет до десяти совершенно не понимала, — с тем же успехом могла бы оглядываться на "Смерть Цезаря" над нотной этажеркой), но как их глубоко зову — радуясь! Играла без матери так же, как при матери, играла, несмотря на соблазны враждовавшей с матерью немки и сердобольной няньки ("совсем дитя замучили!") и даже дворника, топившего печку в зале: "Пойди-ка, Мусенька, пробеги!" — и даже, иногда, самого отца, появлявшегося из кабинета, и, не без робости: "А как будто два часа уже прошли? Я тебя точно уж полных три слышу..." <...>

Нет, несмотря ни на какие соблазны, соболезнования и зовы — играла. Играла твердокаменно.

Жара. Синева. Мушиная музыка и мука. Рояль у самого окна, точно безнадежно пытаюсь в него всем своим слоновым неповоротом — выйти, и в самое окно, уже наполовину в него войдя, как живой человек — жасмин. Пот льет, пальцы красные — играю всем телом, всей своей немалой силой, всем весом, всем нажимом и, главное, всем своим отворачиванием к игре. <...>

— Нет, ты не любишь музыку! — сердилась мать (именно сердцем — сердилась!) в ответ на мой бесстыдно-откровенный блаженный, после двухчасового сидения, прыжок с табурета. — Нет, ты музыку — не любишь!

Нет — любила. Музыка — любила. Я только не любила — свою. Для ребенка будущего нет, есть только сейчас (которое для него — всегда). А сейчас были гаммы, и ганоны, и ничтожные, оскорблявшие меня своей малютчностью "пъески". ...Хорошо ей было, ей, которая на рояле могла все, ей, на клавиатуру сходящей, как лебедь на воду, ей, на моей памяти в три урока научившейся на гитаре и игравшей на ней концертные вещи, ей, с нотного листа читавшей, как я с книжного, хорошо ей было "любить музыку". В ней две музыкальных крови, отцовская и материнская, слились в одну, эти две-то ее всю и дали! И она не учитывала, что собственной, певучей, лирической, одностихийной, она сама же противопоставила во мне браком — другую, филологическую и явно континентальную, с ее кровью неслиянную — и не сливаюся.

Мать — залила нас музыкой. (Из этой Музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли — на свет дня!) Мать затопила нас как наводнение. Ее дети, как те бараки нищих на берегу всех великих рек, отродясь были обречены. Мать залила нас всей горечью своего несбывшегося призвания, своей несбывшейся жизни, музыкой залила нас, как кровью, кровью второго рождения. Могу сказать, что я родилась не *ins Leben*, а *in die Musik hinein* [Не в жизнь, а в музыку]. Все лучшее, что можно было слышать, я отродясь слышала (будущее включая!). Каково же мне было, после невыносимого волшебства тех ежевечерних ручьев (тех самых ундинных, лесноцаревых, "жемчужны струи"), слышать свое честное, унылое, из кожи вон лезущее, под собственный счет и щелк метронома "игранье"? И как я могла не чувствовать к нему отвращения? Рожденный музыкант бы переборол. Но я не родилась музыкантом. <...>

Бедная мать, как я ее огорчала и как она никогда не узнала, что вся моя "немузыкальность" была — всего лишь другая музыка! <...>

После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы. Но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из страха и для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого — всем было все равно, верней: только ей одной мое нестаранье было бы страданием — а страх, страх исчез от сознания, что ей оттуда (меня всю) видней... что она мне меня — такую, как я есть — простит?

Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать переставали, а потом уж и по-другому ахали. Я же молчаливо и упорно сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы — следы материнских морей — во мне навсегда остались.

Жила бы мать дальше — я бы, наверное, кончила Консерваторию и вышла бы неплохим пианистом — ибо данные были. Но было другое: заданное, с музыкой несравненное и возвращавшее ее на ее настоящее во мне место: общей музыкальности и "недюжинных" (как мало!) способностей.

Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать [Цветаева 1988, 88—91, 99, 103].

Обожани невесельно

Весной 1903 года отец снял дачу в Оболенском, близ Малоярославца, по Брянской, ныне — Киевской, железной дороге. Дачным соседом нашим оказался Скрябин. Мы и Скрябины тогда еще не были знакомы домами.

Дачи стояли на бугре вдоль лесной опушки, в отдалении друг от друга. На дачу приехали, как водится, рано утром. Солнце дробилось в лесной листве, низко свешивавшейся над домом. Расшивали и пороли рогожные тюки. Из них тащили спальные принадлежности, запасы провизии, вынимали сковороды, ведра. Я убежал в лес.

Боже и господи сил, чем он в то утро был полон! Его по всем направлениям пронизывало солнце, лесная движущаяся тень то так, то сяк все время поправляла на нем шапку, на его подымающихся и опускающихся ветвях птицы заливались тем всегда неожиданным чириканьем, к которому никогда нельзя привыкнуть, которое поначалу порывисто громко, а потом постепенно затихает и которое горячей и частой своей настойчивостью похоже на деревья вдаль уходящей чащи. И совершенно так же, как чередовались в лесу свет и тень и перелетали с ветки на ветку и пели птицы, носились и раскатывались по нему куски и отрывки Третьей симфонии или Божественной поэмы, которую в фортепианном выражении сочиняли на соседней даче.

Боже, что это была за музыка! Симфония беспрерывно рушилась и обваливалась, как город под артиллерийским огнем, и вся строилась и росла из обломков и разрушений. Ее всю переполняло содержание, до безумия разработанное и новое, как нов был жизнью и свежестью дышавший лес, одетый в то утро, не правда ли, весенней листвой 1903, а не 1803 года. И как не было в этом лесу ни одного листика из гофрированной бумаги или крашеной жести, так не было в симфонии ничего ложно глубокого, риторически почтенного, "как у Бетховена", "как у Глинки", "как у Ивана Ивановича", "как у княгини Марьи Алексеевны", но трагическая сила сочиняемого торжественно показывала язык всему одряхлело признанному и величественно тупому и была смела до сумасшествия, до мальчишества, шаловливо стихийная и свободная, как падший ангел.

Предполагалось, что сочинявший такую музыку человек понимает, кто он такой, и после работы бывает просветленно ясен и отдохновенно спокоен, как Бог, в день седьмой почивший от дел своих. Таким он и оказался.

Он часто гулял с отцом по Варшавскому шоссе, прорезавшему местность. Иногда я сопровождал их. Скрябин любил, разбежавшись, продолжать бег как бы силою инерции вприпрыжку, как скользит по воде пущенный рикошетом камень, точно немногого недоставало, и он отделился бы от земли и поплыл бы по воздуху. Он вообще воспитывал в себе разные виды одухотворенной легкости и неотягощенного движения на грани полета. К явлениям этого рода надо отнести его чарующее изящество, светскость, с какой он избегал в обществе серьезности и старался казаться пустым и поверхностным. Тем поразительнее были его парадоксы на прогулках в Оболенском.

Он спорил с отцом о жизни, об искусстве, о добре и зле, нападал на Толстого, проповедовал сверхчеловека, аморализм, нищезанство. В одном они были согласны — во взглядах на сущность и задачи мастерства. Во всем остальном расходились.

Мне было двенадцать лет. Половины их споров я не понимал. Но Скрябин покорял меня свежестью своего духа. Я любил его до безумия. Не вникая в суть его мнений, я был на его стороне. <...> Я уже и раньше, до лета в Оболенском, немного брэнчал на рояле и с грехом

пополам подбирал что-то свое. Теперь, под влиянием обожания, которое я питал к Скрябину, тяга к импровизациям и сочинительству разгорелась у меня до страсти. С этой осени я шесть следующих лет, все гимназические годы, отдал основательному изучению теории композиции, сперва под наблюдением тогдашнего теоретика музыки и критика, благороднейшего Ю.Д. Энгеля, а потом под руководством профессора Р.М. Глиэра.

Никто не сомневался в моей будущности. Судьба моя была решена, путь правильно избран. Меня прочили в музыканты, мне все прощали ради музыки, все виды неблагодарного свинства по отношению к старшим, которым я в подметки не годился, упрямство, непослушание, небрежности и странности поведения. Даже в гимназии, когда на уроках греческого или математики меня накрывали за решением задач по фуге и контрапункту в разложенной на парте нотной тетради и, спрошенный с места, я стоял как пень и не знал, что ответить, товарищи всем классом выгораживали меня и учителя мне все спускали. И, несмотря на это, я оставил музыку.

Я ее оставил, когда был вправе ликовать и все кругом меня поздравляли. Бог и кумир мой вернулся из Швейцарии с "Экстазом" и своими последними произведениями. Москва праздновала его победы и возвращение. В разгаре его торжеств я осмелился явиться к нему и сыграл ему свои сочинения. Прием превзошел мои ожидания. Скрябин выслушал, поддержал, окрылил, благословил меня.

Но никто не знал о тайной беде моей, и скажи я о ней, никто бы мне не поверил. При успешно подвинувшемся сочинительстве я был беспомощен в отношении практическом. Я едва играл на рояле и даже ноты разбирал недостаточно бегло, почти по складам. Этот разрыв между ничем не облегченной новой музыкальной мыслью и ее отставшей технической опорой превращал подарок природы, который мог бы служить источником радости, в предмет постоянной муки, которой я в конце концов не вынес.

Как возможно было такое несоответствие? В основе его лежало нечто недолжное, вызывавшее к отплате, непозволительная отроческая заносчивость, нигилистическое пренебрежение недоучки ко всему казавшемуся наживным и достижимым. Я презирал все нетворческое, ремесленное, имея дерзость думать, что в этих вещах разбираюсь. В настоящей жизни, полагал я, все должно быть чудом, предназначением свыше, ничего умышленного, намеренного, никакого своеволия.

Это была оборотная сторона скрябинского влияния, в остальном ставшего для меня решающим. Его эгоцентризм был уместен и оправдан только в его случае. Семена его воззрений, по-детски превратно понятых, упали на благодарную почву.

Я и без того с малых лет был склонен к мистике и суеверию и охвачен тягой к провиденциальному. Чуть ли не с родионовской ночи я верил в существование высшего героического мира, которому надо служить восхищенно, хотя он приносит страдания. Сколько раз в шесть, семь, восемь лет я был близок к самоубийству!

Я подозревал вокруг себя всевозможные тайны и обманы. Не было бессмыслицы, в которую бы я не поверил. То на заре жизни, когда только и мыслимы такие нелепости, может быть, по воспоминаниям о первых сарафанчиках, в которые меня наряжали еще раньше, мне мерещилось, что когда-то в прежние времена я был девочкой и что эту более обаятельную и прелестную сущность надо вернуть, перетягиваясь поясом до обморока. То я воображал, что я не сын своих родителей, а найденный и усыновленный ими приемыш.

В моих несчастиях с музыкой также были виноваты не прямые, мнимые причины, гадания на случайностях, ожидание знаков и указаний свыше. У меня не было абсолютного слуха, способности угадывать высоту любой произвольно взятой ноты, умения, мне в моей работе совершенно ненужного. Отсутствие этого свойства печалило и унижало меня, в нем я видел доказательство того, что моя музыка негодна судьбе и небу. Под таким множеством ударов я поникал душой, у меня опускались руки.

Музыку, любимый мир шестилетних трудов, надежд и тревог, я вырвал вон из себя, как расстаются с самым драгоценным. Некоторое время привычка к фортепианному фантазированию оставалась у меня в виде постепенно исчезающего навыка. Но потом я

решил проводить свое воздержание круче, перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами [Пастернак 1986, 421—425].

Приподнялась вуаль моей судьбы

У моего отца было множество книг, и он предоставлял мне полную свободу читать их. В его библиотеке были книги и по классической филологии, античной истории и философии. Он занимался по ним в Оксфорде. Как правило, я не прикасался к ним. Но однажды, когда мне было восемь лет, любопытство толкнуло меня снять с полки маленькую черную книгу, на корешке которой стояло: "Кантовская теория этики". Это был абботовский перевод "Grundlegung zur Metaphysik des Sitten"; когда я начал читать ее, втиснув свое маленькое тело между книжным шкафом и столом, меня охватили странные эмоции. Сначала — сильное возбуждение. Я почувствовал, что книга говорит что-то чрезвычайно важное о предметах, имеющих для меня самое насущное значение, и любой ценой я должен это понять. Затем, испытав негодование, я осознал, что ничего не могу понять. Мне стыдно было признаться, что передо мной книга, в которой английские слова и грамматически правильные предложения, но их значение совершенно ускользало от меня. И, наконец, настала очередь третьего переживания, может быть самого странного из всех. Я ощутил, что содержание этой книги, хоть я и не в силах понять его, стало каким-то странным образом моим собственным делом, делом, касающимся меня лично или, скорее, делом моего будущего "я". Это переживание не было похоже на обычное мальчишеское "я стану машинистом, когда вырасту". Такого желания у меня отнюдь не было; если употреблять слово "хотеть", то ни в каком смысле я не хотел овладеть этикой Канта в будущем, когда подрасту.

И вместе с тем я чувствовал, будто приподнялась вуаль, открывающая мне мою судьбу.

После всего этого у меня возникло ощущение, что на меня возложена какая-то задача, характер которой я не мог точно определить. Единственное, что о ней можно было сказать, так это: "Я должен мыслить". О чем мыслить, я не знал. И когда, повинаясь этому приказу, я замолкал или же становился рассеянным в компании, искал одиночества для того, чтобы никто не мешал мне думать, я не мог бы, и теперь не могу сказать, о чем в действительности я думал. Я не задавал себе никаких определенных вопросов, не было никаких конкретных объектов, на которые направлялось бы мое мышление. Было только бесформенное и безадресное чувство интеллектуального беспокойства, как если бы я боролся с туманом.

Теперь я знаю, что именно так со мной бывает, когда я только приступаю к решению какой-нибудь проблемы. Пока я достаточно долго не занимаюсь ею, я не знаю, в чем она заключается. Я испытываю лишь какую-то неопределенную смятенность духа, чувство обеспокоенности чем-то, что я не могу определить. Я знаю теперь, что в тот момент где-то глубоко внутри меня появились первые ростки тех идей, которым я посвятил всю мою жизнь. Но всякий, кто наблюдал бы за мной тогда, посчитал бы, как считали и мои родители, что мною овладела лень и я утратил живость и быстроту мысли, которые так свойственны были мне в раннем детстве. Моей единственной защитой против подобных обвинений (поскольку я не знал и не мог объяснить, что произошло со мной) была скрытность. Я прикрывал эти "приступы" абстрактного мышления какой-нибудь физической деятельностью, достаточно пус-тяшной, чтобы не отвлекать моего внимания от внутренней борьбы, происходившей во мне. Я был ловким мальчиком и многое умел: катался на велосипеде, греб, хорошо знал парусное дело. Поэтому, когда меня одолевал такой приступ, я принимался за что-то очень интересное: выстраивал полки игрушечных солдатиков, бродил бесцельно по лесам или горам, целые дни проводил в своей парусной лодке, окруженный глубоким молчаньем природы. Было обидно, когда меня осмеивали за игру в солдатки, но и объяснить, почему я в них играю, было невозможно.

Заставила ли моего отца эта моя растущая "лень" отправить меня в школу, я не знаю. Во всяком случае он был слишком беден, чтобы платить за меня, и мои школьные счета (а впоследствии и счета Оксфорда) были оплачены щедростью одного нашего богатого друга.

Так в возрасте тринадцати лет я был зачислен в подготовительную школу. Я стал бороться со своими конкурентами за стипендию и познакомился с конвейером той фабрики, на которой многие люди из среднего класса должны зарабатывать свой хлеб в конкурсных экзаменах, начиная с того возраста, когда их сверстников, выходцев из рабочей среды, насильственно удерживает в школе закон, чтобы они раньше времени не появились на рынке труда. Я уверен, что друг моего отца столь же охотно заплатил бы за меня и двести фунтов в год, как он платил сто. Но для меня получение стипендии стало делом чести, хотя бы потому, что так оправдывались все расходы на меня. И даже если бы все это было не так, специализация, один из главных пороков английского образования, все равно не миновала бы меня. Призрак глупой перебранки семнадцатого столетия все еще бродит по нашим классным комнатам, заражая учителей и учащихся безумной идеей о том, что обучение может быть либо "классическим", либо "модерн". Я в равной мере был хорошо подготовлен для специализации в греческом и латинском языках, в истории и языках нового времени (я говорил и читал по-французски и немецки почти так же хорошо, как и на родном языке) или же в естественных науках. Ничто не дало бы моему уму лучшей пищи, чем изучение всех этих трех областей знания в равной мере. Но так как уроки моего отца дали мне значительно больше знаний в латыни и греческом, чем большинству мальчиков моего возраста, и так как я должен был специализироваться в чем-то, то я специализировался именно в них, решив изучить "классику" [Коллингвуд 1980, 323—325].

Киу - Сиу

В театре я побывал впервые четырех-пяти лет, и такое потрясение не смогло, конечно, пройти бесследно для такого впечатлительного человека, каким был я.

"Фра-Дьявол". Одно название чего стоило! Фррра-Дьяво-о-ол! "Фра-Дьяволо" была первая опера, которую я услышал в Большом театре.

Сам театр произвел на меня не меньшее впечатление, чем "Фра-Дьяволо". Весь стиль торжественно-помпезного театрального театра с капелдинерами в ливреях, золотые ложи, красный бархат кресел, роскошный занавес с огромными кистями, таинственный полумрак гаснущего фойе, когда начиналось действие, на цыпочках спешащая и опаздывающая публика, которую, священнодействуя, встречают и провожают в ложи и на места капелдинеры, — весь этот стиль и тон произвели на меня раз и навсегда неизгладимое впечатление.

Такой театр на всю жизнь занял для меня особое место, стал для меня олицетворением старинной театральнойности. Я сразу впитал в себя все очарование и блеск такого театра.

Я сидел у барьера ложи второго яруса, которую мы получили по контрамарке от пациентов отца, и мне казалось, что представление начнется из пустой, громадной центральной царской ложи. Я никак не думал, что поколеблется гладкая стена и что может исчезнуть замечательная картина на этой гладкой стене, на которой были изображены богини, нимфы, венки, цветы и пр. и пр. (тогда был расписной занавес в Большом театре). Но вот угасла люстра, зашевелилась протискивающимися людьми длинная коробка оркестра, на которую так интересно было смотреть сверху из ложи, полились оттуда разрозненные звуки, диссонансы, пиликанье скрипок и все звуки настраивающегося оркестра, я впился глазами в царскую ложу, меня насильно повернули лицом к сцене, загремел оркестр и я, пораженный, увидел, как волшебная стена с картиной взвилась вверх.

Сначала было очень интересно смотреть на раскрывшееся пространство, на таинственные своды, колонны, дворцы и деревья декораций, наблюдать движения поющих людей. Потом стало скучновато. Я все ждал Фра-Дьявола. Меня несколько развлекли таинственные разбойничьи сцены, которые в моих детских впечатлениях стали основой виденного.

В антрактах я уже развлекался, глядя на сидящих и прохаживающихся внизу людей, интересно блестела лысина генерала, сидевшего прямо под ложей в партере, и мне было любопытно смотреть, попадает ли бумажка из-под конфеты на лысину или нет.

В детстве меня с сестрой часто водили в Большой и Малый театры. Отцу туда доставали контрамарки знакомые артисты-пациенты. Из всего виденного мне понравился хор мальчиков в "Кармен", и я начал им даже что-то кричать из ложи, но тут меня под мой собственный ор бесповоротно унесли из театра.

Потом, я помню, долго жалел, что недоглядел оперы, в которой, по моим соображениям, должны были бодаться и драться быки между собой.

Меня настолько поразило водяное царство в "Садко", что я не хотел уходить после спектакля.

Поэтому мы с мамой задержались в ложе. Я хотел еще раз увидеть подводное царство. Вдруг занавес поднялся. Вот оно! Но странно, подводное царство вдруг поблекло и начало превращаться в свертывающиеся тряпки и складывающиеся декорации, среди которых двигались театральные рабочие.

"Вот видишь, — говорила мне мама, — все это царство не настоящее, сделанное, его складывают и убирают". Но я прекрасно помню, что я с этим не согласился, я не поверил. Все, что было сейчас на сцене, — это совсем другое, а то подводное царство, которое я видел, оно не могло превратиться в тряпки и по нему не могли ходить рабочие. Оно не могло быть разрушено! Оно, конечно, осталось там жить, оно существует там, оно есть! Оно есть и продолжает сейчас существовать таким, каким я его видел.

Мне понравилась "Лампа Алладина", которую я видел у Корша. Там проваливались сквозь землю, и пламя с дымом вырывалось в этом месте из-под пола сцены.

Я шел на "Снегурочку" в Малом театре и спрашивал: "А она растает по-настоящему? И я увижу, как она тает и исчезает?" "Ну, конечно", — отвечали мне. Тут я испытал разочарование и считал, что меня просто надули. Снегурочку обступил народ и потом ее уже не было видно. "Вот она и таяла в это время, ты просто не видел ее за народом", — говорил мне отец. "Нет, они нарочно ее закрыли. Мне это не нравится!"

Позднее мне очень полюбился в Малом театре "Дмитрий Самозванец". Помню, я всецело был на его стороне и очень жалел, что его авантюра не удалась. Может быть, это было потому, что его играл дядя Остужев, знакомый и пациент моего отца, мимо ног которого я старался лихо прокатиться на трехколесном велосипеде, как бы невзначай раскатясь в приемную.<...>

Не мудрено, что после всех этих зрелищных впечатлений я стал играть в "театр". Вернее, я просто открыл свой театр. Назвал я его "Киу-Сиу".

По-видимому, появившаяся в моей детской карта земных полушарий сыграла свою роль. Театр был назван по имени одного из Японских островов близ Формозы (нынешнего Тайваня). Думал ли я тогда, когда выводил кистью яркую афишу, что через сорок-пятьдесят лет мой остров уже превратится в настоящий театр — театр военных действий.

Яркая афиша была намалевана печатными • буквами, в разных красках и на ней значилось: театр "Киу-Сиу" — билеты продаются. Я взял у матери портняжное колесико с зубчиками, которым проводил по синим и розовым листочкам-билетикам, чтобы дырочками проходила линия контроля. Я хотел, чтобы все было всамделишное. Были даже номера стульев.

Афиши я хотел расклеить в передней и гостиной, где ждали больные. Как видите, я уже тогда понимал толк в рекламе. Этому воспротивились. Тогда я в избытке расклеил их в уборной.

Во всем представлении участвовал я один. Сначала давалась трагедия собственного сочинения. Действующими лицами были два героя: "Мирольф и Геруа". Имена эти я придумал сам. После трагедии я сам показывал туманные картинки через волшебный фонарь. Это было явным влиянием синематографа.

Монеты, вырученные за билеты, собирались в копилку, которая должна была быть разбита через некоторое время, когда соберется сумма, достаточная для покупки лошади. Я, как вы уже знаете, собирался быть извозчиком.

Как видите, я с детства не любил бесплатных мероприятий. Отец с матерью не

противились этому, по-видимому, только потому, чтобы не мешать моему темпераменту и порыву сделать все по-всамделишному. <...>

Знакомя меня и сестру с бессмертными творениями великих писателей, отец исподволь развивал во мне любовь к юмору. Он читал рассказы и наших современных юмористов: Аверченко, Тэффи — и английских: "Трое в одной лодке не считая собаки" Джеромом К. Джеромом, рассказы Джекобса и другие. Он сумел меня увлечь своей любовью к комическому и успел сводить и на Давыдова, и на Варламова, и даже повел меня, маленького мальчика, в сад "Аквариум" посмотреть на замечательного Сергея Сокольского и на французского эксцентрика Мильтона. С ним же я ходил на "Вампуку" в "Кривом зеркале" и на "Хор братьев Зайцевых". Так он показывал мне все, что было, по его мнению, интересно, художественно и примечательно в мире юмористики. Но и в самом раннем детстве юмор привлекал мое внимание. "Степка-растрепка", "Макс и Мориц" Буша, "Мышки-плутишки" с прекрасными живыми иллюстрациями нестригущихся мальчиков, мальчиков с длинными ногтями, везущих свой нос на тачке, до сих пор у меня в памяти. Такие книжки юмористического характера были моими любимыми книжками. <...>

Любовь к юмору, подогреваемая отцом, бурно росла и превращалась в страстное увлечение. В первых классах гимназии я забирал в библиотеке и "заглатывал" комплекты "Сатирикона" и "Будильника". Я отыскивал в библиотеке и знал всех юмористов вплоть до Лейкина, которого мы с отцом не очень любили. Появился новый "Сатирикон" для маленьких — журнал "Галчонок". Он стал любимейшей моей игрушкой. Особенно приятно было купить в газетном киоске свой, не библиотечный, новый номер журнала — свежий, заманчивый, пахнувший типографской краской. Появилась страсть и к другим журналам: к "Огоньку", к "Иллюстрированной копейке" и даже к "Синему журналу". С малолетства я уже знал, что "Сатирикон", "Галчонок" и "Синий журнал" — продукты одного и того же предприимчивого, ловкого издательства Корнфельдт, которое стало моим любимым издательством.

Я был объят журналистской и издательской страстью не меньше, чем во времена своего театра "Киу-Сиу". Я начал издавать свои журналы и, разумеется, свои собственные сочинения.

Я хотел, чтобы хотя бы один из всех мною издаваемых журналов печатался настоящим набором, в настоящей типографии, с настоящим тиражом. Игрушечный набор резиновых букв под названием "Гутенберг" меня не удовлетворял. Получалось не по-всамделишному. Я не верил матери, что такие типографские издания стоят безумных денег.

Я потащил ее в настоящую типографию, и только хозяин типографии смог убедить меня, что напечатание моих произведений для меня еще менее доступно, чем покупка лошади времен "Киу-Сиу". Однако страсть к журнальной деятельности надолго осталась у меня и, несмотря на то, что как раз в это время наступил мой спортивный период, я до самого окончания гимназии выпускал там журнал-газету "Разный род".

Это была юмористическая газета, откликавшаяся на всю гимназическую злобу дня. Серьезными там были только спортивные известия. В газете этой допускались некоторые вольности и даже фривольности, которые уже вошли в традицию этого "разного рода". Взрослым эта газета не показывалась.

Но к тринадцати-четырнадцати годам, в критическом в некотором отношении возрасте, все журналы, кроме "Разного рода" и ярко-красных и желтых обложек выпусков Пинкертонна и Холмса, все чтения, все увлечения театром и даже кинематографом — все было отброшено ради спорта [Ильинский 1961, 17—19, 25—26].

Желание выбрать

Мне было десять лет, когда мне в голову пришла странная мысль о необходимости скорейшим образом выбрать себе профессию. Возвращаясь мысленно к этому времени и роясь в ранних событиях моего детства, я могу теперь объяснить (хотя, может быть, только

частично) это желание найти себе в жизни дело: года за четыре до этого я совершенно случайно узнала, что у мальчиков есть что-то, чего нет у девочек. Это произвело на меня ошеломляющее впечатление, однако ничуть меня не обидело и не привело ни к зависти, ни к чувству обездоленности. Я, впрочем, очень скоро забыла об этом обстоятельстве, и оно — во всяком случае на поверхности — не сыграло роли в моем дальнейшем развитии, но, видимо, застряло в подсознании (или там, где ему полагается быть). В недетской силе едва сформулировавшегося желания иметь профессию "на всю жизнь", иметь что-то, что могло бы срастись со мной, как рука или нога, и быть частью меня, я теперь вижу некую компенсацию чего-то, чего я, как девочка, была лишена. Я искала не только самую профессию, но и акт выбора ее, акт сознательного решения, и этот акт вырос из неизвестного мне тогда тайника. <...>

Осуществление первого сильного желания выбрать, решить, найти, сознательно двинуть себя в избранном направлении дало мне на всю жизнь, как я понимаю, чувство победы не данной свыше, но лично приобретенной — не над окружающими, но над собой. И вот я написала на листе бумаги длинный список всевозможных занятий, совершенно не принимая во внимание того обстоятельства, что я не мальчик, а девочка, и что, значит, такие профессии, как пожарный и почтальон, собственно, должны были быть исключены. Между пожарным и почтальоном, среди сорока возможностей, была и профессия писателя (я не придерживалась строго алфавитного порядка). Все во мне кипело, мне казалось, что необходимо теперь же решить, в самом срочном порядке, кем я в жизни буду, чтобы соответственно с этим начать жить. Я смотрела в свой список, словно стояла перед прилавком с разложенным товаром: мир открыт, я вошла в него, ворохом рассыпаны передо мной его ценности. Даром бери! Все твое! Хватай, что можешь! Алфавитный порядок не совсем тверд в уме: мне не совсем ясен тот закоулок, где ять, твердый знак и мягкий знак играют с буквой ы в прятки. Но мир настезь открыт передо мной, и я начинаю лазать по его полкам и ящикам. <...>

Я хорошо помню то лето и поиски профессии. Я решила попробовать все, что возможно, и не терять времени, которым я всегда очень дорожила. Сначала вопрос встал: не быть ли акробаткой? Несколько дней я упражнялась в гимнастике, но мне это очень быстро надоело. Затем я обратилась к естественным наукам и, набрав в банку воды из пруда, целыми часами наблюдала за инфузориями. Но и это показалось скучно. Узнав, что есть люди, которые записывают народные песни, я взяла тетрадку и карандаш и отправилась вечером на дойку. Там девки пели: "Как сегодня горох, да и завтра горох, приходи, моя милая, подоивши коров". Записать было не трудно: песня была пропета раз двести, пока не передоили всех коров — а их было немало, потому что дед в эти годы жил главным образом продажей сливочного масла и голландского сыра, который выделялся тут же, в избе, называемой заводом. Но и фольклор не удовлетворил меня, и на меня нашло что-то вроде черной тучи. Я боялась, что меня подымут на смех, а вместе с тем было ясно: я должна была, не откладывая в долгий ящик, найти себе профессию. Я слонялась целыми днями по дому, по саду, по двору, упала в крапиву, была укушена гусем, рыдала на чердаке под кринолином, но профессия мне не являлась. В этом безутешном состоянии мне попала "Молитва" Лермонтова. Я переписала ее, подписала ее. Она утешила меня, мне показалось, что я ее сама сочинила. <,,...>

В темной русской ночи бывала особенная тишина. Она длилась, длилась, длилась, словно и не было ей начала и не будет конца. "И если ты в ней застрянешь со своими мечтами и надеждами, — говорила я себе, — то она затянет тебя, засосет, проглотит, эта беззвучность, эта неподвижность и бездыханность в саду, в доме и в полях, и так до горизонта". Я садилась на подоконник и думала, что, может быть, мне заняться лечением людей, или стать сельской учительницей, как поповы дочки, или пойти пахать, как Толстой, или научиться строить эти великолепные тесовые избы с геранью и петушками по карнизу, в которых я поселю потом Тимофея [мужика, посетителя деда] и его родственников. Я все продолжала выбирать себе профессию и никак не могла выбрать, а спросить совета было не у кого, потому что

человечество разделялось тогда для меня на две половины: доброжелатели, которые, по моему убеждению, понимали в этих делах еще меньше меня, и враги, которые ничего не могли посоветовать хорошего. <...>

Как я ни старалась уговорить [другого] деда позволить мне сидеть в углу кабинета, когда он принимает больных, он не соглашался на это. Сколько я ни говорила ему, что у меня свое кресло [в кабинете] у тверского деда, у которого от меня нет секретов ни с тимофеями, ни с саввами кузьмичами, он твердо говорил свое: "нет-нет" или "что за фантазии!". Но однажды я спряталась за штору и слышала, как дед принимал двух больных: одна была женщина средних лет с непонятной для меня болезнью, другой был мальчик с воспалением уха. Я вышла из-за шторы сама полубольная, решив, что, по крайней мере, я получила урок: медицина выпала из списка профессий, которые я то и дело пересматривала в уме, ища себе подходящую. Я и своих-то почек любить не могла, и интересоваться собственным средним ухом казалось мне совершенной бессмыслицей, а тут надо было говорить о чужих внутренностях. Меня наказали очень строго, объяснили, что визит к доктору есть секрет, охраняемый законом, и что я совершила преступление, за которое сажают в тюрьму. И мне вдруг страстно захотелось сесть в тюрьму, чтобы сейчас же убежать из нее на волю, доказав и себе, и другим, что я могу быть слепой, безрукой, безногой и преступной и все-таки жить, жить, жить! <...>

И вот, после долгих размышлений, в полном одиночестве и секрете, решение пришло ко мне. И тогда из меня хлынули стихи: я захлебывалась в них, я не могла остановиться, я писала их по два, по три в день, читала их самой себе, Даше, фрейлейн, родителям, знакомым, кому придется. Это суровое чувство профессии всю жизнь уже не оставляло меня, но в те годы оно, мне кажется, было не совсем обычным: ведь в десять лет я играла в игры, норовила увильнуть от приготовления уроков, стояла в углу, колупая штукатурку, — словом, была такой же, как и все дети, но рядом с этим жила постоянная мысль: я — поэт, я буду поэтом, я хочу водить дружбу с такими же, как я сама; я хочу читать поэтов; я хочу говорить о стихах. И теперь, смотря назад, я вижу, что мои две сильные и долгие дружбы были с такими же, как я, пишущими стихи, выбравшими для себя в жизни призвание, прежде чем войти в жизнь. [...] Я думаю, что писание стихов пришло ко мне совершенно естественно, от переполнения души, как у ранних романтиков. Если я когда-нибудь была романтиком, то именно в эти первые годы после того, как профессия была наконец выбрана. Начало, впрочем, было довольно позорно: восхитившись стихотворением Лермонтова "В минуту жизни трудную", я почувствовала, что расстаться с этим восторгом не могу, взяла чистую тетрадку, надписала на ней "Стихотворения" и аккуратно переписала в нее все двенадцать строчек. Оно привело меня в восхищение своей мелодией, и тут, девяти лет, я бессознательно почувствовала то единство формы и содержания, о котором люди до сих пор еще не перестали спорить. Содержание, если вспомнить меня ребенком, было мне совершенно чуждо: молитвы я знала, какие знать полагается, но они никогда не были для меня чудными, а святая прелесть чего-либо была совершенно непонятна. Но что это были за звуки! Минуты были трудные, и вместе с тем они все-таки были чудные, потому что в них чудной была грусть, которая играла в их "у". Созвучие живых слов пело и искрилось у меня в голове, и то, что Лермонтов признавался, что что-то в жизни было для него непонятно (как и мне самой), трогало меня до слез; и вместо того, чтобы плакать от сомнений, оказывается, можно было плакать после того, как их разрешишь, а "легко-легко" я умела чувствовать давно. И вот вся эта вдохновенная красота поселилась во мне, и я чувствовала, что "твержу наизусть" уже не молитву, а самого Лермонтова, с таким же чувством полноты и счастья, с каким он "твердил наизусть" какую-то молитву. Получался круг, где мы были с Лермонтовым вместе, — блаженный круг! Оказались позже и другие...

— Да это плагиат! — сказал отец, когда я похвасталась тетрадкой, и сейчас же объяснил мне это трудное слово. Но я чувствовала все совсем по-иному. Я могла пойти на небольшую уступку, в крайнем случае признать факт, что написали стихи мы с Лермонтовым вместе. <...>

После кражи из Лермонтова я стала самостоятельно писать стихи... Профессия теперь была выбрана. Помогли в последнюю минуту музы. Их было девять. О них я прочла в чудной книжке по мифологии. Выбор мой сузился. Я не спала ночь, и утром, когда поднялась температура, был вызван доктор. Я-то знала, что это не корь! Я-то знала, что это не свинка! Но я никому ничего не сказала. И не проспав вторую ночь, я утром в последний раз перечитала длинный реестр, составленный прошлым летом, который я всегда носила с собой, перечитала, и, уверившись наконец в том, что у меня нет ни к рисованию, ни к трагедии никаких способностей, я сделала свой выбор. Я разорвала реестр на мелкие кусочки, бросила их в весело трещавшую печку и началась та *vita nuova*, по которой я так томилась.

Это был детский кризис, который столько значил для меня. Теперь я знала, что мне надо делать, что я хочу делать. Теперь, когда начиналось вечерами "переполнение души", я уже знала, что надо ему поддаваться, и стук метронома и шелканье рифм целыми днями трещали у меня в мозгу и заползали в сны, дикий вел за собой великий, глубокий вел одинокий, и легкой поступью шли мне навстречу хорей и ямбы, когда я сидела в углу зеленого плашкоута и смотрела в синюю ледяную петербургскую ночь, где начиналась улица, где начинался город, Россия, мир и вся вселенная. И где мне уже не было обратного хода [Берберова 1996, 40—42, 45-46, 56, 68, 72].

Волнистая линия на белом листе

Итак — читал я много, и книги начинали заполнять ту пустоту, которая образовалась в моей жизни после рождения брата. На вопрос "Кем ты будешь?" мама обычно отвечала за меня: "Инженером, инженером! Самое лучшее дело". Не знаю, что именно привлекало маму к этой профессии, но я выбрал себе другую. Однажды мы ходили взад и вперед по большому залу <...>, мама с Валею на руках и я. Очевидно, мы разговаривали менее отчужденно, чем обычно, потому что я вдруг признался, что не хочу идти в инженеры. "А кем же ты будешь?" Я от застенчивости лег на ковер, повалился у маминых ног и ответил полупшепотом: "Романистом".

В смятении своем я забыл, что существует более простое слово "писатель". Услышав мой ответ, мама нахмурилась и сказала, что для этого нужен талант. Строгий тон мамы меня огорчил, но не отразился никак на моем решении. Почему я пришел к мысли стать писателем, не сочинив еще ни строчки, не написавши ни слова по причине ужасного почерка? Правда, чистые листы нелинованной писчей бумаги меня привлекали и радовали, как привлекают и теперь. Но в те дни я брал лист бумаги и проводил по нему волнистые линии. И все тут. Но решение мое было непоколебимо. Однажды меня послали на почту. На обратном пути, думая о своей будущей профессии, встретил я ничем не примечательного парня в картузе. "Захочу и его опишу", — подумал я, и чувство восторга перед собственным могуществом вспыхнуло в моей душе. Об этом решении своем я проговорился только раз маме, после чего оно было спрятано на дне души рядом с влюбленностью, тоской по приморской жизни, верным конем и маленькими человечками... Но я просто и не сомневался, что буду писателем [Шварц 1982, 95—96].

Жребий брошен

Я подрядился помощником к кантору, и по праздникам вся синагога и я сам ясно слышали мое звонкое сопрано.

Я видел улыбки на лицах усердно внимавших прихожан и мечтал:

"Пойду в певцы, буду кантором. Поступлю в консерваторию".

Еще в нашем дворе жил скрипач. Не знаю, откуда он взялся.

Днем служил приказчиком в скобяной лавке, а по вечерам обучал игре на скрипке.

Я пиликал с грехом пополам.

Он же отбивал ногой такт и неизменно приговаривал:

"Отлично!"

И я думал:

"Пойду в скрипачи, поступлю в консерваторию".

Когда мы с сестрой бывали в Лиозно, все родственники и соседи звали нас с собой потанцевать. Я был неотразим, с моей кудрявой шевелюрой.

И я думал: "Пойду в танцоры, поступлю..." — где учат танцам, я не знал.

Днем и ночью я сочинял стихи.

Их хвалили.

И я думал: "Пойду в поэты, поступлю..."

Словом, не знал, куда податься. <...>

Однажды в пятом классе на уроке рисования зубрила с первой парты, который все время щипался, вдруг показал мне лист тонкой бумаги, на который он перерисовал картинку из "Нивы" — "Курильщик".

Вот это да! Я чуть не упал.

Плохо помню, что и как, но когда я увидел рисунок, меня словно ошпарило: почему не я сделал его, а этот болван!?

Во мне проснулся азарт.

Я ринулся в библиотеку, впился в толстенную "Ниву" и принялся копировать портрет композитора Рубинштейна — мне приглянулся тонкий узор морщинок на его лице; изображение какой-то гречанки и вообще все картинки подряд, а кое-какие, кажется, придумывал сам.

Все эти работы я развесил дома в спальне.

Мне был знаком уличный жаргон, известен обиходный лексикон.

Но слово "художник" было таким диковинным, книжным, будто залетевшим из другого мира, — может, оно мне и попало, но в нашем городке его никто и никогда не произносил.

Это что-то такое далекое от нас!

И сам я никогда бы на него не натолкнулся.

Но однажды ко мне пришел в гости приятель. Обозрев картинки на стенах, он воскликнул: — Слушай, да ты настоящий художник!

— Художник? Кто, я — художник? Да нет... Чтобы я... Он ушел, оставив меня в недоумении.

И тут же я вспомнил, что действительно видел где-то в нашем городке большую, как у лавочников, вывеску: "Школа живописи и рисунка художника Пэна".

"Жребий брошен. Я должен поступить в эту школу и стать художником".

Тогда конец маминым планам сделать из меня приказчика, бухгалтера или, в лучшем случае, преуспевающего фотографа.

В один прекрасный день (а других и не бывает на свете), когда мама сажала в печку хлеб на длинной лопате, я подошел, тронул ее за перепачканный мукой локоть и сказал:

— Мама... я хочу быть художником.

Ни приказчиком, ни бухгалтером я не буду. Все, хватит! Не зря я все время чувствовал: должно случиться что-то особенное.

Посуди сама, разве я такой, как другие?

На что я гожусь?

Я хочу стать художником. Спаси меня, мамочка. Пойдем со мной. Ну, пойдем! В городе есть такое заведение, если я туда поступлю, пройду курс, то стану настоящим художником. И буду так счастлив!

— Что? Художником? Да ты спятил. Пусти, не мешай мне ставить хлеб.

— Мамочка, я больше не могу. Давай сходим!

— Оставь меня в покое.

И все-таки решено. Мы пойдем к Пэну. И если он скажет, что у меня есть талант, можно

подумать. Ну, а если нет...

(Все равно буду художником, думаю я про себя, но выучусь сам.) [Шагал 1994, 38-39, 56—57].

Самые счастливые

Музыку к спектаклям этого театра (Художественного) наш папа пишет по ночам, когда нас с Ниной укладывают спать и в доме становится совсем тихо.

Но мы не спим: притворяемся. Наш папа звучит так интересно! Его музыка нам про театр рассказывает. Вот из его комнаты несутся аккорды, его голос, снова аккорды. Папа говорит за артистов, пианино плачет, стонет...

А вот папин голос стал громким, страшным, музыка колючая, чужая, упрямая... Про кого она?

Утром папа сказал: про Анатэму. Он вроде черта. Зубы вперед, чтобы всех проглотить.

Пока папа про него музыку сочинял, Нина во сне даже кричала. <...>

Однажды к папе пришел скрипач, высокий, худой-худой. Волосы длинные, в разные стороны, черные-черные, одного глаза нет. А нос тоже худой, огромный, торчит, точно ему одному на этом лице даже страшно.

Папа сказал этому скрипачу ласково:

— Борис Львович! Мне бы хотелось, чтобы в картине кабачка вы поднялись из оркестровой ямы и сами на сцене "После плакать" сыграли. Вы бы не согласились?

Скрипач пожал плечами, но не отказался. Папа сел за пианино, Борис Львович достал скрипку. Я никогда не забуду этого впечатления горечи, силы, мольбы о помощи.

Конечно, тогда я не могла бы выразить это впечатление такими словами, но... у папы даже глаза стали мокрые после его игры — это помню. А я была поражена тем, что этот скрипач и папина музыка совсем одно и то же. <...>

Папина музыка к "Гамлету" — самая моя любимая. Только фанфар я боялась больше, чем Нина Анатэму. Мне никогда не говорили, о чем эта музыка, но когда я ее слушала, похоронная процессия почему-то всегда ползла в воображении... <...>

А потом начинается самое главное. Папа говорит:

— Сюрприз. За то, что наши девочки не хныкалки какие-нибудь, а хорошие товарищи, я написал для них оперу. За мной!

Мама, Нина и я выскакиваем из-за стола и бежим вслед за папой к пианино. Опера называется "Сказка о золотом яичке". Папа играет аккомпанемент и поет за деда, мама — за бабу, я — курочка (жили себе дед да баба, была у них курочка-ряба). Нина будет мышкой.

— Ну, Наташа, докажи, что ты у нас музыкальная: у курочки трудные интервалы.

Ничуть не трудные. Пою точно, с восторгом. Куд-куда с неожиданной нотой кверху в моем исполнении, по мнению мамы, очень напоминает соседскую курицу — высший комплимент!

Но елочные свечи Сулержицких стали совсем маленькими. Спать. Сладко спать, чтобы скорее было завтра. Папа обещал целое утро с нами репетировать "Сказку о золотом яичке". Я уже придумываю, как наклею на свой фартук "с крылышками" кружочки из коричневой бумаги — стану "курочка-ряба". Курятник сделаю себе за папиным диваном и появлюсь из-за него только на свою музыку — она вся во мне звучит.

Мы — самые счастливые! <...>

Но, кроме "выдумывания", мне рано и горячо захотелось учиться. Взрослые много знали, но всегда куда-то спешили. Зацепить их внимание, хоть ненадолго, выпросить "свое", а потом, ухватившись за нитку узанного, самой распутать клубок нового — это ли не самое интересное?! Лет пяти принесла родителям свою первую "нотную баюкательную". Печатные буквы и хвостовые ноты были "нарисованы" на листе криво разлинованной оберточной бумаги.

Долго и упорно перед этим "выспрашивала свое" у старших, но что-то сообразила и сама.

Родители сжалились, и папа объявил меня своей ученицей. Высшая награда! Теперь не успевал папа утром открыть глаза, как я уже была около его дивана и, пока он умывался, одевался, ел, жадно глотала его задания — простучать ритм одной песни, подобрать мотив другой, записать ноты третьей. Скоро эти полуигры переросли в занятия теорией музыки и сольфеджио. Когда после завтрака отец шел куда-нибудь по делу, я увязывалась его провожать, и он давал мне задачи по устному счету: какое число к какому прибавить, из того, что получится, что вычесть, на сколько разделить — и все в голове. Ответ один, когда дойдем до места. Позже, в гимназии на уроках арифметики, по устному счету соперниц не имела, а когда стала директором (это на меня рано навалилось), обчислить меня никому не удавалось.

Моя настойчивость, мое "хочу учиться играть на рояле" росло. Однажды по Б. Никитской улице к двухэтажному белому дому с вывеской "Музыкальный институт Е.Н. Визлер" зашагала девочка в шубе и капоре, в правой руке папина рука, в левой — мамина.

На экзамен привели много детей. Все старше меня. Я стараюсь держаться солидно, лет на восемь. Все время молчу. Родителей оставляют в передней, нас ведут в класс. Проверяют слух, ритм — все отвечаю верно. Моим родителям объясняют:

— Слух хороший, но пальцы слабые, лучше год подождать. Раздается оглушительный рев. Многие смеются. Маленькая девочка ревет низким, почти мужским голосом и повторяет:

— Это несправедливо, я все ответила.

Напрасно учительница просит меня замолчать. Может быть, Левка в "Miserere" согласен мириться с несправедливостью, а я ни в коем случае.

На пороге появляется директриса Музыкального института Евгения Николаевна Визлер, в синем платье с белыми кружевами, полная, важная.

Ору еще громче. Она уводит меня вместе с родителями в свой кабинет. Папа просит Евгению Николаевну еще раз меня проэкзаменовать.

В кабинете знаменитые музыканты, профессора: Е.В. Богословский и Марк Мейчик. Меня экзаменуют все трое. Слезы высыхают моментально, отвечаю на все вопросы точно — угадываю ноты, подбираю, пою.

— У нее низкое контральто, — с удовольствием говорит Евгения Николаевна, — она мне очень пригодится в хоре.

— А рояль? — спрашиваю я угрожающе.

Марк Мейчик заливается хохотом, а папа стискивает мне руку в знак того, что я чересчур осмелела.

— Мы примем вашу Наташу на испытательный срок и по фортепьяно, а на хор пусть она обязательно ходит в основную группу.

Счастливая, иду с родителями по улице домой.

— Высечь тебя мало, — весело говорит мама. — Взяла всех на горло.

— У меня контральто, — важно отвечаю я, и мы все смеемся [Сац 1984, 17—29, 31—33].

Художником я уже был

Кем я буду большим, я еще не решил, но всегда хотелось быть особенным, не таким, как все. Откуда это? Я не мог еще сравнивать, но что-то мне говорило, что и мой папа, и мама не такие, как все. Раз отец меня спросил: "Кем же ты хочешь быть?" Я сказал: "Ученым", а потом, подумав, — "путешественником" (последним я до известной степени и стал...). Мечты о дальних краях были уже моими самыми ранними детскими мечтаниями. Не стать ли мне моряком? Об этом, когда я стал старше, мы даже поговорили с папой серьезно. Но отец мечтал раньше всего сделать из меня образованного человека, "европейца", как он говорил, и мечтал, что я непременно пойду в университет (он сам, будучи молодым офицером, посещал петербургский университет в 1860-х годах, пока это не запретили офицерству). "А потом, — говорил отец, — ты сам выберешь себе дорогу".

Об университете тоже часто мне говорил мой дядя Федя, брат матери, который, по папиным словам, был "ученый", и это окружало его в моих глазах особым ореолом (вот почему и я хотел стать ученым). О том, чтобы стать художником, как-то не говорили, так как художником я уже был, как себя помню, — с тех пор как научился держать в руке карандаш. ...И тоже это было до известной степени наследственным.

Отец мой рисовал очень хорошо для любителя и с натуры делал отличные и точные рисунки. Я видел у него старый альбомчик, куда он зарисовывал во время путешествия в Туркестан (1869) разные типы и сценки. И мне, маленькому, он часто рисовал разные фигурки и рожи...

Когда отец заметил мою потребность к рисованию, он всячески старался ее поощрять, и у меня всегда было изобилие цветных карандашей и бумаги, а мои рисунки он с моего трехлетнего возраста стал бережно собирать и с их датой вклеивать в альбом, которых у него за мое детство накопилось несколько [Добужинский 1987, 25—27].

Внутреннее призвание

Когда меня спрашивали, как я стал скрипачом, автоматически отвечалось, что все было предрешиено еще до моего рождения. "Мои отец, мать, дед и даже прадед — все были скрипачами..." <...>

"Я — скрипач", — говорил я так, будто скрипка у меня в крови и была как бы членом нашей семьи. Я даже не задумывался над глубинным смыслом моих слов.

А ведь "я всегда был скрипачом" могло означать также, что кто-то все решил за меня. То есть я, получив в наследство музыкальный дар, просто подчинился предначертанному. Такое объяснение заманчиво, но не полно, а потому неудовлетворительно. <...>

В моей семье утверждают, будто Гидон уже в четырехлетнем возрасте брал палочки и изображал скрипача. Не исключено, что таким манером я старался привлечь внимание взрослых. Недавно я был свидетелем того, как ребенок специально дырявил ножницами свою одежду только потому, что ему казалось, будто взрослые уделяют ему недостаточно внимания. Может быть, палочкой-скрипкой мне хотелось вызвать расположение к себе? Ведь у них, у взрослых, всегда уйма дел, и времени на меня никогда не было. Но в чем я уверен — к моей "игре на скрипке" они относились весьма благосклонно. А может быть, это мое запрограммированное наперед "Я" уже начинало поиски инструмента, который принесет ему любовь и приблизит к взрослым, к их миру.

Во всяком случае, именно тогда родители решили (если допустить, что это не было решено задолго до моего рождения), что Гидону пора приступать к занятиям скрипкой. И теперь журналисты, как бы походя, пишут: "Он начал играть на скрипке, когда ему было четыре с половиной года". Заметим — пусть за палочки я взялся сам, но скрипку-то мне в руки вложили!

Трудно сказать, стала ли скрипка моим инструментом по воле родителей или же в силу дара свыше. Так или иначе, — выбор был сделан. Вопрос — был ли он добровольным?

В ту пору мне гораздо больше хотелось стать пожарником, трубчистом или официантом, подающим в ресторане десерты. Что теперь вспоминать... "Еще малым ребенком он начал играть на скрипке" — в этом есть что-то от легенды. Чтобы воплотить свою мечту, — мчаться по городу на пожарной машине, тушить огонь, спасать людей от верной смерти, — пришлось удовлетвориться самодельной бумажной каской... "Все это — ребячество", — говорили взрослые, которым было виднее. Стоящий передо мной выбор представлялся им единственным. Моя первая попытка взять в руки скрипку и извлечь из нее звуки была началом воплощения их мечты. <...>

Скрипка стала и главным и мучительным мотивом моего становления, именно благодаря ей я научился превращать в музыку и одиночество, и мечты, и душевные раны, и юмор. В ней я искал свой звук, свой голос, точнее говоря, свою музыку. <...>

Все больше приходил я к выводу, что должен, не щадя себя, развивать свой талант, чтобы

доказать, что звуки мои достойны того, чтобы их услышали. <...>

Мои нескончаемые попытки пробиться были... своего рода школой, в которой я учился бороться за место под солнцем. Они были также испытанием выносливости, воли и таланта. Я должен был убедить всех, что профессия, которую я выбрал не сам, стала моею, что меня не так-то уж легко сломать. Проще говоря, речь шла, не больше не меньше, о том, чтобы доказать моим родителям, моим школьным товарищам, моим друзьям, учителям, моей "возлюбленной" и, не в последнюю очередь, самому себе, что я достоин быть услышанным! [Кремер 1995, 15, 20—21, 80, 97, 125—126].

Шум славы

В следующий мой приезд в Москву, когда тетя была уже замужем за Черневским, я нашла себе новый источник радости. В кабинете у дяди все стены были уставлены книжными полками, и на этих полках были почти одни только пьесы. Когда все уходило из дома, кто на службу, кто куда, я оставалась одна в кабинете и часами читала пьесы. Чего только не прочла я там! Начиная от Шекспира и Островского и кончая водевилями Кони, Ленского и Каратыгина. Я до такой степени вошла во вкус драматургии, что на все происходившее кругом меня уже смотрела как на "действие", а на окружающих людей — как на "действующих лиц":

"С.А. Черневский — красивый старик, 56 лет.

Александра Петровна, — его жена, хорошенькая женщина, 28 лет" и т.д. <...>

В театре же, в буквальном смысле, и началась моя литературная карьера. Это было в 1888 году — мне было 14 лет. Отмечалось столетие со дня рождения М.С. Щепкина торжественным заседанием и спектаклем в театре Соловцова. Я написала стихи в память Щепкина, совершенно не предполагая дальнейшего. Но мой отец отдал эти стихи премьеру труппы, и тот прочел их со сцены. Я сидела в ложе — в своей гимназической форме с черным передником, и обомлела, услышав свое имя. Я слушала свои стихи как чужие, и они казались мне гораздо лучше того, что я написала! Я пылала и холодела... Артист кончил — и вдруг впервые в жизни я услышала те возгласы, которым впоследствии суждено было давать мне столько волнения и радости: "Автора, автора!" Со сцены объявили, что "автор гимназистка и потому на сцену выйти не может". Вызовы продолжались. Я старалась спрятаться в угол ложи — мне казалось, что все знают, что это я, и смотрят на меня: мне было жутко, и стыдно, и сладко, как бывает от первого поцелуя. Да это и был первый поцелуй моего будущего... Я ни с кем об этом даже не говорила, но ночью вспомнила эти минуты, и сердце мое билось и замирало. Отец напечатал мои стихи в газете "Киевское слово", и, таким образом, это было мое первое произведение, появившееся в печати [Щепкина-Куперник 1948, 44, 50—51].

Неверие

Меня часто спрашивают, когда я написал первое стихотворение, как родилась моя поэзия.

Попробую вспомнить. Однажды в раннем детстве — я только-только научился писать — я почувствовал вдруг сильное волнение и написал несколько строк, некоторые в рифму; слова выглядели странно, совсем не так, как в обычной речи. Я переписал их начисто и был во власти необычайного чувства, которого раньше не знал, — то ли тоски, то ли печали. Это были стихи, посвященные матери, — той, которую считал своей матерью, мачехе, ангелу-хранителю моего детства. Я не способен был судить о качестве своего первого произведения и понес стихи родителям. Они сидели в столовой и тихим голосом вели один из тех разговоров, которые непроходимее реки ложатся между миром детей и миром взрослых. Еще дрожа от первого прилива вдохновения, я протянул им бумажку. Отец рассеянно взял ее, так же рассеянно прочитал и не менее рассеянно вернул мне со словами:

— Откуда ты это переписал?

И они с матерью опять тихо заговорили о своих важных и недостижимых делах.

Вот так, кажется, и родились мои первые стихи, и так я получил первый пример небрежной литературной критики [Неруда 1980, 58].

Мокрый зоолог

Большинство сколько-нибудь стоящих биологов бывают обыкновенно зоологами или ботаниками чуть ли не с рождения, во всяком случае, с детских лет. И я был зоологом, как уже говорил, сколько себя помню. Я вообще детство проводил в различных, свойственных детскому и юношескому возрасту безобразиях — драках и прочее. А в свободное время сидел на диване с десяти томной "Жизнью животных" Брема. И все десять томов чуть ли не наизусть знал уже ко времени гимназии. В Бреме из патриотических соображений я заинтересовался фауной Российской империи в основном, а фауны заграничные меня меньше интересовали. А так как Российская империя целиком входила в палеарктическую область, то с зоогеографической точки зрения я интересовался палеарктической областью. Остальными же зоогеографическими областями пренебрегал и до сих пор пренебрегаю. Но, по детским годам и свойственным детскому возрасту интересам, я вначале-то интересовался не какими-то областями, а размерами животных. Выискивал в Бреме наидлиннейших и наитяжелейших китов, какого размера достигают слоны, и наоборот, самых маленьких млекопитающих: есть ли млекопитающие меньше мыши-малютки и так далее.

Тогда же определились у меня и некоторые интересы более специфические: я стал "мокрым" зоологом, то есть меня больше интересовали водная и прибрежная фауна, чем чисто сухопутная.

В связи с "Жизнью животных" Брема, в связи с рыборазводней Шелюжки, в связи с собственными аквариумами у меня, конечно, развился интерес и к собственным экскурсиям на водоемы, не только на Днепр, но и на малые реки и пруды, и сажалки, где я ловил всякую рыбную и нерыбную мелочь для своих аквариумов. Этим путем я привык к зоологическим экскурсиям, иногда довольно дальним, благодаря разумному отношению моего родителя к выращиванию собственного потомства: мне отец позволял после проверки любые, так сказать, пределы свободы. Дамский пол, взрослый конечно, протестовал против моего исчезновения на довольно опасные речки чуть ли не на целый день, а иногда и на часть ночи, боясь, что я утону. Как-то отец взял меня с собой на реку и еще до того, как я разделся, взял за задницу штанов и за шиворот, раскачал, бросил в реку и посмотрел, что будет. Я, как рыба, выплыл, в одежде еще раза два нырнул до дна, набрал там растений, вынырнул и вылез к нему благополучно с улыбающейся рожой. Он потом дамскому полу заявил, что он мне разрешает на любые пресноводные водоемы одному ходить, сколько мне вздумается и когда вздумается. И с тех пор я обрел (мне было тогда, наверное, лет 8) полную свободу экскурсирования в любых направлениях и с любыми целями.

Таким способом я подошел к зоологическим экскурсиям, и с аквариумов и "Жизни животных" Брема начались мои серьезные интересы в зоологии, а потом в естествознании вообще. Так же как с чтения, как за границей их называют, Толстоевского — Толстого и Достоевского — начались мои литературные интересы и кое-какие художественные интересы, которые потом развились довольно всерьез в области искусствоведения, главным образом живописи.

Теперь вот первые мои учителя зоологии уже всерьез. В Киеве, будучи гимназистом средних классов, я пристроился фуксом к только что организованной Днепровской биологической станции, которой заведовал тогда очень хороший зоолог Беллинг, доцент, молодой тогда, Киевского политехнического института. Я работал на станции таким мальчишкой-препаратором в свободное время, в свободное не только от официального учения, но и от ухода за моими аквариумными рыбами, от собственных экскурсий и так далее. Времени мне тогда не хватало, действительно не хватало. Потом-то, выросши, я увидел, что все взрослые обыкновенно врут, когда говорят, что не хватает времени. У большинства людей времени больше, чем надобно, особенно потому, что большинство людей не умеют оставаться одни, сами с собой, поэтому они тратят время на совершенные пустяки, а мне

действительно тогда еще, в детстве, не хватало времени из-за зоологии [Тимофеев-Ресовский 1995, 48—50].

Так получилось

Мы возвращались домой. Мама сразу же заговорила с тетей Валею про менку, про базар, про сахарин. Как же так? Мы впервые были в [устроенном немцами-оккупантами] кино, слушали музыку, видели актрису, которая пела, прекрасно танцевала... А они опять про свое. Это все мама — ничего ей не интересно. И тетю Валю подавляет, и мне не дает "оторваться от земли".

Ночью мне никто не мешал. Моя душа разрывалась от звуков музыки, новых странных гармоний. Это для меня ново, совсем незнакомо... Но я пойму, я постигну, я одолею! Скорее бы кончилась война. Скорее бы вернулся папа. Скорее бы услышать: "Не, Лель! Дочурка актрису будить, ув обязательном порядке! Моя дочурочка прогремит!" <...>

Наутро я встала с твердым решением: когда вырасту — обязательно буду сниматься в кино. <...>

Немцы вошли четко. Двое остались у наружных дверей. Двое пошли по комнатам, потом на кухню. Оба очень молодые, совершенно одинаковые, с мертвыми, бесцветными глазами. Я стояла перед мамой, упираясь затылком в ее худой, провалившийся живот. Они с ног до головы обшарили взглядом всех взрослых. Я смотрела на них со страхом, но и с огромным интересом. Что это за люди? Вроде люди... и не люди...

Эти двое между собой громко переговорили, потом что-то крикнули тем, кто стоял у входа. Услышали такой же громкий и четкий ответ, одновременно повернулись кругом и так же четко, чеканя шаг, вышли из нашей квартиры, оставив двери настежь.

Их действия, поведение произвело впечатление отрепетированного спектакля. Дочь и мать Мартыненко, тетя Валя, мама и я не двинулись с места, пока не услышали их шаги этажом ниже.

Все бросились по комнатам. А я осталась на кухне. Мне нужно было отдышаться, сообразить: что это? И страшно, и одновременно мучило любопытство: "Смогу ли я так же четко пройти и без остановки развернуться кругом, а потом так же четко пойти в другую сторону? А? Смогу? Ладно, потом попробую, не сейчас".

Пошла посмотреть, что они у нас в комнате наделали. И вдруг перед самой нашей дверью резко развернулась кругом, да еще пристукнула ногой об ногу. От выскочившей из комнаты мамы получила такую затрещину, такого "тэвхалю", как говорил папа, что в глазах темно стало. Тут я и успокоилась. И на маму не обиделась. Мама права. Но ведь я и сама этого не хотела! Так получилось [Гурченко 1982, 60, 80].

Прокофьев С.С. Материалы, документы, воспоминания. 2-е изд., доп. М., 1961. С. 27—28,36.

Марэ Ж. О моей жизни. М., 1994. С. 14—15, 21, 30, 41—43.

Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. М., 1994. С. 57.

Элиот Джордж — псевдоним английской писательницы Анн Мэри Эванс. Упомянутый Айседорой Дункан роман "Адам Бид" посвящен деревенскому быту.

В декрете о гражданском браке от 29 декабря 1917 г. говорится, что "Российская Республика впредь признает лишь гражданские браки"

В первые годы Советской власти в Книге записей браков Отдела записей актов гражданского состояния над подписями жениха, невесты и должностных лиц значилось: "Заявляем о добровольном вступлении в брак".

Эпизод происходит в период отсутствия в семье денег, когда квартира освещается только позаимствованными у друзей елочными свечами. Отец хвалит детей за то, что они стойко переносят отсутствие тепла и света.

ПЕРЕЛОМНЫЕ И РЕШАЮЩИЕ МОМЕНТЫ

Вся жизнь есть череда переходных, а подчас и экстремальных состояний. Что ведет ребенка через перипетии его детства, его жизни? Взгляд на другого как на свое отражение в зеркале? Боязнь не оправдать надежд или показаться смешным, неумелым, глупым? Радость от побед над самим собой? Или внешний успех в семье, в возрастной группе? Одобрение авторитетных старших или укрепление внутренних целей и планов? Облегчает ли эти переходы радость их преодоления или обременяет неизбежное для закаливания личности страдание?

Типичная ситуация: хроническое отставание от школьных занятий в результате болезни. Стимулом к исправлению положения в воспоминаниях А. Деникина явилось задетое самолюбие. Как только начинается серьезная работа, возникает и интерес, нелюбимый предмет "сдается", и занятия им начинают приносить удовольствие. Награда за труд не заставляет себя ждать.

В подобной ситуации оказался в школьные годы Карл Юнг. Болезнь тайно, подсознательно его устраивала, так как помогала отлынивать от учебы. Но вот случай (разговор, не предназначенный для его ушей, то есть не являвшийся нравоучительным) заставил ребенка взглянуть на свою жизнь со стороны и ужаснуться. Ребенок вступил в борьбу с собой и за себя и выиграл ее.

Чрезвычайно интересно описание случаев, когда ребенок сознательно ставит себе цель преодолеть свою слабость и дурные наклонности и добивается успеха. Здесь, как показывает история самовоспитания "Жана Марэ", важным стимулом оказывается взгляд на себя со стороны и осознание, что таким, каков он есть, подросток оставаться далее не может. Он противен окружающим}. Увидеть и почувствовать это дано не каждому. Но, пройдя через такое тяжелое открытие, ребенок начинает добиваться изменений в себе, соответствовать своему идеалу.

Отношение детей к собственным трудностям обычно переживается ими втайне от взрослых, дабы не подвергнуться насмешкам и поучениям. Есть дети, боящиеся любой трудности, вставшей на их пути, они не преодолевают ее, а стремятся от нее уклониться. Переломить себя растущему человеку очень непросто, но победа над собой приносит больше радости, чем, победа над другими. Она дает уверенность в себе и открывает путь к успешной дальнейшей борьбе с самим собой.

Жизнь детей включает в себя множество мелких, кажущихся незначительными событий. Но они подчас формируют характер. Анекдотичный случай, рассказанный И. Донской, по сути, иллюстрирует сложный процесс преодоления ребенком зависти. Осознание значимости для своего будущего характера пустячной детской игры, в которой предметом ревности были совершенно неожиданные для взрослого ценности, пришло к автору, конечно, позднее. Преодоление зависти через здравую оценку своих возможностей становится важным приобретением растущего человека.

Детям не всегда удается перейти рубикон, выдержать испытание, но важна и сама попытка, требующая подчас немалого мужества. Не каждой натуре свойственно удалство, не каждый обладает физической ловкостью. Тем не менее достойное поражение, пример которого приводит Ю. Олеша, накладывает благородный отпечаток на характер ребенка.

Одним из наиболее типичных "рубикинов" для ребенка является преодоление страха. Переживать страхи детям приходится часто, и их не так легко побороть (подробнее об этом см. гл. 5). Для мальчиков наиболее типично стремление преодолеть страх, чтобы ощутить себя настоящими мужчинами, чтобы завоевать право войти в группу старших сверстников или покрасоваться перед девочками. Упражнения юных "героев" в храбрости и ловкости часто бывают далеко небезопасны и оканчиваются плачевно. Победа над страхом требует больших усилий, но детская психика весьма гибка, она способна закаливаться, крепнуть в борьбе со страхом и побеждать его. Так или иначе, но память об одержанных над собой победах удерживает нечто очень важное в личности человека, определяет его психологический облик, степень его внутренней силы и настойчивости, глубину

самоуважения и спокойствие в общении с окружающим миром. Помощь взрослых в период детского кризиса неоченима, но все же "проживает" его ребенок сам, сохраняясь и развиваясь или искривляясь и пригибаясь.

Переходные моменты в жизни детей различного возраста во многом однотипны, но их разрешение всегда индивидуально. Эту индивидуальность и демонстрируют воспоминания. Они приоткрывают тайну тех внутренних движущих сил, которые помогают преодолевать трудности, комплексы, неудачи. Часто такая работа над собой начинается, когда ребенок осознает, что его ожидает крах. Осторожно подвести ребенка к такому пониманию — нелегкая задача педагога.

Важно не упустить момента перелома в самом ребенке, помочь ему укрепиться в его решимости преодолеть нечто нежелательное в себе.

Прислушаемся к мудрым словам Рабиндраната Тагора: "Ребенок подобен быстро текущему потоку: не следует приходить в отчаяние, если на его поверхности обнаруживаются какие-либо недостатки, ибо само его движение — лучшее противоядие от них. Опасность появляется лишь с застоем..." [Тагор 1965, 42—43].

Восхождение к Пифагору

В 1882 году, в возрасте 9 лет и 8 месяцев, выдержал экзамен в 1-й класс Вроцлавского реального училища.

Дома — большая радость. Я чувствовал себя героем дня. Надел форменную фуражку с таким приблизительно чувством, как впоследствии первые офицерские погоны. Был поведен родителями в первый раз в жизни в кондитерскую и угощен шоколадом и пирожными.

Учился я первое время отлично. Но, будучи во втором классе, заболел оспой, потом скарлатиной со всякими осложнениями. <...>

Несколько месяцев учения было пропущено, от товарищей отстал. Особенно по математике, которая считалась главным предметом в реальном училище. С грехом пополам перевалил через 3 и 4 классы, а в 5-м застрял окончательно: в среднем за год получил по каждому из трех основных математических предметов по 2} {

(по пятибалльной системе). Обыкновенно, педагогический совет прибавлял в таких случаях половинку, директор Левшин настаивал на прибавке, но учитель математики Епифанов категорически воспротивился:

— Для его же пользы.

Я не был допущен к переводному экзамену и оставлен в 5-м классе на второй год.

Большой удар по моему самолюбию. Не знал — куда деваться от стыда. Мать, видя мои мучения, сочинила для знакомых басню о том, что я оставлен в классе "по молодости лет". Знакомые сочувственно кивали головой, но, конечно, никто не верил.

То лето я провел в качестве репетитора в деревне. Работы с моими учениками было немного, и все свободное время я посвятил изучению математики. Имел терпение проштудировать три учебника (алгебры, геометрии и тригонометрии) от доски до доски и даже перерешал почти все -помещенные в них задачи. Труд колоссальный. Вначале дело шло туговато, но, мало-помалу, "математическое сознание" прояснилось, я начинал входить во вкус дела; удачное решение какой-нибудь трудной задачи доставляло мне истинную радость. Словом, к концу лета я с юношеским задором сказал себе:

— Ну, Епифаша, теперь поборемся!

Учитель Епифанов был влюблен в свою математику и всех не знающих ее считал дураками. В классе он находил всегда двух-трех учеников, особенно способных к математике, с ними он занимался особо, становясь совсем на товарищескую ногу. Класс дал им прозвание "пифагоров". "Пифагоры" были на привилегированном положении: получали круглую пятерку в четверть, никогда не "вызывались к доске" и иногда только, когда Епифанов чувствовал, что класс плохо понимает его объяснения, приглашал кого-нибудь из "пифагоров" повторить. Выходило иногда понятнее, чем у него... Во время заданной

классной задачи "пифагоры" усаживались отдельно, и Епифанов предлагал им задачу много труднее или делился с ними новинками из последнего "Математического журнала".

Класс относился к "пифагорам" с признанием и не раз пользовался их помощью.

Первая классная задача после каникул — совершенно пустяковая... Решаю в 10 минут и подаю. Прислушиваюсь, что говорится за пифагоровской скамьей:

— В прошлом номере "Математического журнала" предложена была задача: "определить среднее арифметическое всех хорд круга". А в последнем номере значится, что решения не прислано. Не хотите ли попробовать...

"Пифагоры" взялись за решение, но не осилили. Я тоже заинтересовался задачей. Мысль заработала... Неужели!?! Красный от волнения, слегка дрожавшими руками я подал лист Епифанову.

— Кажется, я решил...

Епифанов прочел, ни слова не сказав, прошел к кафедре, развернул журнал и поставил так ясно, что весь класс заметил, пятерку.

С этого дня я стал "пифагором" со всеми вытекающими из сего последствиями — почета и привилегий.

Я остановился на этом маловажном, со стороны глядя, эпизоде, потому что он имел большое значение в моей жизни. После трех лет лавирования между двойкой и четверкой, после постоянных укоров родителей, вынужденных и вымученных объяснений и уколов самолюбию — дома и в школе — в моем характере проявилась какая-то неуверенность в себе, приниженность, какое-то чувство своей "второсортности"... С этого же памятного дня я вырос в собственных глазах, почувствовал веру в себя, в свои силы и тверже и увереннее зашагал по ухабам нашей маленькой жизни.

В 5-м классе, благодаря высоким баллам по математике, я занял третье место, а в 6-м весь год шел первым [Деникин 1990, 20—23].

Я избавлюсь от обмороков!

Когда мне было двенадцать лет, произошли события, отчасти определившие мою дальнейшую судьбу. Однажды ранним летом 1887 года я вышел из школы на соборную площадь и стал поджидать одноклассника, с которым обычно вместе возвращался домой. Было двенадцать часов, уроки закончились. Внезапно другой школьник сбил меня с ног. Я упал, ударившись головой о тумбу так сильно, что на миг потерял сознание. В течение получаса потом я чувствовал легкое головокружение. В момент удара в моей голове вспыхнула мысль: "Теперь тебе не придется больше ходить в школу". Я был лишь наполовину в обмороке, но оставался лежать гораздо дольше, чем это было необходимо, главным образом затем, чтобы отомстить моему обидчику. После меня подняли и отвели в дом неподалеку, где жили две мои пожилые незамужние тетки.

С того времени у меня начинались головокружения, как только родители посылали меня в школу или усаживали за уроки. Я не ходил в школу больше шести месяцев, что было мне на руку, — я мог ходить везде, где хочу, я мог гулять в лесу или у реки, я мог рисовать. Я снова стал рисовать войну, старинные замки, пожары и штурмы, иногда целые страницы я заполнял карикатурами. (По сей день, перед тем, как заснуть, у меня перед глазами проносятся эти ухмыляющиеся маски. Иногда я видел среди них лица людей, которых знал и которые умирали вскоре после этого.) Но все чаще я погружался в таинственный мир, которому принадлежали деревья, вода, и камни, и звери, и отцовская библиотека. Я все дальше уходил от мира действительного и по временам чувствовал слабые уколы совести. Я растрачивал время в рассеянии, чтении и играл. Я не становился счастливее, но у меня было неясное чувство, что я ухожу от себя.

Я совершенно забыл, как все это началось, но мне стало жалко испуганных родителей, которые уже стали консультироваться у всякого рода докторов. Те, почесав затылки, отправили меня на каникулы к родственникам в Винтертур. В этом городе была же-

лезнодорожная станция, что привело меня в бесконечный восторг. Но я вернулся домой, и все пошло по-прежнему. Один доктор решил, что у меня эпилепсия. Я знал, как выглядят эпилептические припадки, и про себя смеялся над этой чушью. Но родителям было не до смеха. Однажды к отцу зашел его приятель. Они сидели в саду, а я из любопытства подслушивал, спрятавшись за кустом. Я слышал, как гость спросил отца: "Ну как дела у вашего сына?" "А, это печальная история, — ответил отец, — доктора уже не знают, что с ним. Они думают, что это эпилепсия. Было бы ужасно, если это так. Я потерял свои небольшие сбережения, а что будет с мальчиком, если он не сможет заработать себе на жизнь?"

Я был как громом поражен. Это было мое первое столкновение с реальностью. "Что ж, значит я должен работать!" — подумал я. И с этого момента я стал серьезным ребенком. Я отполз от них, пошел в кабинет отца, достал свою латинскую грамматику и стал старательно зубрить. Спустя десять минут со мной случился самый сильный из моих обмороков. Я чуть не упал со стула, но через несколько минут почувствовал себя лучше и продолжал работать. "Черт подери, я не собираюсь падать в обморок", — сказал я себе. На этот раз прошло пятнадцать минут прежде, чем начался второй приступ. Он прошел так же, как первый. "А теперь ты снова будешь работать!" — приказал я себе, и через час наступил третий приступ. Тем не менее я не сдался и работал час, пока у меня не возникло ощущение, что я победил. Теперь я чувствовал себя лучше и приступы больше не повторялись. Теперь каждый день я сидел над грамматикой; несколько недель спустя я вернулся в школу, и у меня никогда больше не было головокружений. С этим было покончено навсегда! — Но таким образом я узнал, что такое невроз.

Понемногу я вспомнил, с чего все началось, и ясно увидел, что причиной всей этой неприятной истории был я сам. Поэтому я никогда всерьез не злился на толкнувшего меня школьника. Я знал, что он "предназначен" был сделать это, и весь эпизод от начала и до конца был мною срежиссирован. Но я знал также, что это больше не повторится. Я себя ненавидел — и еще — мне было стыдно. Я сам себя наказал, я выглядел дураком в собственных глазах. Никто кроме меня не был виноват. Я был проклят! — С тех пор меня безумно раздражала родительская заботливость и их жалостливый тон, когда речь шла обо мне.

Невроз стал еще одним моим секретом, и это был постыдный секрет. Это было поражение. Тогда же проявились во мне крайняя щепетильность и необыкновенное прилежание. И добросовестность моя была не только показной, мне необходимо было знать, что я чего-то стою, мне необходимо было быть добросовестным перед самим собой. Регулярно я вставал в пять утра, чтобы заниматься, и иногда я работал с трех до семи — до ухода в школу [Юнг 1994, 41—43].

Конь и мальчик

Они посадили меня на молодого жеребца с дурным характером. Этих двух мальчишек сместило, что у меня ничего не получается из верховой езды. Они хотели, чтобы я упал, чтобы лошадь сбросила меня, понеся, и чтобы я просто убился насмерть. Из всей езды моей на этом жеребце я помню только выбегающую буквально у меня из рук длинную узкую шею животного... Я съезжал то на один, то на другой бок. Седла не было, я сидел на остром хребте, причем страдал и оттого, что причиняю коню боль.

Два мальчика, один повыше, другой пониже — карапузик, но храбрый и мужественный, на лестнице героизма стоящий выше меня на много ступеней, бежали за мной, бежали по бокам, бежали впереди, ожидая, когда я свалюсь.

Жеребец понесся в сторону табуна. Табун виднелся мне в виде волнистой тени на горизонте. Ясно, он в конце концов сбросит меня. Я держусь, но не пора ли самому бежать с этого тела — чужого, ненавидящего меня, чувствующего мою слабость тела?

Как-то мне удалось сойти. Я сошел. Он тотчас же гордо отпрянул от меня, хлестнув меня

освободившимися поводьями, и унесся, разбрасывая землю, сверкая вдруг золотым крупом... Мальчики хохотали, мне было стыдно — я был не воин, не мужчина, трус, мыслитель, добряк, старик, дерьмо... Вот тогда, в этот закатный час в степи под Вознесенском, и определился навсегда мой характер [Олеша 1965, 29—30].

Борьба со страхом

Мои дни протекали в придунайском саду-огороде... Я пас лошадь... купался в Дунае, подолгу слушал рассказы мош ("дед", по-молдавски. — *Ред.*) Фокша. Какой это был чудесный старик... Однажды мош Фокша меня подвел. В одну августовскую ночь он сказал мне, что будет ночевать в нашем камышовом курене. Я остался с ним в саду. Но Фокша ушел "на минутку" и не вернулся до зари. Сколько пришлось мне пережить в эту темную ночь! Один во всем мире! Рядом сонно дышащий Дунай и шелестящий ветер. Сверху глядели звезды, золотыми гвоздями пробивавшие тучи. Что-то шуршало в траве совсем рядом — не то лягушки, не то змеи. Страх холодно расхаживал от макушки до пят и обратно. Ребяческое воображение рисовало чудовищные картины на фоне непроглядной тьмы. Ведь мне тогда было всего 8 лет. (Вообще я не отличался особой смелостью, был даже застенчив в детстве.) Подбодряя себя, я пел, бил по тьме арапником. Постепенно я поборол страх. Эта ночь мне помогла впоследствии преодолевать страх, учиться смелости в опасной обстановке [Буков 1959, 205—207].

Я боялся показаться смешным

Я был ребенком, которому хотелось нравиться. Для этого я притворялся храбрым, скрывая страх. Презирал своих трусливых товарищей и сам старался избавиться от этого порока.

Я начал с того, что стал спускаться в подвал, наводящий на меня ужас: ночью поднимался на темный чердак. Прыгал в бассейн в Пеке с десятиметровой высоты, забирался на крыши, на заборы и заставлял себя, когда никто не видит, ходить по ним, сохраняя равновесие. Заодно я избавился от головокружений.

Больше всего я боялся показаться смешным. Один товарищ рассказал мне, что у него три автомобиля и десять слуг. Я узнал в нем себя. Как и я, он пускал пыль в глаза. Он выглядел смешным. Значит, и я такой же. С этого дня я решил говорить правду. Начал с того, что стал врать "наоборот". Нас, скромную буржуазную семью, я превратил в бедняков. Мне было больно, но в то же время я испытывал своеобразное удовольствие.

С тех пор я стал бороться в себе со всем, что мне казалось стыдным или безобразным. Не по соображениям нравственности, а из желания нравиться, как женщина, которая с этой же целью пользуется косметикой. Как много людей, думалось мне, делают невозможное, чтобы казаться красивее внешне, но ведь в их власти измениться и внутренне.

Это было нелегко. "Монстр" противился, брыкался, заявлял о себе. К тому же исчезала моя слава смельчака и скандалиста. Товарищи подстрекали меня.

Я подружился с тихим и кротким мальчиком Жерменом. Добрый и скромный, он очень хорошо влиял на меня. Мы стали неразлучны. Начались злые намеки. "Монстр" вылез наружу и наказал клеветников.

В другой раз я избил мальчика, который сказал мне, что моя мать воровка. Нас пришлось разнимать. На этот раз я готов был его убить.

Я больше не воровал. А исцелился от этого, сам того не желая, вот как. Однажды в четверг я был в Париже. Мне давно хотелось иметь замшевую куртку. Я вошел в универмаг и украл ее. Мне было так страшно, что даже заныло в животе. Кроме того, я нигде не мог показаться в этой куртке. Домашние спросили бы, откуда она у меня. Короче, мне надо было бы хитрить и изворачиваться, чтобы носить ее. Но я избавился от куртки, подарив ее, — и перестал красть [Марэ 1994, 37].

Зависть

То, что в каждом человеке есть что-то особенное и нельзя быть с людьми небрежной, я поняла в далеком детстве, в восемь лет.

В нашем втором классе, как и всюду, были люди, пользующиеся особым уважением. Как сейчас бы сказали, "авторитеты".

Помню гибкого мальчика, который совершенно потрясаяще бросал издалека портфель так, что он как бы прилипал к крышке парты. Помню аккуратную спокойную девочку с открытым лицом в светло-синей, почти голубой форме. И фартуки у нее всегда были необычные, и вообще все. Так и хотелось подойти к ней и предложить почитать хорошую книжку или рассказать интересное кино.

И была девочка по фамилии Якубова, кажется, ее звали Оля.

Черненькая, слегка вьющиеся волосы вечно вылезали неаккуратными прядками. Обязательно что-нибудь расстегнуто или развязано.

С ней можно было не поздороваться, можно было ее толкнуть, проходя мимо, да много чего еще. А она — ничего, и все время на лице какая-то рассеянная полуулыбка.

Раздражала она меня. Я понимала, что это нехорошо, что я не права, и от этого раздражение только росло. Да и не только мне она не нравилась, я это чувствовала.

И вот однажды выяснилось, что эта самая Якубова Оля совершенно потрясаяще рисует.

Я и сама любила помарать бумагу и как-то очень здорово срисовала с книжки, как журавль вытаскивает кость у волка из пасти. Но то, что делала эта девочка...

Завидовала ли я ей?

Нет, не завидовала.

То, что есть случаи, когда завидовать бесполезно, я поняла еще раньше, лет в пять. И вот как это произошло.

Жили мы тогда в Комсомольске-на-Амуре. И решили у себя во дворе сделать куличики из песка. Песок у нас был, недавно завезли. А вот воды, чтобы сделать его мокрым, поблизости не оказалось. И мы решили пописать на песок, чтобы он стал мокрым.

Девочки, и я вместе с ними, присели на корточки. А мальчики, их было двое, чуть расставили босые ноги, приспустили трусики и уверенно пустили струйку прямо в приготовленные ямки.

Не знаю уж, как это получилось, но я впервые видела, как писают мальчики, хотя у меня и было два брата, младший из которых был старше меня на девять лет. А может, видела, да внимания не обращала. Ведь и Ньютон, наверное, с детства видел падающие яблоки.

В общем, я была потрясена. Я сразу представила, как можно это делать, небрежно отставив в сторону ногу, или держать в руке палочку и похлопывать по коленке и присвистывать при этом. Да мало ли...

А я должна полностью спускать трусики, поднимать подол платья, присаживаться в неудобной и даже унижительной позе. К тому же можно замочить трусики или платье, а если сильно перегнуться, чтобы увидеть, куда попадает, то брызги попадают на лицо, что очень неприятно. А еще бывало, что не удержишься, да и сядешь в свою же лужицу. Это уже совсем плохо было, потому что приходилось идти к маме, а там один разговор: "На улицу не пойдешь! Такие вещи надо делать дома". Да если за такой малостью домой бегать, так и гулять-то некогда будет!

В общем, как всегда: мальчикам — все, а мне — ничего. Меня возмущала несправедливость взрослых по отношению к девочкам. Чуть что не так — сразу: "Как тебе не стыдно, ты же девочка!" Или: "Ну ладно, они — мальчики. Но ты-то, ты — девочка, как ты могла!"

"Какая разница, — думала я, — девочка или мальчик. Почему им все можно, а мне — ничего?"

Например, мальчику покупали какую-нибудь шикарную машинку, на которую можно было встать ногой и кататься, как на самокате, а мне — целлулоидную кукольную голову, к которой мама пришивала самодельное туловище. И еще предлагали мне шить платье для этой куклы.

Или вот, например, соседскому мальчику отец сделал замечательный деревянный пистолет, а когда я попросила его сделать

мне такой же, он обидно захохотал. Пистолет я себе, конечно, добыла, но было обидно из-за несправедливости.

В общем, я твердо решила научиться писать стоя, как мальчики.

То, что никто из девочек нашего двора так не делал, меня не удивило. К девочкам я относилась равнодушно, даже пренебрежительно. Мне с ними было скучно. Могут целый день со своими куличиками просидеть, что за интерес? А если что не так сделаешь, — сразу затягивают противными голосами: "Биссо-о-о-вистная-я-а!" Я дразнила их: "Бессоусные, бессоусные!"

Настораживало меня другое: "Как-то все странно получается, — все мальчики могут, а никто из девочек не может". Немножко подумав, я решила, что просто мальчики, как более дружные, друг друга потихоньку научили. А девочек, как более вредных и капризных, учить не стали.

"Ничего, — думала я, мчась домой, — я вот сама научусь, ни у кого спрашивать не буду. Завтра вы все увидите..."

Придя домой, я сразу бросилась к помойному ведру. Дело в том, что "удобства" у нас были во дворе. Но мне, как самой маленькой, разрешалось делать "это" на горшок или в ведро.

Я спустила немного трусики, приподняла подол, уверенно и даже гордо выпятила живот и "спустила тормоза". О Боже! Никакой струи не получилось, все потекло по ногам, замочились трусики, и на полу появилась лужица.

Хотя я и была уверена, что у меня все получится сразу же, но неудача, к тому же первая, меня не обескуражила. Лужицу я размазала тряпкой по полу, трусики и сами высохнут, и я побежала играть.

Через некоторое время, подкопив силенок, я опять подошла к ведру. На этот раз я подготовилась основательно. Трусики я полностью сняла и положила на табуретку.

"Надо сначала так научиться, — решила я, — а уж потом, когда научусь, буду как они. А то в мокром ходить все-таки неприятно".

Я как могла широко расставила ноги, чтобы оказаться над ведром. Платье я задрала до подмышек. Так стояла я, пытаюсь одновременно выпятить как можно дальше низ живота и, прижимаясь подбородком к ключицам, заглянуть "туда", чтобы видеть, как это получится. Действия, между прочим, взаимно друг друга исключают.

В общем, как я ни пыжилась, ничего у меня не вышло.

Видимо, сильно меня это потрясло, если запомнилось на всю жизнь. И поняла я, что есть здесь какая-то тайна, секрет, который выведать у мальчиков будет очень непросто.

На всякий случай, я пересмотрела свое богатство и приготовила прекрасное самодельное деревянное ружье с черной веревкой, что-бы носить на плече, и машинку с тремя колесами, которую нашла в траве.

Но я понимала, что это мало поможет. Нравы тогда были простые, дружба ценилась очень крепко, а предателей не уважали. Так что, если тайна очень серьезная, то никакие подачки не помогут.

На следующий день, уже по моей инициативе, затеялись опять играть в куличики. И когда пригласили мальчиков для сырого песка, я стала внимательно наблюдать, как именно они все это делают. И я увидела, как все мальчики достали маленькие отростки из трусиков, и оттуда потекла водичка. Так просто все оказалось! Я ведь видела эти отростки у совсем еще маленьких мальчиков, которые голыми ходят. Так вот почему их "краниками" называют!

"А в сторону можешь?" — с завистью спросила я у одного из мальчиков. Он кивнул и чуть шелохнулся. Струйка описала плавный зигзаг. "Чего ты в сторону? В ямку давай!" — тут же закомандовали девочки. И мальчик послушно "дал" в ямку.

— А далеко можешь? — уже просто исходя завистью, не могла остановиться я.

— Могу.

— А на сколько?

— Метров, наверное, на пять или десять. А дальше не могу. Я же еще маленький, — рассудительно ответил тот.

Все. Я была раздавлена, уничтожена. Так вот отчего к ним такое уважение отовсюду. А я-то думала, что могу делать все, что и мальчишки. Им хорошо, они, если хотят, могут и сидя пописать, а я...

Помучилась, помнится, основательно. Но потом до меня дошло, что изменить ничего невозможно. Я поняла, что даже если каким-то чудом все мальчишки на земле лишатся "этого", то у меня "это" не появится все равно. Потому, что есть вещи, которые невозможно выменять, выпросить или забрать. А потому и завидовать бессмысленно.

Другое дело, если можно научиться. Помню, как-то в клубе, где показывали кино, сидел на полу мальчик лет семи, мой ровесник, и сосал большой палец правой ноги. Палец был порезан, и сосал он его, чтобы "кровь не пропадала". Время от времени мальчик выпускал палец изо рта, чтобы передохнуть, и тогда он выделялся ярким белым пятном на абсолютно черной босой подошве. И я весь фильм смотрела не на экран, а на того мальчика. Он так ловко, без напряжения, это делал! А я думала: "Вот это дает! Я так в жизни не сумею". Дома я, конечно, попробовала. Действительно не получилось. Но я поняла, что если хорошенько потренироваться, то научиться можно.

Так что я к Якубовой Оле зависти не испытывала совершенно. А испытывала я острейшее недовольство собой. "Ну ладно, другие, — думала я, — но я-то, я, такая, вроде бы умная и сообразительная, как я могла не сообразить, что это необычный человек, не уважала ее".

От малейших знаков внимания с моей стороны девочка буквально приклеилась ко мне. Она оказалась очень доверчивым и преданным человеком. Но мы так и не стали друзьями. Класс ее не любил, а идти против всех я, конечно же, не могла. [Донская 1996, 12—15].

Кишка тонка?! Дудки!

Приход весны я запомнил из-за одного мелкого события. Маршрут мой в школу пролегал через однопролетный деревянный мост, перекинутый над какой-то речкой... После ледостава пешеходы, дабы сократить путь, проложили тропинку по льду; она шла наискосок, чуть левее моста. С началом весны посреди речки во льду образовалась длинная трещина; первое время она была настолько узкой, что и взрослые, и дети переступали ее без труда, затем трещина превратилась в майну, и ее приходилось уже не перешагивать, а перепрыгивать. Однажды утром, держа путь в школу, я [возраста около 10 лет] остановился перед промоиной: она показалась мне опасно широкой. Постояв минутку, я пошел обратно на берег, чтобы перейти по мосту. Тут с моста послышался смех; смеялась незнакомая молодая женщина. Потом она крикнула что-то вроде "кишка тонка" или "мало каши ел" — без особой издевки, желая пошутить, а не обидеть. Я перешел на другой берег безопасным путем, чувствуя, что поступаю в общем-то правильно, — однако от этого утра у меня на весь день осталось какое-то неприятное, липкое ощущение. Я знал, что надо сделать, чтобы избавиться себя от этого ощущения, но сам себе не решался признаться, что знаю; ведь признаться себе в этом означало поставить вопрос на попа: или действовать — или бездействовать.

Ночью спалось мне плохо, поднялся я на следующее утро чуть свет и в школу отправился много раньше, чем обычно, соврав матери, что так приказала учительница. Когда подошел к речке и ступил на лед, кругом ни души не было. За сутки полынья стала шире, вода в ней казалась очень черной. Чтобы сжечь свои корабли, я перебросил через майну холщовую сумку с тетрадами и пеналом; теперь было бы совсем позорно и нелепо идти через мост, делать крюк, чтобы подобрать эту сумку. Я огляделся. Кругом по-прежнему царило безлюдье. Говорят, на миру и смерть красна, но это кому как: я чувствую себя смелее и собраннее, когда никто меня не подначивает. Разбежавшись, я перемахнул через черную воду; прыжок оказался что надо: приземлился сантиметрах в двадцати от края полыньи. За то микромгновенье, что я летел над водой, вся липкая неловкость, томившая меня со

вчерашнего дня, улетучилась, сгорела.

Эта махонькая победа над собой вызвала странную цепную реакцию.

Первым уроком в тот день была арифметика. Даже несложные задачки, которые нам задавали обычно, я решал с трудом, а то и вовсе не мог решить; примеры же с "голыми" числами, которые надо было складывать или вычитать в уме, давались мне легко, однако, подавленный своей общей неуспеваемостью, я никогда не поднимал руку, когда решал их. А тут, чувствуя в себе особенную бодрость, я вызвался решить у доски пример — и решил его быстро; затем учительница дала мне еще несколько примеров, постепенно увеличивая их численное значение, — все это я выполнил без труда. Учительница обрадовалась и в то же время, кажется, обиделась: почему это раньше я никогда не выходил к доске [Шефнер 1995, 508—510].

ТИРАНИЯ КАПРИЗА

Перечень капризов велик, каприз многообразен. Это и одномоментный акт бурного протеста, несогласия, требования, и регулярные домашние сцены с катанием по полу, ревом, криками и слезами.

Детские капризы омрачают жизнь в семье. Но, видимо, они случаются даже у весьма спокойных детей. Почему?

Неизбежные черты детства — слабость психики, быстрая утомляемость, защитная реакция бессильного. Некоторые случаи подобных капризов-истерик, когда ребенок начинает чего-то требовать, кричать, переходя все границы дозволенного, остаются в его памяти на всю жизнь. Авторы подобных воспоминаний часто затрудняются объяснить, в чем была причина "сцены", отчего вдруг "нашло" такое, ведь предлог был пустяковый. Возможно, детской психике, перегруженной эмоциональными впечатлениями, нужна подобная разрядка, а может быть, это следствие избалованности?

Каприз питается как внутренним состоянием ребенка, так и реакцией взрослых. Взрослые могут загасить каприз или раздуть его. Ребенок чутко воспринимает исходящие от них волны и немедленно реагирует. В эпизодах детства А. Швейцера и Е. Трубецкого хорошо раскрывается непростая психология плачущего малыша, который уже готов успокоиться, но сочувствие взрослых к его слезам вызывает их продолжение. Ведь приятно, когда тебя жалеют, но и стыдно за ломаемую комедию. Ощущения столь сильны, что банальный случай младенческих слез оказывается достойным того, чтобы быть внесенным в воспоминания.

Однако неумемные слезы ребенка могут быть вызваны его детским горем, которое взрослым представляется всего лишь мелочью и капризом. Е. Трубецкой вспоминает горе своего трехлетнего брата из-за того, что взрослые выбросили картонную коробку, которую он использовал вместо санок, и по этому поводу пишет: "...то, что представляется им (детям. — *Ред.*) горем, часто кажется нам, взрослым, достойным улыбки. Но надо перенестись в душу ребенка и понять, что даже то его горе, которое представляется взрослым пустяком, для него самое настоящее горе и он от него действительно тяжело страдает. Правда, утешается ребенок гораздо скорее взрослого, но зато всякую мелкую неприятность он воспринимает гораздо острее" [Трубецкой 1989, 13]. В таких случаях часто не строгость, а утешение оказывается благодатным. Пример тому дают нам воспоминания Л. Либединской, всю жизнь с благодарностью вспоминающей о проявленном "непедагогичной" бабушкой сочувствии к ее детскому горю.

Непослушание детей, воспринимаемое взрослыми так же, как каприз, может явиться следствием кипучей жизненной энергии ребенка. Или проявлением бурной радости, столь неугомонной, что она разрушает на своем пути все барьеры запретов. Такое поведение, описанное Т.Л. Сухотиной-Толстой, может быть даже опасным для здоровья, но оно — отрада и разрядка для детской души и досада для взрослых.

Каприз часто оказывается не только результатом переутомления, но и попыткой ребенка навязать старшим свою волю, утвердить свое "я". Это протест против насилия воспитателей

над детскими желаниями. И если ребенку путем упрямства и слез удастся "сломить" волю взрослых, то он пытается закрепить свою победу: он капризничает при каждом удобном случае. Ребенок может терроризировать взрослых своими выходками. Каприз — временное состояние, которое может стать постоянным.

Сальвадор Дали вспоминает, что его, родившегося после смерти брата, родители безбожно баловали. Это позволило ему установить над домашними настоящую тиранию капризов, подчас довольно жестоких. Как истинные тираны, дети мучат любящих их близких, запугивая их. Дали-мемуарист считает, что за всем этим домашним адом, устроенным им, стояла потребность привлекать "исключительное внимание к своей персоне".

На примерах многих воспоминаний видно, что финалом каприза часто является стыд и раскаяние. Его испытывают даже маленькие дети, чувствуя неблагоприятные истинные причины своего поведения. Этот стыд — мучительная расплата за капризы — оказывает серьезное влияние на самовоспитание ребенка. Эпизод из воспоминаний А. Мариенгофа, показывает, как четырехлетний ребенок уже готов настаивать на своем, чувствует, что может использовать родительскую любовь в своих интересах. Он еще не умеет ни ценить любовь, ни сдерживать свои порывы. Благоразумие у него в момент каприза полностью подавлено своеволием. Но все же стыд и раскаяние приходят, и печальное происшествие становится уроком на всю жизнь.

Капризничаящим детям приходится на своем опыте убеждаться, что упорство в неразумных требованиях и желаниях часто приводит к плачевному концу. В рассказанном К. Станиславским эпизоде победа в поединке капризника с отцом остается за ребенком, но это была пиррова победа. Примечательно, что ни угрозы, ни уговоры отца не могли остановить раскапризничавшего мальчика, заставить его "сдаться". Возымело действие лишь то, что отец выказал потерю уважения к сыну. В другом, рассказанном им же случае ребенок в своем упрямстве наказал себя сам, и взрослые благоразумно позволили ему увидеть самому неблагоприятные последствия каприза. Упрямство, то есть желание делать все по-своему, тоже выливается в капризы. К. Станиславский называет упрямство чертой своего характера, которое оказало "и дурное, и хорошее влияние" на его последующую жизнь. Дело в том, что упрямство хорошо в добром и плохо в дурном.

Дети, которых воспитывали в страхе и строгости, как видно, боялись привередничать перед родителями, но их протест все равно вырывался наружу в школе и приобретал форму шалостей и даже хулиганства. "Непрерывное истязание", которое один мемуарист терпел дома от отца, развили в нем "забитость и робость, качества, переходившие как-то иногда вдруг в какое-то безотчетное молодечество и дурь" [Орлов-Скоморовский 1921, 45]. М. Тенишева, девочкой, "забитой" суровой матерью, в школе стала отчаянной шалуньей: "Дело раз дошло до того, — вспоминает она, — что мы приколотили к полу учительскую калошу". Такое поведение она объясняет тем, что дошкольное ее детство было безотрадным. Скованная обстоятельствами, упорно притесняемая, запуганная, она вдруг почувствовала свободу, а с нею огромный прилив жизненной силы. "Просто мне захотелось жить, шалить и веселиться беззаботно" [Тенишева 1991, 30—31].

Шалость и озорство привлекательны для детей фактом преодоления как различных запретов, так и реальных препятствий. Ребенок как бы испытывает: а что будет, если..

Став взрослыми, те избалованные дети, которые мучили родителей своими капризами и упрямством, вспоминают с благодарностью о своих воспитателях и со стыдом — о своем поведении. Чего нельзя сказать о детях, которых притесняли родители. Капризы запомнились потому, что оставили раскаянье, а может быть, даже испуг от какой-то внутренней неуправляемой злой силы.

Постоянный диктат старших и беспрекословное выполнение их требований под страхом наказаний тяжелы для детей. И они бунтуют, часто неосознанно. Однако и противоположная крайность в воспитании — потворство взрослых — вредно и даже опасно. Как мы видим из воспоминаний, именно те дети, которым потакали во всех их желаниях, хотели получить еще большую свободу и устраивали родителям постоянные истерики.

Игорь Ильинский вспоминает, что его растили в духе "свободного воспитания", последовательницей коего была его мать. "Рассказывали мне, что я в детстве так орал, что соседи хотели заявить в полицию о том, что рядом в квартире, по-видимому, родители истязают ребенка. Само собой разумеется, что при "свободном воспитании" меня пальцем никто не трогал, и покуда это "свободное воспитание" заключалось в том, что я свободно орал во всю мочь" [Ильинский 1961, 12].

Все же в итоге "свободное воспитание" принесло благие плоды: «Взглядам "свободного воспитания" моей матери я должен быть очень благодарен, — пишет Ильинский. — Меня никогда ни к чему не принуждали и не насиловали. Разве только к лечению зубов. Да и то за каждый запломбированный зуб мне платили пирожным "безе". Во всей же моей детской жизни меня только направляли и как бы расставляли на моем пути полезные и интересные занятия, возможности увлечься какими-либо знаниями, искусствами и ремеслами. Конечно, там, где это было нужно, родителям моим приходилось все же педальировать и заставлять меня обучаться необходимому, как бы это ни было мучительно и канительно для них при данной мне "свободе"» [Там же, 15]. Однако далее И. Ильинский отмечает, что был еще "незрелым" в предоставленной ему родителями свободе, и к 13—14 годам "постепенно становился я несносным и нетерпимым подростком" [Там же, 27].

Капризничая, ребенок часто испытывает себя и взрослых на прочность. Если дитя чувствует, что его в семье уважают и с его справедливыми желаниями считаются, у него меньше поводов для капризов. Дети хорошо умеют отличать уважение от обожания, ценят первое и спекулируют на втором. Через заслуженный отпор капризу ребенка, не считающегося с желаниями своих близких, как показывает В. Иров, можно научиться уважать мнение других.

* * *

Изгнание няни

Во время великого поста мы с няней причащались по несколько раз в день. Церквей в Нижнем Новгороде, как сказано, было в досталь, и мы попевали в одну, другую, третью. В каждой съедали кусочек просфоры — это тело Христово — и выпивали ложечку терпкого красного вина. Оно считается его кровью. Да еще "теплоту". Опять же винцо.

Ах, как это вкусно!

И оба — старуха и ребенок — возвращались домой навеселе.

Родители, само собой, ничего об этом не знали. Это была наша сокровенная тайна! Человек в четыре года очень скрытен и очень расчетлив. Только наивные взрослые все выбалтывают во вред себе.

Я играю в мячик. Как сейчас его вижу: половинка красная, половинка синяя, и по ней тонкие желтые полоски.

Няня сидит на большом турецком диване и что-то вяжет, шевеля губами. Очевидно, считает петли.

Мячик ударяется в стену, отскакивает и закатывается под диван. Я дергаю няню за юбку: — Мячик под диваном... Достань.

Она гладит меня по голове своей мягкой ладонью:

— Достань, Толечка, сам. У тебя спинка молоденькая, гибкая!

— Нет, ты достань!

Она еще и еще гладит меня по голове и опять что-то говорит про молоденькую спинку. Но я упрямо твержу свое:

— Нет, ты достань. Ты! Ты!

Няня справедливо считает, что меня надо перевоспитать. Я уже не слышу и не понимаю ее слов, а только с ненавистью гляжу на блестящие спицы, мелькающие в мягких руках:

— Достань!.. Достань!.. Достань!..

Я начинаю реветь. Дико реветь. Делаюсь красным, как бочка пожарных. Валюсь на ковер, дрыгаю ногами и заламываю руки, обливаясь злыми слезами.

Из соседней комнаты выбегает испуганная мама:

— Толенька... Толюнок... Голубчик... Что с тобой? Что с тобой, миленький?

— Убери!.. Убери от меня эту старуху!.. Ленивую, противную старуху!.. — воплю я и захлебываюсь своим истошным криком.

Мама берет меня за руки, прижимает к груди:

— Ну, успокойся, мой маленький, успокойся.

— Выгони!.. Выгони ее вон!.. Выгони!

— Толечка, неужели у тебя такое неблагодарное сердце?

— Все теперь знаю. Ты любишь эту старую ведьму больше своего сына.

А простачки считают четырехлетних детей ангелочками!

— Толечка, родной, миленький...

Мама уговаривает меня, убеждает, пытается подкупить шоколадной конфетой, грушей дюшес и еще чем-то "самым любимым на свете". Но все это я отшвыриваю, выбиваю из рук и упрямо продолжаю поддерживать свое отвратительное "выгони!" самыми горячими слезами. Они льются из глаз, как кипяток из открытого самоварного крана.

Слезы... О, это мощное оружие! Оружие детей и женщин. Оно испытано поколениями в бесчисленных домашних боях, больших и малых.

— Выгони!.. Выгони!..

И что же?.. Мою старую няню — этот уют и покой дома — рассчитывают, увольняют за то, что она не полезла под диван, чтобы достать мячик для противного избалованного мальчишки.

Шутка ли: единственный сынок!

Прощаясь с ней, папа говорит:

— Спасибо вам, няня, за все. Простите нас.

И, поцеловав ее, дает "наградные". Три золотые десятирублевки.

Вероятно, многие считают, что угрызения совести — это не больше, чем литературное выражение, достаточно устаревшее в наши трезвые дни.

Нет, я с этим не могу согласиться!

Вот уже более полувека меня угрызает совесть за ту гнусную историю с мячиком, закатившимся под турецкий диван [Мариенгоф 1990, 25—27].

Э т о б ы л о н е п е д а г о г и ч н о

Мама вернулась из командировки в пять утра. Я знала, что она должна привезти мне подарок. Почему-то я была уверена, что она привезет огромную, в метр длиной куклу из папье-маше, изображающую туго спеленутого младенца — "пеленыша". "Пеленыш" продавался в маленькой нэпмановской лавчонке, множество которых располагалось в те годы внизу на Тверской улице.

Когда я обнаружила, что кукла не привезена, мною овладело такое отчаяние, какого, верно, не испытывал Николай Романов, потеряв престол Российской империи. Но самодержец переносил свое падение молча, а я огласила комнату визгливым воплем, перешедшим в продолжительный и оглушительный рев. Меня успокаивали, предлагали попробовать лакированный торт из битых белков — "кукурузу". Попытались влить в рот вале-риановые капли. Все было тщетно. Без "пеленыша" солнце не светило.

И тогда бабушка, надев пенсне и высокую, напоминающую цилиндр, черную бархатную шляпу, ни слова не говоря, исчезла из комнаты.

Как потом выяснилось из ее рассказов, она отправилась к владельцу лавочки, который жил возле своего скромного торгового заведения. Ей открыл заспанный старый еврей в нижнем белье и с включенной бородой.

— Что будет угодно мадам? — спросил он сухо, но с достоинством. — У вас кто-нибудь

болен? Лекарствами мы не торгуем.

— Мне нужна вон та кукла, что у вас на витрине, — как всегда величественно ответила бабушка, поблескивая стеклышками пенсне.

— Но разве нельзя купить куклу в девять часов, когда проснутся люди и откроются магазины? — с удивлением спросил владелец лавочки. Бабушка чувствовала справедливость его слов, но отступить было поздно. Отчаянный визг обожаемой и единственной внучки стоял у нее в ушах.

— Я прошу вас продать куклу. Это необходимо. Можно заплатить дороже.

— Зачем же дороже? Если мадам так рано покинула свое ложе (он так и сказал "ложе", и это слово почему-то обидело бабушку) и посетила меня, значит кукла действительно необходима мадам. Прошу вас, пройдите к магазину, я сейчас.

Когда бабушка вернулась домой, я еще продолжала кричать, и маме оставалось только тихо сетовать на то, что так скоро окончилась командировка.

"Пеленыш" у меня в руках...

Наверное, это было непедагогично — идти в магазин в шесть часов утра, будить старого человека и покупать куклу. Но как передать то счастье, которое испытывала я, держа в руках прохладное, пахнущее клеем и масляной краской тельце куклы? Я прижималась мокрой щекой к ее безразлично-жизнерадостному личику, целовала малиновые щеки и глазки неистойвой голубизны.

Как благодарна я бабушке за то, что она пренебрегла прописными истинами воспитания и доставила мне это счастье. Право же, иногда нужно забывать о педагогике и доставлять детям, да и взрослым, радость, — от счастья, а не от горя и поучений, люди делаются добрей и чище [Либединская 1966, 18—21].

Н а с л а ж д е н и е

Раз весной, в самую полую воду, мы пошли после завтрака гулять с Ханной.

Был один из тех опьяняющих мартовских дней, когда солнце светит изо всех сил, жаворонки так и звенят, далеко уносясь к ясному синему небу, снег наполовину уже сошел, а оставшийся сделался мокрым и рыхлым; когда только что открывшаяся из-под снега и пригретая солнцем земля тает и пахнет своим особенным здоровым и сильным запахом, когда тоненькие побеги новой зелененькой травки торопятся протянуть свои стебельки к солнцу, а на открытых к самому припеку бугорках появляются первые лохматые желтенькие цветочки.

В такие дни и голоса людей, и лай собак, пенье птиц, и журчанье воды громче, оживленнее и звонче раздаются в весеннем воздухе.

Мы с Ильей отличались тем, что в нас всегда было много той жизненной силы, которую англичане называют animal spirits и которая иногда так нами овладевала, что мы совершенно пьянели и теряли власть над собой.

Так было и в этот весенний день. Мы не слушались Ханны и носились, как выпущенные на волю жеребята, куда попало, не разбирая, где сухо, где мокро.

Наконец, мы попали на Ясенку. Это не то ручей, не то речка, которая протекает под нашим парком и которая летом почти совсем пересыхает. Теперь Ясенка вздулась, как настоящий поток, унося в своих грязных желтых волнах большие глыбы льда и снега.

Мы с Ильей побежали к Ясенке по мокрому снегу, под которым насыщенная водой земля хлюпала и щелкала от наших шагов. Подбежав к руслу реки, мы минутку подумали, а потом, ни слова не говоря, шагнули прямо в воду. Хотя на мне, так же как и на моих братьях, надеты были высокие смазные болотные сапоги, но тем не менее вода их залила. Ни капельки не смутившись, мы с Ильей пошли по руслу против ее течения.

До сих пор помню чувство наслаждения, которое я тогда испытала. Идя по руслу ручья, я часто оступалась в яму или водомоину. И тогда вода доходила почти до лица. Перегнувшись вперед, я шла против течения, чувствуя, как сильно вода толкала меня.

Встречавшиеся льдины ударялись мне в грудь, но я не чувствовала ни боли, ни усталости и шла вперед, как победительница.

Вылезая из воды, я почувствовала, как тяжела и холодна на мне моя одежда. Вода в сапогах хлюпала и при каждом шаге выливалась из голенищ.

Страшно и стыдно было показаться Ханне и родителям после такого преступления. Но удовольствие мое было так велико, что не находила в себе раскаяния от того, что я ослушалась своей любимой воспитательницы.

Мы не простудились и терпеливо вынесли наложенное нам за наше дурное поведение наказание. Три дня нам запрещено было ходить гулять. Мы сидели дома, но с наслаждением вспоминали свою прогулку [Сухотина-Толстая 1980, 80—82].

Запретный плод

За кухонным флигелем тянулся совсем заглохший сад, почему-то называвшийся "русским". Там была трава по пояс, стояли одичавшие груши и яблоньки, были густые заросли лесного ореха, за которым мы туда совершали походы. Яблоки же — дички и мелкие-мелкие, твердые, как картечь, груши нас не соблазняли; их полно было и на деревьях, и под ними. Но как-то кучеров сын Серёнька сказал нам таинственно, что у богаделок на чердаке пропасть яблок. Богаделки — старые княжеские горничные и приживалки — жили на кухонном дворе в отдельном домике. На чердаке, куда мы сейчас же забрались, лежали кучами дички — яблоки из русского сада; подвявшие и разогретые под накаленной солнцем железной крышей, они показались нам вкусными-превкусными. Потому прежде всего, что это был запрещенный плод, что надо было тайком забираться на чердак, тайком набивать карманы, пока не хватятся богаделки. А богаделки-таки хватились и принесли отцу жалобу на наши проделки. Досталось нам здорово! Мама боялась за наши животы, а отца возмущала наша неразборчивость: он привозил из города хороших груш и яблок достаточно, а мы воруем несъедобную кислятину. А того не брал в расчет, что хорошие яблоки давались нам просто — подошел и взял из вазы со стола, — а кислый и твердый дичок надо было раздобывать, обманывая бдительность зорких и злых старух. Это уж был спорт. Отец также привозил и конфет достаточно, и пряников, и орехов. А мы все-таки, подражая дворовым ребятишкам, собирали кости и тряпки, чтобы потом выменять их у кривого мужика, раза два в месяц заезжавшего к нам на двор, на конфеты, пряники и подсолнухи. Ну уж эти конфеты и пряники: одна мука и краска, даже почти без сахара! Однако с каким удовольствием мы их поедали! Прежде всего мы их добывали трудом: собрать достаточно костей и тряпок не так просто. А затем нам крепко-накрепко запрещено было собирать грязные тряпки, разрывая мусорные кучи и помойки, так же, как и есть эту дрянь, то есть крахмальные на клею пряники и паточные конфеты с краской нашего кривого старика. Но запрещенный плод сладок, какой бы он ни был гадостью! <...>

У одной папиной тетки, очень богатой, где мы, дети, никогда не бывали и где все нас теперь ошеломляло широтой и великолепием, я познакомился с мальчиком моих лет, даже чуть моложе, который, когда мы при помощи взрослых посчитались с ним родством, оказался мне дедушкой! При сложном и достаточно дальнем родстве это, оказывается, вещь вполне возможная. Мальчик был бледный, рыхлый, в очках, но, несмотря на свой вялый и солидный, старше своего возраста, вид, оказался отчаянным озорником и сквернословом. Я быстро подпал под его влияние, перенял от него многие шалости и тут же в саду и за обеденным столом, по его "подначке", как говорят теперь ребята, многие из них проделал, удивив своей неожиданной удалью хозяев и вызвав на свою голову изрядную нахлобучку уже потом, дома, за неумение вести себя в гостях. А ведь я далеко еще не выполнил всей его программы! Только дня через два я проделал самый замечательный трюк — "автоматическое запираение дверей". Этим способом можно запереть дверь изнутри, находясь самому снаружи, — если только она запирается на крючок. А делается это так: надо поставить крюк вертикально с чуть заметным наклоном вперед и прихлопнуть дверь посильнее: крючок

падает, попадает в петлю, и дверь "автоматически" заперта. Мой проказливый дедушка, поразивший мое воображение выдумками такого рода, рассказал все это на словах. Конечно, мне, изготавливавшему себе тогда всякие механические, самодействующие игрушки, загорелось привести эту механику в действие. У нас дома не оказалось подходящей двери, ни одна не запиралась на крючок. Дверь, подходящая для опыта, нашлась у бабушки в доме: она вела в уборную. Все произошло как по-писаному, то есть как растолковал мне мой юный дед: только дверь хлопнула — и крючок сейчас же звякнул о петлю. Я потянул ручку — дверь заперта! Вслед за первым моментом удовлетворения — опыт удался! — на меня напал ужас: что я наделал! Я притих, на цыпочках вернулся в бабушкину комнату. Сначала, с полчаса, все было спокойно. Я даже выглядывал в сени с надеждой: не открылась ли дверь как-нибудь сама. Но скоро поднялось беспокойство, а затем и настоящая паника среди старух. Предположили, что кому-нибудь там стало дурно; но, когда обошли комнаты и убедились, что все вдовы и сироты налицо, сразу почему-то решили, что это моя проделка. Выручила меня бабушка, выдумавшая для меня какое-то алиби, но потом, келейно, намылившая мне изрядно голову [Конашевич 1968, 113—116].

Упрямство

Как-то, в раннем детстве, во время утреннего чая, я шалил, а отец сделал мне замечание. На это я ему ответил грубостью, без злобы, не подумав. Отец высмеял меня. Не найдя, что ему ответить, я сконфузился и рассердился на себя. Чтобы скрыть смущение и показать, что я не боюсь отца, я произнес бессмысленную угрозу. Сам не знаю, как она сорвалась у меня с языка:

"А я тебя к тете Вере не пущу..."

"Глупо! — сказал отец. — Как же ты можешь меня не пустить?"

Поняв, что я говорю глупость, и еще больше рассердясь на себя, я пришел в дурное состояние духа, заупрямился и сам не заметил, как повторил:

"А я тебя к тете Вере не пущу".

Отец пожал плечами и молчал. Это показалось мне обидным. Со мной не хотят говорить! Тогда — чем хуже, тем лучше!

"А я тебя к тете Вере не пущу! А я тебя к тете Вере не пущу!" — настойчиво и почти нахально твердил я одну и ту же фразу на разные лады и интонации.

Отец приказал мне замолчать, и именно поэтому я четко произнес:

"А я тебя к тете Вере не пущу!"

Отец продолжал читать газету. Но от меня не ускользнуло его внутреннее раздражение.

"А я тебя к тете Вере не пущу. А я тебя к тете Вере не пущу!" — назойливо с тупым упрямством долбил я, не в силах сопротивляться злой силе, которая несла меня. Чувствуя свое бессилие перед ней, я стал ее бояться.

"А я тебя к тете Вере не пущу!" — опять сказал я после паузы и против своей воли, от себя не завися.

Отец стал грозить, а я все громче и настойчивее, точно по инерции, повторял ту же глупую фразу. Отец постучал пальцем по столу, и я повторил его жест вместе с надоевшей фразой. Отец встал, я тоже, и опять тот же рефрен. Отец стал почти кричать (чего с ним никогда не бывало), и я сделал то же, с дрожью в голосе. Отец сдержался и заговорил мягким голосом. Помню, меня это очень тронуло, и мне хотелось сдаться. Но, против воли, я повторил в мягком тоне ту же фразу, что придало ей оттенок издевательства. Отец предупредил, что он поставит меня в угол. В его же тоне я повторил свою фразу.

"Я тебя оставлю без обеда", — более строго произнес отец.

"А я тебя к тете Вере не пущу!" — уже с отчаянием говорил я в тоне отца.

"Костя, подумай, что ты делаешь!" — воскликнул отец, бросая на стол газету.

Внутри меня вспыхнуло недоброе чувство, которое заставило меня швырнуть салфетку и заорать во все горло:

"А я тебя к тете Вере не пущу!"

"По крайней мере так скорее кончится", — подумал я.

Отец вспыхнул, губы его задрожали, но тотчас же он сдержался и быстро вышел из комнаты, бросив страшную фразу:

"Ты — не мой сын".

Как только я остался один, победителем, — с меня сразу соскочила вся дурь.

"Папа, прости, я не буду!" — кричал я ему вслед, обливаясь слезами. Но отец был далеко и не слышал моего раскаяния.

Все душевные ступени моего тогдашнего детского экстаза я помню как сейчас и при воспоминании о них вновь испытываю щемящую боль в сердце.

В другой раз, при такой же вспышке упрямства, я оказался побежденным. Как-то за обедом я расхвастался и сказал, что не побоюсь вывести Вороного — злую лошадь — из отцовской конюшни.

"Вот и отлично, — пошутил отец. — После обеда мы наденем на тебя шубу, валенки, и ты нам покажешь свою неустрашимость".

"И надену, и выведу", — упорствовал я.

Братья и сестры заспорили со мной и уверяли, что я трус. В доказательство они приводили компрометирующие меня факты. Чем более неприятны были для меня разоблачения, тем упрямее я повторял от конфуза:

"И... не боюсь! И — выведу!"

Опять упрямство мое зашло так далеко, что меня пришлось проучить. После обеда мне принесли шубу, ботинки, башлык, рукавицы; одели, вывели на двор и оставили одного, якобы ожидая моего появления с Вороным перед парадной дверью. Со всех сторон меня охватывала густая тьма. Она казалась еще чернее от светящихся передо мной больших окон зала — наверху, откуда, кажется, за мной наблюдали. Я замер, крепко закусив рукавицу, чтобы напряжением и болью отвлечь себя от всего, что было кругом. В нескольких шагах от меня захрустели чьи-то шаги, затрещал блок и стукнула дверь. Должно быть, кучер прошел в конюшню к тому самому Вороному, которого я обещал привести. Мне представилась большая воронья лошадь, бьющая копытом о землю, вздымающаяся на дыбы, готовая ринуться вперед и увлечь меня за собой, как щепку. Конечно, если бы я представил себе эту картину раньше, за обедом, я не стал бы хвастаться. Но тогда как-то само собой сказалось, а отказаться не хотелось — было стыдно. Вот я и заупрямился. Я философствовал в темноте тоже больше для того, чтобы развлечь себя и не смотреть по сторонам, где было очень темно.

"Буду стоять долго-долго, пока они сами не испугаются за меня и не придут искать", — решил я про себя.

Кто-то жалобно вскрикнул, и я стал прислушиваться к звукам вокруг. Сколько их! Один страшнее другого! Кто-то крадется!.. Близко! Собака? Крыса?.. — Я сделал несколько шагов к нише, которая была передо мной в стене. В это самое время что-то рухнуло вдали. Что это? Опять? Опять? И совсем близко?.. Должно быть, в конюшне Вороной бьет ногой в дверь, или экипаж по улице проехал по ухабу. А это что за шипение?.. и свист?.. Казалось, что все страшные звуки, о которых я имел представление, сразу ожили и свирепствовали вокруг меня.

"Аи!" — вскрикнул я и отскочил в самый угол ниши. Кто-то схватил меня за ногу. Но это была дворовая собака Роска, мой лучший друг. Теперь мы вдвоем! Не так страшно! Я взял ее на руки, и она стала лизать мне лицо своим грязным языком. Тяжелая, неуклюжая шуба, туго завязанная башлыком, не давала возможности спасти лицо. Я отвел морду собаки, и Роска расположилась спать на моих руках, согрелась и затихла. Кто-то быстро шел из ворот. Уж не за мной ли? И сердце мое забилося от ожидания. Нет, прошли в кучерскую.

"Им, должно быть, очень стыдно теперь. Выкинули меня, маленького, в такой холод из дому... точно в сказке... Я им не забуду этого".

Из дому доносились глухие звуки рояля.

"Это брат играет?! Как ни в чем не бывало! Играют! А про меня забыли! Сколько же мне

стоять здесь, чтобы они вспомнили?" Стало страшно и захотелось скорей в зал, в тепло, к роялю.

"Дурак я, дурак! Выдумал! Вороного! Болван!" — ругал я себя и злился, поняв всю глупость своего положения, из которого, казалось, не было выхода.

Заскрипели ворота, застучали копыта лошадей, захрустели колеса по снегу. Кто-то подъехал к подъезду. Хлопнула дверь парадной, и карета тихо въехала во двор и стала поворачивать.

"Двоюродные сестры, — вспомнил я. — Их ждали в этот вечер. Теперь я ни за что не вернусь домой. При них сознаться в своей трусости!"

Приехавший кучер постучал в окно кучерской, вышли наши кучера, заговорили громко, потом отворили сарай, поставили лошадей.

"Пойду-ка к ним и попрошу, чтобы мне дали Вороного. Они мне не дадут его — тогда я вернусь домой и скажу, что они не дают, и это будет правда и ловкий выход из положения".

Я ожил от такой мысли. Спустив Роску со своих рук, я приготовился идти в конюшню.

"Вот только бы пройти через темный большой двор!" — Я сделал шаг и остановился, так как в это время на двор въехал извозчик, и я боялся в темноте попасть под его лошадь. В этот момент случилась какая-то катастрофа, — сам не знаю, какая, так как в темноте нельзя было разобрать. Должно быть, лошади с каретой, поставленные и привязанные в сарае, начали сначала ржать, потом топотать ногами и, наконец, бить. Извозчичья лошадь, как мне показалось, тоже бесилась. Кто-то, кажется, метался с экипажем по двору. Выскочили кучера, все кричали: "Тпррр, стой, держи, не пускай"...

Дальше я не помню. Я стоял у парадного подъезда и звонил в колокольчик. Швейцар тотчас же вышел и впустил меня. Конечно, он был настороже и ждал. В дверях передней мелькнула фигура отца, а сверху заглянула гувернантка. Я сел на стул, не раздеваясь. Мой приход домой был неожидан для меня самого, и я еще не мог решить, что я должен был делать: продолжать упрямяться и уверять, будто я пришел лишь отогреться, чтобы снова пойти к Вороному, или прямо признаться в трусости и сдаться. Я был так недоволен собой за только что пережитый момент малодушия, что уже не верил себе в роли героя и храбреца. Кроме того, не для кого было продолжать играть комедию, так как все как будто забыли обо мне.

"Тем лучше! и я забуду. Разденусь и немного погода войду в залу".

Так я и сделал. Ни один человек не спросил меня о Вороном, — должно быть, сговорились [Станиславский 1972, 32—35].

Они воспитывали меня свободно

Не хочется долго останавливаться на неблагоприятных подробностях моего поведения и на моей очень часто проявлявшейся неблагодарности к отцу и матери. Скоро, очень скоро пришлось мне пожалеть об этом! всю жизнь с горечью вспоминал я о моем безрассудстве и глупости тех лет. До сих пор у меня в памяти случай, который произошел года за три до смерти отца.

На даче, на террасе, за обедом, я, придравшись к матери, грубо оттолкнул от себя тарелку с едой. Тарелка полетела в окно, на землю. В сотую долю секунды я почувствовал, что перехватил лишнего. Я метнул взгляд на отца и увидел, как он изменился в лице. Он вскочил из-за стола и бросился ко мне. Никогда в жизни он не бил меня! Я соскочил с террасы и побежал. Отец с большим сердцем (через три года он умер от сердечной болезни) бросился бежать за мной изо всех своих сил. Но я был спортсменом. Все эти дни я как раз тренировался в "беге на сто метров". Отец не догнал меня. Задыхаясь, он упал ничком на траву и застонал от боли и от обиды. Я смотрел на него и ком отчаяния и жалости сдавил мне горло. Мне казалось, что он умирает... Я просил прощения; слезы лились у меня, слезы раскаяния от моего поступка, от страдания отца, от моей глупости, от всего того, что произошло. До сих пор мне стыдно и непонятно, как мог я вести себя таким образом. Ведь

таким поведением я подкашивал здоровье и приближал кончину самых дорогих и близких мне людей. Они воспитывали меня свободно, делали свободным и, возможно, в конце концов сделали меня свободным, привили мне столь дорогую для меня теперь свободу и любовь к независимости, а я тогда, незрелый в этой свободе, глупый и избалованный, отнимал за все это у них преждевременно жизнь! [Ильинский 1961, 26—27].

Пчела

Затем я вспоминаю еще один эпизод из моего раннего детства, когда я сознательно устыдился самого себя. Я носил платице и сидел на скамеечке во дворе, а мой отец возился с ульем в саду. Тут мне на руку села красивая зверушка, и я обрадовался, видя, как она быстро бегаёт. И вдруг я завопил. Зверушка оказалась пчелой, которая имела полное право возмутиться тем, что господин настоятель извлек из улья полные соты, и за это ужалила пасторского сынка. На мой вопль слетелся весь дом, каждый стремился выразить мне свое сочувствие. Служанка взяла меня на руки и пыталась утешить поцелуями. Матушка упрекала отца, что он начал заниматься ульем, не укрыв меня прежде в безопасном месте. Так как благодаря своему несчастью я стал объектом общего внимания, то теперь я рыдал уже с удовольствием, как вдруг заметил, что, проливая слезы, я не испытываю никакой боли. Моя совесть говорила мне, что пора перестать плакать. Но чтобы и дальше вызывать интерес домашних, я продолжал орать и принимал утешения, которых больше не заслуживал. При этом я казался самому себе таким испорченным, что несколько дней чувствовал себя из-за этого совсем несчастным. Как часто это переживание служило предостережением для меня, когда я, уже взрослым, испытывал искушение представить серьезным делом бурю в стакане воды [Швейцер 1992, 10].

Сочувствие капризнику

Вот еще картина из моего раннего детства. Я совершенно ясно помню свои тогдашние переживания. Дело происходит летом 1894 года. Мне 4 года. Доктора послали мою мать лечиться за границу, с нею поехал и мой отец, а мы с двухлетним братом Сашей были оставлены в подмосковной моего деда Щербатова, Нары, на попечение его самого и старой немецкой гувернантки моей матери, Fraulein Thekla Kampfner ("Теклички"), которая была совершенным членом Щербатовской семьи. Мы, дети, как и взрослые, очень ее любили (слава Богу, она не дожила до Русско-Германской войны!). Разумеется, при нас были наша няня и подняня.

До момента отъезда моих родителей я как-то не осознавал полностью, что буду с ними разлучен месяца на два. Настал день отъезда. После общей молитвы мои родители сели в экипаж, запряженный четверкой лошадей (я прекрасно помню караковую пристяжную, Красавчика). На козлах сидел кучер Гурьян... Мама старалась нам улыбаться на прощанье, но меня поразило странное блеск ее черных глаз на ее очень худом и страшно бледном лице. Сидя в коляске, Папа и Мама перекрестили нас с братом. "С Богом, пошел!" — сказал Папа Гурьяну, но тут произошла короткая заминка: Красавчик переступил через построжку. "Трогай!" — раздраженно крикнул Дедушка, не заметивший причины задержки. К пристяжной бросилось несколько человек, в том числе старый кучер Никита, с белой бородой по пояс; мигом все было исправлено, и четверка тронула тяжелую коляску с места крупной рысью. Папа махал шляпой и что-то кричал, Мама глядела на нас...

Я стоял в оцепенении, но выкрик Дедушки, хотевшего скорее положить конец тяжелой сцене расставания, вывел меня из равновесия. Только коляска тронулась, я дико заревел и, оттолкнув руку милой Теклички, которая хотела вести меня домой угощать в неурочный час какими-то замечательными сладостями, бросился бежать по аллее к дому и помчался наверх, в детскую. Там я вскочил на полосатый диван (как ясно я его помню!), начал топтать его ногами и кричать, что я "не хочу, чтобы Мама уехала!". Няня всячески пыталась меня

успокоить, но тщетно: я продолжал кричать и бесноваться по дивану. Пришла Текличка, но и это не помогло... Меня оставили одного — и правильно сделали! Скоро я стал отходить и, хотя не переставал кричать и плакать, я начал чувствовать, что веду себя совершенно непозволительно и что я кругом виноват. Новыми взрывами крика и усиленным топотом я старался заглушить в себе голос раскаяния. "Мама говорила мне, что я теперь большой мальчик и должен показывать Саше хороший пример, — говорил мне внутренний голос, — а я вот что делаю!" Мне становилось все более стыдно. Я уже стал уставать от крика и топота, а голос раскаяния все усиливался: зачем я обидел няню и Текличку?!

Вдруг я услышал из соседней комнаты голоса Теклички и... Дедушки, — Дедушки, появление которого в наших комнатах в это время было совсем необычным... "Они, конечно, идут меня бранить!" — подумал я. В глубине души я считал, что меня действительно очень и очень стоило бранить, и что Мама была бы совсем недовольна мной...

Дедушка и Текличка однако не вошли ко мне, а продолжали тихо говорить между собой по-немецки. Я тогда не понимал этого языка, но по интонации голосов я прекрасно понял, что они не возмущены моим поведением, а... жалеют меня!

Все разом переменялось во мне! Оказывается, поведение мое не возмутительно, наоборот; меня надо жалеть! Новая волна криков и бешеного топтанья...

Не помню, сколько времени это продолжалось, но я вижу себя в комнате Теклички; по моему лицу еще не перестали течь слезы, но я ем что-то очень вкусное, а Текличка рассказывает мне, на своем ломаном русском языке, какой-то чрезвычайно интересный рассказ [Трубецкой 1989, 11-12].

С т и ш о к

Моей радости не было границ. Недавно мне исполнилось пять лет — я об этом сообщил Ромке.

— Значит, ты уже большой, тебя надо научить стишку.

Я, конечно, обрадовался.

Каждые две строчки этого стишка из четырех оканчивались невинными словами — "пила" и "тараруй". Рифмовались они тоже со словами, обычными для деревни и мне известными: их часто и походя произносили в присутствии малышей взрослые.

Меня просто распирало от гордости, и за обедом я пытался рассказать стишок бабушке и деду, но еда стояла на столе, дедушка произнес молитву перед едой, и мы молча стали есть. А мне кусок не лез в горло, я разрывался от желания прочесть стишок. Взрослые видели мои мучения.

Наконец из моего рта вырвалось: "А я знаю стишок" — и, получив молчаливое разрешение деда, я прямо выстрелил все четыре строчки с "пилой" и "тараруем".

Все были потрясены, а дед вне себя от ярости приказал мне замолчать. Но я понял, что дед не знает этого стишка, завидует мне, а потому так кричит. И я повторял в своей обиде этот стишок как заведенный. Дед схватил свой дорожный кнут и начал меня стегать. Это был тот самый длинный кнут из плетеного ремня с коротким узорным кнутовищем в локоть длиной, которым дед доставал до своей пары коней, сидя на высокой куче кож в подводе. И теперь, как я ни поворачивался к нему, он все время бил меня по одному и тому же месту. Наконец я был сбит с ног и не мог подняться, но продолжал выкрикивать со слезами слова стишка. Бабка Наташа прикрыла меня своим телом и пристыдила деда.

Кнут валялся на полу. Я лежал на лавке в кухне совсем голый, а бабушка успокаивала меня и обтирала уксусом и крещенской водой. Я рассказал бабушке, как Ромка научил меня хорошему стишку, а бабушка сказала, что стишок плохой и слова плохие, и что они рассердили и огорчили бабушку и дедушку, и что у дедушки надо просить прощения. Меня поили всеми деревенскими лекарствами, дали макового отвара, и я проспал почти сутки. Я мог уже сидеть и готовился к дедушкиному прощению. Но дед сам появился в кухне, смущенный и соскучившийся по внуку. Я попросил у него прощения, а он крепко обнял меня

своими железными руками кожей и поднял высоко вверх [Набоков 1967, 76].

Программа

Память услужливо подсовывает мне то, чего я бы, может, и не хотел вспоминать. Однако, что поделывать! Из "песни" жизни слова не выкинешь. Мы часто стремимся выглядеть в своих (хотя бы) глазах лучше, чем мы есть. И из далеких лет вызываем перед мысленным взором своим более или менее благопристойные картины. Но если присмотреться к тому, что находится в густой, отбрасываемой светлыми, радостными образами, тени...

Вечер. Вся семья, все четыре человека смотрят телевизор — "Спокойной ночи, малыши". Для самого младшего. Уважая его интересы.

И этот ребенок вдруг раздражается дикими воплями. Помню, мне очень хотелось, чтобы меня послушали и переключили телевизор на другую программу. Сейчас я уже не помню, что мне, пятилетнему (возраст определяю очень приблизительно), хотелось посмотреть. Суть проблемы была не в этом. Мне просто очень захотелось, чтобы все население моего домашнего мира меня беспрекословно послушалось. Чтобы "они" послушались меня так же, как я слушаю их. Чтобы Я сказал — а ОНИ сделали. Без вопросов. Следуя моей воле.

Ничего не вышло. Я натолкнулся на стену единодушного сопротивления. Мне вежливо и педагогично [!] объяснили, что все остальные (большинство!) хотят смотреть то, что смотрят сейчас, и не переключат программу, пока не кончится передача. Это было поражение.

Я ходил зигзагами между стульями, на которых сидели папа с мамой, сестра, ныл, плакал, вопил, сопел, упрасивал. Никакого ответа. Никакой реакции.

И я, как говорится, "кожей почувствовал" силу и значимость мнения других людей. Я не помню, как разрешился каприз. Кажется, я ушел в другую комнату и некоторое время сидел там в темноте. Родители и сестра не помнят этого эпизода.

Мне думается, что этот "программный" каприз так прочно въелся в мою память именно потому, что с этого момента я понял своим небольшим детским умом, что существует чужое мнение и желание, которые тоже нужно уважать, с которыми нельзя не считаться. Которые тоже обоснованны. И если я хочу уважения к себе, я должен уважать других. Последнее я, конечно, так четко тогда еще не сформулировал, но ощутил именно тогда, благодаря "телевизорному капризу" [Иров 1996, 1—2].

Я установил абсолютную монархию

В шесть лет я хотел стать кухаркой, в семь — Наполеоном. С тех пор мои амбиции неуклонно росли.

Стендаль, не помню где, рассказывает об итальянской герцогине, которая, лакомясь в жаркий закатный час мороженым, горестно восклицала: "Как жаль, что в том нет греха!" Для меня в семь лет пробраться на кухню, схватить что-нибудь и съесть было величайшим грехом. Ни под каким видом мне не позволяли заходить на кухню — то был один из немногих беспрекословных запретов. И я, пуская слюни, часами выжидал удобный момент, но наступал вождельный миг, я проникал в заповедное царство и на глазах у визжащей от восторга прислуги хватал кусок сырого мяса или жареный гриб и, давась, млел от наслаждения — ничто не сравнится с тем волшебным, пьянящим привкусом вины и страха!

То был единственный запрет — все прочее мне дозволялось. Так до восьми лет я мочился в постель исключительно потому, что находил в этом удовольствие. В родительском доме я установил абсолютную монархию. Все готовы были мне служить. Родители боготворили меня. Однажды на праздник Поклонения Волхвов в куче подарков я обнаружил королевское облачение: сияющую золотом корону с большими топазами и горностаевую мантию. С тех пор я не расстаюсь с этим одеянием. Сколько раз я, изгнанный из кухни, так и стоял во тьме коридора, не в силах пошевелиться: с плеч моих ниспадала королевская мантия, одной рукой я сжимал державу, другой — скипетр, душа же моя кипела гневом — о если б я мог

растерзать обидчиц моих, служанок! <...>

Как-никак, до сих пор мне памятли эротические восторги младенца — сколь неистово, с какой не знавшей удержа страстью я принимал к источнику наслаждения, и горе тому, кто осмеливался мне перечить! Однажды я зверски исцарапал булавкой няньку, которую обожал, только за то, что лавка, где надлежало купить вытребованные мною сласти, была заперта. <...>

Мне было тогда шесть лет. В гостиной шел разговор о комете, которую все намеревались наблюдать, когда стемнеет, если, конечно, небо не затянут тучи. Кто-то сказал, что комета может задеть землю хвостом, и наступит конец света. И хотя в ответ почти все иронически заулыбались, я ощутил, как во мне поднимается страх. В ту же минуту на пороге появился служащий отцовской конторы и объявил, что комету прекрасно видно с верхней террасы. Все ринулись к лестнице, я же, парализованный ужасом, так и остался сидеть на полу. Потом, собравшись с силами, встал и очертя голову побежал на террасу и уже у самой двери увидел свою трехлетнюю сестренку — она степенно, на четвереньках двигалась за гостями. Я остановился и после секундного замешательства ударил ее ногой по голове — как по мячу. И, подхваченный бредовым ликованьем, которым преисполнило меня это злодеяние, кинулся было на террасу. Но отец, оказывается, шел позади — он схватил меня, поволок в кабинет, запер там и не выпускал до самого ужина.

Я не видел кометы. Мне не дали посмотреть на нее — эта рана не зажила до сих пор. Запертый, я орал так громко и долго, что совершенно потерял голос. Родители перепугались. Заметив это, я пополнил диким ором свой арсенал и с тех пор орал дурным голосом по любому случаю. Расскажу еще об одной уловке. Я подавился рыбьей костью, и отец — не в силах выносить это зрелище — схватился за голову и выбежал в коридор. Впоследствии я не раз симулировал судороги, кашель и хрип затем только, чтобы увидеть, как отец схватится за голову и кинется прочь, я же наслажусь столь желанным знаком исключительного внимания к своей персоне.

Как-то мои родители позвали врача проколоть уши сестренке. Во мне с тех пор, как я ее ударил, пробудилась острая болезненная нежность, и, узнав, что ей будут прокалывать уши, я решил, что не допущу этого зверства ни за что.

Врач расположился у стола, надел очки, взял иголку — и тут я напал на него. Веником изо всех сил я колотил его по лицу. Очки упали, разбились, старик закричал от боли, и только появление отца положило конец расправе.

— Как он мог! За что? Я же его люблю! — всхлипывая, повторял старик, припадая к отцовской груди, и голос его дрожал, как соловьиная трель. С тех пор я не упускал случая заболеть хотя бы ради удовольствия повидаться со старичком, которого довел до слез. <...>

Мне было шестнадцать лет. Я учился в колледже в Фигерасе. Из классных комнат вниз, во внутренний дворик, вела крутая каменная лестница. Однажды безо всякой причины мне взбрело в голову броситься вниз, и я совсем было собрался осуществить свое намерение, но мной овладел страх. Однако идея эта крепко засела у меня в голове. Целый день втайне ото всех я ее лелеял и решил: завтра. И действительно, на другой день уже ничто не могло меня остановить. Когда мои одноклассники стали спускаться, я разбежался, прыгнул в разверстую бездну, рухнул на каменные ступени и катился вниз еще целый пролет. Я сильно расшибся, но испытал неопишимо острое наслаждение, заглушившее боль. Поступок мой произвел грандиозное впечатление — рыдать надо мной сбежались все мои однокашники и даже старшие ученики. Бегали за водой, суетились, прыскали, оттирали.

В ту пору я был крайне застенчив. Стоило кому-нибудь обратить на меня внимание, я краснел, как рак, и потому неизменно предпочитал обществу одиночество. Однако в этот раз толпа, глазующая на меня, доставила мне странное удовлетворение. Спустя четыре дня я решил повторить этот номер, причем на большой перемене, когда абсолютно все, включая отца-наставника, выходили во дворик.

Успех и на этот раз превзошел все ожидания, наверное оттого, что перед прыжком я возопил что было силы и тем привлек всеобщее внимание. Наслаждение снова оказалось

таким острым, что я не почувствовал боли. Я не преминул продолжить в том же духе — примерно раз в неделю я кидался с лестницы. В итоге едва я направлялся к ней, как все взоры обращались на меня и в воздухе повисало напряженное ожидание: кинется или нет? Какое же наслаждение испытывал я, спокойно, как все нормальные люди, спускаясь по лестнице и оставаясь тем не менее центром всеобщего внимания!

Никогда не забуду тот дождливый октябрьский вечер. Я не спеша двинулся к лестнице. Из дворика веяло влажным ароматом — цвели розы. На небе горел закат, высвечивая в облаках то леопарда перед прыжком, то каравеллу, то Наполеона в треуголке. Столпившиеся во дворике враз подняли головы и замерли: священная тишина поглотила все шорохи и крики. Высоко подняв голову, осененную ореолом, я двинулся вниз. Я шел медленно, ступая со ступеньки на ступеньку и упиваясь восторгом, — ни за что на свете, ни с кем, даже с Господом Богом, я не поменялся б тогда местами! [Дали 1991, 170—174].

Ужасы

Страх — одна из сильнейших эмоций. Человек всегда стремится избавиться от страха разными способами. Наиболее распространенный из них — убежать, уйти, спрятаться от того, что пугает. Или преодолеть страх. Одновременно человек тянется к страшному, хочет прочувствовать его, но на безопасном расстоянии. Любовь к страшным рассказам, "черному юмору", фильмам ужасов объясняется тем, что они помогают испытать страшное в воображении и сублимируют страх благодаря его коллективному переживанию.

Страх многолик. Всех его видов не перечислить, и у каждого свои эмоциональные особенности. Есть страхи, опирающиеся на личный опыт, другие не имеют в нем никакой опоры. Бывают рациональные и иррациональные страхи. Страхи обычно довольно легко внушаются.

Чувство страха познается человеком в самом раннем возрасте, хотя детские страхи весьма своеобразны. Воспоминания показывают, что некоторые страхи, появившиеся в детстве, остаются у человека надолго, другие же исчезают навсегда, как детские болезни. Именно в детстве и при переходе от детства к юности происходит "приручение" страхов, их дисциплинирование. Ребенок учится управлять сложной и очень важной для себя триадой чувств: страха, риска, безопасности. Это его инструменты для контроля поведения на всю оставшуюся жизнь.

У многих детей первые страхи связаны со сказками. Как показывают воспоминания, дети и боятся, и обожают их слушать. Многие дети боятся читать книги с печальным концом, но любят появление в рассказах и сказках страшных, фантастических чудовищ и злодеев, если они уверены, что добро восторжествует. У каждого народа были свои излюбленные фольклорные страшилища — в чем-то общие, в чем-то различные между собой. В свое время "специалистами" в области страшных рассказов были хранители народной воспитательной традиции — няньки, мамки, бабушки и др. Теперь место нянюшкиных сказок вытесняют фильмы ужасов, и их так же невозможно исключить из мира ребенка, как и страшные сказки.

Боязнь темноты в восприятии и С. Ковалевской, и Г. Кремера сродни тоске. В этом чувстве преобладает гнетущее ощущение одиночества, заброшенности и беспомощности. Оно заставляет бежать и искать спасения в обществе близких. Один из самых распространенных методов борьбы ребенка со страхом — телесный контакт с матерью, первым и самым надежным защитником.

Но если нет защиты от страха у взрослых, приходит на помощь детская фантазия. Она зачастую и помогает появлению страха, и сама же борется с ним, порождая воображаемых защитников и помощников. Во многих воспоминаниях сохранились эпизоды, отразившие боязнь одиночества, когда детское воображение способно придать обычному пространству дома совсем иной, пугающий, облик или породить монстров. Для отпора им, рассказывает Е. Шварц, ему в детстве пришлось создать целую армию воображаемых маленьких человечков. Она охраняла ночной покой своего полководца.

Развитие ребенка, видимо, требует его эмоционально-психической тренировки в пограничной области между обжитым им мирком и всем окружающим неизведанным пространством. Ребенок по преимуществу воспринимает мир радостно и оптимистически, и все, что нарушает его безоблачную картину мира, например смерть, нищета, жестокость, вызывает особенно сильно переживаемые страх и тоску. Дети, растущие в уютном мире своей семьи, более восприимчивы к страху перед недобротой мира, чем дети, сизмальства сталкивающиеся с нею повседневно.

Ребенок способен превратить свой страх в игру, как он превращает в игру многие другие важные и серьезные вещи. Однако в игре страх — заданное условие, придающее ей особую, щекочущую нервы, остроту. В самой детской субкультуре распространены игры и "страшные рассказы", в которых дети пугают друг друга. Недаром возник целый жанр "страшных рассказов" в детском фольклоре. Роль защиты при рассказе "страшилок" играют другие слушатели и даже сам рассказчик, это как бы "игра в страх", тренировка риска, предупреждающая появление в будущем безрассудности. Игровой момент, сознание того, что "пугают" нарочно и не всерьез, позволяет и преодолеть, и приручать страх.

Хотя "закаливание" страхом необходимо ребенку и он даже сам к этому стремится, но отнюдь не всегда он выходит из этой борьбы победителем. Напуганный в детстве человек может продолжать нести в себе детские страхи и во взрослом возрасте, что оказывает воздействие на все его мировоззрение. Развивающая сила страха сочетается с развращающей. Страхи небезобидны.

Взрослея, ребенок учится преодолевать свой страх самостоятельно, усилием воли. Он начинает стыдиться его открытых проявлений, смеяться над своими детскими страхами и даже бравировать перед окружающими бесстрашием, предпринимая достаточно рискованные и опасные действия. Однако и у подростка предметы и явления, не вписывающиеся в его радостную картину мира, ломающие его светлое восприятие окружающего, вызывают чувство страха-тоски, рождают предчувствие бед и опасностей, существующих в "большом" мире.

Весьма значительное место в детском периоде жизни человека занимает и другой феномен, связанный со страхом, а именно, запугивание, пробуждение страха в ближнем, приводящее к его беспомощности и подчинению. Страх в жизни ребенка — это слабость, делающая его беззащитным. В отношениях между собой дети нередко пользуются им. Обнаружив, что другой ребенок чего-то боится, его начинают специально пугать и развлекаться его страхом, зачастую еще и упиваясь собственным превосходством. Запугиваемый ребенок идет на самые разные хитрости, чтобы защитить и обезопасить себя. Страх — одно из полей для проявления детской жестокости, и педагоги должны с особым вниманием к этому относиться.

Иногда и взрослые, считая детский страх вещью несерьезной, находят развлечение в том, что пугают детей. Они любят провоцировать детские страхи для своей забавы и для управления маленьким народом, имя которому "дети". Воистину детство — время отчаянной борьбы со взрослыми. Победит ребенок — сложится сильная личность, победит взрослый — человек останется трусом.

Арсенал приемов здесь велик — от запугивания каким-нибудь "страшным дядькой" малыша, чтобы он съел кашу, до страшания розгой и другими не менее ощутимыми наказаниями подростка, чтобы он был послушным и хорошо учился. Запугивание ребенка является одним из древнейших и простейших педагогических приемов, применяемых как в семье, так и в школе. Он реально воплощает в себе воспитательное воздействие "кнута", противостоящего "прянику". На внушении ребенку "страха Божия" много веков зиждится христианская педагогика.

Гуманистическое направление в воспитании стремится к ограниченному и разумному использованию страха как меры воспитательного воздействия на ребенка. Здесь на первое место выходит страх-совесть: боязнь причинить боль и огорчения близким или выглядеть в их глазах недостойным и тому подобное.

Особой педагогической задачей является воспитание в ребенке смелости, умения преодолевать страх, разумно рисковать. Это относится как к биологическому страху, так и к социальному.

В воспитании бесстрашия легко перегнуть палку, применяя прием "бросания в воду", силой заставляя ребенка не бояться того, чего он все равно боится. Дело в том, что детский страх часто не имеет рациональных причин. А раз так, считали воспитатели века рационализма, то достаточно на опыте доказать ребенку бессмысленность его страха, показать ему, например, что гроза не принесет ему никакого вреда, и — страх будет преодолен. Но как признаются авторы воспоминаний, прошедшие через такое воспитание, иррациональные корни их страхов не поддались подобному воздействию. Чтобы преодолеть собственный страх, необходимо иметь в качестве опоры стимулы для этого, свое желание и чью-то подстраховку. У некоторых детей страхи коренятся в глубинах их психики: боязнь воды, высоты, грозы, крови и т. д. Многие дети испытывают иррациональный ужас и отвращение перед насекомыми. Искоренять такие страхи насильственным путем чрезвычайно опасно. Как писал известный американский ученый Стенли Холл, "педагогическая проблема в отношении к страху заключается не в том, чтобы искоренить страх, а в том, чтобы привести его в границы здоровой реакции".

Страх, его переживание и преодоление имеют, таким образом, большое значение в жизни человека, помогают ему взрослеть. Испытание страхом останавливает безумие риска. Однако педагогам и родителям надо помнить, что лекарство хорошо только тогда, когда не передозировано. При избытке страхов происходит разрушение тех или иных элементов психики. История человеческой личности, как и история человеческой культуры в целом, включает в себя длительную борьбу и взаимодействие со страхом. Некоторые эпизоды из этой истории, приходящиеся на детский период жизни человека, — перед Вами, и над ними стоит поразмышлять.

* * *

Толки нянюшек

Я был не один у своих родителей, а потому, исключая моей няни, были еще и другие, а толки нянюшек первые поражают ухо ребенка. Эти толки более или менее ограничиваются пересудами или сплетнями о детях. Первые не оставляют в ребенке впечатлений. Впечатления разговоров страшных сильны. Несмотря на то, что мамушкам и нянюшкам нашим и всем окружающим строго запрещено было пугать нас ведьмами, лешими, домовыми, но иногда они все-таки рассказывали про них друг другу, это сильно подействовало на меня, и здесь-то, я полагаю, корень склонности моей к мистицизму и ко всему необычному. Вот первое обстоятельство отвлеченного страха: я как теперь помню, что няня моя, желая заставить меня скорее заснуть, взамен всех леших, домовых, страшала всегда какую-то Ариною, которая и теперь осталась для меня каким-то фантастическим лицом. В жаркую лунную ночь бессонницы я, казалось, сквозь занавесы моей кровати видел ее, сидящую подле, и страх заставлял меня невольно смыкать глаза, и тем вынуждался столь желаемый нянюшкою сон дитяти [Нащокин 1974, 284—285].

Веселие страха

Следующее... воспоминание есть воспоминание "Еремеевны". "Еремеевна" было слово, которым нас, детей, пугали, но мое воспоминание о ней такое: я — в постельке и мне весело и хорошо, как и всегда, и я бы не помнил этого, но вдруг няня или кто-то из того, что составляет мою жизнь, что-то говорит новым для меня голосом и уходит, и мне делается, кроме того, что весело, еще и страшно. И я вспоминаю, что я не один, а кто-то еще такой же, как я. (Это, вероятно, моя годом младшая сестра Машенька, с которой наши кровати стояли в

одной комнате.) И вспоминаю, что есть полог у моей кровати, и мы вместе с сестрою радуемся и пугаемся тому необыкновенному, что случилось с нами, и я прячусь в подушке, и прячусь и выглядываю в дверь, из которой жду чего-то нового и веселого. И мы смеемся, и прячемся, и ждем. И вот является кто-то в платье и чепце, все так, как я никогда не видал, но я узнаю, что это та самая, кто всегда со мной (няня или тетка — я не знаю), и эта кто-то говорит грубым голосом, который я знаю, что-то страшное про дурных детей и про Еремеевну. Я визжу от страха и радости и точно ужасаюсь и вместе радуюсь, что мне страшно, и хочу, чтобы тот, кто меня пугает, не знал, что я узнал ее.

Мы затихаем, но потом опять нарочно начинаем перешептываться, чтобы вызвать опять Еремеевну [Толстой 1878, 320—321].

Воркованиестрахов

Я хорошо помню из своего детства, что, когда мне было 4 года, няня рассказывала мне сказки, в которых действовали выходцы с того света и разные страшилища. Помню и доньше, с каким волнением и замиранием слушал я (обыкновенно в сумерки) эти рассказы... Странная образовалась у меня тогда ассоциация — с этими рассказами спаялось в душе воспоминание о ворковании голубей. Много прошло уже времени, но и доньше, когда я слышу воркование голубей, душу мою наполняет жуть и тягостное напряжение — словно слышится в этих звуках таинственная, загробная музыка, от которой сжимается сердце [Зеньковский 1995, 206—207].

Образы народной души

Бабушка Анна мне рассказывает сказки про Бабу-Ягу, при этом мне рисуется избушка с большой русской печью, с кочергой, ухватом и котом на печи, и с самой Бабой-Ягой со страшным носом крючком. Этот рисунок детски-примитивный вижу, как сейчас. Я видел и тогда его "нереальность", но сквозь него я видел и угадывал настоящую Бабу-Ягу, она вставала из древней первобытной души моего народа, из его жутких и темных зимних ночей... <...>

"Пора спать!" и я вижу себя в "детской" — няня меня укладывает, я лежу в постельке с плетеными шнурочками держалок... Няня в углу на своем сундуке (все няни всегда спали на сундуках). Это большой черный сундук, где лежит ее "добро". Он редко отпирается, и она не любила показывать, что там. Но я видел, что он внутри был оклеен бумагой и картинками. В детской горит зеленая лампадка перед образом Екатерины Мученицы, и я повторяю за нянею: "Богородице Дево, радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою"... От образов идут тени по потолку. Около шкафа висит что-то страшное, противная рожа на тощем, длинном теле... Вспоминается Баба-Яга — костяная нога. Почему-то особенно страшна эта "костяная нога". Свет лампадки рождает видения во всех углах. И вот я зову: "Няня, няня!"... Она отвечает не сразу:

"Спи, спи, греховодник!" Но я долго не сплю: я вижу образы богатырей, волшебников, колдунов, домового, и, наконец, черного кота на печке у Бабы-Яги... Неправда, что все это няньки наговорили детям. Они лишь разбудили образы, дремавшие в душе, в народной душе с незапамятных времен. И эти образы космического бессознательного связаны с родной землей, с родными лесами, болотами, оврагами, омутами... Только в русском доме может появиться "домовой". В парижской квартире это непонятно. Русским детям за границей все эти образы ничего не говорят и, странно, старые русские няни, которых еще вывезли в Париж, этих сказок больше не рассказывают... Но когда я впервые — семилетним мальчиком — увидел в Малом Театре "Сон на Волге" Островского и когда там в темных покоех спящего "Воеводы" появляется маленький шустрый "домовой" с фонариком в руках (его играла маленькая Щепкина, в русской рубашке и штанишках), я сразу узнал его, как нечто родное, домашнее, хотя и жуткое. Так же узнавали мы и все страшные видения Гоголя. Они потому и

страшны, что свои — и этот "Вий" и этот Колдун из "Страшной мести", и вся эта нечисть, врывающаяся сквозь решетку в окна церкви. Никогда я не забуду, с каким трепетом я начинал вместе с Хомой Брутом каждую ночь читать в церкви над покойницей — панночкой. А носящийся гроб и страшное появление "Вия" было настоящим потрясением! Все, о чем говорит Гоголь, есть русский космос, который живет в душе, поскольку душа живет в нем. Мне было тринадцать лет, когда я все это впервые читал в "страхе и трепете". Потом уже на склоне дней... я перечел все и удивился, что "страха и трепета" больше не было: яркость образов исчезла, демоны, русалки, домовые покинули мир [Вышеславцев 1994, 131—134].

К р о к о д и л - п о л и ц е й с к и й

День был облачный. Я играл на длинной наружной веранде, выходящей на улицу. Внезапно Шотто, не помню, по какому поводу, вздумал напугать меня возгласами: "Полицейский! Полицейский!" Мое представление об обязанностях полицейского было до крайности смутно, но в одном я был уверен, как в некоем законе природы: стоит лишь человека, обвиняемого в преступлении, отдать в руки полицейского, и последний, схватив жертву, навеки исчезнет с нею в бездонной глубине полицейского участка, — подобно крокодилу, который, сжимая свою добычу в зазубренных зубах, погружается в воду. Не зная, как невинному мальчику избежать безжалостного закона, я бросился бежать во внутренние покои; по моей спине бегали мурашки от страха перед преследующим меня полицейским. Прибежав к матери, я сообщил ей об угрожающей мне беде, но это известие ее, видимо, не очень взволновало. Все же я решил, что будет более осторожно не показываться наружу, и, сев на пороге, взялся за чтение истрепанной "Рамаяны" с мраморного цвета обложкой [Тагор 1965, 10—11].

М е с т ь

Я верю: ночью идет своя особая жизнь. Кошка, которую я тискала днем, может ночью отплатить мне. Может прийти и, вцепившись в горло, задушить своими когтистыми лапками. И кукла, которой я совсем не нарочно оторвала руку и разбила голову, оживет и явится, чтобы сделать мне то, что я ей сделала. А медвежья шкура? Очень просто: она тоже может ожить — зашевелится... встанет на лапы... и... и...

"Скрипи, скрипи, липовая нога", — говорит медведь в сказке.

"Идет, нейдет — переваливает", — рассказывает мамочка.

Отрубил мужик медведю ногу и отнес жене. Приставил медведь себе ногу деревянную... И пошел медведь к бабе в деревню.

Скрипи, скрипи, липовая нога!

По деревне все спят...

Одна баба не спит:

Мое мясо варит...

На моей шкуре сидит...

Мою шерстку прядет...

Приду... приду... съем!

Мать делает зверскую физиономию, страшно разевает рот и быстро закрывает его, щелкнув зубами...

...Смотришь при свете лампадки на шкуру медведя... смотришь пристально, долго... И кажется... что-то меняется, и она... начинает... пошевеливаться...

А в лесу! В лесу, конечно, медведи знают, что у нас в комнате медвежья шкура... Чуткие они — медведи-то. Чуют своего, чуют издалека. И тянет их, тянет к нам, к дому... Придут... придут... съесть!.. [Фигнер 1964, I, 51].

Разбойники и медведь

Когда мне было лет шесть, у нас жила девочка лет четырнадцати, Маша, которая присматривала за мной. Она рассказывала мне разные страшные сказки, после которых я стала бояться темных комнат, того, что вдруг откроется дверь, войдет разбойник и пр.

Помню также сказку о медведе, которую мне читала мать. Медведь подглядывал в окно и видел, что баба за прялкой "на его шкуре сидит, его шерстку прядет". Глядевший в окно медведь представлялся мне ужасно страшным.

На святках Маша, чтобы освободиться от меня, а самой сбегать к соседке-подружке, сказала мне, что надо остаться одной в комнате, пристально смотреть в большое зеркало и тогда увидишь своего будущего жениха и что это очень интересно. Она поставила меня перед зеркалом, а сама ушла. Долго-долго глядела я в зеркало и ловила себя до того, что вдруг увидела в зеркале громадного медведя. Я дико закричала и упала почти без памяти. Рассказать, в чем дело, я не умела, так что ни мать, ни отец так и не узнали, что со мной случилось [Крупская 1957, 28].

Молчание ягнят

Во время нашей жизни с Ханной внизу под сводами произошел со мной один очень странный случай, который так живо врезался в мою память, что я сейчас могла бы нарисовать все подробности этого происшествия.

Раз ночью, когда все уже лежали в постелях и все, кроме меня, спали, я увидела, как в противоположном от моей кровати конце комнаты отворилась дверь и вошел... волк.

Он шел на задних лапах, очень низко присев к земле. Помнится мне, что на нем были панталоны и, может быть, куртка, но она была сильно распахнута, так как я видела лохматую грудь волка. Я широко раскрыла глаза, обезумев от страха и боясь позвать кого-нибудь из братьев или Ханну, чтобы не обратить на себя внимание волка... А вместе с тем я всеми силами души надеялась, что кто-нибудь из них проснется... Но все они спали, и я слышала их мерное и спокойное дыхание.

Наша темная, длинная комната, с каменными сводчатыми потолками и вделанными в них тяжелыми железными кольцами, полумрак, мерное дыхание спящих в ней людей и бесшумно приближающийся ко мне волк, все это наполнило мою душу ужасом...

"А может быть, он не ко мне и не за мной?" — подумала я. Но что-то в моем сознании говорило, что он идет именно ко мне и именно за мной.

Точно скользя по полу, волк все ближе и ближе подходил к моей кровати. Я замерла и зажмурилась и вдруг... о ужас, я чувствую, что он вынимает меня из постели и, всю ооченевшую от страха, берет на руки...

Так же бесшумно, как он пришел, он поворачивается назад к двери и несет меня назад мимо спящих Ильи, Сережи и Ханны.

Я хочу, но не могу сказать ни слова, не могу испустить ни звука, чтобы разбудить кого-нибудь.

Но мысленно, в душе, я напрягаю все свои силы, чтобы умолить его оставить меня в покое или снести обратно в кровать.

"Ну, милый, ну, хороший, — молю я его мысленно. — Ну, пожалуйста, ну, поверни назад, ну..."

Мы скользим все вперед, подходим уже к двери, когда... о счастье!.., волк вдруг поворачивает назад... И опять мимо спящих Ханны, мимо Сережи, мимо Ильи волк несет меня к моей кровати и кладет в нее обратно.

Что было после — как он ушел, как я заснула — я этого ничего не помню...

Разумеется, волка не было. Разумеется, все это или мне приснилось, или представилось. Но видение было так ясно, что я до сих пор вижу все подробности этой картины перед глазами, как будто все это действительно случилось...

Виденный мною волк был похож на волка из иллюстраций Ка-ульбаха к гетевскому "Рейнеке-Лису". У папа в библиотеке было хорошее издание этой книги, и я очень любила смотреть на эти картинки. Может быть, этот образ потому так и врезался мне в память.

Но в то время этот случай казался мне не сном и не видением, а самой настоящей действительностью [Сухотина-Толстая 1980, 57—58].

Печалование о сказке и ужас одиночества

В это же время обнаружился мой ужас перед историями с плохим концом. Помню, как я отказался решительно дослушать сказку о Дюймовочке. Печальный тон, с которого начинается сказка, внушил мне непобедимую уверенность, что Дюймовочка обречена на гибель. Я заткнул уши и принудил маму замолчать, не желая верить, что все кончится хорошо. Пользуясь этой слабостью моей, мама стала из меня, мальчика и без того послушного ей, совсем уже веревки вить. Она терроризировала меня плохими концами. Если я, к примеру, отказывался есть котлету, мама начинала рассказывать сказку, все герои которой попадали в безвыходное положение. "Доедай, а то все утонут". И я доедал. <...>

А между тем вокруг становится все тише, и звон в ушах все отчетливее, нянька не возвращается, очевидно задремав возле Ва-линой кровати. Из столовой стеклянные двери ведут в коридор. И мне кажется, что вот-вот кто-то заглянет в стекло. Я воображаю ясно, как кто-то рассказывает страшный рассказ: "Старшие ушли, а дома осталась нянька и дети..." От всех этих мыслей страх и тревога все больше овладевают мной. И темное пространство под столом кажется мне теперь угрожающим. Я подбираю ноги. Мне давно уже пора спать, но я не смею встать, не смею позвать няньку. И вдруг — все успокаивающий, все разрешающий шум отпираемой двери, голоса родителей. Я пробегаю, зажмурившись, наполненный мерцающей тьмой зал и бросаюсь на шею маме. Это было в 1902 году. <...>

В тот год я стал еще больше бояться темноты и при этом по-новому. Темнота теперь населилась существами враждебными и таинственными. Здоровый страх перед разбойниками, ворами, словом, перед врагами-людьми заменился мистическим. ...Существовала лошадь-привидение. Она появлялась в дверях спальни, ведущих в столовую. Она шла на задних ногах. На спине ее болтался мешок, который она придерживала копытами. Я ее ни разу не видел, разумеется, но представлял ее ясно, во всех подробностях. Что это было за существо, откуда, чего хотело от меня, что лежало в ее мешке, я не выяснял. Все представления мои об этом призраке были тоже призрачны, но я ужасно боялся лошади с мешком. У Андрея Андреевича Жулковского был племянник, художник, юноша лет двадцати. Однажды он ушел в горы, на эскизы) и не вернулся. Его искали, искали, да так и не нашли. И мама сказала однажды: "Нет, уж он не вернется. Лежит где-нибудь в пропасти его скелет". Эти слова меня ушибли надолго. Я все думал и думал об этом, и вот в темноте появился еще один призрак — скелет бедного художника. Его постоянное местопребывание было под моей кроватью. Поэтому я на ночь ничего не оставлял на полу — ни одной игрушки, ни одной части моей одежды, даже башмаки ставил на подоконник или на стул, из-за чего у меня шли вечные войны с мамой. Были и другие злые духи, менее определившиеся, но не менее страшные. И вот в противовес им я создал армию маленьких человечков. Они жили у меня под одеялом, я нарочно оставлял им места, закутываясь на ночь. Жили они так же счастливо, как мой друг конь — ели колбасу, пирожные, шоколад, апельсины, читая за едой сколько им вздумается, имели двухколесные велосипеды. Путешествовали. Но при малейшей опасности они выстраивались на одеяле и на постели и отражали врага [Шварц 1982, 86—95].

Калерия Петровна

Так мы с сестрой играли в "Калерию Петровну".

Нам случалось проснуться очень рано, когда и родители, и все в доме еще спали и

вставать было еще далеко не пора, тогда мы тихонько возились в своих кроватях, стоявших рядом, играя в тихие игры своего изобретения. Такая игра была и в "Калерию Петровну". Кто-нибудь из нас по очереди становился ею, а другой — ее гостем. Гость, намотав на себя на манер римской тоги одеяло, перелезал в таком парадном наряде через загородку кровати и попадал прямо в столовую к Калерии Петровне. Та принимала его весьма радушно, сажала в мягкое кресло (подушка) за стол (другая подушка) и угощала чаем с печеньем, пирожными и конфетами (все пустышки). Начинаясь светская беседа в самых учтивых, изысканных тонах. И вот среди этой беседы в самом неожиданном месте Калерия Петровна вдруг превращалась в волка. Волк, тихохонько рыча, чтобы не разбудить папу с мамой, накидывался на гостя и впивался зубами ему в загривок. Острота игры заключалась в ожидании этого момента — знаешь, что вот-вот Калерия Петровна внезапно станет волком, и трепещешь настоящим страхом, хоть и до превращения и после и Калерия Петровна и волк остаются все той же ничуть не страшной сестрой Соней. Понятно, что соль игры была в том, чтобы превращение манерной дамы в волка совершилось внезапно, как можно неожиданнее. Сестра всегда преуспевала в этом и пугала меня до судорог. Я же как-то невольно заранее начинал подготавливаться, менял тон беседы, и потому моя гостья часто угадывала роковой момент заранее и спасалась от волка бегством, перекувыркнувшись вовремя через загородку кровати [Конашевич 1968, 88—89].

Маленькая рассказчица

Времяпровождение в доме Воиновых было более разнообразно, чем у нас: когда после бегов мы чуть не падали от усталости, нам приносили французские книги с картинками. Ольга Петровна начинала читать какой-нибудь рассказ по-французски, дети звонко хохотали, а я, ничего не понимая на этом языке, вспыхивала от смущения, и на мои глаза навертывались слезы. Тогда Ольга Петровна сейчас же принималась объяснять прочитанное по-русски или приносила карты для игры в "дурачки", вытаскивала из ящика куклы, лото. Но все эти игры скоро заменены были сказками, и я сделалась настоящей специалисткой по этой части.

От няни, Саши и горничных я знала много сказок, и вот постепенно я стала кое-что изменять и присочинять к ним, — такие я уже считала сказками своего изобретения. Когда я в первый раз сказала своим маленьким слушателям о том, что я сама умею сочинять сказки, они были так поражены, что побежали рассказать об этом своей матери. Наталья Александровна и гувернантка сделали удивленные глаза и добились того, что я, несмотря на свою из ряда вон выходящую конфузливость, в конце концов стала рассказывать сказки в их присутствии. Их похвалы и внимание детей поощряли меня к дальнейшему сочинительству; мне стало казаться, что этим я импонирую Воиновым: если они, рассуждала я, возвышаются передо мною знанием французского языка и своим богатством, то я во что бы то ни стало должна затмить их чем бы то ни было.

Сидя дома, я все думала теперь о том, как бы мне сочинить новую сказку, как бы еще более поразить моих приятелей. И вот я стала вводить в свои рассказы все более чертовщины, мертвечины, баснословных кровожадных уродов, людоедов, оборотней, несуществующих зверей — одним словом, всевозможных страшил. Затем всю эту чепуху я стала все более драматизировать и передавать в лицах. Свои сказки я рассказывала загробным голосом, то повышая его, то понижая, урчала, кричала, визжала, колотила палкою по полу, бегала на четвереньках, когда представляла животных. Митя и Оля так пристрастились к ним, что в конце концов мы при посещении друг друга только и занимались ими, — даже перестали бегать и играть. Чуть, бывало, они завидят меня, как сейчас же требуют, чтобы я им рассказывала. Митя с утра до ночи мог слушать мои сказки; когда в них особенно много появлялось чертовщины, я передавала их сугубо страшным голосом и он дрожал как осиновый лист. Я переставала рассказывать, но Митя слезами умолял меня продолжать. Меня, однако, мучили его слезы, и я успокаивала его, говоря:

— Не бойся, Митя... я пропущу теперь все самое страшное...

— Нет, нет! ничего не пропускай! Рассказывай пострашнее... Эти сказки кончались обыкновенно тем, что мы все ревели.

Старшие, вбежав в комнату и узнав, в чем дело, начинали хохотать. Вместо того чтобы прекратить эти зловредные рассказы, которые делали крайне нервного и болезненного мальчика еще более нервным, а во мне все более развивали мелкое самолюбие и уродливую фантазию, старшие поощряли меня, и я стала гордиться этой чепухой до такой степени, что рассказывала ее даже в присутствии моей матери [Водовозова 1987, 218—219].

Мертвая голова

Только я не любил страшной картины, висевшей в черной раме на средней стене одной из горниц. Там был намалеван молодой курчавый панич, держащий за волосы громадную мертвую голову с пробитым лбом. Такое страшилище эта голова — синяя-пресиняя, и панич также синий и страшный! Маменька говорила, что это Давид с головой великана Голиафа. Я боялся даже проходить мимо этой картины.

<...> Прежде я спал на диванчике. Раз мне представилось: а вдруг моя маменька умрет? И я тогда стал стонать сквозь сон и не мог уснуть на диванчике. У меня сделался даже лихорадочный бред... Она взяла меня к себе, и я уже не хотел больше на диван — с ней было так спокойно [Репин 1960, 45, 85].

Бегство к маме

Ночь. Лежу и вижу на стене тень: может, висит полотенце. Мне же чудится, будто это привидение, какой-то дядька в длинном талесе.

Он вдруг улыбается. Грозит мне. А может, тетка, а может, козел?

Я вскакиваю и бегу к родительской спальне, только до двери, потому что войти боюсь, — страшно глядеть на спящего отца, как он лежит с открытым ртом, борода торчком, и храпит.

Шепчу под дверью:

— Мама, мне страшно. Слышу мамин голос сквозь сон:

— Да что с тобой?

— Мне страшно.

— Иди спи.

И я тут же успокаиваюсь.

Керосиновый ночничок обволакивает мою душу, и я тихонько иду к своей кровати, на которой мы с братом Давидом спим головами в разные стороны. <...>

По ночам мне казалось, что стены надо мной смыкаются.

Тускло горел ночник, и на потолке шевелились тени. Я зарывался в подушку.

Помню, как-то у самого уха вдруг зашуршала мышь. Я с перепугу давай кричать, хватаю ее и швыряю на другой конец кровати. Давид пугается не меньше и перебрасывает мышь обратно. В конце концов мы вдвоем топим ее в ночном горшке.

За окном уже утро, новое и священное, — мы наконец засыпаем.

Если мне бывало уж очень страшно, мама брала меня к себе.

Это было самое лучшее укрытие.

Тут уж никакое полотенце не превратится в козла или старика, никакой мертвец не пролезет сквозь заиндевевшее стекло.

И мрачное высокое зеркало в гостиной не кажется таким ужасным.

Души предков, давно отцветшие девичьи улыбки замрут в его углах и в завитушках резной рамы.

Пока я рядом с мамой, мне не страшны ни люстра, ни диван.

И все-таки я боюсь. Мама такая большая, груди, как подушки. Ее тело с возрастом раздалось, сказались частые роды, тяготы материнства, — ноги отекли, распухли, — я боюсь

случайно прикоснуться и разогнать сладкую истому, дар нашего тихого захолюстья [Шагал 1994, 32—33].

Томление страха

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски — *angosse*. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полосу тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного у меня вдруг так мучительно занает сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать меня. Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем неверно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты. Я помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например если я во время прогулки вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом, с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродствам. Если при мне расскажут о каком-нибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное, увижу этого уroda во сне и разбуду няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить мою куклу, няня должна была поднимать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Аня, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне на глаза восковую куклу, у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий [Ковалевская 1989, 13—15].

Поводья страха

Кошмаром детских лет был для меня ризничий и могильщик Йегле.

Заходя воскресным утром в пасторский дом за номерами предназначенных к исполнению песен и утварью для крещения, он брался за мой лоб и говорил: "А рога-то растут". Рога были моей особой заботой. Ибо у меня намечались заметные выпуклости на лбу, доставлявшие мне множество горьких опасений из-за того, что я видел в Библии изображение Моисея с рогами. Как догадался ризничий о моих тревогах, мне неизвестно. Но он знал и раздувал их. Когда по воскресеньям он вытирал ноги перед дверью нашего дома, прежде чем позвонить, охотнее всего я бы куда-нибудь убежал. Но он обладал надо мною властью удава над кроликом. Я ничего не мог с собой поделать, шел ему навстречу, чувствовал его руку у себя на лбу и покорно выслушивал фатальный приговор. Промаявшись около года со своим страхом, я завел с отцом разговор о рогах Моисея и узнал от него, что пророк Моисей был единственным человеком с рогами. Итак, мне больше нечего было бояться.

Когда ризничий заметил, что я от него ускользаю, он выдумал нечто новое. Он начал толковать мне о солдатчине. "Сейчас мы прусские, — говорил он, — а у пруссаков каждый должен быть солдатом. Солдаты носят железную одежду. И тебе этак раз в два года нужно снимать мерку у кузнеца, по ту сторону улицы".

Поэтому я выискивал любую возможность поболтаться у кузницы: вдруг подойдет солдат, чтобы снять мерку для своей одежды. Но мне попадались только лошади да ослы, которых приводили подковать. Позже, увидев на картинке кирасира, я все-таки выпытал у матушки, в чем там дело с этим железным одеянием у солдат. К своему успокоению, я узнал, что простые солдаты носят одежду из сукна, а я если и буду, то простым солдатом [Швейцер 1992, 10].

Преодоление

Впрочем, характер дома, старого, угловатого, во многих местах мрачного, был вообще способен вселить в детские души дрожь и страх. К несчастью, в те времена считалось еще одним из правил воспитания очень рано отучать детей от страха перед всем воображаемым и невидимым и приучать их к страшному. Поэтому мы, дети, должны были спать одни; когда же это казалось нам невозможным, и мы тихонько выбирались из постелей, ища общества слуг и служанок, то отец загораживал нам дорогу, одетый в вывернутый наизнанку шлафрок и, стало быть, для нас совершенно неузнаваемый, заставляя нас в страхе снова прятаться в постель. Дурные последствия всего этого может представить себе каждый. Как может избавиться от страха тот, кого ущемляют между двумя страхами? Моя мать, сама всегда веселая и жизнерадостная и охотно видевшая эти качества в других, нашла гораздо лучший педагогический прием: она сумела достигнуть своей цели наградами. Наступил сезон персиков, на каждое утро нам было обещано обильное угощение, если мы преодолеем ночной страх. Средство имело успех, и обе стороны были довольны [Гете 1935, IX, 28—29].

Клин клином?

Будучи для своего времени человеком передовым и сознавая весь вред предрассудков, господствовавших тогда в русском обществе, он [отец] всеми силами старался искоренить их в своих детях. Он строго запрещал стращать их мертвецами, оборотнями, вообще говорить что бы то ни было несообразное со здравым смыслом. К числу предрассудков он относил боязнь темной комнаты и грома, — страх перед тем и другим он старался уничтожать несвойственными его мягкой натуре суровыми мерами, от которых сам страдал и которые иной раз приносили его детям не менее вреда, чем самые предрассудки. Одна из моих сестер, десяти-одиннадцатилетняя девочка, особенно болезненно относилась к грому и грозе. Когда небо заволакивалось свинцовыми тучами, она бросалась в постель и накидывала на голову что попало под руку. Но отец насильно тянул ее на двор: девочка билась у него в руках, кричала, плакала... У отца при этом текли слезы из глаз, он нежно укутывал ее в платок, но крепко держал и оставлял под открытым небом. Однажды он вытащил ее во время сильной грозы. Сестра умоляла пустить ее в комнаты, кричала, тряслась, вдруг упала на землю, и с ней сделался припадок, вроде падучей. Отец был в отчаянии, но в первый же раз, когда снова разразилась гроза, опять начал уговаривать ее и тащить с собой, пока этой педагогической мере не положила конец матушка. Ее здравый смысл восторжествовал: она вырвала у мужа трепещущую девочку и резко накричала, что она ни за что более не позволит ему сводить с ума детей [Водовозова 1987, 64—65].

Страх в саду

И вот однажды, рано проснувшись, я в ночной рубашке выбежала в сад. Как раз поспела малина, и мне захотелось попробовать вкусных ягод, умыться хрустальной росой.

С меня еще не сошла дрема, и мне вдруг почудилось, что в левой части сада, у самого забора, чудовищно огромная уродливая рожа, с выпученными глазами, с большущими клыками во рту.

Я дико испугалась и стала кричать. Бабушка в тот час как раз доила в хлеву корову и, услышав мой крик, — хлев находился близко от сада — выбежала из сарая и позвала меня: — Кларочка, что случилось? Иди, моя радость, ко мне!

Я же не могла сдвинуться с места, словно кто-то приковал меня. И не переставала плакать.

Оставив ведро с молоком, бабушка поспешила ко мне, обняла, но какая-то сила крепко пригвоздила меня к земле, и бабушка с трудом смогла сдвинуть меня с места. Но я по-прежнему билась в истерике.

Со мной, оказывается, случился "родимчик", как это называют в народе, детский нервный шок, когда центральная нервная система не успевает выставить защиту против неожиданной психической атаки. А "родимчиком" это явление прозвано потому, что чаще всего он случается у рожениц во время трудных родов.

Была тогда в Нежине, как и повсюду в то давнее время, знахарка, известная ворожея, часто приходившая на помощь, когда медики были бессильны. Звали ее бабкой Ентой, и моя бабушка пригласила колдунью отвести от меня испуг, исцелить от нервного приступа.

На второй или на третий день после испуга бабушка, потеряв надежду, что "это само пройдет", — я все время всхлипывала и безотчетно всего пугалась — решила прибегнуть к помощи исцелительницы. Так вот, на второй или на третий день рано поутру меня вывели в сад и поставили лицом к стене нашего дома. Сзади ко мне подошла знахарка, бабка Ента, очень старая женщина, седая, тощая и костлявая, похожая на ведьму или на Бабу-Ягу, как их рисуют художники, иллюстрируя детские сказки. Но меня она почему-то не испугала, видимо, я достаточно была в нервном трансе и без нее.

Баба Ента прикрыла мне голову платком и стала что-то нараспев, негромко, но часто шептать — она надо мной ворожила.

Кончив свои заклинания, она повернула меня — теперь уже лицом к большому медному тазу, до края наполненному горячей водой (бабушка обычно варила в нем варенье). И ворожея, наша нежинская Баба-Яга, приказала мне:

— Клара, посмотри в этот таз!

Я посмотрела на парную воду и увидела (да-да именно увидела!) в том круглом тазу, словно в чистом зеркале, то самое чудовищное лицо, мерзкую рожу с теми же выпученными глазами, которая и причудилась мне раньше, в углу сада, у забора.

Но на сей раз видение продлилось недолго, и как в тумане начало медленно таять и наконец совершенно исчезло, словно растворилось в воде. И тут же в душе наступило успокоение и страх исчез. Куда девались и мои слезы! [Агранович-Шульман 1981, 18—19].

Кузнечик

Кузнечик! Забудешь о нем, а он тут как тут. И я трясусь от ужаса. Всегда трясусь, стоит мне задуматься или, разглядывая что-нибудь, замереть от восторга, как он тут как тут. Тяжелый, неуклюжий скок этой зеленой кобылки повергает меня в тоскливое оцепенение. Мерзкая тварь! Всю жизнь она преследует меня, как наваждение, терзает, сводит с ума. Извечная пытка Сальвадора Дали — кузнечик!

Мне тридцать семь лет, а страх, который внушает мне эта тварь, не уменьшился. Мало того — мне кажется, что он растет, хотя дальше некуда. Если я встану на краю пропасти и на меня прыгнет кузнечик, я кинусь вниз, только бы не длить эту пытку!

Ужас, который я испытываю глядя на кузнечика, — одна из самых таинственных загадок моей жизни. Я ведь любил кузнечиков в детстве. С сестрой и тетушкой мы часто ловили кузнечиков. Меня приводили в восторг их крылышки — они точно так же отливали розовато-лиловым, как жаркое закатное небо над Кадакесом.

Но в один прекрасный день мне случилось поймать рыбку-соплюшку (названием она

обязана слизи, покрывающей ее чешую). Я крепко схватил рыбешку, чтобы не выскользнула — так, что видна была одна голова, — и стал разглядывать, но вдруг дико вскрикнул, отшвырнул ее и зарыдал. Отец, сидевший неподалеку, встал, подошел ко мне и спросил, что стряслось. Захлебываясь слезами, я еле выговорил: "У нее голова, как у кузнечика! Я сам видел!"

С той самой минуты, как я обнаружил это сходство, я и боюсь кузнечиков, и стоит мне увидеть кузнечика или рыбку-соплюшку, как я теряю самообладание. Родителям пришлось запретить соседским ребятишкам пугать меня кузнечиками, но сами они удивлялись: "Ты же любил кузнечиков! Помнишь?"

Настоящие мучения ожидали меня в Фигерасе, где родители не могли защитить меня от одноклассников, а те, обнаружив, что я боюсь кузнечиков и сверчков, стали прямо-таки изощряться в жестокости. Они непрерывно подсовывали мне этих тварей, обращая меня в бегство, да какое! Я срывался с места и как сумасшедший бежал сломя голову куда глаза глядят. Но разве от них спрячешься? В конце концов кузнечик сваливался мне на голову — жуткий, мерзостный, полудохлый! А иногда я открывал книгу, и там оказывался кузнечик с оторванной головой: он лежал между страницами, вокруг расплывалось буроватое пятно, и лапки еще трепыхались!

Соученики так меня замучили, что я уже ни о чем кроме кузнечиков и думать не мог. Они мне мерещились повсюду: я принимал за сверчка скомканный фантик и ко всеобщему восторгу начинал дико орать. А если в меня запускали хлебным катышком или резинкой, я вскакивал на парту и, трясясь всем телом, начинал отряхиваться в ужасе от одной мысли, что это кузнечик.

В конце концов, издерганный до последней степени, я разработал стратегический план операции, надеясь, что военная хитрость избавит меня если не от страха перед сверчкообразными, то по крайней мере от приставаний одноклассников. Моя отвлекающая операция была предельно проста. Однажды я публично притворился, что куда больше, чем кузнечиков, боюсь бумажных птиц, и стал слезно умолять одноклассников не запускать их при мне и вообще не показывать, даже издали. При виде кузнечика я величайшим усилием воли ухитрился сохранить спокойствие, а завидев бумажную птицу, принялся орать благим матом, изображая полную неменяемость. Мое вдохновенное притворство возымело действие еще и потому, что смастерить из листа бумаги птичку куда проще, чем отловить кузнечика, не говоря уж о том, что разыгранная мной сцена ужаса была много живописнее подлинного страха. Так, обманным маневром я обезопасил себя — скоро мне перестали совать сверчков. Истинный страх я как ширмой прикрыл страхом притворным, что доставило мне глубокое удовлетворение, хотя, конечно, притворство было обременительно, ведь приходилось всякий раз играть блестяще — под страхом новой пытки кузнечиками! [Дали 1991, 189—190].

Кровь и одиночество

В детстве у меня часто шла носом кровь. Ее тошнотворный привкус отравил меня на всю жизнь.

Помню, когда мне было лет шестнадцать, в школе у нас брали кровь на анализ. Я изо всех сил старался собрать все свое мужество и совладать со страхом. Лежа накануне вечером в постели, я снова и снова пытался вообразить в мельчайших подробностях предстоящую процедуру и изо всех сил щипал руку, чтобы привыкнуть к неизбежной боли. В день анализа дух мой был крепок как никогда. Лаборантка рассказывала потом, что я с улыбкой на лице вошел в кабину, сел, протянул указательный палец и отвернулся в ожидании укола. Начало было неплохим. Но после укола наш герой потерял сознание и упал со стула. До сих пор, порезавшись, или если кто-нибудь при мне поранится, я попросту впадаю в панику. Когда говорят о хирургической операции, мне не до сострадания, мне самому так худо, что я мечтаю только об одном — оглохнуть.

Гидон тогда и Гидон сейчас... не могу умолчать и об отвратительной сладости багровой крови.

Правда, когда она начинала капать, взрослые бросались мне на помощь. Как правило, помогали обычные холодные компрессы на лоб или затылок. Но иногда кровь не останавливалась по целому часу. Тошнота становилась сильнее и сильнее, и мною овладевала тревога. Почему она не останавливается? "Бедный мальчик!" — слышал я. Что бы ни имелось в виду, это никак не успокаивало, а только раздражало. <...>

Порой в воздухе [школы] витал легкий запах эфира. Другие ребята ощущали его лишь на входе в здание. Но мое обоняние страдало от него до последнего урока. Эфир свидетельствовал о том, что в школе находился врач, стало быть, скорее всего, предстоит прививка, и мне придется иметь дело со шприцем. В такие дни ужас не давал мне сосредоточиться. <...>

Для меня, обычно уклоняющегося от любых насильственных действий в решении конфликтов, никогда не желавшего даже играть роль разбойника, соответствующие фильмы ("Пролог", "Сорок первый") по телевидению нередко выглядели как бесчеловечное оправдание насилия. Они во мне вызывали страх, наполнявший кошмарами мои сновидения. Когда в душе я бунтовал против якобы справедливых убийств, совершенных красными, эта самая неприкосновенная "объективная истина", которую нам преподносили на уроках истории, предписывала мне молчать. <...>

Ужаснее всего было оставаться в одиночестве. Мною овладевало отчаяние, не сравнимое даже с тошнотой при кровотечении, во время которого я все-таки был окружен вниманием, все заботились обо мне. Страх подкатывал, когда нужно было идти спать. Как впоследствии и моя дочь, я сопротивлялся этому изо всех сил. Всякий раз, когда меня оставляли одного в дальней комнате, этот страх становился проклятием. Не раз я пытался бежать от одиночества, и тогда дверь стали закрывать на ключ. Я чувствовал себя отверженным, мне становилось еще страшнее. Но выбора не было: приходилось покорно оставаться в постели. Ничто на свете не могло заставить взрослых прислушаться: ни просьбы, ни мольбы, ни слезы, ни крики, ни даже абсолютное, тройное форте моих голосовых связок. (Певец! Во мне погиб певец!) Никто и ничто не могло меня спасти.

Лежа одиноко в постели, я пытался отвлечься от страха. В стене была дырка, из которой высыпалась штукатурка. Мне очень хотелось заглянуть через эту дырку в соседнюю комнату, но проковырять ее пальцем не удавалось. Прислоня к ней ухо, я надеялся побольше узнать о таинственном мире взрослых за стеной. Но доносились какие-то смутные звуки. Единственное, что оставалось — засовывать туда скомканые конфетные фантики или скатанную в шарик козьявку. Рано или поздно сон брал верх, ребенок сдавался, а педагогика торжествовала.

Укладывание в постель было для меня таким же принуждением, каким позже стали занятия скрипкой. Подчинение ритму времени казалось жестокостью. Что приводило меня в такую панику перед лицом вынужденного одиночества? Ответа нет. Знаю только, что и по сей день, если возникает свободное от работы время, я пользуюсь любой возможностью, чтобы не оставаться одному [Кремер 1995, 16—17, 84, 92, 18—20].

Страх — в воде

Одно лето было прожито не в имении тверского деда, но на берегу Финского залива, моря, о котором я до сих пор имела очень смутное понятие. Я мечтала о нем, ждала его, и оно не обмануло меня, но я боялась войти в него, это был первый раз, когда я остро ощутила в себе отцовскую водобоязнь. Я забегала в тихие волны до колен, но дальше идти не могла, схваченная безотчетным ужасом и даже тоской. Вечерами солнце садилось в самую его середину, и это считалось красивым, но тронуть я ничего не могла, словно все, что было в мире страшного, соединялось для меня в морской глади, все, чего следовало бояться и чего я не боялась: темная комната, привидения, ночные воры, всадник без головы, черт на картинке,

нищий у ворот с красной култыпкой — все это для меня сходилось в стихии воды. <...>

Я вижу отца рядом с собой, рука его в моей руке или моя — в его. Мы идем рядом, я делаю большие шаги или он делает маленькие, и мы говорим о чем-то, всегда существенном, всегда интересном, в равном удивлении перед миром и остальными людьми, идущими мимо нас.

Но он заражал меня своими слабостями, которых у него было немало, и одной из них был страх воды. Он не любил жить у моря, смотреть на волны, слушать водопады, и с самых ранних лет этот страх перешел ко мне. Сесть в лодку было для него невыносимо, пароход был мучителен одним своим видом, и плеск реки или даже гладь озера заставляли его ускорять шаги и не оглядываться. Этому пришло позднее объяснение. Оно, конечно, было мне дано в детстве, но я начисто забыла его, и вот во сне, однажды, когда мне уже было за тридцать, я увидела гладь воды, прямо в нее садилось солнце, вечер был полон цветов, лета, прелести и мира, и все во мне отрицало страх воды, страх этого голубого моря, но я не могла освободиться от него, и была скована ужасом, и понимала, что в данный час моей судьбы я ничего не могу поделать с этим страхом, что он со мной, во мне. Я говорю, что все это не может быть врожденным, а значит, должно быть побеждено. И кто-то, насмешливо и даже слегка презрительно поглядывая на меня, говорит, что ничего удивительного тут нет, что отец мой тонул в купальне, потеряв внезапно равновесие, когда ему было лет семнадцать, и с тех пор он болен водобоязнью. Это подсознание возвратило мне сном слышанное мною много лет тому назад объяснение, и я поняла, проснувшись, что мной самой указывалась дорога (как бывало в жизни не раз), путь, как победить что-то, что даже, в сущности, не было моим. Я вышла из этого страха много позже, и это оказалось одним из самых внутренне важных событий моей жизни, одной из ступеней к равновесию, которое мне далось через этот акт освобождения [Берберова 1996, 67, 59—60].

Мухлынин М.А. Пародирование страшных рассказов в современном русском детском фольклоре // Мир детства и традиционная культура. М., 1995. С. 27—59.

Захаров А.И. Что снится нашим детям. СПб, 1997.

Томление, тоска, чувство страха (*фр.*).

Игра. Фантазия

Воспоминания позволяют приоткрыть дверь в волшебную страну детства, в которой царят миф и сказка, игра и творчество. Не случайно запоминаются и воспроизводятся в автобиографиях именно те игры, в которых с особенной яркостью нашла отражение детская фантазия. Своей причудливостью она удивляет и продолжает возбуждать интерес и автора, и его читателя.

Фантазия и игра составляют основу детского интимного мира. Они являются не просто развлечением и досугом ребенка. С их помощью происходит процесс его развития, становления творческой активности. Детская игра принципиально отлична от игры взрослых как по своему содержанию, так и по функциям, как по причине возникновения, так и по ее роли в жизни.

Именно в игре ребенок учится взаимодействовать с окружающим миром, не касаясь его вплотную, а лишь моделируя наблюдаемое в нем в своем, безопасном и отгороженном от взрослых пространстве. Здесь соединяется реальность и воображение, создаются разнообразные миры, параллельные взрослому.

Для ребенка этот воображаемый мир настолько реален, что, уходя в него, он забывает подчас обо всем на свете. А. Адамович вспоминает, что из такой самопогруженности его очень трудно было вывести. Он "вдруг переставал слышать внешний мир при вроде бы нормальном слухе, притом настолько отключался, что хоть ты трактором наезжай, хоть дверь взламывай или окно разбей". Наезжающий трактор, действительно, не привлек

внимания мальчика, поглощенного созерцанием клубочков пыли, живописно вздымаемых босыми ногами на пыльной, выжженной солнцем деревенской дороге. Мы не знаем, что конкретно виделось в них Алесю, но подобное отношение к мелкой дорожной пыли характерно не только для него. Во взвивающихся облачках дети видят разрывы снарядов, пыльные бури, грозящие путешественникам, или волны бурного моря...

Рабиндранат Тагор, проводивший дни на веранде отцовского дома с видом на реку, мог, "не платя за проезд, усесться на любое из плывущих под парусом судов и унести в страны, донныне не названные ни в какой географии". Помимо реки, за домом был пруд. От раздолья реки мальчик уходил к пруду и грезил на берегу его о страшном царстве, "таящемся в глубине пруда" [Тагор 1965, 32, 34].

Многие воспоминания содержат рассказы о самостоятельно созданном ребенком мире для себя и своей игры. Этот игрушечный мирок, будь то домики для кукол, города и страны из коробок на столе, из песка на берегу, из снега во дворе или вообще "ни из чего", как Швамбрия Л. Кассиля, заселяется игрушечными или воображаемыми жителями, которые действуют по желанию ребенка.

Как показывают воспоминания, вариантов такой игры множество, и сюжеты неисчерпаемы. Е. Шварц, С. Маршак, В. Конашевич, К. Юнг и другие дают различные и в то же время схожие варианты подобных игр. Чем богаче фантазия ребенка, тем многообразнее и хитроумнее жизнь, происходящая в созданном им мире. Эта тайная жизнь творится в противовес той зависимой жизни ребенка, в которую взрослые свободно вмешиваются. "Своя" жизнь в "своем" мире очень важна для формирования личности ребенка. Его беспомощность перед лицом взрослого мира обретает в такой игре компенсацию. В ней он получает полную власть над созданным им мирком, выступая и созидателем, много часов трудившимся над ним, и разрушителем, с наслаждением уничтожающим все плоды рук своих. Восторг и удовольствие от проявления власти над игрушками надолго остаются в памяти человека.

В свои игры и фантазии дети не любят посвящать взрослых. И это не случайно. Мир, создаваемый для игры воображением ребенка, чужд серьезному восприятию старших. Ребенок инстинктивно чувствует, что, если в свой мир впустить посторонних, он будет разрушен их скептицизмом. Для многих детей очень важно владение собственной тайной, своими собственными сокровищами. Это может быть закопанное в землю цветное стеклышко, пуговица или камешек, кукла, машинка или ножичек, найденные в саду. В общем, что-либо такое, о чем никто, кроме владельца, не знает. С такими вещами ребенок нередко беседует и хранит их от постороннего взгляда.

Воспоминания К. Юнга показывают, как происходит игра, тайная, недоступная и невидимая для взрослых. Мальчик вступает в таинственные отношения с предметами, с окружающим миром, преображенным фантазией, созидает и разрушает созданное. Это личная, интимная жизнь ребенка. Дети не очень любят впускать взрослых в свои игры. С. Образцов вспоминает: "Стоило мне только заметить, что взрослые следят за тем, как я играю, игра прекращалась" [Образцов, 1950, 24].

Взрослые вмешиваются и портят всю игру, если она им не нравится. Они пытаются навязать детям свои игры, "воспитывающие" и "обучающие", но толк из этого редко получается. То, что предлагают взрослые, — тихие, развивающие игры — часто оказывается неинтересным, далеким от шумной возни, от увлекательных фантазий, владеющих душой ребенка.

Но случаются и умные, и умелые воспитатели. В воспоминаниях В. Шверубовича содержится рассказ о необычайном, пожалуй, одном из редчайших, таланте — таланте организатора детских игр. Его обладатель не разгоняет юных робинзонов и индейцев по домам, а умеет стать их вождем. Н. Романов с благодарностью вспоминает, как его родители втайне подыграли его детской фантазии, превратив ее в реальность. Это дало ребенку такой сильный заряд счастья, что его импульс в дальнейшем помогал верить в чудеса, дерзать и творить.

Многие дети заводят в своих мечтах тайных, невидимых для других друзей — помощников и собеседников. Это часто происходит тогда, когда в разные периоды и по разным причинам ребенка начинают томить неуверенность, одиночество, тревога, отсутствие понимания со стороны окружающих. Он далеко не всегда может разобраться в самом себе. Именно тут-то "свой" мирок и приходит на помощь, а одиночество скрашивает появляющийся воображаемый или игрушечный "друг" — собеседник и партнер в игре, которому можно полностью довериться, найти в нем утешение от критики старших. К. Юнгу, Т. Сухотиной-Толстой, как и другим, "он" оказывал в детстве существенную психологическую помощь. Своим воображаемым друзьям Е. Шварц давал свободу делать все, что взрослые запрещали ему самому, компенсируя этим свою зависимость от них. А вот в воспоминаниях В. Конашевича выдуманный персонаж является в облике отрицательного героя. Его хулиганство и безобразия при помощи воображения дают выход сдерживаемым эмоциям послушных детей. Невидимый миру "друг" — одна из тайн ребенка, тщательно охраняемая ото всех. Вспомним его литературное воплощение — Карлсона, который живет на крыше. Различные его вариации находят место в воспоминаниях и помогают понять неугасающую любовь нескольких поколений детей к книге Астрид Линдгрен.

Итак, в воспоминаниях речь идет не только о самих играх и фантазиях, но и о соприкосновении с ними мира взрослых, который либо способствует их проявлениям, либо разрушает их, вольно или невольно. Автобиографии дают серьезную пищу для размышлений о том, сколь непросто и неоднозначен процесс детских игр. Родители, воспитатели и педагоги не вправе вторгаться в него грубо и неумело. Но те, кто хранит в своей душе ощущения и живые воспоминания о собственном детстве, кто не утрачивает детской эмоциональности и способен проникнуть в мир ребенка, те сумеют осторожно войти в детскую игру, подыграть детям, дать им новый интересный материал, обогащающий фантазию. И дети всегда с восторгом примут такого партнера во все свои игры.

Для тех, чье детство проходит под слабым контролем взрослых, в деревне или на городской улице, свойственны соревновательные игры, подчиненные правилам и законам детского коллектива. "Игра по правилам" оказывает огромное воспитательное воздействие на человека. Это совершенно особый мир детской самостоятельности, и воспоминания о нем весьма редки, но крайне интересны. Здесь мы приводим уникальные воспоминания Д. Набокова, в которых показано, как в деревенской среде складывается детский коллектив, строго разделенный на возрастные группы. В каждой группе — свои игры со своими правилами, переходящими от поколения к поколению. Их смысл — в проявлении силы, ловкости и смекалки, с помощью которых завоевывается авторитет среди сверстников.

Играя с другими детьми, ребенок самоутверждается в коллективе равных, доказывает себе и другим собственную значимость. Дети так не любят проигрывать! Ребенку обязательно надо выиграть для самоутверждения. Проигрыши и неудачи в детских играх запоминаются надолго и оказывают существенное влияние на формирование взрослого человека, его упорства, активности, его комплексов неполноценности. В игре познается характер ребенка: один в игре упрям, другой, наоборот, уступчив, один мечтателен и не любит шумной возни, другой не выносит ни минуты одиночества и целый день носится как угорелый. В детской игре, так или иначе, проявляются стойкость, смелость, доброта, великодушие. Но точно так же в ней обнаруживаются жадность, трусость, ябедничество.

В среде подростков случаются также злые и жестокие игры, направленные на разрушение. В замкнутых сообществах детей возникают квазиигры, которые становятся не развлечением или творческим отдыхом, а служат подавлению одних детей другими, унижению личности слабого. Особенно часто это происходит в учебных заведениях, где налицо большая нагрузка на психику ребенка. Это могут быть, например, побоища между учащимися различных школ, дворов, улиц или просто между одноклассниками.

Наверное, каждый школьник может вспомнить эпизоды из своей жизни, сходные с тем, о котором рассказывает Пабло Неруда:

"Бывало, под большим навесом мы устраивали сражения желудями. Тот, кому не

случалось быть битым желудями, не знает, как это больно. По дороге в лицей мы набивали ими полные карманы. Сноровкой я не отличался, хитрости у меня было мало, а сил и вовсе никаких. И потому мне особенно доставалось. Пока я любовался красотой зеленого полированного желудя, в морщинистом сером колпачке, пока неуклюже запихивал его в трубочку, которую у меня тут же отнимали, на мою голову обрушивался град желудей" [Неруда 1988, 50].

Характер детской игры изменяется с возрастом. Дети сами вдруг обнаруживают, что любимая игра становится неинтересной и годится лишь для малышей. А если "малышковая" игра все еще привлекает, то ребенок уже стесняется играть на людях. Вырастая, дети стремятся, чтоб их приняли в свои игры старшие товарищи, братья и сестры, игры которых уже переместились в отдаление от дома, приняли более серьезный и самостоятельный характер. С окончанием периода детских игр кончается и само детство.

Мир детской игры распадается на две части: игры, которые дети придумывают для себя сами, и игры, изобретенные для них взрослыми. Под сенью домашней опеки существует сфера, специально создаваемая взрослыми для детей. В ней — детские мебель, одежда, посуда, книжки и, конечно, игрушки. Но как часто дети пытаются вырваться из этого мира или переделать его на свой лад! Это особенно отчетливо видно на отношении детей к игрушкам, которому в воспоминаниях отводится особое место.

Как же разборчивы дети в игрушках и как трудно бывает взрослым понять, почему дорогие и красивые игрушки пылятся в углу, а ребенок не расстается с облезлой куклой или сломанной машинкой, а то и вообще предпочитает игрушкам камешки, щепочки, коробочки, пузырьки и прочий мусор! Между детьми и взрослыми может даже вспыхнуть конфликт на почве отношения к подаренной игрушке, когда ребенок вместо ожидаемого выражения радости раздражается слезами или быстро ломает дорогую игрушку. Взрослые видят в этом непонятный им каприз (о капризах см. гл. 4). Но дело в том, что игрушка по каким-либо причинам не способна действовать в игре, не дает простора фантазии или не похожа на "всамделишные" предметы, которые так нужны ребенку, чтобы почувствовать в игре настоящую жизнь. К чему, например, годен игрушечный самовар, в который невозможно налить воду, или корова на колесиках, если каждому ясно, что коровы передвигаются совсем иным способом? Воспоминания убеждают нас в том, что потуги взрослых сделать игрушку внешне красивой и забавной далеко не всегда могут встретить понимание у детей.

Часто не вызывают восторга и хитроумно составленные настольные игры, а также связанные с "ручным трудом", воспитывающие внимание и усидчивость. Терпение и игра так плохо сочетаются друг с другом, что лишь немногим детям без помощи взрослых удается успешно завершить работу над игрушкой, требующую вырезания, склеивания, раскрашивания и т.п., хотя ребенок и способен на невероятные усилия по изготовлению собственного игрушечного мира. Меток в этом отношении штрих, данный в одном из романов чуткого к восприятию детства В. Набокова: "О, мы с Таней были привередливы, когда дело касалось игрушек! Со стороны, от дарителей равнодушных, к нам часто поступали совершенно убогие вещи. Все, что являло собой плоскую картонку с рисунком на крышке, предвещало недоброе".

Многие дети предпочитают заменять игрушки самыми различными предметами, для игр не предназначенными, или самостоятельно создавать себе игрушки, превращая "тыкву" в настоящую "карету". Афанасий Фет — один из многих, кто не только вспоминает эту кажущуюся странность, но и стремится ее объяснить: "Хотя у меня и была картонная лошадь, но в воскресенья и праздничные дни, когда девичьи скамейки были свободны, с большим наслаждением запрягал их и отправлялся в далекие и трудные путешествия, не двигаясь с места. Благодетельная фантазия сильнее работает при меньшей правдоподобности, а потому и более восторгает" [Фет 1983, 38].

И Фет, по-видимому, прав. Игрушка "работает" в игре лишь тогда, когда она не мешает, а способствует игровой фантазии ребенка. В раннем возрасте легче всего в игру включается простая игрушка, наделяемая детской фантазией самыми разнообразными, изменяющимися

возможностями и свойствами. Помните, как у Льва Кассиля в "Швамбрании" дети используют в играх шахматные фигуры: "...особенно же были удобны обе королевы: блондинка и брюнетка. Каждая королева могла работать за елку, извозчика, китайскую пагоду, за цветочный горшок на подставке и за архиерея...". О таком отношении детей к игрушкам следует помнить, когда они требуют от родителей покупки дорогих и сложных игрушек. Дети, сами не отдавая себе в том отчета, хотят их иметь подчас не для игры, а для самоутверждения и хвастовства перед друзьями. С удовольствием играть они будут чаще совсем другими игрушками, созданными для себя самостоятельно.

Дети очень ценят предметы и игрушки, попавшие к ним не из магазина, а найденные где-нибудь на помойке или обмененные у других детей. Они вызывают восторг неожиданно найденного клада, приобретенного сокровища. Пабло Неруда запомнил такой обмен игрушками между детьми: " Помню еще, как-то раз бродил я за домом, выискивая интересовавшие меня разные предметы и живые существа, которые составляли часть моего мира, и наткнулся на щель в деревянном заборе. Я посмотрел в щель и увидел двор — такой же, как наш, пустой и заросший. И отступил на несколько шагов, почувствовав: сейчас должно что-то произойти. И действительно, в щель просунулась рука. Маленькая детская ручка, должно быть, ребенок был мне ровесником. Я подошел, но руки уже не было, а подле забора осталась белая овечка. Шерсть на овечке облезла, колесики, на которых когда-то она катилась, потерялись. Никогда я не видел такой прекрасной овечки. Я побежал в дом, принес и положил на то место, где нашел овечку, дар: душистую, благоухающую кедровую шишку, любимую свою игрушку" [Неруда 1988, 51—52].

Расставание с игрушками — есть расставание с ранним детством, и процесс этот может носить драматический характер. Тоску по играм и игрушкам детства мы проносим через всю свою жизнь.

* * *

Законы уличных игр

На улицу вышли на игры "взрослые" — от девяти до четырнадцати лет. Играли в мяч, в распятие, в дубинки, в царя, в бабки. Все эти игры требовали умения, ловкости, выносливости. Захныкавший изгонялся из игры на две недели, на месяц, а то и больше. Он сидел вместе с малышами в стороне и смотрел, как надо играть.

Мы по целым месяцам вспоминали с восхищением замечательный удар по мячу, который взвивался выше турмана, бешеный бег с шайбой и прорыв вражеской "стенки" в игре в "дубинки" или косой удар "битки", валивший целый "кон" бабок. Игры взрослых были для нас школой развития силы, ловкости и всех доблестей настоящего мальчишки. Не было ни одного малыша, кто не сказал бы с уверенностью: "Я тоже буду так бить мяч через год" — и никто не смеялся над ним, над его мечтами.

Но мы, малыши, не только смотрим, но и играем. Мы бегаем наперегонки от дубков до Баидикового переулка и обратно — на двух ногах и на одной ноге. Мы играем в скакалочку с цацками. Каждый ставит свою цацку в ряд на землю на "кон" и должен на одной ноге от начальной метки доскакать до "кона", ухватить пальцами этой же ноги любую цацку, не тронув при этом соседних, и доскакать с цацкой до начальной метки игры. В этом случае цацка выигрывается.

Совершенно не просто скакать на одной ноге с зажатой в ней стекляшкой с довольно острыми краями, по песку, в котором находятся острые стеклышки. После таких игр мы запросто бегали босыми по стерне с прочными короткими и острыми пеньками скошенной ржи.

Потом мне объяснил мой брат Санька, что собирать колоски после жатвы можно, только научившись играть хорошо в скакалку.

Я рос, топил печи и нянчил Маруську. Она привыкла ко мне, узнавала, пыталась сесть в люльку. Пришлось люльку поставить на пол. Затем Маруську просто положили на пол на

толстую дерюгу домашнего тканья, где она лежала и играла в свои собственные игры. <...>

Пришла весна, и малыши целый день не уходили с улицы от игр, солнца и друзей. Весной кончился наш зимний плен из-за обуви и одежды.

Воздух звенит от радостных криков играющих малышей. А я мучаюсь с Маруськой, и чем дальше, тем больше. Она не дает мне жить, требует внимания и заботы: то ей неудобно от камешка под боком, то она вся мокрая, то ей просто скучно. И голос у нее стал громкий, всюду слышный.

— Митька, а Митька, что у тебя с Маруськой? Где ты пропал? — слышу я строгий голос матери.

И цапка сама выпадает у меня из пальцев ноги, и я выхожу из игры "в скакалку" на целый кон, вдобавок с проигрышем цапки. <...>

Я стал больше присматриваться к играм взрослых, к законам улицы: новый мир я открыл сам, но и завоевать его надо самому. Вместе с дружками на Харьковскую гору я попаду зимою через год, когда поступлю в городскую школу и получу полную зимнюю одежду. В Архиерейскую рощу я пойду раньше, на будущее лето, если Санька и Кузька с Ванькой поверят в мою силу — "признают" меня. На Везёлку меня возьмут вместе с Маруськой будущим летом, когда она уже будет хорошо ходить; осенью в деревне никто не купался — грех после Ильина дня.

Значит, самому надо много ходить, таскать тяжелое и научиться драться. По законам улицы была запрещена драка из-за места, или по злости, или как проявление драчливого характера. Разрешалась и поощрялась организованная драка между совершенно равными по силе противниками, под надзором старших и "по любви", так как дравшиеся до и после драки трижды целовались. Запрещено было в драке рвать одежду противника, царапать лицо и бить под ложечку. При первом же проявлении злости драка сразу прекращалась. Поощрялись драки между двумя разной силы и возраста противниками, но при этом обязательно уравнивались их силы простым способом: у более сильного подвязывалась к туловищу левая или правая рука, а ноги связывались веревкой для уменьшения шага и силы прыжка. Такая драка считалась особенно полезной для развития смелости и особо почетной, так как даже побежденный в такой драке более слабый противник долго и с гордостью говорил потом о ней на улице своим сверстникам, а те при описании замечательных событий в жизни улицы даже через год обязательно добавляли: "Степка? Да ведь он дрался с самим Кузькой Комаром! Он получил один удар, а сам ударил три раза".

И я стал проходить школу драки среди равных. Так как рубашка моя не рвалась, лицо не царапалось, то мама ничего не знала. Как бы больно ни было, мы все терпели, целовались после драки и говорили о своем противнике: "Чего там спорить — он здорово бил". В ответ "честный" противник признавал силу и твоих ударов. Школа драки работала круглый год, даже на большой перемене в приходской школе. <...>

У нас на улице не любили воришек, просто душа к ним не лежала, и мы их избегали. За воровство по законам улицы всегда полагалась крепкая взбучка. А вот в любой игре — в бабки и в цапки, в деньги, — каждый мог открыто подойти к кону, схватить в руки или в подол рубашки выставленные бабки или цапки и с криком: "На шарап! На шарап!" — убежать к специальному месту (дерево, камень, колодец), где он получал неприкосновенность, если только по дороге его не перехватывали играющие. Такие мальчишки считались у нас самыми смелыми, "отчаянными", так как в случае перехвата их жестоко били, а захваченные бабки отнимали. Эти смельчаки обычно попадали к уличным вожакам на самые опасные вечерние набеги на чужие сады или огороды, что тоже не считалось кражей: запрещалось только топтать огородину, ломать ветки и уносить лишнее, то есть больше, чем можно съесть одному. Пойманных на таких набегах хозяева секли крапивой, но не били руками: это запрещалось по законам улицы.

Осенью я благополучно забрал "на шарап" кон цапок и полкона бабок и получил доступ в мир взрослых мальчишек с их играми: я как бы выдержал экзамен на "взрослого". Дома я начал в помощь [старшим братьям] Ваньке и Кузьке выносить во двор большие грязные

ведра с мусором, приносить охапки дров из хвороста, подметать кухню и другие помещения. Теплой осенью, когда мне было около семи лет, я с помощью Ваньки впервые в жизни проплыл по Везёлке три-четыре шага, предварительно спрыгнув в нее с высокого берега, где вода была мне по грудь. Но до поступления в церковно-приходскую школу мне надо было ждать еще целый год [Набоков 1967, 72-73, 93, 95, 96].

Персидский шах

Мы, мальчишки, откликались по-своему и на то, что было за стенами дома и имения. И эти впечатления отражались очень часто в изобразительном процессе, близком к представлению, в форме перевоплощения в других людей или создания другой жизни, непохожей на нашу реальную домашнюю действительность. Так, например, когда в России была введена всеобщая воинская повинность, мы устроили свое войско из сверстников, таких же, как мы, мальчиков. Набрали даже два войска: у моего брата — свое, у меня — свое. Главным руководителем обоих враждующих войск было одно и то же лицо — близкий друг моего отца. Он кликнул клич, и изо всех соседних деревень сошлись на затеянную игру много деревенских мальчиков десяти-одиннадцати лет, наших новых друзей. Все было установлено на началах полного равенства. Все были рядовыми солдатами и среди нас — один лишь главноначальствующий, который должен был воспитывать из нас унтер-офицеров и потом производить в офицерские чины.

Началось соревнование. Каждый хотел понять все мудрости военного дела и поскорее стать офицером. Некоторые мальчики, потолковее, являлись нам серьезными конкурентами и вначале в области военных артикулов опередили нас. При дальнейшем расширении программы, когда было объявлено, что грамотность является обязательной для наших солдат, мне с братом поручили учить товарищей. С этой целью пришлось произвести нас в унтер-офицеры.

В день нашего производства в унтер-офицерские чины были назначены маневры. Предводителями двух враждующих армий были мы с братом. Перед самым началом, когда все войско с трепетом ожидало битвы, стоя во фронте, вдали послышались охотничьи рога, что-то вроде фанфар, и во двор влетел верховой, один из гостей наших соседей. На нем был какой-то чудной наряд, очевидно, имевший претензию походить на персидский мундир, с белой женской короткой юбкой до колен. Вестовой спрыгнул с лошади, поклонился по-восточному в ноги нашему главноначальствующему и поздравил нас с высшей милостью, объявив нам, что нас осчастливит своим высоким посещением персидский шах со свитой. Скоро вдали показалась процессия людей в белых купальных и ночных халатах, подпоясанных красными кушаками, с перевязанными белыми полотенцами на голове. Среди них были также лица в великолепных подлинных бухарских халатах... Сам шах был в богатейшем восточном халате, с подлинной восточной чалмой, с великолепным музейным оружием. Он ехал на нашей старой белой лошади, которая, живя у нас в покое, еще не потеряла, несмотря на старость, своей былой красоты. Над шахом несли богатый зонт с приколотыми к нему кистями, бахромой, с кусками золотого шитья по бархату.

На террасе, перед большой площадкой, где происходило ученье войск, точно в сказке, появился трон, украшенный восточными коврами и материями. Лестницу, ведущую с земли на террасу к трону, также покрыли коврами. Откуда-то появились флаги, которыми наскоро украшали балкон.

Шаха, который, ввиду своего высокого сана, не хотел ходить, торжественно сняли с лошади, понесли на балкон и посадили на трон. Мы тотчас же узнали в нем двоюродного брата.

Началось ученье. Мы прошли церемониальным маршем. Шах кричал нам грозно какие-то непонятные слова, которые, очевидно, должны были изображать персидский язык. Свита почему-то что-то пела, кланялась в ноги и церемонно ходила вокруг трона. Мы и все мальчишки волновались от торжественности.

Начались маневры. Нам объяснили расположение двух воюющих войск, стратегическую задачу, расставили по своим местам. Мы приступили к обходу, к засаде, к вылазкам, и наконец наступило и самое генеральное сражение. Разгоряченные торжественностью обстановки, мы дрались не на шутку. Был уже один раненый, с синяком под глазом. Но... в момент самой ожесточенной схватки в самую гущу дерущихся храбро ворвалась наша мать. Она энергично махала зонтиком, расталкивала воюющих и так властно кричала на нас, что в одно мгновение остановила бой. Разогнав оба войска, она стала бранить и нас и начальство. Все получили взбучку. Подошел сам шах персидский. Но тут один из мальчиков крикнул во все горло:

"Объявляю войну Персии!"

Оба войска мигом выстроились, соединились в одну союзную армию и бросились на шаха. Он заорал, мы тоже, он побежал от нас, мы за ним. Наконец толпа мальчишек догнала его, поймала, окружила и стала щипать. На этот раз шах кричал уже не ради шутки, а всерьез, от боли. Но на горизонте вновь появилась гнавшаяся за нами мать с зонтиком, — и все союзное войско бежало [Станиславский 1972, 52—54].

Гороховые полководцы

У Жоржикиного отца... было много военных уставов. Мы их усердно читали. И оттого образовались у нас военные игры. Сперва обучали мы уставам оловянных солдатиков. Но их было мало, и все они могли только изображать стойку "смирно". Вскоре солдатами у нас стали пуговицы. Их было больше, но все они были разномастные и тем противоречили принципу армейского единообразия.

Тогда мы произвели великую реформу и войско образовали из крупной перловки. Крупу мы красили бельевой краской, и каждый цвет изображал род войск: красная перловка — пехоту, зеленая — кавалерию, коричневая — артиллерию.

Крупинки, завернутые в фольгу, означали офицеров, а маленькие раскрашенные горошины — генералов разных рангов.

Главкомандующим был король — стеклянная граненая пуговка.

Крашеную крупу мы насыпали в спичечные коробки, на которых написаны были названия частей: такой-то полк такой-то дивизии. Полков этих со временем накопилось огромное множество. Из спичек клеили мы маленькие пушки. Из пробок вырезали танки и броневики. А из любой дощечки — военные корабли.

Создали мы и сложнейшие правила игры.

В комнате Жоржика мы могли безнаказанно расчерчивать пол мелом на манер топографической карты, рисуя сушу, море, реки и дороги. Цепочками крупы обозначали передний край, расставляли артиллерию, поднимали в воздух самодельные самолетики.

У каждого из нас была своя армия. Правда, войны мы затевали редко, потому что целый день надо было перетаскивать из квартиры в квартиру десятки и сотни коробков с войсками, корабли, самолеты и прочее. Для этого времени хватало только в дни каникул.

Чаще устраивали мы маневры, смотры, парады и почетные встречи военных делегаций, прибывавших на каком-нибудь крейсере.

А иногда кто-нибудь из гороховых генералов поднимал восстание в углу комнаты и большая часть войск переходила на его сторону. Королю оставался верен только гвардейский корпус, с которым он и выступал на усмирение мятежа.

Конечно, король всегда побеждал. Брал в плен мятежную горошину, которую судили мы строгим судом, а потом казнили, выбрасывая в форточку. То есть переселяли в иной мир.

В крупяную армию играли мы несколько лет. У меня чуть не до восьмого класса сохранялись корабли и коробочки с гвардейским корпусом, где каждая крупинка отдельно была покрашена эмалевой краской.

Уже будучи взрослым человеком, солдатом на Волховском фронте, в долгие ночные часы на посту вспоминал я нашу игру и, ей-богу, готов был поиграть в нее с Жоржиком [Самойлов

1995, 97—99].

Робинзоны, разбойники, индейцы

Мой старший брат, которому в то время было 14 лет, и сын моего крестного отца — однолетки — однажды, начитавшись "Робинзона в русском лесу", сбежали в лес. Конечно, "робинзоны" были пойманы и самым позорным образом, с побоями, возвращены по домам, но на нас "клопах" это сильно отразилось. Романтическая обстановка, близость леса, волки и т.п. толкали нас на соответствующие игры. Мы убегали по ночам из своих квартир, даже зимой, изображали из себя две партии разбойников, нападающих друг на друга, бегали купаться на реку, где воображали себя индейцами. По мере того как мы росли, наши иллюзии перешли в действительность, и мы перешли на увлечение охотой и рыбной ловлей [Дербышев 1927, 119].

Он был абсолютным повелителем нашим

Какие бы планы занятий ни строили наши родители и воспитатели на лето, все они превращались в прах, если не совпадали с тем, что хотел с нами делать Сулер [Леопольд Антонович Сулержицкий, 1872—1916, режиссер]. Сидели ли мы за пианино, твердя гаммы, зубрили ли немецкую или французскую грамматику или, как я, решали примеры из арифметики (я по ней в гимназии очень отставал) — как только раздавались переливчатые трели боцманской дудки Сулера ("дяди Лепы"), все бросалось в ту же секунду, и мы, сокрушая всякое сопротивление, мчались к нему. Он был абсолютным повелителем нашим. Его слово было законом, никому в голову не приходило в чем бы то ни было его послушаться, не с полным самозабвенным рвением выполнить любое его приказание. Причем он никогда не сердился, никогда ничем не грозил. Просто мы его любили и уважали так, как это могут делать дети по отношению к самому светлому герою их мечты, к идеалу их представлений о человеке.

Сулер не жалел своего времени, которое было ему нужно для продумывания, для подготовки своих режиссерских работ по театру и по организации Первой студии Художественного театра, для писательской деятельности, для отдыха, наконец, — не жалел для нас, детей. Часами он занимался нами, нашим воспитанием, нашими играми, прогулками, купанием... Неверно говорить "играми" — это была одна бесконечная на все лето игра, в которую входило все, чем мы занимались. Все игры, занятия, развлечения и работы... Основное в этой игре было то, что мы все были моряки. От Ивана Михайловича Москвина, который был самым главным — он был адмиралом, — до Маруси Александровой, которая была гребцом второй статьи.

Мы были флотом, но не военным, а мирным, в нем всякий элемент военщины изгонялся категорически или пародировался, высмеивался, оглушлялся. Материальная часть нашего флота состояла из дуба — крепкой, большой лодки, в которой гребли четыре человека, одним веслом каждый, а пятый управлял кормовым, "кормчим" веслом; двух "галер" — лодок, на которых гребли по два человека, двумя веслами каждый, и челнока — на одного гребца и одного пассажира.

Каждый день мы все под командованием Сулера "уходили" (не дай бог никому сказать "уезжали") на дубе с двумя "вахтами" (одна на веслах, другая отдыхает) на другой берег для купания, обучения плаванию, загорания, гимнастики, бешеных игр в индейцев и т. д. Иногда уходили в "дальнее плавание" — в село Прохоровку на ярмарку; в имение А.П. Ленского; в Канев на могилу Шевченко; еще в какое-нибудь село, где слушали кобзаря, бандуриста, лирника; либо туда, где, Сулер знал, есть гончар, работавший на ножном круге, или еще какой-нибудь ремесленник, мастер-художник своего дела; к учителю в соседнее село, у которого были собраны старинные одежды гуцулов — карпатских горцев...

Были плавания особо дальние — с ночевками у костра, в "вигваме" (из брезента и

парусины) или в "типи" (из коры и ветвей). Взрослые допускались в эту нашу игру не очень охотно. Особенно женщины, особенно матери. Они портили игру. Портили, во-первых, тем, что волновались за нас — что мы утонем, что простудимся, сгорим на костре, когда прыгаем через него в диком охотничьем танце племени дакотов; расшибемся, когда ласточкой летим с обрыва в прибрежный песок, и т.д.; во-вторых, еще больше портили игру тем, что не верили в игру. Самое страшное для ребенка — это если кто-то рядом не верит в его "как будто".

Мгновенно игра испорчена, и становится скучно и противно. Сулер верил, не притворялся, не подыгрывал нам, а верил. Верил. Я знал это, ребенок не может ошибаться, его ни один гениальный актер не надует. Мы знали, что дядя Лепа, Сулер, играя с нами, верит в то, во что мы верим. Он вместе с нами поднимал со дна моря затонувший сто лет назад пиратский пятидесятипушечный фрегат и открывал бочонки с изумрудами и рубинами, утонувшие на нем... Он раскапывал древний курган и находил там похороненную две тысячи лет назад принцессу (Таню Гельцер), которая спала "лекарическим" сном, и мы ее оживляли и учили говорить по-русски, так как она знала только древний сарматский язык (язык мы тут же сочиняли), и никогда Сулер не портил нам веры в истинность происходящего. В этом и была подлинность проникновения его в систему Станиславского, в самую глубинную сущность Художественного театра.

От этих наших игр, которых Сулер не был режиссером, а только участником, шел прямой и торный путь к созданию Первой студии, в которой Сулер был руководителем.

Нами он не руководил, он только отвращал нас от грубого, жестокого, кровожадного. Можно было, например, охотиться на акулу, "гигантскую пожирательницу детей" — он сам тащил отяжелевшую от времени черную корягу со дна Днепра, падал под "ударами ее хвоста", но нельзя было, даже играя, стрелять из лука в собак Капсюля или Серку, хотя они и были в игре "вепрями" или "медведями".

Характерным результатом педагогики Сулера была история с гусем. Александровы купили к обеду живого молодого гуся, он был очень худ, решено было откормить его. Через неделю он стал самым популярным членом нашей компании — он купался с нами, гулял, участвовал в наших играх. О том, чтобы его зарезать и (о ужас!) съесть, не допускалось и мысли. Федя Москвин сказал: "Лучше уж бабушку".

Но самым большим наслаждением были праздники, которые организовывал Сулер в связи со всякими событиями, юбилеями, именинами и т. д. Самым, пожалуй, торжественным и увлекательным /ча нас был "день открытия навигации". За несколько дней до этого мы с помощью рыбака из соседней деревни (а вернее, этот рыбак, несмотря на наши старания помочь ему) просмолили днища наших "кораблей" (а заодно и друг друга так, что неделю нас не иг, к отскоблить). Он, тоже с нашей помощью, сшил из белой парусины парус для дуба, сделал мачту и рею, на мачте, под "ноком", был подвязан блок для подъема флага. Наши "морячки" (матери) сшили флаг — он был белый с тремя синими переплетавшимися кольцами — символами вечной правдивости, бодрости и дружбы. В утро торжественного дня "морское собрание" — терраса дома, в котором жили Сулеры и Александровы, — было украшено "флагами расцветивания" (цветными лоскутами, собранными со всего поселка), гирляндами из листьев и цветов, букетами полевых цветов.

Мы в восемь утра были построены "на палубе" (терраса при необходимости была и палубой), около террасы стояли все дамы в белых платьях с букетами цветов. Сулер был в белом кителе с золотыми пуговицами (вызолотил бронзой какие-то кружочки), Александров — помощник капитана, он же главный кок — был в костюме повара с белым колпаком, Володя Попов — боцман — стоял в строю вместе с нами.

Ровно в восемь часов тридцать минут вместе с боем склянок (Сулер бил в ступку) из дверей соседней дачи показался адмирал — И.М. Москвин. Несмотря на жаркое летнее утро, он был в черном фраке, белом жилете и брюках, с поднятым и подпирющим его щеки крахмальным отложным воротничком, с синей орденской лентой через плечо. Все имеющиеся в поселке часы — золотые, серебряные, стальные, черные, большие и маленькие — все компасы были навешаны на его груди вместо орденов. На голове его была огромная,

украшенная перьями треуголка из двух сшитых вместе шляп. Он вышел и остановился, чтобы посмотреть на небо, и стоял минуты две неподвижно. Засмеявшаяся было Л.М. Коренева была строго призвана к порядку — Сулер требовал полной серьезности. И Москвин в этом смысле был на недосягаемой высоте. Расстояние в пятьдесят метров он шел минут десять, сохраняя на лице абсолютную невозмутимость и истинно сановную важность. Он не представлял, не изображал адмирала, он играл в адмирала. Мы не смеялись тогда, мы тоже играли в смотр, играли как настоящие дети — абсолютно серьезно, с полной верой в "как будто"...

Наши матери сдерживали смех — они не играли, но не смели портить игру. Мы были первоклассной актерской труппой — они добросовестными статистками. Хохотали они позже, вечером, и когда через многие годы вспоминали Москвина с его крахмалом, часами и серьезом.

Потом был подъем флага на нашем дубе, подъем паруса, испытания и соревнования гребцов, гонки галер, состязания в плавании, нырянии, прыганий в воду, в выдувании мыльных пузырей. А вечером дивный, совершенно поразительный фейерверк и иллюминация...

Праздновали день свадьбы Москвина; были выступления "всех народов" с поздравлениями супругов: Сулер был венецианским гондольером и пел итальянскую баркаролу, составленную из якобы итальянских слов: "O mosquivane sikalubo..." ("О, Москвин Ванечика, Лубочка..."); Н. Г. Александров был "король зулусов" — голый, выкрашенный серой и рыжей глиной, с серьгой в носу, с топором и ассагаем. Он говорил речь и танцевал ритуальный зулусский танец; Володе Попову выбрили голову, оставив только инициалы "И" и "Л", он был персом, весь в черном колленкоре, с голыми плечами и руками. Мы, ребята, были: я — китайцем, говорил приветствие по-китайски; Таня — грузинкой, говорила "чхери, чхери и арагви гегечери" и т.д.; Маруся дарила пирог и говорила по-голландски; Федя — запорожец, говорил "здоровеньки булы"; Митя — индеец племени сиу — весь в боевой татуировке, рычал и пел какие-то шаманские заклинания. Венцом всего был Володя Москвин — он был абсолютно гол, припудрен золотом, с приклеенными к лопаткам гусиными перьями, с золотым обручем в рыжих волосах, он — амур — подходил к отцу и матери и тыкал их стрелой в сердца. В том, что девятилетний мальчик мог, не зная мещанского стыда, выйти на люди абсолютно голым и не застесняться, не наиграть ничего, не быть ни смущенным, ни наглым, — была такая чистота, такая серьезность поведения, какой мог добиться, какую мог внушить только Сулер.

Были и срывы. В день ангела Володи готовилась обширная программа развлечений, мы уже подсмотрели огромный транспарант с буквой "В", который должен был засиять вечером над нашим домом, знали, что куплен целый набор пиротехники, что будут ряженные гости из Канева, что и для нас готовы маски и костюмы. Мы, нарядные, причесанные, собрались после завтрака у "морского собрания", стали придумывать, во что поиграть, пока дядя Лёпа занят приятными для нас приготовлениями, и неожиданно подрались — я ударил Володю, он меня, а Федя, маленький, но отважный брат его, укусил меня за зад; я бросился бить его. Таня ударила меня палкой, Митя, считавший, что прав я, схватил ее за волосы. Нас быстро усмирили, но в наказание за безобразное поведение все празднества были решительно отменены. Сулер ликовал — вся пиротехника и даже транспарант "В" готовы для следующих торжеств — моего дня рождения.

Трудно, конечно, представить себе, какими бы мы все получились без Сулера, но мне кажется — и я думаю, что все те, кто рос под его влиянием, согласились бы со мной, — что все мы были бы много хуже, что большей частью того хорошего, что есть в нас, мы обязаны ему [Шверубович 1990, 108—113].

Друг в сиреневых кустах

Как-то осенью я вдруг вообразила себе, что я сумасшедшая. Я делала большие усилия,

чтобы управлять ходом своих мыслей, и старалась, думая об одном предмете, не позволять мысли ускользнуть и заменяться другой... Но как я ни старалась, незаметно забывалось то, о чем я думала, и заменялось мыслью о чем-нибудь другом... Особенно вечером, в постели, перед сном, я вдруг ловила себя на том, что я мысленно произношу совершенно бессмысленные фразы. Я в испуге вскакиваю, вся дрожащая и обливаясь потом от ужаса.

"Неужели у всех в головах такая же путаница, как у меня? Или это признак моего сумасшествия?" — думала я.

Мне было страшно спросить об этом у кого-нибудь, чтобы не убедиться в том, что это делается только со мной.

"Как странно, что никак, никакими усилиями, — думала я, — я не могу узнать того, что делается в головах других людей, не могу поймать чужой мысли..."

Я сделалась мрачна, раздражительна и необщительна. Вероятно, мои родители понимали, что я переживаю что-нибудь тяжелое, так как я стала замечать с их стороны бережное и мягкое отношение ко мне.

Это усилило мое убеждение в том, что я сумасшедшая.

"Они жалеют меня, — думала я. — Они говорят со мной, как с больной... Они, конечно, видят, что я говорю безумные вещи, и хотят, чтобы я сама этого не замечала..."

И я стала строго следить за тем, что я говорила, и говорила как можно меньше. Часто я сравнивала свои слова и поступки со словами и поступками своих братьев, боясь слишком резко от них отличаться.

Я становилась все более и более угрюмой и замкнутой. Чтобы облегчить свое одиночество, я придумала себе воображаемого "друга". "Друг" этот жил только в моем воображении. Он был невидим и жил в старом сиреневом кусту против дома. Я влезала на куст, садилась на одну из его ветвей и шептала своему "другу" все свои секреты, поверяла ему свои мечты, свои страдания...

Мне становилось после этого легче.

Со временем я так привыкла к этому "другу" и так полюбила его, что начала писать повесть, в которой описывала этого воображаемого "друга".

Но вдруг я испугалась.

"А не признак ли это сумасшествия? — думала я. — Разве, кроме меня, кто-нибудь поймет, что пустое место на сиреневом кусте может быть "другом"?"

Я изорвала свою рукопись и перестала лазить на ветки сиреневого куста к своему "другу" [Сухотина-Толстая 1980, 111 —112].

В л а с т е л и н и г р ы

Я один играл в свои игры. К сожалению, я не могу вспомнить, во что я играл, помню только — я не хотел, чтобы меня беспокоили. Я глубоко погружался в свои игры и не выносил, когда за мной наблюдали или говорили обо мне и моей игре. Мое первое конкретное воспоминание об играх относится к седьмому или восьмому году жизни. Я страстно любил играть в кубики и строить башни, которые я потом с восторгом разрушал "землетрясением". Между десятью и одиннадцатью годами я все время рисовал — битвы, штурмы, бомбардировки, морские сражения. Потом я заполнил всю книгу упражнений чернильными кляксами и развлекался тем, что давал им фантастические объяснения. И школа мне нравилась кроме всего прочего за то, что там я нашел, наконец, товарищей для игр, — то, чего у меня так долго не было.

Я также вспоминаю, что в это время (от семи до девяти лет) я любил играть с огнем. В нашем саду была каменная стена, в промежутках между камнями образовались углубления. Я нередко вместе с другими разводил маленький костер в одном из таких углублений, костер должен был гореть постоянно и все вместе мы собирали ветки для него. Но никто другой не должен был поддерживать этот огонь. Другие могли разводить огонь в других углублениях, и эти огни были обычными, они не касались меня. Только мой огонь был живым и

священным. С тех пор на долгое время это стало моей излюбленной игрой.

У стены был склон, на нем, выступая из земли, стоял камень — мой камень. Часто, сидя на камне, погружался в странную метафизическую игру, — выглядело это так: "Я сижу на этом камне, я на нем, а он подо мною". Камень также мог сказать "я" и думать: "Я лежу здесь, на этом склоне, а он сидит на мне". Дальше возникал вопрос: "Кто я? Тот ли, кто сидит на камне, или я — камень, на котором он сидит?" Ответа я не знал и всякий раз, поднимаясь, чувствовал, что не знаю толком, кто же я теперь. Эта моя неопределенность сопровождалась ощущением странной и чарующей темноты, возникающей в сознании. Я не сомневался в том, что этот камень был тайным образом связан со мной. Я мог часами сидеть на нем, замороженный его загадкой.

Через тридцать лет я снова пришел на этот склон. У меня была семья, дети, дом, свое место в мире, голова моя полна была идей и планов, и вдруг я снова стал тем ребенком, который зажигал полный таинственного смысла огонь, и сидел на камне, не зная, кто был кем: я им или он мной. Я вдруг подумал о своей жизни в Цюрихе и она показалась мне чуждой, как весть из другого мира и другого времени. Это пугало, ведь мир детства, в который я вновь погрузился, был вечностью, и я, оторвавшись от него, впал в ощущение времени — длящегося, уходящего, утекающего все дальше. Притяжение того мира было настолько сильным, что я вынужден был резким усилием оторвать себя от этого места для того, чтобы не забыть о будущем. <...>

Мне никогда не забыть этого момента, тогда будто короткая вспышка света необыкновенно ясно дала мне увидеть это особое свойство времени, некую "вечность", возможную лишь в детстве. Что это значило, я узнал позже. Мне было десять лет, когда мой внутренний разлад и моя неуверенность в мире вообще привели к поступку совершенно непостижимому. У меня был тогда желтый лакированный пенал, такой, какой обычно бывает у школьников, с маленьким замком и измерительной линейкой. На конце этой линейки я вырезал человечка, в шесть сантиметров длиной, в рясе, цилиндре и блестящих черных ботинках. Я раскрасил его черными чернилами, спилил с линейки и уложил в пенал, где устроил ему маленькую постель. Я даже смастерил для него пальто из куска шерсти. В пенал я еще положил гладкий, овальный черноватый камень из Рейна, я покрасил его водяными красками, чтобы он выглядел как бы разделенным на верхнюю и нижнюю половины, и долго носил с собой в кармане брюк. Это был его камень. Все вместе это составляло мою тайну, смысла которой я не вполне понимал. Я тайно отнес пенал на чердак (запретный потому, что доски пола там были изъедены червями и сгнили) и спрятал его там на одной из балок под крышей — теперь я был доволен — его никто не увидит! Ни одна душа не найдет его там. Никто не откроет моего секрета и не сможет отнять его у меня. Я почувствовал себя в безопасности, и мучительное ощущение внутренней борьбы ушло. Когда мне бывало трудно, когда я делал что-нибудь дурное, или мои чувства были задеты, когда раздражительность моего отца, или болезненность моей матери угнетали меня, я думал об этом моем человечке, заботливо уложенном и завернутом, о его гладком, замечательно раскрашенном камне. Время от времени, когда я был уверен, что никто меня не увидит, я тайком пробирался на чердак. Я взбирался на балку, открывал пенал и смотрел на моего человечка и его камень. Всякий раз я клал в пенал маленький свиток бумаги, где перед этим что-нибудь писал на тайном, мною самим изобретенном языке. Каждый новый свиток я прятал так, будто совершал некий торжественный ритуал. К сожалению, я не могу вспомнить, что же я хотел сообщить человечку. Я только знаю, что мои "письма" были своего рода библиотекой для него. Мне кажется, хотя я не очень уверен в этом, что они состояли из моих любимых сентенций.

Я никогда не пытался объяснить себе смысл этих поступков. Я испытывал чувство вновь обретенной безопасности и был доволен, владея чем-то таким, чего никто не знал, и до чего никто не мог добраться. Это был секрет, который нельзя было открывать никому, от этого зависела безопасность моей жизни. Почему это было так, я себя не спрашивал. Просто так оно было.

Владение секретом оказало очень сильное влияние на мой характер. Я считаю его самым существенным опытом моего детства. <...> Деревянный человечек с камнем был первой попыткой, бессознательной и детской, придать секретам внешнюю форму. Я был поглощен этим и чувствовал, что должен попытаться понять, и все же я не знал, что на самом деле хотел выразить. Я всегда надеялся, что смогу найти нечто такое (возможно, в природе), что даст мне ключ от этой тайны, что прояснит, наконец, в чем она и что она такое. Тогда возникла моя страсть к растениям, животным, камням. Я всегда готов был обнаружить нечто таинственное. Я сознаю теперь, что был религиозен в христианском смысле, хотя всегда с оговоркой, вроде: "Все это так, да не так!" или "А что же делать с тем, что под землею?" И когда религиозные поучения вдалбливали в меня, и когда мне говорили: "Это прекрасно и это хорошо!", я думал про себя: "Да все это так, но есть нечто Другое — тайное, нечто, чего не знает никто".

Эпизод с вырезанным человечком был высшей — и последней точкой моего детства. Длился он примерно год. Потом я совершенно забыл про все это до тех пор, пока мне не исполнилось тридцать пять [Юнг 1994, 30—35].

Добрый конь

К этому времени стала развиваться моя замкнутость, очень мало заметная посторонним, да и самым близким людям. Я был несдержан, нетерпелив, обидчив, легко плакал, лез в драку, был говорлив. Но самое главное скрывалось за такой стеной, которую я только теперь учусь разрушать. Казалось, что я весь был как на ладони. Да и в самом деле — я высказывал и выбалтывал все, что мог. Но была граница, за которую переступать я не умел. Я успел отдалиться от мамы, которой недавно еще рассказывал все, но никто не занял ее места. Причем скрывал я самые разнообразные чувства и мечты, иногда неизвестно, по каким причинам. <...> Скрывал я и коня, и маленьких человечков, о которых не рассказывал я никому и не написал ни строчки до настоящей минуты. Конь жил в песчаной котловине, в обрывистой части городского сада. Я звал его особым свистом сквозь зубы и отпускал девятикратным свистом обыкновенным, губным. В свободное от службы время конь мог превращаться в человека, путешествовать, где ему захочется, больше по Африке и по Индии, есть колбасу, каштаны, конфеты, вообще наслаждаться жизнью. Но по условному свистку он мгновенно переносился в песчаную котловину, а оттуда летел ко мне. И я садился на него верхом и ехал в библиотеку, в лавочку, в булочную, к Горсту за сельтерской, словом, всюду, куда меня посылали, соблюдая осторожность, чтобы встречные не угадали по походке, что я еду верхом [Шварц 1982, 93—95].

Игра в биографию

Наш двор был как будто нарочно предназначен для мальчишеских игр. Два этажа покинутого и запущенного завода, обветшалое здание какого-то склада с шаткими площадками без перил и трясущимися от каждого шага лестницами, откос в конце двора — все это как нельзя более подходило для непрерывной игры, в войну, в индейцев, в пиратов, в рыцарей.

Но была у нас еще одна игра, которую выдумали мы сами — я и мой старший брат. Впрочем, брат к ней скоро охладел и даже подтрунивал надо мной, когда я упорно и увлеченно продолжал играть в нее один, без его участия.

В этой игре наш двор превращался в какую-то огромную, еще не до конца исследованную страну. Овраг был морем, заросли лопухов и бурьяна вставали непроходимыми лесами. А на всем пространстве двора были разбросаны деревни, сложенные из маленьких дощечек или щепочек, уездные городишки, построенные из мелких обломков кирпичей, и, наконец, большие города с рядами домов в четверть или даже в половину кирпича. На подготовку к игре, то есть на постройку всех этих бесчисленных деревень, городишек и городов,

соединенных воображаемыми дорогами — проселочными, шоссейными и железными, — уходила добрая половина дня. И только тогда, когда вся страна становилась обитаемой, можно было спокойно приниматься за игру.

А суть ее заключалась в следующем. Где-то в одной из самых глухих деревушек, затерянных среди просторов нашего двора, родился на свет мальчик, главный герой этой повести-игры. Он подрастал и отправлялся в первое свое путешествие — в ближайший уездный городок. Там он учился, а затем его ждали бесконечные странствия и приключения. Постепенно на его пути вставали все большие и большие города. В конце концов он попадал в столицу, о которой, по правде сказать, у меня у самого было в то время весьма смутное представление.

Судьба моего героя складывалась каждый раз по-иному. Он становился то путешественником, то великим полководцем, то капитаном корабля, то знаменитым дрессировщиком львов, тигров, пантер, мустангов и орангутангов.

Но во всех этих разнообразных вариантах игры было и нечто общее. Преодолевая препятствия, герой выходил из дремучей глуши, из нужды и безвестности на широкую дорогу жизни.

Очевидно, мне и самому мерещился в это время где-то за тесными пределами нашей слободы — Майдана — еще неизвестный мир: большие города, полная приключений жизнь, в которой человек перестает чувствовать себя существом незаметным и затерянным.

Историю этого человека я придумывал целыми часами, сочинял молча, про себя, и все же не мог обойтись в своей игре без чего-то вещественного — без разбросанных по двору щепочек и кирпичей, без палки, которой я водил по земле, бродя от деревни до деревни, от города до города.

Подшучивая надо мной, брат грозил снять моего героя с конца палки, а иной раз даже делал вид, будто и в самом деле снимает его кончиками пальцев. И — как это ни странно — игра сразу теряла для меня всякую достоверность, и мне уж не к чему было водить по земле палкой, на которой больше не было моего воображаемого человечка... [Маршак 1961, 49—51].

Гадкий Мальчишка и лилипутики

Этот трон [горшок], время, проведенное на оном всегда одновременно с сестрой, которая на полтора года была моложе меня, было для нас с ней моментами, когда особенно пышно работала наша фантазия. Тут именно получила начало бесконечная история про "Гадкого Мальчишку".

История эта, вернее целый ряд историй, связанных одним героем, рассказывалась без конца и начала, как "Рокамболь", с массой все новых и новых вариантов, новых и новых добавлений, пока не была решительно запрещена "высшим цензором" — мамой, случайно ухватившей ухом рассказ о каких-то действительно мерзких проделках нашего героя. После этого "вето" наша история про "Гадкого Мальчишку" перешла на некоторое время в подполье, пока не забылась вовсе.

Этот герой наш в самом деле заслужил свое имя за год или полтора своего существования в нашем детском воображении. Он был почти нашего возраста — ну, может, чуть старше: мальчишка лет шести. От обыкновенных детей он отличался тем, что его не привлекала обыкновенная детская еда: ни манная каша, ни булочки с маслом. В особенности же он не терпел ничего самого для детей лакомого: ни пирожных, ни конфет, ни варенья. Его тянули к себе всякие гадости: все садятся за стол, где кипит самовар, красуются сдобные крендельки и варенье, а он бежит на помойку. Он ел все самое отвратительное, что только могла выдумать наша фантазия. Кроме того, он был злой озорник и непослушный мальчик. Вот его полный портрет. Мы с сестрой никогда не вздумали бы послушаться старших, не были озорными, а только иногда капризными, что в счет не шло. Я думаю, что этого "героя" мы и создали в противовес нам, паинькам.

Гадкие склонности нашего "Гадкого Мальчишки" были настоящим несчастьем, тяжелым крестом для его мамы, которую мы искренне жалели. Она была обыкновенной женщиной и даже "тонной дамой", у которой бывали в гостях другие дамы с хорошими детьми. Вообразите, какой подымался переполох, когда нянька притаскивала "Гадкого Мальчишку" за шиворот или за ухо с помойки! Место действия мы брали из какой-нибудь нарядной и благонамеренной детской книжки — по контрасту. Это была или гостиная, или садовая беседка, где мама сидела с гостьей-дамой и гостями-девочками. Тут появлялся обычно папа или дворник со свистком, и дело кончалось поркой, которая, кстати, вовсе не действовала на нашего героя: он снова и снова, уже при других обстоятельствах и в другой обстановке, принимался за то же самое.

Другая бесконечная эпопея, еще более фантастическая, — "История лилипутиков".

Мы рассказывали ее друг другу с большим жаром и волнением по вечерам, за ужином. Обедали мы и пили вечерний чай, когда не было гостей, за общим большим столом в столовой. Ужин же нам всегда подавался в детской. Тут стояли круглый камышовый столик, обитый сверху желтенькой клеенкой с рисунком под дуб, и два таких же маленьких креслица. Вот тут, за этим "круглым столом", и родился наш круг легенд о малюсеньких человечках. Мы твердо верили в существование таких маленьких человечков, с наш детский палец, не более. Ведь жила же когда-то Лизок с вершок, почему и другим таким не жить где-нибудь? Остается только им появиться у нас в детской! Почему бы и этому не случиться? И мы ждали затаив дыхание, что вот-вот вскочит такой малыш в щель двери, которую неплотно закрыла за собой тетка. Каша стыла, а мы все сидели, застыв тоже и не отрывая глаз от низа двери. Вот уже тетка появилась вновь с горячим молоком, и носок ее башмака высунулся из-за двери вместо маленького человечка. Мы получали легкий нагоняй за несъеденную кашу и по кружечке молока. <...>

Как-то я раздобыл ножницы, к которым не полагалось прикасаться, намереваясь что-то вырезать из бумаги. Их с ужасом у меня выхватили, боясь, что я себе уже искромсал руки. Но руки мои целы, зато клеенка на нашем круглом столике оказалась прорезанной. Потом, пытаясь вытащить из этого прореза какую-то крошку — интересно было посмотреть, что это там застряло, — я загнал туда обгорелую спичку, взятую из пепельницы. За ужином моя тарелка споткнулась об эту спичку, я вспомнил о ней и, показав сестре, сказал: "Соня! Соня! Вот маленький человечек!" И сейчас же сам, по крайней мере наполовину, поверил своей выдумке. Какое это было сложное, более чем двойственное чувство! В глубине-то души я знал, что это всего-навсего спичка (и очень досадовал этому), потому и оттягивал всячески появление ее на свет божий. Вместе с тем, видя почти полную веру сестры в то, что под клеенкой живой человечек, я сам начинал в это не то что верить, но сильно надеяться, что спичка какими-нибудь чарами в него превратилась. Потом долгие усилия тихонько вынуть его, не повредив тонких ручек и ножек, сделали его невероятно драгоценным и совсем убедили нас в том, что это он — долгожданный крошечный человечек! Разве же стоило тратить так много усилий на простую спичку?! Мы останавливали несколько раз нашу "работу", споря чуть не до драки, кто это: мальчик или девочка (я, конечно, хотел вынуть мальчика, а сестра девочку), долго обсуждали, куда "его" денем, где "он" будет спать, как "его" зовут.

Ах! Мне и сейчас не хочется писать о нашем разочаровании, когда из прореза клеенки появилась спичка! Какое это было горе, до слез! И горе неожиданное — даже для меня.

Тетка, кормившая нас ужином, совершенно была сбита с толку, не понимая, что за игру мы затеяли и кто кого обидел.

И вот начались рассказы о похождениях маленьких человечков, теперь уже невидимо живших около нас. Каких только приключений не пережили в нашей детской эти малыши, которых теперь стало много, целая гурьба! <...>

Наш день, как и у всех детей нашего времени, начинался с молитвы. Прочтя короткую молитву, составленную для нас отцом, в которой заботе Бога поручались "папа, мама, бабушка, дедушка и все родные и знакомые", мы мылись, одевались и шли в столовую пить

чай с молоком и розанчиком — обязательно с розанчиком, другой формы булочки мы не признавали. Попив чая, мы возвращались в детскую и прежде всего, пыхтя и толкая друг друга головками, выдвигали из-под кровати ящик с игрушками, вернее с обломками игрушек. Потому что в это почетное помещение попадали только заслуженные, любимые, испытанные друзья. Здесь были куклы без ног или без рук; лошадки, потерявшие подставки и колесики; деревянные кучера без лошадей и санок, которые валялись тут же отдельно; разные драгоценности иногда непонятного нам названия, так как они происходили из обихода взрослых. Все это было перемешано с разрозненными кубиками и кирпичиками разных величин.

Общими усилиями мы вытаскивали наш ящик и опрокидывали его на середину ковра, занимавшего почти всю нашу маленькую детскую. Ящик убирался обратно под кровать, а куча нашего хлама красовалась посередине детской весь день до ужина, когда мы сами должны были ее убрать, и служила основой всех наших игр. Иногда какие-нибудь домашние события или интересные гости отвлекали нас от нашей кучи. Но вывернуть ее на ковер мы не забывали и делали это непременно сейчас же после утреннего чая — таков был обычай.

Когда появились у нас в детской маленькие человечки, они участвовали во всех наших играх. Мы строили для них дома подальше, по концам ковра, чтобы им приходилось ездить друг к другу в гости; помогали им на этом пути перебираться через всякие препятствия в виде гор из кубиков и воображаемых рек, спасали их от страшных зверей из Ноева ковчега.

Для тетки и мамы настала тяжелая пора! Входя в детскую, они всюду рисковали растоптать кого-нибудь из наших дорогих крошек. Ну что делать, если детскую залил потоп и единственное место, где могут спастись малыши, — высокая гора — стул перед маминым рабочим столиком, — на которую они лезут, подсаживая один другого, и вот уже достигают вершины... а мама входит и садится на этот стул! [Конашевич 1968, 19—23].

Фантазия странствий

В детстве я верил в чудо. По вечерам, засыпая под хрупкие аккорды шопеновских мазурок, которые мама играла в полутемной затихшей гостиной и которые отдавались в моем детском сознании какой-то сладкой, еще неизведанной болью, или слушая, как тихо напевает она грустную песнь Сольвейг, я любил, глядя на голубой фонарик, висевший под потолком в нашей детской, и на возникавшие от него теневые узоры на стенах, мечтать о том, что вот к нам, в нашу комнату, залетел знакомый ангел, подарил нам, детям, мягкие, пушистые крылья, научил летать. Как приятно было мысленно пролетать, упруго взмахивая крыльями над обычными книжными шкапами и игрушками, таким умелым воздушным путешественником, легко и беззаботно взвиваться над нашим скучным городским мощным двором!

Затем откуда-то потянуло свежим ветром героической романтики Жюль Верна. Где-то там, по дебрям центральной Австралии, пробирается смелый, неутомимый исследователь. Детский воздушный шар не в силах был поднять меня самого, но ведь он легко может поднять записку! Пусть затерянный в горах далекий одинокий путешественник найдет и прочтает ее! Мы с ним хорошо понимаем друг друга! И детскими печатными буквами я старательно вывел: "Мы хотим сладких булок и конфет". Далее следовал точный адрес. Подгоняемый весенним ветром, выпущенный на свободу шар летел все выше и выше над пестротой зеленых и красных крыш, беспомощно болталась увлекаемая на тонкой нитке записка. Наконец шар сделался маленьким, черненьким и исчез точкой. Прощай, шар!

И пускай твердят унылые рационалисты о том, как вредно потакать детской беспочвенной фантазии. Как благодарен я судьбе за то, что она подарила мне эти редкие мгновения! И когда раздался звонок в тот обычный, ничем не замечательный вечер, когда все мы сидели за чайным столом, я знал уже, что это принесли ответ от него, от незнакомца! И пусть это сделали мои родители — присылка ожидаемых булок и конфет была делом их рук, — важно то, что об этом их чудном поступке, в котором было столько любви и нежности к

пробуждающемуся (детскому) сознанию, я узнал лишь много лет спустя, когда знание трезвой действительности уже ничем не могло меня омрачить. Нет, не огорчило оно меня, а напротив, наполнило мое сердце поздней благодарностью по отношению к ним — милым ушедшим теням, сохранившим мою лучшую мечту от преждевременной гибели. Они не пожелали разрушить хрупкое и гордое здание, уверенно и смело возведенное моей детской фантазией и — кто знает? — может быть, таинственно преобразованное затем в скрытых уголках мозга; оно дало начало тому, что на языке взрослых называется "верой в человечество", "верой в его творческие силы" и т. п. [Романов 1972, 217—218].

Без зрителя

Стремление и любовь к актерству присущи всем детям без исключения и возникают с самого раннего возраста.

На этом стремлении основано большинство детских игр, обнаруживающих в детях такую наблюдательность, фантазию и правдивость, которым взрослые актеры могут только завидовать.

Девочки удивительно умеют укладывать своих кукол спать, распеленывают их, носят к доктору, наказывают за шалости.

Мальчики с полной верой в правду происходящего скачут на воображаемых лошадях, расставив руки, летают аэропланами или, пыхтя и отдуваясь, совершают сложные маневры товарного поезда.

Если вам удастся войти в детскую игру, что для взрослого человека не так просто, вы будете поражены силой детской фантазии.

Однажды, уже будучи актером, я играл с моим племянником в "гости". Он угощал меня чаем из несуществующих чашек. По Станиславскому эта игра называлась бы этюдом на "аффективные действия" и пятилетний мальчик получил бы за него отметку "отлично", а я, профессионал, вряд ли натянул бы на "посредственно".

Мой маленький партнер всегда точно помнил, куда он поставил воображаемый чайник, не забывая снять с него воображаемую крышку, чтобы долить кипятком, и аккуратно поворачивал воображаемый самоварный кран, когда, по его мнению, чайник был долит.

В момент нашего чаепития мальчика позвали пить настоящий чай. Он сперва вскочил и побежал на зов, но, вспомнив, что в его руке осталась чашка (большой, указательный и средний пальцы были крепко сжаты в щепотку), он вернулся, осторожно поставил пустое место на стол и, разжав пальцы, пошел в столовую.

В чисто детском "актерстве" я не был да и не мог быть исключением. Многие игры, относящиеся к самому раннему детству, я помню не только по сюжету, но и по внутреннему ощущению правдивости того, во что я играл.

Помню себя в 1905 году "участником" баррикадных боев. Мне тогда было четыре с половиной года. Баррикады были сделаны из перевернутой кровати брата, за которую мы залезли с соседской девочкой и кошкой.

Помню себя через год "издателем и продавцом газеты". Газета вся была написана мною печатными буквами и состояла из обрывков разговоров взрослых. Помню, как писал фразу: "Партия кадетов очень разозлилась", и помню, как обиделся на папу, который, прочтя мою газету, все-таки начал читать другую.

Очень хорошо помню себя коровой. Моя крестная мать, баба Капај сшила мне из материи рога, набив их ватой. Рога эти я привязывал ко лбу и бегал пастись в комнату нашего жильца на зеленый ковер. На ковре были цветы, и я их щипал, ползая на четвереньках.

Это ощущение себя пасущейся коровой я помню до сих пор, будто действительно был когда-то настоящей коровой, рыжей с белыми пятнами, хотя рыжего на мне ничего не было.

Но помню я также и то, что стоило мне только заметить, что взрослые следят за тем, как я играю, игра прекращалась. Я сердился или плакал, сдергивая со своей головы рога. В этом я тоже не отличался от других детей. Как только дети чувствуют, что под любопытными

глазами взрослых их игра превращается в представление, они прекращают пить чай из несуществующих чашек, укладывать кукол спать, изображать корову, аэроплан или доктора.

И как бы хорошо и правдиво ни играли дети в изобразительные игры, — а в большинстве случаев дети играют в них очень хорошо, — ни про одного из этих ребят нельзя сказать, что из него может получиться актер, то есть человек, умеющий и при зрителе сохранить внутреннюю серьезность и веру в правду своего действия. Только встреча со зрителем определяет актерство в полном смысле этого слова [Образцов 1950, 23—24].

Игрушки - "пустышки" и реализм

К нам приезжало много гостей: и знакомых и родных было в Москве достаточно. Живала и бабушка по несколько дней. Всякий что-нибудь привозил нам, детям, какие-нибудь гостинцы или игрушки, так что у нас с сестрой появилась манера "смотреть всем в руки", как это называла мама, объявляя войну такой дурной привычке.

Но, право же, трудно удержаться и не пощупать пакет, который гость положил на столик под зеркалом в передней, пока раздевался и здоровался с родителями.

Должен признаться, что сестра в таких случаях проявляла меньше нетерпения. Это объяснялось, правда, не только большей ее скромностью. Дело в том, что если я в своих подарках находил некоторое разнообразие — то лошадку, то барабан, то мячик, — то ей положительно не везло в этом отношении: это лето все, как сговорились, дарили ей только кукол. И когда ее мать-крестная, Марья Васильевна, привезла как-то чудесную парижскую куклу, но уже третью чуть не за один только этот день, у бедной девочки опустились руки, кукла хлопнулась носом на пол и разбила свое прекрасное парижское личико. Марья Васильевна, слегка скривившись, стала утешать плачущую сестру и — нашла чем! — пообещала в следующий раз привезти другую куклу, небьющуюся.

Этот следующий раз наступил довольно скоро, и Марья Васильевна не забыла своего обещания. Когда мы с сестрой раскрыли коробку и раздвинули бумажное кружево, которым были оклеены ее края, то увидели прелестную нарядную куколку с шелковистыми каштановыми кудрями, в соломенной шляпе и розовом платице. "Вот эту уж ты не разобьешь!" — сказала Сонина крестная.

Кукла была, по-видимому, не из дорогих, как мы сообразили сейчас же, так как не закрывала глаза и не говорила "папа" и "мама".

"Лежит, как мертвец в своем гробу", — решил я. Это и определило ее судьбу: решено было устроить ее похороны. Сейчас же было сделано облачение из газеты, я его напялил на себя, превратившись в священника, и траурная процессия двинулась на кладбище. Как это все совершается, мы уже знали: совсем недавно у нас умер десятимесячный братец.

В саду возвышалась большая куча песка, нарочно привезенного для наших игр. В этой куче мы делали пещеры, туннели, строили из песка крепости, делали пирожки — все, что полагается. Тут-то и нашлась могила для куклы.

На вершине песочного холма мы вырыли ямку и опустили туда со всякими церемониями картонную коробку с куклой.

Потом пошел дождь, и до обеда нам не пришлось выйти в сад.

И только когда за обедом Марья Васильевна спросила, как поживает кукла, мы о ней вспомнили, переглянулись с беспокойством и сейчас же из-за стола побежали в сад к нашей куче.

Какая печальная картина представилась нашим глазам, когда мы раскрыли "гробик"!

Если бы мы знали, что делается дальше с умершими, когда их хоронят, мы решили бы, что кукла начала разлагаться — все, значит, в порядке, все идет как надо.

Дети ведь большие реалисты. Только их реализм — подлинный: он хорошо уживается с самой буйной фантазией.

Красная подкладка куклиной соломенной шляпы полиняла и потекла ей на лицо, с которого оказались смыты не только глаза и рот, но и самый цвет лица, оставивший местами

коричневатую мастику. А в каком состоянии оказалось ее нарядное платьице с поясом из красной ленты!

И вот в таком виде мы ее представили — не без злорадства — Марье Васильевне.

Та не могла не рассмеяться: "Доконали-таки и эту!" — сказала она. <...>

Все дети всегда играют в "пустышки". И не только за неимением игрушек под рукой.

Игрушка и есть игрушка — она неподвижна, ограничена. Дети, впрочем, эту ограниченность игрушки умеют преодолеть, для этого только приходится сломать ее, эту игрушку.

Мне как-то подарили охотника-стрелка верхом на коне, который ездил вокруг подставки и сбивал своим торчащим кверху ружьем птицу, висящую на крючке над его головой. Ему это удавалось не сразу, так как птицу надо было раскатать этими толчками, а раз на четвертый-пятый она валилась к ногам лошади. И все! Прежде всего настоящий охотник сваливает свою дичь не концом ствола, а выстрелом. Чувство реального меня никогда не оставляло, как и всякого ребенка, который требует, чтобы и в его играх все совершалось "по-взаправдашному". Это "взаправдашное", или "всамделишное", ничуть не мешает постоянному детскому фантазированию, наоборот — поддерживает детское фантазерство, подводя под него, как говорится по-газетному, реальную базу, облекая в живую, во всяком случае осязаемую плоть. Потому я возненавидел эту дорогую игрушку, к удивлению взрослых, которые что-то уж слишком скоро позабывали свое детское ощущение реальности. Эта игрушка стала меня забавлять, только когда сломалась и отскочившего от своей подставки и получившего наконец свободу стрелка можно было поставить в реальную обстановку и — что важнее всего — изменять эту обстановку по своему желанию. Дурацкая птица потерялась, стрелок окружился пустышками и зажил в нашей знаменитой куче полной и разнообразной жизнью.

Моей дочери было два с половиной года. Мы жили на даче около станции Лыкошино. Уже подошла осень, закончились сборы к возвращению в город, отъехала подвода с вещами на вокзал. Дочь взяла меня за руку и повела за дом, к провалившемуся, заросшему крапивой крыльцу парадного хода, по которому никто не ходил, попрощаться с ее подругами. Какими подругами? Оказалось, что на этом крыльце все лето жили две девочки-пустышки — Катя и Таня, с которыми дочь играла за неимением живых подруг. Может быть, впрочем, дело обстояло и не совсем так. Может быть, эти девочки-пустышки были тут же, сейчас изобретены, чтобы было с кем попрощаться, когда взрослые прощаются с соседями. Все равно — пустышка, которая всегда выручает, остается милой пустышкой. Ее сила и прелесть в том, что она всегда под руками, всегда послушно следует всем поворотам детской фантазии и в любой момент может быть выкинута и забыта, не оставляя в душе никаких угрызений.

У нас с сестрой был огромный постоянный "набор" пустышек, которые были куда реальнее этого дурака охотника. Они, как наши человечки-лилипуты, имели взаправдашные качества и потому жили настоящей жизнью.

За игрушками я тоже признавал прежде всего взаправдашные качества, а не одну только видимость. У Сони был прекрасный маленький самоварчик, совсем-совсем как настоящий — с конфоркой и краном. Но кран не поворачивался, самоварчик не открывался, в него нельзя было налить воду — и потому он не был для нас самоваром. Пусть он был бы не так похож на сделанный, да его можно было бы налить и, повернув кран, выпустить воду — и он был бы нами признан!

Я сам делал себе игрушки, вырезал и складывал их из картона. Это были пистолеты, у которых двигался курок, так что из моего пистолета можно было "выстрелить", отведя назад спуск; лошадки, которые опускали и подымали головы, передвигали ноги; тележки, у которых вертелись колеса и в которые можно было впрячь моих лошадок при помощи "настоящей" сбруи из картонных полосок и бечевочек от аптекарских упаковок. Словом, все двигалось и действовало, как всамделишное, потому и признавалось, хоть по виду и далеко было от полного подражания натуре. Я даже никак не красил свои пистолеты, пушки,

лошадей и санки, оставляя их белым картоном и считая, что все достигнуто уже тем, что они действуют, как настоящие, и натуральный цвет и вид им ничего не прибавят.

Вот вам и отличие реализма от натурализма. Натурализм — подделка, а реализм — подлинная вещь... [Конашевич 1968, 57—59, 88—89].

Копошение

У меня есть друг: кукла Катя, которой поверяются на ухо все тайны. Иногда я бью ее, но тут же со слезами целую, прошу прощения. Все говорят: Катя страшная, волос почти нет, нос подбит. Я не верю, это невозможно. Катя для меня красавица! Кроме Кати у меня много нарядных кукол, тех я не люблю. Раз с одной из них я вышла в сад, а там бабы метут аллеи.

"Ах, барышня, какая у тебя цаца... Подари ее мне". Я отдала. Другая баба пристала: "Дай ты и мне тоже цапочку". Я сбежала за другой, и так пока всех не отдала — конечно, кроме Кати. <...>

Мелкие игрушки я предпочитала крупным и могла часами, тихо-тихо притаившись, копошиться в своем углу, разбираясь в моих любимых коробочках, или любоваться крошечными художественными бирюльками, которые прятались в особый шкафчик, купленный мною на собственные сбережения. Этот заветный шкафчик был для меня святая святых. В нем, кроме бирюлек, укладывались в ватку мелкие восковые фигурки — все избранное, любимое. Если бы кто-нибудь коснулся этих сокровищ, я, кажется, умерла бы от ужаса — до того я дорожила каждой вещицей, аккуратно запирая их на ключ — это был мой первый ключ.

Раз какой-то дядя привез мне из-за границы игрушку: обезьяну в пестром атласном платье на шарманке. Когда шарманку заводили, обезьяна начинала вертеть головой, вставала и кланялась. Меня торжественно привели в гостиную, завели шарманку, и все обратились в мою сторону, желая видеть мой восторг. Мать толкала меня, чтобы я благодарила дядю, а я глядела, глядела на это чудовище да как расплачусь!.. "Мне не надо ее", — наконец проговорила я, всхлипывая. За это дали мне тумак и выгнали из комнаты. Я ушла, оскорбленная до глубины души, не тумаком, а самой вещью. Ни за что на свете не стала бы я играть такой игрушкой!..

Из заветных вещей моих некоторые уцелели: шкафчик, несколько восковых фигурок, крошечные стаканчики, чашечки до сих пор напоминают мне мое детское коллекционерство, а милые бирюльки пропали в одном из переездов, так как никто не заботился о моих игрушках, и я часто не находила их на том месте, где оставляла [Тенишева 1991, 21—22, 25—26].

Площадь на столе

Вероятно, в это же время я бывал часто у Соловьевых. У девочек в комнате стояла этажерка, каждый этаж которой был превращен в комнату — там жили куклы. Я обожал играть в куклы, но всячески скрывал эту постыдную для мальчика страсть. И вот я вертелся вокруг этажерки и ждал нетерпеливо, когда девочек позовут завтракать или обедать. И когда желанный миг наступал, то бросался к этажерке и принимался играть наскоро, вздрагивая и оглядываясь при каждом шорохе. Мама знала об этой моей страсти, посмеивалась надо мной, но не выдавала меня. <...>

Попробую рассказать, как я играю в столовой вечером, один. Нянька с Валею, мама ушла куда-то в гости. Я надеюсь, что она вернется, пока я еще не лег спать. Керосиновая лампа освещает только стол. По углам полумрак. В зале — полная тьма. В спальне горит ночничок. Очень тихо, но для меня полной тишины не существует. Оттого, что я болею малярией и принимаю дважды в день пилюли с хиной, у меня звенит в ушах. И в этом звоне я могу, если захочу (это похоже на те зрительные представления, которые я вызываю, закрыв глаза), услышать голоса. Вот кто-то зовет беззвучно, не громче, чем звенит в ушах, растягивая,

растягивая: "Же-е-е-еня!" Темнота, как я открыл недавно, не менее сложна, чем тишина. Она состоит из множества мурашек, которые мерцают, мерцают, движутся. Если в темноте быстро поведешь глазами, то иногда видишь красную искру. Все эти свойства темноты и тишины я ощущаю непрерывно вокруг себя. Тревожит меня дверь в зал. Сядешь к ней лицом — видишь мрак, сядешь спиной — чувствуешь его за плечами. Но освещенный стол отвлекает и утешает меня. Сейчас стол похож на площадь. Дома вокруг площади сделаны из табачных коробок и коробок из-под гильз. <...> Коробки стоят на боку. Крышки подняты и поддерживаются кеглями, как навесы. В домах — живут. Пастух из игры "Скотный двор" стоит под навесом на подставке зеленого цвета с цветочками, как бы на траве, что не совсем идет к данному случаю. В другом живет заводной мороженщик с лопнувшей пружинкой. Сундук его давно отломился. В третьем живет деревянный дровосек.

Деревянный дровосек тоже часть известной кустарной игрушки — дровосек и медведь бьют деревянными молотами по деревянной наковальне. Игрушка давно распалась на части, и дровосек живет, как я сказал уже, в третьем коробочном, пахнущем табаком доме. Медведь живетazole. Я играю, вожу жителей города на санях, но эта ровная площадь между картонными домами, освещенная лампой, навесы, поддерживаемые кеглями, вызывают у меня мечты сильные, но трудно определимые. Не то мне хочется стать маленьким, как заводной мороженщик, и ходить тут по площади, покрытой скатертью, не то, чтобы этот игрушечный город стал настоящим и я жил бы в нем. Знаю только, что играть, как я играю, мне мало [Шварц 1982, 90—91].

Топор

Когда мне минуло пять лет, то, к ужасу моих молодых тетюшек и матери, отец подарил мне, по его заказу за 75 копеек сделанный, настоящий маленький топор, сталью наваренный, остро отточенный, который и стал моей единственной игрушкой. Я прекрасно помню, что в моей комнате всегда лежала плаха дров, обыкновенно березовая, которую я мог рубить всласть. Дрова в то время были длиною в сажень, продавались кубами по три рубля за кубическую сажень (это я знал уже и тогда), плахи были толстые (вершка по три), и я не мало торжествовал, когда мне удавалось после долгой возни перерубить такую плаху пополам, усыпав щепой всю комнату.

Должно быть, с топором у меня дело шло гораздо спорее, чем с букварем, так как мне врезался в память упрек Александры Викторовны:

— Вот Маша уже бегло читает, а ты все на складах сидишь, — и мой на это ответ:

— Маше-то шесть лет, а мне всего пять [Крылов 1949, 77].

Флакон чудес

В раннем детстве моей любимой игрушкой был обыкновенный, плотно закупоренный аптекарский пузырек, наполненный водой, куда мне показалось забавным набросать мелко искрошенные кусочки картона, спичек, пробки и т.п. Чем проще игрушка, тем больший простор оставляет она для детского воображения. Мне нравилось, встряхнув пузырек, немного прищурившись, смотреть через него в окно на свет — лучи солнца преломлялись в зеленоватом стекле, — как кружится, всплывает и вновь тонет вся эта мелочь в затейливой игре. Однажды рано-рано утром, когда все еще спали и косые лучи оранжевого, еще прохладного солнца слепили мне заспанные глаза, я вздумал подвесить пузырек на бечевке, протянутой через всю комнату от стены к стене. Мне казалось, что этим я нарушаю обычное привычное и равномерное течение жизни, вношу в нее что-то необычайное.

"Моя душа, я помню, с ранних лет чудесного искала", — писал Лермонтов. Мне кажется, что эти слова могут быть отнесены к большинству детей, а не только к тем, что, ставши взрослыми, были впоследствии оваяны могучим ветром славы.

Что я видел в нем, в этом висящем пузырьке? Может быть, на мое детское воображение

действовала та мысль, что вода — это обычно растекающееся по полу, требующее особых забот и осторожности в обращении жидкое тело, что эта прозрачная вода висит посередине комнаты в пустом пространстве? Или это было горделивое сознание осуществленной мечты — сложности, сначала возникшей в моем детском уме, а затем воплощенной в жизни? Не знаю. В детском сознании столько тайн, а мудрость, как говорит Аристотель, и состоит в том, "чтобы видеть чудесное в самом обыденном" [Романов 1972, 217].

Труд

Продавались большие листы, на которых было напечатано изображение миноносца в разных, так сказать, видах, причем именно так, чтобы, вырезав эти изображения и склеив по отмеченным линиям те или иные части изображений, можно было в конце концов получить объемный миноносец, своего рода модель. Мне никогда не удавалось добиться этого окончательного результата — даже приблизиться к нему. А между тем казалось, что это не так уж трудно. Изображения эти выглядели чрезвычайно аппетитно. Казалось, только возьмись за ножницы, и через какой-нибудь час на столе будет полулежать перед тобой, как в доке, серое тело миноносца... Но куда там! Умения и терпения хватало, может быть, только на то, чтобы вырезать какой-нибудь кубик боевой башни. Все сминалось затем, расшвыривалось по столу в виде комков бумаги, приклеивавшейся к рукам, повисавшей на кистях рук... И вы плакали, и хотелось, чтобы вас пожалели! [Олеша 1965, 35—36].

Пильщик

Есть вещи, к которым мы настолько привыкаем, что они делаются для нас совсем незаметными и почти не существующими. Разве каждый восход солнца не величайшее чудо, а мы просыпаем его самым бессовестным образом, и только потому, что это совершается каждый день. Нужно только представить себе, что вот это не замечаемое нами солнце было изобретено кем-нибудь, и его восход показывали бы за деньги, как иллюминацию, электричество и фейерверки, — с каким восторгом мы наслаждались бы этим изумительным и единственным зрелищем. А каждый зеленый лист растения разве не чудо? Устройство ноги самого несчастного комаришка разве не чудо? Но мы привыкли к этому чуду и не замечаем его, а затем — просто не можем его оценить в достаточной мере, потому что его не понимаем.

Еще меньше внимания мы обращаем на те мелочи и кажущиеся пустяки, которыми с пеленок обставляется вся наша жизнь, как своего рода маяками и таинственными сигналами, в которых часто скрыта какая-то неведомая сила, как в любом самом ничтожном зернышке. Возьмем для примера самую простую детскую игрушку. Все человечество начинает свою жизнь именно с нее, с этой часто бессмысленной и глупой побрякушки или куклы. Как-то даже странно думать, что в свое время и великий Цезарь, и великий Шекспир, и великий Наполеон сосредоточивали все свое внимание на детской игрушке. Это какая-то таинственная стадия в развитии всего человечества, и мне кажется, что все эти детские игрушки — что-то живое, что принимает самое деятельное участие в жизни маленького человечества, приводя к одному знаменателю великих и ничтожных мира сего.

Самый трогательный момент в этом таинственном периоде игрушечного существования наступает тогда, когда ребенок расстается со своими игрушками навсегда, как расстанутся со старыми, дорогими друзьями. Ведь лошадка, лишённая всех четырех ног и мочального хвоста, продолжает еще жить даже тогда, когда валяется где-нибудь на чердаке в куче разного другого хлама. У самого умного народа, какой только существовал, именно у римлян, — был целый обряд, когда девушка-невеста приносила свои детские игрушки и куклы в жертву какой-то богине. В этом обряде много смысла и какой-то особенно грустной, специально античной поэзии...

В моем детстве игрушек было очень немного, особенно покупных, и, вероятно, поэтому я

их помню с особенной отчетливостью. Сколько вещей перезабыто более ценных, сколько лиц просто как-то выпали из памяти, некоторые события претерпели ту же участь, потускнели, точно стерлись и заслонились другими, а память об игрушках сохранилась. Тут и дешевенькая лошадка из папье-маше, и дрыгавший ногами раскрашенный паяц, и Сергиевская лавра, и целый ряд особенно дорогих картинок, и картонные домики, — все это вижу, как сейчас. Но лучшую игрушку составлял деревянный пильщик, которого время от времени устраивал наш кучер, хохол Яков. Пильщик вырезался довольно грубо из куска дерева, в руках он держал деревянную пилу и, поставленный на край большого стола в кухне, начинал мерно раскачиваться. Эта мужицкая игрушка производила самое сильное впечатление, потому что двигалась, а движение — синоним жизни. Как живое существо, деревянный пильщик подвергался всем последствиям своего возраста, пока не кончал полным разрушением, то есть терял пилу, руки, ноги и голову. Хохол Яков был упрям и ленив, и заставить его сделать другого пильщика составляло не малый труд.

— Яков, голубчик, миленький, устрой другого пильщика...

— А ну вас, — равнодушно отвечал Яков.

Но дети в своих детских делах не менее настойчивы, чем большие, и через некоторое время, поломавшись над нами вдоволь, Яков уступал. Самое скверное, когда Яков начинал бесконечную сказку про белого бычка:

— Ты говоришь: "устрой пильщика", я говорю: "устрой пильщика", а не сказать ли вам сказку про зеленого бычка?

— Яков, пожалуйста...

— Ты говоришь: "Яков, пожалуйста", я говорю: "Яков, пожалуйста", а не сказать ли вам сказку про синего бычка?

В конце концов второй пильщик все-таки появлялся и оказывался ничем не хуже своего предшественника.

Нужно сказать, что в семье у нас в это время не было девочек, и поэтому не было и настоящей детской куклы, представляющей, по моему мнению, игрушку всех игрушек. От карточных домиков, паяцев, пильщиков и картинок мы сразу как-то перешли к играм в бабки, в шарик, в лошадки, к разным самострелкам и пастушьим хлыстам. Поэзия домашних игрушек отлетала с наступлением весны и возвращалась только глубокой осенью, когда на улицу нельзя было показать носа. К началу школьного возраста у меня явился друг Костя, сын одного из заводских служащих. Мальчик отличался веселым характером и великой изобретательностью по части сооружения новых игрушек, в чем заключалась особенная прелесть, потому что явилась возможность делать игрушки самим, не прибегая к помощи упрямого Якова. Пошли в ход всевозможные материалы: картон, дерево, цветная бумага, старые жестянки, кожа и краски. Мы работали вместе, но я никогда не мог достичь совершенства Кости по отделу клеения домиков и коробок, а предпочитал более грубые работы на дереве и железе. Верхом нашего искусства был деревянный пароход, на котором мы путешествовали вокруг света. Команда состояла из деревянных матросов, у которых благодаря особенному старанию с нашей стороны получались какие-то зверские лица. В носу парохода помещалась деревянная пушка, которая много помогала нам в борьбе с людоедами и жестокими дикарями вообще. Происходили удивительно блестящие сражения, когда неприятель бежал от нас тысячами. Все это происходило в присутствии таких благородных свидетелей, как наш кучер Яков, авторитет которого в военном деле не подлежал ни малейшему сомнению. Вообще мнением кучера Якова мы дорожили по всем вопросам и непременно требовали его одобрения.

— А что же, хорошо, — говорил обыкновенно Яков, и мы успокаивались.

Нужно сказать, что одобрение Якова находилось в прямой зависимости от листов бумаги, которые мы ему дарили на "цыгарки". Яков удивительно искусно свертывал из бумаги крючок, известный под названием "козьей ножки", набивал его злейшей махоркой и предавался специально кучерскому *far niente* [приятному ничегонеделанию]. В воспитании благородного российского юношества кучера имеют гораздо больше значения, чем думают

господа педагоги. Остальная мужская прислуга как-то теряется в детском обиходе,, а кучер всегда остается на недосыгаемой высоте и сохраняет свой авторитет неизменно.

Детская фантазия неистощима и реализуется в тысяче тех мелочей, какие для взрослых людей остаются незаметными пустяками. Детские руки используют всякий обрывок веревки, осколки разбитой чашки, обрезки бумаги, попавшийся на глаза пестрый камушек и вообще всякий хлам и отбросы, причем получают удивительные превращения, точно дерево, камень и все эти обрезки и обломки оживают! Детское воображение из каждой вещи делает игрушку, и каждый ребенок в своей неутомимой созидательной и разрушающей работе повторяет многомиллионный опыт своих предшественников. Интересна именно эта детская игрушка, которую смастерил ребенок сам, интересна, несмотря на все недочеты материала и техники, а покупная, самая дорогая игрушка является только материалом для новых комбинаций.

Как теперь помню этот роковой день, когда к нашему дому подкатил троичный экипаж. В экипаже сидел наш благочинный отец Алексей, очень красивый и представительный седой старик с окладистой бородой, придававшей ему вид старинного московского боярина. Рядом с ним в экипаже сидел худенький мальчик лет двенадцати, стриженный под гребенку, с острым носиком и в мягкой пуховой шляпе. Появление гостей в нашем доме составляло всегда некоторое событие, а тут еще приехало в некотором роде начальство. Отец Алексей был очень хороший, добрый и неизменно веселый человек; его все любили, но тем не менее в нашем доме поднялся страшный переполох. Мое внимание, конечно, сосредоточивалось главным образом на маленьком поповиче, которого я видел в первый раз. Он быстро выскочил из экипажа, подбежал ко мне и проговорил:

— Ну, здравствуй... Тебя как зовут? А меня Леней...

— Вот что, милый друг, — говорил отец Алексей, вылезая из экипажа с большим трудом. — Ты смотри, того...

— Я, папочка, не буду шалить...

— Знаю, знаю... А только я тебе вперед говорю. Понимаешь? Леня только засмеялся и побежал в комнаты. Его развязность несколько меня удивила, и мне было неприятно, что он так себя ведет. Маленький гость обежал все комнаты, выскочил через окно прямо в сад, по пути бросил палкой в кошку и исчез в огороде, прыгая по грядкам, как козел.

— Леня, Леня! — кричал отец Алексей. — Ах, господи, вот человек навяжется!.. Леня!

Когда я побежал в огород, мальчик уже возвращался, откусывая на ходу только что сорванный в теплице огурец. В другой руке у него была целая охапка всякой зелени: вырванный с корнем куст гороха, несколько реп, пучок бобов, морковь. Мне сделалось даже жутко, когда я увидел, как Леня ел огурец, выплевывая зеленую кожурку, а потом бросил его на крышу. Нужно сказать, что в горах, где засел наш завод, огурцы составляли предмет большой редкости и выводились только в теплице и парниках. В нашей теплице все огурцы были на счету, и сорванный Ленею как раз составлял единственный спелый экземпляр, который оставлялся в теплице "на случай гостей".

— Ах, Леня, Леня, разве можно так? — ласково журил отец Алексей своего баловня. — У тебя еще живот разболится...

Но Леня, разбросав свою добычу, уже был на черемухе, и только было слышно, как он безжалостно ломает сучья, чтобы достать еще не поспевшую ягоду. Одним словом, это был настоящий мальчик-озорник, избалованный отцом до последней степени. Пока готовился обед, он успел сбегать к жившему рядом единоверческому священнику и бросил кирпичом в дверь передней, потом забрался на крышу, причем чуть не свалился, побывал на сеновале, в курятнике, на погребке, в бане и везде что-нибудь ломал и портил.

Такого отчаянного шалуна мне приходилось видеть еще в первый раз, и во мне накоплялось по отношению к нему затаенное чувство злобы. В нашей скромной семье ничего подобного еще не было видано. Но главное испытание было еще впереди, что я смутно уже предчувствовал. Обыскав весь дом, Леня не мог найти только заветного уголка, где мы с Костей поместили наши игрушки на летнем положении. В уголке под навесом сарая

из досок была устроена "избушка", а в ней помещались все наши сокровища. Сейчас после обеда Леня быстро исчез, и я бросился его отыскивать. Мои предчувствия оправдались: он был в нашей избушке.

— Ты... ты... ты что здесь делаешь? — спрашивал я, задыхаясь от волнения.

— А это что такое? — спрашивал Леня, рассматривая пильщика.

— Пильщик... Он умеет пилить.

Я показал работу своего любимца, но это не произвело никакого эффекта и вызвало только хохот Лени. Затем он быстро обломал пильщику руки и ноги и бросил. Я совершенно растерялся и, вероятно, имел очень глупый вид, потому что Леня продолжал хохотать. Следующая очередь наступила за нашим пароходом. Сорванец бросил его на пол и принялся топтать ногами, продолжая хохотать.

— Ты... ты!.. — крикнул я, чувствуя, как все у меня потемнело в глазах.

— Я... я... я!.. — ответил Леня, показывая язык.

В тот же момент я бросился на него, и мы молча покатались по полу. Произошла самая отчаянная драка. Леня уже начинал было меня одолевать, как мне под руку попался сломанный пильщик и помог в борьбе. Несколько ударов по лицу, побежавшая из носа кровь — и все было кончено. Я остался в избушке среди дорогих развалин, а Леня, весь окровавленный, бросился в комнаты. Не было сомнения, что он побежал жаловаться и что моя победа обойдется мне дорого.

В полном отчаянии я убежал в сад и решил, что больше не вернусь домой. Леня, конечно, был неправ, но это еще не значило, что нужно было поднять такую отчаянную драку. Из своей засады я видел, что в нашем доме происходит большая суматоха и с замирающим сердцем ждал, что вот-вот раскроется окно в сад, и отец позовет меня на расправу. А в доме происходило следующее. Весь окровавленный, Леня, конечно, произвел эффект, и отец Алексей страшно перепугался. Но шалун и не думал жаловаться на меня, а объяснил все тем, что упал с лестницы. Его вымыли, и тем все дело кончилось. Через полчаса он уже разыскивал меня, и когда нашел, то проговорил самым дружелюбным образом:

— Ну, давай помиримся... Нехорошо сердиться.

— А ты зачем наши игрушки ломаешь?

— Игрушки? Скажите, какой ребеночек... У меня тоже были игрушки, а теперь я совсем большой! В игрушки играют только дети...

Это объяснение огорчило меня не меньше потери любимых игрушек. В душе мелькнул призрак той гнетущей пустоты, которую оставляет после себя потеря любимого человека.

На другой день отец Алексей уехал домой. Леня, сидя уже в экипаже, кричал мне:

— А ты приезжай к нам в гости... У меня есть настоящее ружье, которое стреляет настоящим порохом.

Когда вечером пришел Костя, я, конечно, рассказал ему под секретом о всем случившемся, причем немного приукрасил собственную храбрость и некоторые обстоятельства битвы.

— Что же, мы поправим пароход и сделаем нового пильщика, — думал вслух мой друг.

Но тут я вспомнил роковое объяснение Лени относительно игрушек.

— И все-таки поправим... — упрямо повторил Костя.

Но поправки не последовало. Изувеченного пильщика мы торжественно похоронили в нашем саду, и мне даже сейчас жаль этого скромного и молчаливого труженика, вместе с которым похоронено было и все раннее детство, освещенное и согретое детскими иллюзиями [Мамин-Сибиряк 1955, 545—552].

Набоков В. Дар. М., 1990. С.24—25.

Кассиль Л. Кондуит и Швамбрания. Дорогие мои мальчишки. М., 1982. С. 8.

Книги

Нет почти ни одной автобиографии, где читатель не встретится с перечислением любимых книг, прочитанных героем повествования до наступления совершеннолетия. Вероятно, это связано как с попыткой представить визитную карточку своих интересов, так и с невероятной силой воздействия книг на становящуюся личность. Сюжеты прочитанного в детстве запоминаются на всю жизнь. Автор стремится самым их перечислением показать, как шло формирование его личности.

Многогранны впечатления, связанные у ребенка с книгой: и художественное оформление, и яркость слога, и активность в развитии сюжета, и необычный антураж действия, и драматичные судьбы героев. Дети читают книги не так, как взрослые. И даже отношение ребенка к книге иное, чем отношение к ней взрослого человека. Дети крайне эмоционально реагируют на содержание книг, на их внешний вид. Само восприятие ребенком сюжета повествования своеобразно. Он — участник всех сюжетных коллизий, он нередко ощущает фабулу как нечто, имеющее лично к нему самое непосредственное отношение. Поэтому он активнейшим образом стремится воздействовать на происходящие в книге события, воспринимает их как одновременные его непосредственному существованию. Ребенок продолжает книгу в своих играх, рисунках, одежде, позе и походке. Он создает театр понравившейся книги. Е. Шварц рассказывает о своем стремлении проиграть, примерить к себе образ того или иного персонажа с соблюдением, по возможности точным, всех внешних атрибутов.

Детскому чтению присущи гораздо более взаимопроникаемые границы между содержанием книг и реальностью повседневной жизни, чем чтению взрослых. Ребенок стремится к конкретности и "всамделишности" повествования, ему чужды как пространственные описания, так и аллегорические смыслы. Ребенок в первую очередь ожидает от книги интересных сюжетных действий, а не рассуждений. Аллегория и иносказание, присущие взрослой литературе, требуют несвойственного детям образа мышления, воспринимаются с трудом и поэтому нуждаются в предварительных объяснениях и помощи в чтении. Неспроста Юрий Олеся вспоминает свое разочарование в баснях, которые взрослые почему-то считают подходящим детским чтением.

Дети ищут в книгах тех героев, которые бы подходили их собственной картине мира, где так же, как и в этих книгах, есть выдуманные друзья, которые приходят в нужную минуту на помощь, или страшные чудовища, чьи тени каждый вечер появляются из углов комнаты. По-настоящему писать для детей невероятно трудно, ведь фабула и персонажи должны быть близки детскому восприятию, детской душе и детской природе в целом. Если бы мы взяли пересчитать писателей, добившихся у детей популярности, то нам бы хватило пальцев на руках.

По-иному, чем взрослый, воспринимает ребенок содержание прочитываемого, ожидая от него и видя в нем изложение высшей правды, которая подчас больше реальности повседневной жизни. Если такая тенденция активно развивается в человеке, то возникает то, что называется "книжной душой". Если она не развивается, а в сегодняшней жизни это бывает все чаще, то формируется натура "реалиста", не любящего читать и отрицающего серьезность книги, ибо там все "враки". Однако все же натуре ребенка свойственно жить "по-серьезному" внутри литературного сюжета и "по-серьезному" же откликаться на все его перипетии — будь то книга или современное видео.

Несоответствие содержания книг и наблюдаемой повседневной жизни приводит к тому, что ребенок выбирает по преимуществу что-то одно. Он уходит в книги или от книг. Неожиданные совпадения этих двух миров оказывают надолго запоминающееся воздействие. "В лодке я — первый раз в жизни; до этого я только в книгах читал о людях, которые запросто садятся в шлюпки, вельботы, каноэ и пироги и держат путь куда хотят. А теперь я сам в лодке! только подумать!.. До меня доходит, что, значит, в книгах и правда есть; вернее сказать, я и до этого дня верил книгам (иначе что за интерес их читать!), но

правда книжная, казалось мне, к действительной, обычной жизни никакого касательства не имеет. А теперь автономность книжного мира нарушена, какие-то нити из него протянулись в мое повседневное бытие" [Шефнер 1995, 613].

Способностью войти внутрь читаемого определяется для ребенка и выбор круга чтения, который, конечно, кроме того, зависит и от возраста, пола, культурного окружения, случая и так далее. На сознательное предпочтение одних литературных жанров другим оказывает влияние и склад характера. Л. Мартынов вспоминает, сколь были далеки и потому скучны образы классической поэзии для мальчика, живущего на Великом сибирском железнодорожном пути в служебном вагоне техника путей сообщения. Отклик в его душе неожиданно нашли те стихи, которые оказались созвучными современному ему миру.

Нередко ребенок по несколько раз, даже, возможно, и более десяти раз кряду, читает одну и ту же книгу. Спросите у него, почему же он не читает те многочисленные новые книги, стопки из которых возвышаются у него на столе. И если он захочет вам подробно ответить, то скажет, что ему интереснее со знакомыми уже персонажами, с которыми он сжился и пространство существования которых он хорошо себе представляет. Читая второй или пятый раз один и тот же текст, ребенок получает удовольствие от узнавания, от игры со своими старыми знакомцами в уже известное, где правила ему уже знакомы и где он воспроизводит их в диалогах героев книги и во внутреннем повторении переживания их поступков, слов и ситуаций. Можно сравнить такой эффект с приверженностью ребенка к старым облюбованным игрушкам, которые ему часто ближе и милее новых и необжитых. Точно так же необжитым выступает для ребенка пространство каждой новой книги. От него требуется определенное, часто немалое усилие для того, чтобы вжиться в этот мир, принять новое "правило игры". Чтобы решиться на это, нужен дополнительный стимул. Однако бывает и другой характер ребенка-читателя, подряд заглатывающего все попадающие в его руки печатные тексты. Одного сложность книги пугает, и он ее откладывает. Другого эта же сложность привлекает, и он старается читать дальше.

"Логика" выбора тем или иным юным существом круга собственного чтения подчас для взрослых непонятна и неестественна. И если взрослые все же хотят оказывать влияние на круг чтения де-гей, то делать это они вынуждены чрезвычайно осторожно, чтобы чуткий детский глаз не заподозрил их в дидактизме.

Немало авторов воспоминаний отмечают свою приверженность к сложным, недетским книгам, еще мало или совсем непонятным им. Несмотря на подобную непонятность, дети отчаянно продираются сквозь толстые философские или естественнонаучные, богословские или технические издания. Даже поэтические тексты их те могут смутить. А. Григорьев вспоминает свое равнодушие к детским книгам и интерес к "взрослым". Что же привлекает детей в недетских книгах?

Уже сам факт приобщения через книгу к миру взрослых чрезвычайно важен для ребенка. Такое чтение сродни увлечению шифрами и тайным языком, а также пафосом проникновения в неведомое, в некоторую тайну. Удовлетворение при чтении взрослых книг приносит и радость самого познания, и чудно звучащий язык. Вспоминая свои первые соприкосновения с литературой на санскрите, еще неведомом ему, Рабиндранат Тагор обращал внимание на очень важный аспект детского чтения — сама эта непонятность, красота языка, отличного от обыденного, завораживает и притягивает к себе.

Привлекательность непонятного и есть тот стимул, который нередко отмечается авторами воспоминаний в качестве побудительного мотива, рождавшего интерес к сугубо взрослым научным или художественным книгам. В чтении взрослой литературы ребенок также ищет и ответы на те вопросы, которые не рискует задавать старшим. В. Конашевич рассказывает, как в общении с миром книг уже в весьма раннем возрасте у него начали формироваться наиважнейшие представления о человеке и мироздании, возникли первые собственные идеи и теории.

Персона взрослого присутствует в процессе общения ребенка с печатным словом с самого начала. Обучение чтению идет параллельно со слушанием чтения. Воспоминания отразили

почти, увы, утраченный ныне феномен коллективного семейного чтения, в котором родители, друзья и сами дети принимали участие.

"Вот незабываемое впечатление, связанное с отцом, подарившим своим детям несравненную радость. Не так часто, но и не так уж редко он читал нам вслух. Был разработан ритуал. Мы садились на диване, по очереди кто-то сидел рядом с ним. Он заготавливал для нас какое-то вкусное питье (думаю, это была вода с сиропом), которое мы называли вином, каждому давал стаканчик. Открывал книгу — и начиналось бесконечное наслаждение" [Оболенская 1988, 36]. Общее путешествие в книгу становится тем звеном, которое скрепляет взаимопонимание поколений.

Переходу ребенка к систематическому чтению способствует как чтение вместе с родителями, так и самостоятельное знакомство с их книжным шкафом. Манящая привлекательность этого прибежища юной души описана во многих воспоминаниях о детстве. Даже расположение книг на полках, как топография обретаемых чудес, глубоко западает в детскую память. "Стеклянный книжный шкафчик, задернутый зеленой тафтой. Вот об этом книгохранилище хочется мне поговорить. Книжный шкаф раннего детства — спутник человека на всю жизнь. Расположение его полок, подбор книг, цвет корешков воспринимаются как цвет, высота, расположение самой мировой литературы. Да, уж тем книгам, что не стояли в первом книжном шкафу, никогда не протиснуться в мировую литературу, как в мирозданье. Волей-неволей, а в первом книжном шкафу всякая книга классична, и не выкинуть ни одного корешка" [Мандельштам 1990, 111—112].

И нашим наставлениям, что надо читать сыну или дочери, конечно, помогают или противодействуют недра книжных шкафов. Их содержимое оживает и говорит с подрастающим поколением. Как жаль, что его голос слабеет на фоне все более утверждающегося телевидения и компьютерных игр. Не умаляя значения последних, нельзя не отметить, что простор воображению, играющему такую значительную роль в развитии ребенка, открывают перед ним именно двери книжного шкафа, а не экран телевизора, на котором все образы персонажей и места действия уже имеют зрительное воплощение. Книга постепенно утрачивает для детей ореол чуда. Вряд ли сегодня уже встретится то благоговейное отношение к книге, испытываемое мальчиком из глубинки, которое описывает Д. Мамин-Сибиряк. Ему памятна каждая из прочитанных книг, ставшая вехой его детства.

В помещенных здесь воспоминаниях путешественников по недрам книжных шкафов, по неизведанным дорожкам страниц, отражены особенности отношения детей к книгам и взаимодействий их с книгами. Они особенно важны сегодня, когда закономерный спад интереса детей к чтению налицо. Те необходимые ребенку сведения, познания и впечатления, которые он ранее получал из книг и театра, теперь обрушиваются на него в избыточном количестве при помощи иных средств информации и видов зрелищ. При этом их поглощение не требует от ребенка того напряжения, которое необходимо при работе с книгой. Суметь в век теле-видеоаудио сохранить книге место в жизни ребенка — сложная задача для педагогов и родителей.

* * *

Костюм из букв, или Открытие мира и себя

А жизнь в нашей детской текла все так же. По утрам мы, как всегда, вытаскиваем из-под кровати ящик с игрушками и опрокидываем его среди ковра. Теперь только наши игры часто прерываются новым занятием — чтением.

Я стал понемногу читать уже с пяти лет. Мама не считала, что мне в этом возрасте пора овладевать грамотой, и потому гнала меня к игрушкам, когда я приставал к ней — что это за буква и как прочесть какое-нибудь слово в книжке или на обрывке газеты.

Из старых газет мы с сестрой шили себе разные наряды... На этих клоках газет попадались крупные буквы, которые становились в ряд как-то так, что из них выходили слова. Это был секрет! И этим секретом я хотел овладеть. А мама отказывала мне в помощи, когда я за этим к ней лез. Тогда я пустился на хитрости: перенес свои занятия на улицу — стал учиться читать по вывескам, обращаясь за помощью к тетке, с которой мы ежедневно гуляли. Так понемножку я и овладел грамотой и очень удивил маму, когда как-то довольно гладко прочел ей несколько строк в своей книжке с картинками.

К чтению скоро пристрастилась и сестра. Сама-то она, правда, не читала, но ей так нравились сказки, что она заставляла меня читать и читать их без конца — до хрипоты в горле, до ряби в глазах. Эта-то ее "жестокость" и подвинула меня в чтении настолько, что по шестому году я читал уже совсем свободно, и, на радость взрослым, с этих пор у нас появилось тихое занятие. <...>

Только однажды я вдруг почувствовал яркость литературного образа — на этот раз из-за полного его совпадения с тем, что происходило вокруг меня. Я переписывал стихотворение "Весна! Выставляется первая рама...". Выводя буквы этих первых слов, я мысленно торопил момент, когда освобожусь от нудной прописи, а тетка от своей работы и мы пойдем на улицу, где светит солнце и, весело журча, бегут по канавкам ручейки, для которых я заготовил парочку лодочек и уже положил их в карман своего осеннего пальто из верблюжьей шерсти. И надо же быть такому совпадению: как раз в это время, в тот самый момент, когда я писал "Выставляется первая рама и в комнату шум ворвался", тетка с помощью кухарки Дарьи вынула первую раму в гостиной, и в комнату в самом деле "ворвался" уличный шум — и грохот колес, и церковный звон! Исполнилась вся программа полностью по моему стихотворению! У меня даже мурашки по спине забегали! Не казалось мне раньше, что в стихах можно найти что-нибудь настолько близкое действительности. <...>

Для большинства других вопрос мироздания не становился, пожалуй, так резко, так неотступно и в таком раннем детстве, как это случилось со мной. Если бы разрушение моего мирка совершалось постепенно, как и у многих других, я бы не был так внезапно и глубоко потрясен, не превратился бы на долгое время в маньяка с остановившимся взором (один глаз на небо, другой внутрь себя).

Без явной связи с мыслями о строении мира возникли размышления о смерти: от бесконечного пространства, наполненного бытием, я перешел к мыслям о небытии, о времени, когда меня не станет. Тут как раз мне в руки попал номер журнала, кажется "Новь", приложение к какой-то газете, которую папа получал, — большая желтая тетрадь. Меня привлек рисунок на обложке: на пустынных скалах обледенелой, мертвой Земли сидит голый человек (голый потому, что это "вообще" человек. Человек с большой буквы) и смотрит на черное звездное небо, по которому раскинула хвост огромная комета. Звезды, кометы — это моя область! Перелистывая журнал, я напал на статью, к которой относился этот рисунок на обложке, и с жадностью прочел ее. Там говорилось о тогдашней злобе дня — комете, которая в том году должна была столкнуться с Землей. Это столкновение не было вероятностью или предположением, но было точно рассчитано, вычислено астрономами, один из которых даже в ужасе от такого события, грозящего Земле неминуемой и ужасной гибелью, покончил с собой (Земля наша в самом деле столкнулась с кометой и даже точно, минута в минуту, в срок, вычисленный астрономами, только почти никто из ее обитателей этого не заметил: все обошлось только дождем падающих звезд, правда довольно грандиозным).

Эта статья дала определенное направление моим размышлениям о смерти; они получили новое, вполне реальное содержание — я стал думать о конце мира. <...>

Потом моя боязнь смерти как-то затуманилась. Я стал меньше размышлять беспочвенно и самочинно, больше читал. Я уже знал (лет восемь мне было тогда), что на мой век Земли хватит, что мне незачем так волноваться: пройдут еще многие миллионы лет, пока Солнце остынет настолько, что жизнь на Земле станет замирать. Мне попала в руки тоненькая книжка, которую я нашел на полке в папиной библиотеке, где, на мое счастье, мне

разрешалось рыться беспрепятственно, лишь бы я ставил все опять на свое место. Это была популярная астрономия Черкасского. Читал я ее с трудом, но из-за трудности чтения не бросал, стараясь овладеть секретом неба.

С этой книжки мой интерес к астрономии начинает приобретать некоторую систему.

Но чем больше я углублялся в астрономию, тем меньше она меня удовлетворяла. Я искал ответов на вопросы о том, что совершается в мировом пространстве, что такое эти бесконечные миры, которые мне кажутся мелкими звездочками, подобны ли они нашему, и что интересовало меня прежде всего — есть ли, может ли быть где-нибудь такая же жизнь, как на нашей Земле. Но астрономия говорила мне о параллаксе звезд, сообщала их альбедо, а о том, что было для меня важнее всего, не говорила ничего или почти ничего.

Тогда как раз Скиапарелли открыл каналы на Марсе и возникли предположения о возможной там жизни. Кто-то даже увидел световые сигналы, посылаемые с этой планеты. Я страшно заволновался, стал ловить и читать все, что могло относиться ко всем этим наблюдениям. Но очень скоро как-то все эти разговоры заглохли, и серьезные астрономы стали по-прежнему интересоваться только своими спектрами простых и переменных звезд и прочими премудростями, которые никак не отвечали на мои единственно для меня тогда важные вопросы о жизни и смерти [Конашевич 1968, 74—75, 105—110].

Дыхание книги

...Отчетливое понимание смысла слов отнюдь не есть важнейшее условие постижения. Обучение должно ставить себе целью стучаться в двери духа, а не объяснять смысл. Если спросить мальчика, что проснулось в нем при подобном стуке, он вряд ли сможет ответить что-либо вразумительное. Ибо то, что происходит внутри, гораздо глубже того, что может быть выражено в словах. Те, кто считает университетские экзамены достаточной проверкой плодов образования, не принимают этого во внимание. Я могу вспомнить о многих вещах, которых я не понимал, но которые производили на меня глубокое впечатление.

Однажды, когда мы находились на крыше нашей прибрежной виллы в Муладжоре, мой старший брат, увидев, что внезапно набежали тучи, произнес вслух несколько строчек из "Облака-Вестника" Калидасы. Я не понимал, да и не нуждался в понимании санскрита: с меня довольно было его восторженной декламации и звучного размера.

Другой раз мне в руки попало обильно иллюстрированное издание "Лавки древностей". Английского языка я тогда еще почти не знал. Я "прочел" эту книгу целиком, хотя, по крайней мере, девять десятых ее слов были мне неизвестны. Но из тех неопределенных представлений, которые я извлекал из остальных, я соткал пеструю нить, на которую мог нанизывать иллюстрации. Любой университетский экзаменатор поставил бы мне круглый нуль за такое знание, но все же подобного рода "ознакомление" с книгой вовсе не было для меня столь бесплодным, как это могло бы показаться. Однажды мы вместе с отцом катались по Ганге в лодке.

Среди взятых им с собою книг была "Гитаговинда" Джаядевы в старом издании Форты Уильяма, напечатанном бенгальским шрифтом. Стихи в нем были напечатаны не отдельно по строкам, а сплошь — как проза. Я тогда еще совершенно не знал санскрита, но, благодаря моему хорошему знанию бенгальского языка, многие слова были мне понятны. Трудно сказать, сколько раз я потом перечел эту "Гитаговинду". Я прекрасно помню следующую строчку:

Ночь прошла в одиноком приюте лесном...

Она дышала для меня смутно угадываемой красотой. Мне вполне достаточно было уже одного сложного санскритского слова, означающего "одинокий лесной приют". Мне пришлось самому открыть для себя сложный размер Джаядевы, что было сильно затруднено слитностью строк. Это открытие доставило мне громадное наслаждение. Конечно, я не вполне понимал содержание поэмы. Вряд ли можно даже сказать, что я постиг его хотя бы частично. Но звучание слов и биение размера наполняли мой дух образами чудесной

красоты, что побудило меня переписать себе всю книгу для собственного пользования. <...>

Всякий, кто вспомнит о своем раннем детстве, согласится со мною в том, что наиболее ценные духовные приобретения нисколько не были тогда соразмерны полноте понимания. Наши сказители хорошо это знают. В их рассказах постоянно встречается множество звучных санскритских слов и туманных выражений, которые действуют как намеки и отнюдь не рассчитаны на полное понимание со стороны простодушных слушателей. Значения подобных намеков не следует недооценивать. Те, кто измеряет результаты воспитания мерою фактических приобретений и утрат, требуют подсчета итогов и точного выяснения того, какая часть преподанного урока может быть воспроизведена. Но дети и те, кто не перевоспитан, обитают в том раю, где человек может знать, даже и не понимая всецело. И только когда этот рай потерян, настает злосчастный день, когда все необходимо понимать. Путь, ведущий к знанию не через безрадостный процесс понимания, — вот царский путь. Если он закрыт, то — хотя бы мировое торжище и продолжалось по-прежнему — открытое море и вершины гор становятся недоступными.

Итак, как я уже упоминал, я в том возрасте не мог вполне понять смысла гаятри, но и без полного понимания эта мантра имела для меня смысл. Я вспоминаю, как однажды я сидел на каменном полу в углу нашей классной комнаты и размышлял об этой мантре; глаза мои наполнились слезами. Откуда эти слезы, я не знал; и если бы кто-нибудь внезапно и напрямик попросил у меня объяснения, я, вероятно, сказал бы что-нибудь, не имеющее никакого отношения к гаятри: ведь то, что происходит во внутренних тайниках сознания, не всегда известно обитателю поверхности. <...>

Водянистая жидкость, которой теперь разбавляют литературный нектар, чтобы подать его молодежи, приспособлена, быть может, к их детскому возрасту, но никак не к их человеческой природе. Детские книги должны быть частично понятны детям, но частично и непонятны. В детстве мы читаем от начала до конца всякую книгу, какая нам попадется, и действует в душе как то, что мы понимаем, так и непонятное нам. Точно так же и сам мир действует на сознание ребенка: он усваивает себе то, что понимает, между тем как то, что вне его понимания, ведет его ступенью дальше. Когда появилась комедия Динобондху Миттро "Дом для зятьев", мы еще не были в возрасте, для которого она могла бы подойти. Одна наша родственница читала комедию, но никакие мои просьбы не могли ее заставить дать мне книгу в руки; она держала ее под замком. Недоступность книги сделала ее для меня особенно желанной, и я заявил, что непременно прочту книгу. <...>

Доктор Раджендролал Миттро издавал иллюстрированный ежемесячник смешанного содержания, под названием "Бибидхартхо шонгрохо" ("Обо всех понемногу"). У моего третьего брата в книжном шкафу хранился переплетенный комплект журналов за год. Я его раздобыл, и до сих пор памятно мне наслаждение, с каким я несколько раз подряд прочел его от начала до конца. Сколько послеобеденных часов в свободные дни провел я, лежа на кушетке в нашей спальне, с томом журнала на груди, читая описание нарвала, анекдоты о правосудии старых кади или романтическую историю Кришна-кумари. Почему у нас нет теперь таких журналов? [Тагор 1965, 49—51, 71—73].

Облианные сказки

...Первые книги, которые помню до сих пор, и первые друзья, с которыми или рядом с которыми я прожил до наших дней. Книги эти были сказки в издании Ступина. Сильное впечатление произвели обручи, которыми сковал свою грудь верный слуга принца, превращенного в лягушку, боясь, что иначе сердце его разорвется с горя. Это было второе сильное поэтическое впечатление в моей жизни. Первое — слово "приплынь" в сказке об Ивасеньке. И надо сказать, что оба эти впечатления оказались стойкими. Сказку об Ивасеньке я заставлял рассказывать всех нянек, которые... менялись у нас еще чаще, чем квартиры. В ступинских изданиях разворот и обложка были цветные. Картинки эти, яркие при покупке книжки, через некоторое время тускнели, становились матовыми. Я скоро

нашел способ с этим бороться. Войдя однажды в комнату, мама увидела, что я вылизываю обложку сказки. И она решительно запретила продолжать мне это занятие, хотя я наглядно доказал ей, что картинки снова приобретают блеск, если их как следует полизать. <...>

Книги. В это время я читал уже хорошо. Как и когда научился я читать, вспомнить не могу. <...> Кое-какие сказки ступинских изданий я не то знал наизусть, не то умел читать. Толстые книги мама читала мне вслух, и вот в жизнь мою вошла на долгое время, месяца на три-четыре, как я теперь соображаю, книга "Принц и нищий". Сначала она была прочитана мне, а потом и прочтена мною. Сначала по кусочкам, затем вся целиком, много раз подряд. Сатирическая сторона романа мною не была понята. Дворцовый этикет очаровал меня. Одно кресло наше, обитое красным бархатом, казалось мне похожим на трон. Я сидел на нем, подогнув ногу, как Эдуард VI на картинке, и заставлял Владимира Алексеевича становиться передо мною на одно колено. Он, обходя мой приказ, садился перед троном на корточки и утверждал, что это все равно. Среди интересов, которыми я жил, чтение заняло уже некоторое место. <...>

...С этой учительницей у меня связано сильное поэтическое переживание — она прочла нам вслух "Бежин луг". Впервые я был покорен не занимательностью рассказа, а его красотой. Как, влюбившись, я сразу понял, что со мною происходит, так и тут я сразу как бы угадал поэтичность рассказа и отдался ей с восторгом. Я не выслушал, а пережил "Бежин луг". В хрестоматиях я прочел отрывки из "Детства и отрочества", где удивило меня и обрадовало описание утра Николеньки Иртеньева. Значит, не один я просыпался иной раз с ощущением обиды, которая так легко переходила в слезы. Там же прочел я "Сон Обломова". С того далекого времени до нынешнего дня всегда одинаково поражает меня стихотворение Некрасова "Несжатая полоса". Самый размер наводит тоску, а в те дни иногда и доводил до слез. Бесконечно перечитывал я и "Кавказского пленника" Толстого. Жилин и Костылин, яма, в которой они сидели, черкесская девочка, куколки из глины — все это меня трогало, сейчас не пойму уже чем. В это же время, к моему удивлению, я выяснил, что "Робинзон Крузо" было несколько. От коротенького, страниц в полтора, которого я прочел первым, до длинного, в двух толстых книжках, который принадлежал Илюше Шиману. Этот "Робинзон" мне не нравился — в нем убивали Пятницу. Я не признавал Илюшиного "Робинзона" настоящим, несмотря на мою любовь к толстым книгам. Неожиданно разросся, к моему восторгу, и "Гулливер", знакомый мне по коротенькой ступинской книжке с цветными картинками. Там рассказывалось только о его путешествии к лилипутам, а в издании "Золотой библиотеки" — и обо всех других приключениях Гулливера. Однажды у папы на столе я нашел книгу, на корешке которой стояла надпись: "Том второй". Я обрадовался, думая, что как "Робинзон" и "Гулливер", так и "Принц и нищий" имеет продолжение. Надпись на корешке я отнес к Тому Кенти. Но, увы, раскрыв книжку, я увидел, что она медицинская. <...>

В то майкопское лето я прочел впервые в жизни "Отверженных" Гюго. Книга сразу взяла меня за сердце. Читал я ее в соловьев-ском саду, влево от главной аллеи, расстелив плед под вишнями, читал не отрываясь, доходя до одури, до тумана в голове. Больше всех восхищали меня Жан Вальжан и Гаврош. Когда я перелистывал последний том книги, мне показалось почему-то, что Гаврош действует и в самом конце романа. Поэтому я спокойно читал, как он под выстрелами снимал патронташи с убитых солдат, распевая песенки с рефреном: "...по милости Вольтера" и "...по милости Руссо". К тому времени я знал эти имена. Откуда? Не помню, как не помню, откуда узнал некогда названия букв. Я восхищался храбрым мальчиком, восхищался песенкой, читал спокойно и весело — и вдруг Гаврош упал мертвым. Я пережил это как настоящее несчастье. "Дурак, дурак", — ругался я. К кому это относилось? Ко всем. Ко мне, за то, что я ошибся, считая, что Гаврош доживет до конца книги. К солдату, который застрелил его. К Гюго, который был так безжалостен, что не спас мальчика. С тех пор я перечитывал книгу множество раз, но всегда пропуская сцену убийства Гавроша [Шварц 1982, 86, 89, 93—95, 101—102].

Живой участник детской жизни

В радужной перспективе детских воспоминаний живыми являются не одни люди, а и те неодушевленные предметы, которые так или иначе были связаны с маленькой жизнью начинающего маленького человека. И сейчас я думаю о них, как о живых существах, снова переживая впечатления и ощущения далекого детства.

В этих немых участниках детской жизни на первом плане, конечно, стоит детская книжка с картинками... Это была та живая нить, которая выводила из детской комнаты и соединяла с остальным миром. Для меня до сих пор каждая детская книжка является чем-то живым, потому что она пробуждает детскую душу, направляет детские мысли по определенному руслу и заставляет биться детское сердце вместе с миллионами других детских сердец. Детская книга — это весенний солнечный луч, который заставляет пробуждаться дремлющие силы детской души и вызывает рост брошенных на эту благодарную почву семян. Дети благодаря именно этой книжке сливаются в одну громадную духовную семью, которая не знает этнографических и географических границ.

Здесь мне приходится сделать небольшое отступление, именно, по поводу современных детей, у которых приходится сплошь и рядом наблюдать полное неуважение к книге. Растрепанные переплеты, следы грязных пальцев, загнутые углы листов, всевозможные каракули на полях — одним словом, в результате получается книга-калека. Может быть, здесь виноваты большие, которые подают живой пример своим детям. Спросите каждого библиотекаря, как его сердце обливается кровью, когда у него на глазах совершенно новая книга превращается в грязную тряпку. Кто пишет на полях нелепые замечания? Кто и для какой цели вырывает из середины целые страницы? Вообще кому нужно увечить книгу и безобразить ее? Особенно, конечно, страдают рисунки. В лучшем случае, их вырывают "с мясом", а в худшем — портят пером, карандашом и красками. Тут даже не простое неуважение к книге, а какое-то злобное отношение к ней. Трудно понять причины всего этого, и можно допустить только одно объяснение, именно, что нынче выходит слишком много книг, они значительно дешевле и как будто потеряли настоящую цену среди других предметов домашнего обихода. У нашего поколения, которое помнит дорогую книгу, сохранилось особенное уважение к ней, как к предмету высшего духовного порядка, несущего в себе яркую печать таланта и святого труда. <...>

Как сейчас вижу старый деревянный дом, глядевший на площадь пятью большими окнами. Он был замечателен тем, что с одной стороны окна выходили в Европу, а с другой — в Азию. Водораздел Уральских гор находился всего в четырнадцати верстах.

— Вон те горы уже в Азии, — объяснял мне отец, показывая на громоздившиеся к горизонту силуэты далеких гор. — Мы живем на самой границе...

В этой "границе" заключалось для меня что-то особенно таинственное, разделявшее два совершенно несоизмеримых мира. На востоке горы были выше и красивее, но я любил больше запад, который совершенно прозаически заслонялся невысокой горкой Кокурниковой. В детстве я любил подолгу сидеть у окна и смотреть на эту гору. Мне казалось иногда, что она точно сознательно загораживала собой все те чудеса, которые мерещились детскому воображению на таинственном, далеком западе. Ведь все шло оттуда, с запада, начиная с первой детской книжки с картинками... Восток не давал ничего, и в детской душе просыпалась, росла и назревала таинственная тяга именно на запад. Кстати, наша угловая комната, носившая название чайной, хотя в ней и не пили чая, выходила окном на запад и заключала в себе заветный ключ к этому западу, и я даже сейчас думаю о ней, как думают о живом человеке, с которым связаны дорогие воспоминания.

Душой этой чайной, если можно так выразиться, являлся книжный шкаф. В нем, как в электрической батарее, сосредоточилась неиссякаемая, таинственная могучая сила, вызвавшая первое брожение детских мыслей. И этот шкаф мне кажется тоже живым существом. <...>

— Это наши лучшие друзья, — любил повторять отец, указывая на книги. — И какие

дорогие друзья... Нужно только подумать, сколько нужно ума, таланта и знаний, чтобы написать книгу. Потом ее нужно издать, потом она должна сделать далекий-далекий путь, пока попадет к нам на Урал. Каждая книга пройдет через тысячи рук, прежде чем встанет на полочку нашего шкафа. <...>

Наша библиотека была составлена из классиков, и в ней — увы! — не было ни одной детской книжки... В своем раннем детстве я даже не видал такой книжки. Книги добывались длинным путем выписывания из столиц или случайно попадали при посредстве офеней-книгонош. Мне пришлось начать чтение прямо с классиков, как дедушка Крылов, Гоголь, Пушкин, Гончаров и т.д. Первую детскую книжку с картинками я увидел только лет десяти, когда к нам на завод поступил новый заводский управитель из артиллерийских офицеров, очень образованный человек. Как теперь помню эту первую детскую книжку, название которой я, к сожалению, позабыл. Зато отчетливо помню помещенные в ней рисунки, особенно живой мост из обезьян и картины тропической природы. Лучше этой книжки потом я, конечно, не встречал.

В нашей библиотеке первой детской книжкой явился "Детский мир" Ушинского. Эту книгу пришлось выписывать из Петербурга, и мы ждали ее каждый день в течение чуть не трех месяцев. Наконец, она явилась и была, конечно, с жадностью прочитана от доски до доски. С этой книги началась новая эра. За ней явились рассказы Разина, Чистякова и другие детские книги. Моей любимой книжкой сделались рассказы о завоевании Камчатки. Я прочитал ее десять раз и знал почти наизусть. Нехитрые иллюстрации дополнялись воображением. Мысленно я проделывал все геройские подвиги казаков-завоевателей, плавал в легких алеутских байдарках, питался гнилой рыбой у чукчей, собирал гагачий пух по скалам и умирал от голода, когда умирали алеуты, чукчи и камчадалы. С этой книжки путешествия сделались моим любимым чтением, и любимые классики на время были забыты. К этому времени относится чтение "Фрегата Паллады" Гончарова. Я с нетерпением дожидался вечера, когда мать кончала дневную работу и усаживалась к столу с заветной книгой. Мы путешествовали уже вдвоем, деля поровну опасности и последствия кругосветного путешествия. Где мы ни были, чего ни испытали, и плыли все вперед и вперед, окрыленные жаждой видеть новые страны, новых людей и неизвестные нам формы жизни. Встречалось, конечно, много неизвестных мест и непонятных слов; но эти подводные камни обходились при помощи словаря иностранных слов и распространенных толкований. <...>

Мы сейчас слишком привыкли к книге, чтобы хотя приблизительно оценить ту громадную силу, которую она представляет. Важнее то, что эта сила, в форме странствующей книги в коробке офени, сама приходила уже в то далекое время к читателю и, мало того, приводила за собой другие книги, — книги странствуют по свету семьями, и между ними сохраняется своя родовая связь. Я сравнил бы эти странствующие книги с перелетными птицами, которые приносят с собой духовную весну. Можно подумать, что какая-то невидимая рука какого-то невидимого гения разносила эту книгу по необъятному простору Руси, неустанно сея "разумное, доброе, вечное". Да, сейчас легко устроить домашнюю библиотеку из лучших авторов, особенно благодаря иллюстрированным изданиям; но книга уже пробила себе дорогу в самую глухую пору, в доброе старое время ассигнаций, сальных свечей и всякого движения родным "гужом". Здесь нельзя не помянуть добрым словом старинного офеню-книгоношу, который, как вода, проникал в каждую скважину. Для нас, детей, его появление в доме являлось настоящим праздником. Он же руководил и выбором книг и давал, в случае нужды, необходимые объяснения. <...>

Один из таких офеней лично мне невольно доставил большое огорчение. Как все дети, я очень любил рисовать, а у него в коробе среди других сокровищ оказался атлас для самообучения рисованию. Вся беда была в том, что он стоил целых два рубля, — сумма, по тогдашнему счету и по нашему бюджету, громадная, — целых шесть рублей, если считать на ассигнации.

— Нет, не могу, — заявил отец. — Если рубль, то еще можно, а двух рублей нет.

Я отлично понимал, что значит слово "нет", и не настаивал. Так атлас и ушел в коробе офени к другому, более счастливому покупателю, а мне его жаль даже сейчас. Уж очень хотелось учиться рисовать, а учиться было не по чему. Мы с Костей принялись копировать плохие гравюры из "Живописного обозрения", возмущаясь их аляповатостью.

Вот... мы и открыли целый склад книг, вместилищем для которых служил громадный старинный комод с медными скобками. Мы с Костей накинудись на это сокровище, как мыши на крупу, и на первых же шагах выкопали из праха забвения самого Аммалат-Бека.

В течение нескольких месяцев мы просто бредили этой книгой и при встречах здоровались горской песней:

Аллага-аллагу! Слава нам, — Смерть врагу!

Нами овладел особенный воинственный азарт и жажда славных подвигов. Мы сделали деревянные шашки и кинжалы, оклеили их цветной бумагой и делали друг перед другом свирепые лица, стараясь перещеголять друг друга в жестокости настоящих лезгин, чеченцев и кабардинцев. Не довольствуясь декламацией, мы распевали хором предсмертную песню горцев. <...>

"Сочинители" и "стихотворцы" составляли для нас неразрешимую загадку. Кто они такие, где живут, как пишут свои книги? Мне почему-то казалось, что этот таинственный, сочиняющий книги человек должен быть непременно сердитым и гордым. Эта мысль меня огорчала, и я начинал чувствовать себя безнадежно глупым.

— Все книги генералы сочиняют, — уверял [отец Кости] Роман Родионыч. — Меньше генеральского чина не бывает, а то всякий будет писать!

Он ссылался в доказательство своих слов на портреты Карамзина и Крылова, — оба сочинителя были в звездах.

Мы с Костей все-таки усомнились в сочинительском генеральстве и обратились за разрешением вопроса к [фельдшеру] Александру Петровичу, который должен был знать все.

— Бывают и генералы, — ответил он довольно равнодушно, поправляя свои буколки. — Отчего же не быть генералам?

— Все генералы?..

— Ну, где же всем быть... Есть и совсем простые, так, вроде нас.

— Простые совсем, и сочиняют?

— И сочиняют, потому что кушать хотят. Зайдешь в Петербурге в книжный магазин, так глаза разбегутся. До потолка все книги навалены, как у нас дрова. Ежели бы всё генералы писали, так от них на улице и проходу бы не было. Совсем есть простые сочинители, и даже частенько голодом сидят...

Последнее уже совсем не вязалось с составившимся в наших головах представлением о сочинителе. Выходило даже как будто и стыдно: мы вот читаем его книжку, а сочинитель где-то там в Петербурге голодает. Ведь он для нас старается и сочиняет, — и мы начинали чувствовать себя немного виноватыми.

— Не может этого быть, — решил Костя. — Наверно, тоже свое жалованье получают...

Еще более неразрешимым вопросом являлось то, где в книге действительность и где сочинительский вымысел. <...>

Мы с Костей твердо верили, что в книге не может быть вранья, а описано все, как было в действительности. Ведь это было бы ужасно, если бы и Юрий Милославский, и наш любимый герой Кирша, и Аммалат-Бек оказались только сочинительской фантазией, нет, это не может быть... Даже в учебниках, и в тех все правда. Нашими любимыми учебниками были география Корнеля и всеобщая история Лямо-Флери. Я и сейчас вспоминаю об этих милых друзьях с величайшей благодарностью.

У себя в кладовой и в комодe Александра Петровича мы разыскали, между прочим, много книг, совершенно недоступных для нашего детского понимания. Это были всё старинные книги, печатанные на толстой синей бумаге с таинственными водяными знаками и

переплетенные в кожу. От них веяло несокрушимой силой, как от хорошо сохранившихся стариков. У меня с детства проявилась любовь к такой старинной книге, и воображение рисовало таинственного человека, который сто или двести лет назад написал книгу, чтобы я ее прочитал теперь. Этот загробный голос приводил меня в умиление, а дальше фантазия уже рисовала самостоятельный ряд картин: ведь этот древний сочинитель был в свое время ребенком, играл и шалил, как и мы с Костей, читал книжки сочинителей, которые жили задолго до него, и т.д. Почему же именно вот этот мальчик сделался сочинителем и через сотни лет говорит со мной, как бы говорил живой, а сотни, тысячи и миллионы других детей так и остались в неизвестности, забыты, и никто не интересуется, что они думали, чувствовали и делали. <...>

В числе таинственных старых книг были такие, самое название которых трудно было понять: "Ключ к таинствам науки", "Театр судоведения", "Краткий и легчайший способ молиться, творение г-жи Гион", "Торжествующий Хамелеон, или Изображение анекдотов и свойств графа Мирабо", "Три первоначальных человеческих свойства, или Изображение хладного, горячего и теплого", "Нравственные письма к Лиде о любви душ благородных", "Иртыш, превращающийся в Ипокрену" (разрозненные книжки первого сибирского журнала) и т.д. Мы пробовали читать эти мудреные таинственные книги и погибали самым постыдным образом на первых страницах. Это убеждало нас только в том, что именно эти старинные книги и есть самые умные, потому что их могут понимать только образованные люди, как наш заводский управитель.

На этих старинных таинственных книгах были неизвестной рукой сделаны предостерегающие надписи, вроде того, что "кто сию книгу возьмет без спросу — останется без носу", а на творении г-жи Гион красовалась целая "сентенция": "Только прошу Читать Со вниманием и табак не курить, и если кто покурит, у Того глаза уйдут в нос, в чем и подписуюсь своеручно Аверкий, сын Чемоданов".

Шестидесятые годы были отмечены даже в самой глухой провинции громадным наплывом новой, популярно-научной книги. Это было яркое знамение времени. "Натуральные знания" находились даже не в зачаточном состоянии, а прямо их не существовало. Невежество доходило до смешного. Милейший Роман Родионыч любил производить нам с Костей маленький экзамен.

— Коська, из чего делают стекло?

Мы уже знали ответ и в один голос отвечали:

— Из соломы, Роман Родионыч.

— Ишь, выучил у меня. Ну, а какой зверь хвостом пьет?

— Бобер, Роман Родионыч.

И мы и наш экзаменатор верили, что бобер пьет хвостом, и нам не казалось это странным, да и другим тоже. Курьезов в этом роде было достаточно, и кругом относительно "натуры" царил самое наивное невежество. Книг по естествознанию не существовало, обрывки знаний переходили от поколения к поколению устным преданием.

Мне было лет пятнадцать, когда я встретился с новой книгой. От нашего завода верстах в десяти были знаменитые платиновые прииски. Управителем, или, по-заводски, доверенным, поступил туда бывший студент Казанского университета Николай Федорыч. Мы с Костей уже бродили с ружьями по соседним горам, бывали на прииске, познакомились с новыми людьми и нашли здесь и новую книгу, и микроскоп, и совершенно новые разговоры. В приисковой конторе жил еще другой бывший студент Александр Алексеевич, который, главным образом, и посвятил нас в новую веру. В конторе на полочке стояли неизвестные нам книги даже по названию. Тут были и ботанические беседы Шлейдена, и Молешот, и Фогт, и Ляйель, и много других знаменитых европейских имен. Перед нашими глазами раскрывался совершенно новый мир, необъятный и неудержимо манящий к себе светом настоящего знания и настоящей науки. Мы были просто ошеломлены и не знали, за что взяться, а главное, — как взяться "с самого начала", чтобы не вышло потом ошибки и не пришлось возвращаться к прежнему.

Это была наивная и счастливая вера в ту науку, которая должна была объяснить все и всему научить, а сама наука заключалась в тех новых книгах, которые стояли на полочке в приисковой конторе. Имена прежних любимцев, как Загоскин, Марлинский, Лажечников и др., сразу померкли и стушевались. Выступали вперед другие требования, интересы и стремления.

Роман Родионыч не признавал этих новых книг, которые казались ему подозрительными.

— Молешот... что такое Молешот? И имя-то какое-то собачье. Нет, брат, нас не обманешь... Студенты, конечно, очень образованные и обходительные люди, а все-таки занимаются сущими пустяками. Ты мне подавай настоящее, самую суть, а не мошек да букашек.

И сейчас, когда я случайно встречаю где-нибудь у букиниста какую-нибудь книгу издания шестидесятых годов, у меня является радостное чувство, точно отыщешь хорошего старого знакомого [Мамин-Сибиряк 1955, 553—570].

Неоправданные ожидания

Я помню не радость, а недоумение в тот день, когда мне подарили басни Крылова. Это была небольшая в красном с золотом переплете книга известной "Золотой библиотеки" Вольфа. Там на переплете в золотом овале были изображены склонившиеся друг к другу лбами и читающие вдвоем книгу мальчик и девочка. Я до сих пор помню, как поистине металлически блестело в этом овале золото!

Басни Крылова были хорошо иллюстрированы — графически, реально, но очень прозрачно. Медведи, мужики, лисицы, гуси. Под каждой картинкой, или по обе ее стороны, или на листе, соседнем с картиной, были напечатаны стихотворения, которые в данном случае, удивляя меня, назывались баснями. Я прочел одно, другое, третье — и меня охватила скука, переживание которой я помню до сих пор. Во-первых, это было написано на языке, совсем не похожем на тот, на котором все разговаривали вокруг. Во-вторых, речь шла о животных, которые действовали то как животные, то как люди, а разговаривали все время как люди. Эта путаница сразу дала себя почувствовать. Присутствие на картинке льва, слона, змеи заставляло ожидать событий. Причем событий страшных, загадочных, кровавых. А когда я начинал читать, то вместо событий начиналась какая-то скучная история о том, как музыканты никак не могли рассестись, чтобы начать наконец играть. Потом так же лев разговаривал, например, с лисицей. Детская фантазия не понимала, почему надо привлекать такое существо, как лев, не для того, чтобы он кого-то растерзал или чтобы кого-нибудь вырвали у него из лап.

Эти настоящие львы, медведи и лисицы, которые символизировали человеческие качества, ничего общего не имели с животными, например, сказок Гауфа или братьев Гримм [Олеша 1965, 44—45].

Я ненавижу детские книжки

В десять часов только что кончался день для посторонних. Сергей Иванович [домашний учитель] шел из своей комнаты в комнату отца и матери и часто до часу читал им, а иногда даже и до двух. А моя детская была подле спальни, и все я слышал, что читалось по ночам Сергеем Ивановичем, как все слышал я, что читалось по вечерам отцом, ибо они чередовались.

Чтение было у нас поистине азартное в продолжение нескольких лет. Оно имело огромное влияние на мое моральное развитие. По распушенности ли, по неверию ли в то, что книжки дело серьезное, как будто не замечали, что я сижу в углу по вечерам, вместо того чтобы играть в игрушки, слушая с лихорадочным трепетом "Таинства Удольфского замка", "Итальянца", "Детей Донрет-ского аббатства" и проч. и проч. И в конце концов я ведь глубоко благодарен моему воспитанию за то, что не обращали внимание на мое

внимательное слушание. Я, слава Богу, никогда не знал "детских книжек", и если глубоко ненавижу их, то, право, сам дивлюсь своей совершенно бескорыстной к ним ненависти. Мне их иногда и покупали, но не требовали, чтобы я читал их; пресыщенный игрушками, которыми я был завален, я вырезывал из них картинки [Григорьев 1980, 30].

Романтический любитель истории

В бытность мою в гимназии, когда мне было около девяти лет, я впервые узнал о Шекспире.

В нашем пансионе существовала библиотека, помещавшаяся в небольшой комнатке, смежной с классами, где мы, пансионеры, обыкновенно подготовляли по вечерам заданные к следующему дню уроки. Заведовал этой библиотекой инспектор с немецкой фамилией В., человек тупой, с неподвижной маской вместо лица, но в общем добродушный. Аккуратно раз в неделю он являлся к нам во время перерыва наших вечерних занятий, отпирал большим ключом дверь, ведущую в библиотеку, и мы вслед за ним вваливались туда, заполняя всю маленькую, затхлую, пропитанную пылью комнату, где распределялись между нами книжки "по возрасту".

Воспитанникам первого и второго классов выдавались Жюль Верн, Майн-Рид, Купер и подобные авторы. Третьему классу иногда давали Гоголя, Пушкина, и то не все, а с ограничениями, и только с четвертого класса выдавали Тургенева, Толстого и др. Достоевский мог выдаваться только старшим ученикам.

Мы, малыши, не умели обращаться с книгами, не берегли их, а потому нам приходилось пожинать плоды собственной небрежности и пользоваться донельзя растрепанными, засаленными книжками, до того захватанными не совсем чистыми пальцами, что иной раз противно было даже держать их в руках. А потому и читать их не всегда доставляло удовольствие, несмотря на занимательность сюжета.

Но вот однажды среди целой кипы нами замызганных книг были замечены совсем новенькие, очень изящные книжки в розовых картонных переплетах, небольшого формата. Мы наперебой стали кланяться их у добродушного инспектора. Сначала он не внимал нашей просьбе, отделялся всякими остротами на наш счет, выставлял нас как неисправных замарашек, но в конце концов, выбрав некоторых из нас, в том числе и меня, отвечавших, по его мнению, нужным требованиям, распределил между нами эти новенькие экземпляры, еще не бывшие в употреблении. Эти книжечки оказались отдельными выпусками под названием "Розовая библиотека".

Вот эта-то "Розовая библиотека" и познакомила меня с Шекспиром, который с тех пор стал моей путеводной звездой на всем протяжении моей жизни.

В сущности, мое первое знакомство с Шекспиром было далеко не полное, так сказать, относительное. "Розовая библиотека" ограничилась лишь пересказом шекспировского "Венецианского купца", причем — надо заметить — пересказом для детского возраста. Но все равно, и этого было достаточно, чтобы я оказался в плену у гениального поэта, — и с тех пор для меня Шекспир стал Шекспиром...

Должен заметить, что я почему-то не питал, как большинство моих однолеток, большого пристрастия к так называемым приключенческим произведениям. Все эти "охоты за черепами", все эти страшные истории с индейцами и всевозможные путешествия читались мной хотя и с любопытством, но далеко не так "запойно", как моими сверстниками. Вероятно, это объяснялось свойствами моего характера. Во мне не было и помин "искателя сильных ощущений". Я всегда отличался нравом тихим, скорее замкнутым, редко участвовал в шалостях моих товарищей. Вот почему и вкусы мои клонились к несколько иному стилю, более совпадающему со свойствами моего характера, — к стилю романтическому.

Мне больше нравились исторические произведения. Любил средневековье с его старинными замками, таившими, как и полагается им, страшные тайны, рыцарскими костюмами, латами, тяжелыми мечами, любил пышную эпоху итальянского Возрождения с

парчовыми камзолами и красивыми трико, бархатными плащами и головными уборами с длинными фазаньими перьями. Во всем этом я видел нечто театральное, а я уже тогда был искушен театром и всемерно каким-то особым, не поддающимся анализу чувством тянулся к нему. Мне доставляло огромное наслаждение думать о нем, жить им. Мне кажется совершенно непонятным даже и теперь, почему во мне с самых ранних лет зародилось такое особое чувство к театру, к сцене. Мне все было мило в нем. Даже малейшее напоминание о нем согревало меня и проникало в мое существо, как солнечный луч, и мне тогда становилось так тепло, хорошо, так приятно и радостно... [Юрьев 1948, 16—18].

Убежище души

Мне стало дома невыносимо. Бывало, целыми ночами я плакала — молилась по-своему.

Мой отчим М.П. фон Дезен отлично все видел и понимал, но никогда не смел проявить ко мне симпатии или сожаления: он был бессловесный, получая каждый раз грубый отпор от матери за малейшее вмешательство в мое воспитание. Ко мне он был добр, иногда украдкой ласкал, как ласкают больного ребенка.

Когда никого не было дома, я забиралась к нему в кабинет, где в шкафах было множество книг, и читала без разбора все, что только попадало мне под руку.

Раз я нашла на сочинение Фомы Кемпийского "О подражании Христу". Это было откровением...

Я была одинока, заброшена. Моя детская голова одна работала над всем, ища все разрешить, все осознать. Эта же книга, говорящая исключительно о духовной жизни человека, произвела на меня глубокое впечатление. В ней я нашла ответы на мои уже пробудившиеся духовные запросы, о которых никто не подозревал и не заботился... Никто никогда не говорил мне: не надо лгать, нехорошо красть... Все нравственные уроки я нашла в этой книге. Она внесла мне в душу примирение, утешила меня, поддержала... Всегда в тяжелые минуты, когда грусть сжимала мне сердце, я находила в ней отраду, опору: я уже не чувствовала себя одинокой. Раз познакомившись с ней, я почувствовала потребность все чаще и чаще иметь ее в руках, углубляться в нее.

Всем, что созрело во мне положительного, я обязана исключительно этой книге и самой себе.

Место ее было на нижней полке шкафа. Как-то раз я сидела на полу с книгой на коленях, углубившись в чтение, и не слыхала, как в кабинет тихо вошел М.П. Он тихонько вынул книгу у меня из рук и, посмотрев автора, отдал мне ее в полное распоряжение, побранив, однако, за нескромность и строго запретив трогать другие, даже запер шкаф на ключ.

Следующий автор, попавшийся мне под руку, в которого я так же серьезно углубилась, оставивший во мне неизгладимое впечатление, был Гете. Многого в то время, как и в первой книге, конечно, понять не могла, но его детские годы, поэтичные повести, любовное описание красот природы и искусства, его путешествия пешком по Италии страстно охватили мой ум, дали пищу моему воображению. Найдя в Кемпийском учителя души, я нашла в Гете учителя красоты, заставившего пробудиться мое сердце и воображение.

Я еще очень увлекалась Никитиным и Кольцовым, полюбила в них трогательную безыскусственную простоту описаний природы, в которых чувствовала что-то близкое, родное, и музыки их несложного, но искреннего стиха.

Однажды я прочла роман Лажечникова "Басурман" и, впечатлившись казнью молодого немца-доктора, несколько ночей кричала во сне, падая с кровати. Мне снилось, что я тот мальчик Алеша, который испросил помилование и прибежал на Лобное место в ту минуту, когда голова Басурмана уже скатилась.

Вообще, читая, я глубоко входила в положение каждого героя и так страдала за них, столько проливала горьких слез, как будто судьбы их и горе были моими личными. Но больше всего производили впечатление на меня те книги, где описывались страдания оскорбленного самолюбия: с этими положениями я никогда не могла примириться, кажется,

я страдала и оплакивала в них себя [Тенишева 1991, 29—30].

Книга и повседневность

Поэзия для меня, ребенка, — читать я научился довольно рано, лет пяти-шести, — сначала была некоей более или менее прекрасной отвлеченностью, сказкой, не имеющей ничего общего с действительностью. Суровые края, где я рос, не были воспеты теми поэтами, чьи произведения попадались мне на глаза. Из книг я знал о Златоглавой Москве и величественном Петрополе, но вокруг себя видел неблагоустроенные человеческие поселения, тонущие то в снегах, то в грязи. Из книг я знал о том, "как хороши, как свежи были розы", но вокруг меня в полынной степи, примыкавшей к полосе отчуждения, щетинились чертополохи, пропахшие паровозным дымом. "По небу полуночи ангел летел", — читал я у поэта, но воображение мое занимали не столько ангелы, сколько моноплан Блерио.

Затем грянул сараевский выстрел, и началась первая мировая война. На фронт потянулись эшелоны солдат, а с фронта начали прибывать раненые, беженцы, военнопленные. Гимназический учитель словесности еще пытался заставить меня учить наизусть "тиха украинская ночь" и "чуден Днепр при тихой погоде", но погода была не тихая. И вот именно тогда я, десятилетний ребенок, прочел стихи, которые определили мое будущее. Это были стихи Маяковского "Я и Наполеон" — "Ночь пришла. Хорошая. Вкрадчивая. И чего это барышни некоторые дрожат, пугливо поворачивая глаза громадные, как прожекторы" — стихи о войне, стихи о современности, стихи, полные ощущением завтрашнего дня. Мне показалось, что Маяковский видит и чувствует то, что вижу и чувствую я, хотя я не вижу того, что видит Маяковский, и он не видит того, что вижу я. И мне захотелось писать стихи. И я, как умел, начал писать их... [Мартынов 1961, 456—457].

Мой книжный шкаф

Война с Гитлером отняла у меня родных и близких. Люди, воспользовавшиеся этим временем, разворовали наше имущество. Вместе с ним погибли почти все "друзья моей жизни" — книги. Но в памяти они остались как живые.

Хочется вспомнить прежде всего этих "друзей моего детства". Они хранились в Ленинграде, в детском шкафу нашем — он остался цел, его унесли для своей дочери соседи. Долгое время они берегли наши вещи и в том числе дорогих друзей — книги, ноты. Но глава семьи был призван в армию и ушел на фронт, жена его умерла от сыпняка. Девочка осталась одна, и ее вскоре увезли родные. Книги были расхищены.

Я рано научилась читать. Читать я научилась не по азбуке, хотя она, конечно, имелась в нашем доме, а по вывескам и газетам. У нас читали "Русь", потом "Речь" — буква "Р" крепко раскусывалась мною с детства. Помню вывески: "Ломбард", "Мясная и Зеленая", "Жорж Борман", "Колбасная Грис", "Булочная Филиппова" на Петербургской стороне, где мы жили. Большие магазины в городе (так называемый центр, за Невой) — Елисеев, Черепенников — "Фрукты и вина". Позже к ним присоединились Кинематограф и Синематограф "Ниагара", "Молния" у нас на Большом проспекте. Помню первую светящуюся вывеску "Цирк Чинизелли", — я произносила эти слова с восторгом, в них было что-то возбуждающее, празднично-приподнятое.

Когда я вспоминаю первых печатных друзей моих — среди них, конечно, были сборники сказок. Как у всех детей мира, у нас были сказки про Ивана-царевича и брата Иванушку и сестрицу Аленушку, я как сейчас вижу их на переплете — ее, беленькую, в кокошнике, сидящую впереди верного друга и избавителя Ивана, про Бабу-Ягу — начало всего злого. Не знаю, много ли издавалось в дни моего детства русских сказок в роскошных переплетах, думаю, что нет. Ценности нашего фольклора должны были быть тщательно собраны и изданы уже в наше Советское время. Поэтому много имелось в нашей детской библиотеке

сказок зарубежных авторов: помню сказки братьев Гримм, "Кот в сапогах" Перро и, особенно, книгу в шелковом розовом переплете с завязками и чудными рисунками. О ней я вспомнила недавно, когда прочитала переводы Эренбурга характерных песен Франции — там изображение принцессы и сердца ее возлюбленного на блюде, что велел изжарить повару жестокий супруг, удостоверившись в измене жены. Одной из любимых книг была "Макс и Мориц" В. Буша. И тоже как сейчас вижу белый переплет и смешные рожицы сверху его. Книга была немецкая, но до сих пор помню и русский перевод некоторых стихов:

"А Макс и Мориц, видя то, На крышу лезут, сняв пальто!" или

"Да это дело — не слова,

Сказала братова вдова..."

Стихи эти ходили как присказки в раннем детстве моем в семье... Так, до сих пор помню и такую строчку, что употреблялась при нашем одевании, когда оно стало самостоятельным:

"Вот одет сапог второй, Чуть не пляшет наш герой..."

Забылось, откуда она.

Из русских авторов помню "Сказки кота-мурлыки" Н.П. Вагнера.

Наша мать очень любила читать мне и брату и приучила нас к книге в ранние годы. У моего маленького брата были излюбленные друзья — книги, герои книг и даже отдельные отрывки. Так он говорил обычно упрашивая маму вновь и вновь почитать "Робинзона Крузо": "За вторую главу — отдам полжизни!"

Эти первые детские увлекательные книги приключений — "Робинзон", "Гулливер" и особенно "Дети капитана Гранта" — мои излюбленные друзья в красочных иллюстрациях были неразлучны долгие годы с нами, и, хотя на смену им приходили новые, они сохраняли свое прочное место в нашем детском сердце. Позднее к ним присоединились друзья из так называемой "Розовой библиотеки" — милый Том, которого обижал злой Легги — его изображения я ужасно боялась и всегда с ужасом перевертывала эту страницу. "Маленькие женщины и маленькие мужчины", они же "ставшие взрослыми" Луизы Олькот, герои рассказов д'Амичиса, "Серебряные коньки".

"Дети капитана Гранта" я перечитывала без конца, и Паганель был моим другом и на сцене — первым театральным впечатлением, в "Народном доме" Петроградской стороны. М.Н. Розен-Саннин, игравший его, до сих пор стоит передо мною на фоне казавшегося мне таинственным, трагическим леса в потрясающей детской воображении феерии, с "всамделишным" крушением корабля, индейцами и кондором, похищающим Роберта Гранта. Впечатление было так сильно и так отвечало моим представлениям, созданным детским воображением, что я тут же попросила взять меня снова на этот спектакль. Было мне тогда 7 лет.

С утра мы обыкновенно занимались в "домашней школе" (до 11 лет к нам приходили учителя на дом и у нас были занятия коллективные с тремя девочками и мальчиком из знакомых семейств). После лыж или катка зимой или лодки летом (мы занимались всевозможным спортом с детских лет), ближе к вечеру мать обычно читала нам.

Чтения вслух вообще были приняты прежде в так называемых интеллигентских семьях, что, к сожалению, совершенно исчезло сейчас. Эта своего рода воспитательная школа (попутно разъяснялось непонятное, велась беседа) практиковалась потом в нашем Выборгском училище (о котором расскажу особо), расширяло кругозор и давало "образное", художественное понятие о жизни. Так и стали моими друзьями с тех лет Катя из "Коробейников" Некрасова, дядюшка Яков, "Дедушка Мазай" и крестьянские дети и особенно Саша из поэмы Некрасова "Саша" и другой Саша из "Дедушки". Мама читала с большим чувством, иногда со слезами. Семью ее коснулись уже репрессии царствования Романовых — недаром я родилась в момент ареста одного из ее братьев, моего дяди, а мой бедный брат всю свою безвременную короткую жизнь нес наследие нервного потрясения, которое мать перенесла накануне его рождения. Дядя этот покончил с собой — повесился в тюрьме.

Так первым вошел в наш мир именно Некрасов. Из моих книжных друзей — он один

сохранился каким-то чудом. Я не расставалась с ним и перевезла с собой в Москву, старое мамино издание в синем переплете с портретом Некрасова и колосьями, со старой орфографией и точками цензурных пропусков. По нему я делала композицию "Крестьянка", которую читали мы в 30-е годы с Н.И. Лю-бавиной, а потом "Русские женщины" (одни из первых моих литературных концертов), из него выбирала я стихи моей инсценировки "Новые люди", и когда сейчас я раскрываю его, трепет проходит по мне, словно живые образы дорогих мне близких живут на этих пожелтевших страницах.

Таковыми же пожелтевшими в стареньких переплетах были мамины наградные книги "Евгений Онегин" с атласной закладкой, Лермонтов, Никитин. Где они, дорогие друзья моего детства? Может быть, для тех, кто владеет ими, они или не представляют из себя никакой ценности и достались им за бесценок или чисто библиографическую. Много бы дала я за их возвращение домой.

Отец, несмотря на свою огромную нечеловеческую занятость (он был врач, принимал и в клинике и дома, был очень популярен, как врач-отоляринголог лечил и певцов и артистов, а по вечерам объезжал бедноту из Новой деревни бесплатно, и мы часто с волнением ждали его, так как за Черной речкой тогда не стояли хорошенькие коттеджи рабочих и инженеров, а хибарки бедноты, там нередко грабили и убивали), вырвав свободную минуту, проводил ее с нами за книгой или просто декламировал нам любимые им, тогда "запрещенные" стихи А. Толстого о том, "как на Руси порядка все же нет".

"Вечера на хуторе близ Диканьки" и "Миргород" читались в зимние вечера. Помню так ясно Вакулу-кузнеца и Оксану, и Соло-ху. Когда я увидела и услышала их в опере, на сцене Мариинского театра, они были мне давно знакомы. "Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" читал со вкусом папа, так же, как и "Ревизора", разумеется, подражая любимым своим образцам — Давыдову, Варламову и ранее виденным актерам (в студенческие годы) в образцовом Харьковском театре. "Вия" я боялась, так же, как и "Страшную месть". Особенно страшным было место "Поднимите мне очи". Няня, которую звали Атя, тоже читала нам (она была из обедневшей полуинтеллигентной семьи), и, зная эффект этого места, помню, повышала голос — я пицала и пряталась под ее платок.

Отец любил разыгрывать со мной "Горе от ума" в лицах: он читал за мужчин, я за Софью и Лизу. Так я выучила с малых лет наизусть первую русскую комедию и текст не представлял для меня трудностей в годы театральной школы и работы в театре. Впоследствии, когда мне было лет 15—16, папа подарил мне только что вышедшее издание "Горе от ума" под редакцией Озаровского (где почему-то "Горе от ума" было напечатано прозой) с подписью "Что за комиссия, Создатель, быть взрослой дочери отцом".

Действительно, я доставляла много неприятностей и горя моим родителям своей самостоятельной натурой, романтическими порывами, не всегда вкладывавшимися в рамки не только буржуазной семьи (такой я не могу назвать мою семью), но и либерально-интеллигентской среды моего времени. В одном только не встречала я сопротивления, а, наоборот, всегда поощрение и помощь: моя мать и мой отец любили театр, сами в молодости участвовали в любительских спектаклях и не противились моему призванию. Впоследствии при трудностях, которые встречались на сцене, при моем характере, не подходящем для "пробивания" себе всеми средствами дороги в театр, мама с грустью говорила, что она толкнула меня на этот путь. А в "романтическом воспитании" моем, которому помогали и книги, и громкое чтение, конечно, были повинны родители и школа. Никогда не упрекну их за это, хотя не была приспособлена к жизни: у всякого своя дорога. Но я отвлеклась в сторону — немудрено, однако: ведь рассказывая о друзьях детства — книгах, я не могу не коснуться тех, кто дал их мне и научил любить их. И в дальнейшем так будет. Ведь это не перечень, не библиографический справочник — хочется дать круг интересов, в которых я жила, как довольно типичный представитель своей эпохи и воспитания, со своими плюсами и минусами.

Перевертываю новую страницу воспоминаний о моем книжном шкафе со стеклом и зеленой занавеской.

Очень рано в мою жизнь вошла Наташа Ростова, вошла властная как хозяйка, на всю жизнь.

При всем руководстве нашим чтением со стороны родителей, они привили нам такую страстную жажду к нему, что удержать было трудно, особенно меня. Брат был более инертным по натуре, я же рвалась вперед раньше времени.

На дни рождения нам дарили всегда книги, и едва расставшись с любимыми куклами, с которыми я разыгрывала спектакли и бесконечные приключения (независимо от того, были ли это куклы, вырезанные из бумаги, на которые так интересно было наклеивать платье, особенно когда лежишь больная в кровати и нельзя бегать, или из папье-маше), я стала читать все, что мне дарили: "детские" и те, что были поставлены в шкаф на будущее время — юношеские. Среди них был и Тургенев, Гончаров и Герцен, и Достоевский. Помнится, за "Войну и мир" я схватилась уже с 10 лет, конечно, мало чего поняла, пропускала "войну", но влюбилась в Наташу. При этом нельзя сказать, чтобы я старалась подражать ей в жизни, другая была среда и возможности, кроме того, у меня был скрытный характер — с 9-ти лет я писала зашифрованные дневники, это при моих-то родителях. Вероятно, было какое-то противодействие жажде матери моей, всецело посвятившей себя детям, изучавшей все системы новейшего воспитания, проникнуть всецело в мою жизнь, [жажде], диктуемой материнским, всепоглощающим ее чувством, — стремление мое оставить нетронутым что-то свое. Нет, мне чужда была откровенность Наташи Ростовской, ее разговоры с матерью, как с подругой. Детские увлечения и мечты, помнится, только однажды я поверила своей первой подруге (бедной, безвинно погибшей Инне Малкиной), а затем только дневникам и стихам, которые стала писать очень рано. Но одержимость и романтизм Наташи, вот что, очевидно, покорило меня. То, что я так рано узнала ее, было и положительным: меня недолго увлекали похождения "Княжны Джевахи", столь популярной в мое время антихудожественной писательницы Лидии Чарской. Конечно, я отдала дань этому увлечению, в частности, благодаря этой, издаваемой в роскошных переплетах дребедени, я мечтала о Кавказе, о похождениях. Но к счастью, как я уже писала, Жюль Верн отвечал моей не девчокиной страсти к приключениям, а что касается романтической стороны женского образа, тут прочно воцарилась Наташа Ростова. Может быть, я осталась холодна к Диккенсу потому, что психологические переплетения у Толстого хотя еще и не понимались мной всецело, но художественно овладевали моим чувством правды. После них казались фальшивыми сентиментально-случайные, хотя и гуманистически направленные коллизии героинь и героев Диккенса, они не трогали меня. В самом деле могли ли после мужественного описания смерти князя Андрея тронуть меня благополучные концы и трогательные гибели от чахотки девочек из "холодного дома" и... и даже маленького Домби. Да, я плакала над ним, как ребенок, и забыла надолго.

Тургенев вошел в мою жизнь, конечно, "Записками охотника". Их опять же читала мне мама, а потом Юлия Ивановна Герд в школе на уроках чтения.<...>

Том полного собрания сочинений Пушкина я получила, конечно, в детстве... еще до издания Маркса, которое я получила позднее, с четырехугольниками рисунков к поэмам, которые я раскрашивала усердно, пририсовывая усы, бороду Черномору, а затем и Людмиле и яркими красками украшая "Капитанскую дочку", "Братьев-разбойников" и "Барышню-крестьянку". За это мне очень попало: мне внушали, что к книгам надо относиться почтительно и бережно, что я запомнила на всю жизнь. Разумеется, это было сделано не путем наказания (я вообще не помню, чтобы нас наказывали в детстве), а путем объяснения. Верно, эти иллюстрации были так убоги, что вызывали желание их оживить, так как вообще "пачкать" книги мне несвойственно, так же как и брату. Помню, что художественные рисунки дедушкиной книги Гейне по-немецки "Buch der Lieder", одной из любимейших, не внушали никогда этого желания раскрасить. <...>

Я считаю, что журнал "Юный читатель" был таким журналом, о котором можно и сейчас только мечтать. Я не помню точно его участников... — для меня важно то, что дети обожали этот журнал, так как он открывал перед ними мир и уводил от выдуманных глупостей

"Задушевного слова" и Чарско-Желиковских. "Юный читатель" познакомил меня с захватывающими приключениями подлинной жизни и подлинного героизма путешествий Миклухо-Маклая и Фритьофа Нансена, Амундсена, со ставшими моими друзьями, наравне с детьми и взрослыми из книг моего детства, — животными Сетон-Томпсона, черным козлом, медведем и зайчиком, собакой с их благородными характерами и одушевленными образами. Вместе с ними я взбиралась мысленно на скалы, убегала от жестоких людей, их преследовавших, часто показывала свое преимущество перед ними... Этот мир надолго завладел моим воображением. Непрительные книжки с надписью "Юный читатель" и приложения к нему заполнили полки моей библиотеки. Как интересно было ожидать нового номера, приложения! Журнал вводил в мир периодики, приучая помнить о прочитанном, расширяя горизонты и круг чтения, знакомил с переводами лучшей юношеской литературы Запада. Так узнала я Тома, Гекельбери Фина, Принца и Нищего, и многих других детских друзей. Правда, переводы превалировали в журнале: много ли было у нас отечественных детских писателей-современников, подлинных художников слова? Я помню Анненскую, Станюковича, считанные имена... Тем большая заслуга была "Юного читателя" на фоне отсутствия Детского театра и бедности детской отечественной книги.

Чтобы закончить о детском чтении, скажу о книге, занимавшей огромное место в нашей детской жизни. Говорю об этом в конце воспоминаний о моих детских книжных друзьях потому, что "Жизнь животных" Брэма непосредственно соприкасается с тем любимым уголком моих ранних лет, который вместе с Сетон-Томпсоном заставил нас полюбить природу и населяющие ее существа.

Брэм! Что за волшебное царство открыли нам увесистые тома его книг, сохранившиеся не в нашем, а в папином шкафу, в его кабинете. "Папа, можно Брэма?" И вот вынимается том с любимым кенгуром, противным лемуром, у которого будто очки надеты на лысую голову, с поражающим уродливостью тапиром и огромным бегемотом. Животные тоже становились друзьями, страх перед ними начисто отсутствовал у нас. С удивлением смотрела я на детей, что боятся собак, коров... [Выгодская 1965, 1 —17].

Подражание Книге

Мы вступили в крепость Килию, только что взятую от турок. Отец мой был тогда поручиком Ярославского пехотного полка. Мне было ровно пять лет. Наша квартира была в каком-то турецком доме напротив самых крепостных ворот со стороны Дуная. Там, бывало, с бастиона я смотрю: под стеною течет Дунай и на нем плавают наши два лебедя. За Дунаем на зеленом поле белелась палатка; перед нею сидел турецкий офицер с длинным чубуком; как теперь еще мерещится перед глазами: перед палаткой приходили и уходили солдаты: это был размен пленников. У нас была одна большая комната с огромными шкафами во всю длину стены: в одном из этих шкапов меня клали спать. Тут на турецком диване я сидел с указкою в руках: сам отец учил меня грамоте. Первую книгу мне дали в руки — "Сто четыре священные истории" Гибнера. История смерти Спасителя сделала на меня чрезвычайное впечатление. Солнце померкло — земля потряслась — мертвые встали из гробов — завеса храма раздралась надвое, это зрелище потрясло всю душу — какой-то священный трепет пробежал по всему телу, волосы стали дыбом. Никогда, мне кажется, впоследствии, даже в самые пылкие годы юности, я не испытывал подобного ощущения. Умереть за благо народа и видеть мать, стоящую у подножия моего креста, — было одно из мечтаний моей юности. Вот как первые впечатления влияют на остальную жизнь! [Печерин 1989, 118—119].

Кукла и князь Болконский

С детства я много читал романов и драм, меньше стихов, и это лишь укрепило мое чувство пребывания в своем особом мире. Герои великих литературных произведений казались мне более реальными, чем окружающие люди. В детстве у меня была кукла,

изображавшая офицера. Я наделил эту куклу качествами, которые мне нравились. Это мифотворческий процесс. Я очень рано в детстве читал "Войну и мир", и незаметно кукла, которая называлась Андрей, перешла в князя Андрея Болконского. Получилась созданная мною биография существа, которое представлялось мне очень реальным, во всяком случае более реальным, чем мои товарищи по корпусу [Бердяев 1990, 39—40].

Любовь

Взрослые монополизируют чувство любви, считая, что она приходит лишь с юностью и знаменует собой расставание с детством. Однако действительно ли мир детства закрыт от любви?

Иногда любовь возникает в очень ранние годы. Это чувство совсем особое, "слагающееся из каких-то других предпосылок" [Ю. Олеша], чем любовь взрослых. Воспоминания показывают, какое большое значение играла для многих любовь, испытанная в детстве. Читатель увидит, сколь различны ее проявления и как много у нее своеобразных граней. Любовь в раннем детстве может быть и просто игрой, и зародышем будущих серьезных чувств.

Дети любят играть, подражая взрослым. Играют они и в любовь, в "жениха и невесту", перенимая уже подсмотренное и схваченное поведение взрослых. Здесь нет настоящих чувств, но проявляется подражание "этикетному" поведению между возлюбленными, почти утраченному сегодня, но еще живущему в воспоминаниях, книгах или кинофильмах.

Игра, однако, как показывает Л. Толстой, может привести и к совершенно иному, подлинному ощущению любви. Он рассказывает, как впервые оно проснулось в детских душах, оставляя по себе сильнейшее впечатление на всю жизнь. Это любовь не к одному избранному человеку, а переживание любви вообще к своим ближним и в конечном счете к Богу. Духовная любовь к ближнему как свойство богатой и щедрой человеческой души проявляется в некоторых личностях с детства. Оно, видимо, неподвластно никаким воспитательным методам, его невозможно навязать извне, но можно помочь ребенку укрепиться в нем.

Для того, кто влюбился в подростковом возрасте, его "история любви" вносила в мир детства важные изменения, тут он впервые сталкивался с новыми и неожиданными для него чувствами и ситуациями, в которых подчас не знал, как себя повести. Первая любовь — первый серьезный жизненный опыт, в котором подросток мучительно ищет свою линию поведения. Его охватывает и сковывает робость, он печален, от смущения неприветлив. Он хранит ото всех тайну своей любви. В связи со своей первой влюбленностью Е. Шварц замечает: "...я стал больше походить на человека". Эта мысль, хотя и не высказанная так четко, присутствует во многих воспоминаниях.

Влюбленность подростка, как увидим, читая тексты, сопровождается сильной неуверенностью в себе, она приводит к слезам, дракам, восторгам, подвигам, стремлению к уединению, к отставанию в учебе, к писанию стихов и Бог весть к чему еще. Здесь трудно получить помощь и совет взрослых, так как любовные чувства ребенок стремится сохранить в тайне, он справедливо боится насмешек над собой. В первую очередь образцы поведения влюбленного ищутся в книгах, а в наше время — в кинофильмах. Заметим, как часто рассказ о первой любви сопровождается воспоминанием о запойном чтении романов.

Важная особенность первого чувства, подмеченная во многих мальчишеских воспоминаниях, — стремление находиться в группе ребят, включавшей объект обожания, быть вблизи от него, наблюдать — и переживать свое чувство. В такой группе любовь создает сложные взаимоотношения, где каждый выбирает собственную линию поведения.

Сколь возвышенным, чудесным и загадочным оказалась влюбленность девятилетнего Алеся Адамовича! К сложной для него коллизии — утрате одной любимой, появлению новой и возвращению первой — его привело стечение обстоятельств. Однако он с честью выходит из ситуации.

"Безумная", непреходящая влюбленность часто оказывается свойством характера человека, проявляющимся с детства. Она зачастую приносит не столько радости, сколько страдания и даже отчаяние. На склоне лет, возвращаясь в воспоминаниях к своей первой любви, Айседора Дункан задумывается, действительно ли она, одиннадцатилетняя девочка, была "страстно и безумно" влюблена и приходит к выводу: "...со мной это действительно было".

Стремление к любви, если оно не находит в жизни достойного объекта, приводит к свойственному в особенности девочкам созданию себе кумиров, объектов поклонения. Ими становятся герои фильмов, актеры, певцы, а также просто знакомые и незнакомые взрослые, например, учителя. Рассказ о себе М. Тенишевой показывает, что девичье чувство может быть обращено даже к неживому изображению кумира, одушевленному детским воображением.

"Обожание" подростков еще свободно от сильного полового влечения. "Первая любовь, — по словам Александра Ивановича Герцена, — потому так благоуханна, что она забывает различие полов, что она — страстная дружба". И хотя вопросы половых взаимоотношений также серьезно начинают волновать подростков уже лет с десяти, для них это совсем иная сфера, не связанная с первой любовью, которая воспринимается как высокодуховное чувство.

Детская эротика — явление, о котором у нас не принято говорить. Редкий автор отваживался зафиксировать ее в своих воспоминаниях. Тем не менее эротический опыт свойствен всем детям и иногда накладывает серьезный отпечаток на всю их дальнейшую жизнь.

Сколь сложна для подростков проблема взаимоотношений любви и секса, можно увидеть, прочитав отрывки из воспоминаний Ф.И. Шаляпина, Ф.М. Орлова-Скоморовского, Пабло Неруды, Алесея Адамовича. Происходит, по словам Адамовича, раздвоение на любовь "чистую" и "низменно-плотскую". Федор Шаляпин также пишет, что в его детской жизни существовало два различных понятия о любви. Пытаясь разобраться в их противоречивости, мальчик приходит к выводу, "что какую бы грязь ни разводили люди вокруг любви, а все-таки она — счастье".

Первая любовь и первый эротический опыт в воспоминаниях Неруды тоже не имеют никакой связи между собой и разделены во времени, однако этот опыт, навязанный ему "иными нимфами", предшествует первой любви, а потом повторяется вновь, уже на серьезном уровне, но опять оказывается привнесенным извне и неожиданным.

Два основных чувства окрашивают несчастливое детство Орлова-Скоморовского: страх перед деспотом-отцом и влечение к противоположному полу. Никому нет дела до эротических проблем подростка, он решает их самостоятельно, описывая в воспоминаниях каждый шаг на пути своих сомнений и мучений. Итог его пути плачевен — он заболевает сифилисом. При этом эфемерной, но навек запавшей в душу оказывается его платоническая любовь к гимназистке.

Преодоление этого раздвоения в дальнейшем должно привести к "взрослой", "настоящей" любви. Но как труден и долог этот путь для подростка, как сложно будет ему, если он знаком лишь с одной из этих сфер любви и не понимает другой. В то же время как трудно преодолеть противоречия, возникающие в сознании подрастающего человека, если он уже знаком с обеими.

Вопрос о детском половом воспитании был и остается одним из сложнейших в педагогике. Христианская педагогическая мысль решала его, исходя из того, что с семи—десяти лет ребенок обретает половую зрелость и подвержен плотским грехам. С этого времени он должен был в них исповедоваться духовному отцу, в семье были обязаны не допускать контактов мальчиков и девочек и по возможности устраивать ранние браки. Дворянская культура культивировала поклонение женщине и рыцарское к ней отношение и утаивание от детей всех вопросов секса. Только "книжная" любовь была раскрыта перед ними. Однако жизнь детей простых сословий сталкивала их с самыми неприглядными

сторонами любовных связей. В современном мире с его открытой информативной системой для детей нет тайн, учителя и родители призваны объяснять им все волнующие детей вопросы, в том числе и эротического характера, однако они не всегда достаточно подготовлены к этому. Настоящая глава призвана помочь глубже постичь проблему детских любовных и сексуальных отношений.

* * *

Любовь к любви

Расскажу только про одно душевное состояние, которое я испытал несколько раз в первом детстве и которое, я думаю, было важно, важнее многих и многих чувств, испытанных после. Важно оно было потому, что это состояние было первым опытом любви, не любви к кому-нибудь, а любви к любви, любви к Богу, — чувство, которое я впоследствии только редко испытывал, редко, но все-таки испытывал, благодаря тому, я думаю, что след этот был проложен в первом детстве. Выражалось это чувство вот как: мы, в особенности я с Митенькой и девочками, садились под стулья, как можно теснее друг к другу. Стулья эти завешивали платками, загораживали подушками и говорили, что мы "муравейные братья", и при этом испытывали особенную нежность друг к другу. Иногда эта нежность переходила в ласку, гладить друг друга, прижиматься друг к другу, но это было редко, и мы сами чувствовали, что это не то, и тотчас же останавливались. Быть муравейными братьями, как мы называли это (вероятно, это какие-нибудь рассказы о моравских братьях, дошедшие до нас через Николенькину Фанфаронову гору), значило только завеситься от всех, отделиться от всех и всего и любить друг друга.

Иногда мы под стульями разговаривали о том, что и кого кто любит, что нужно для счастья, как мы будем жить и всех любить.

Началось это, как помнится, от игры в дорогу. Сиделись на стулья, запрягали стулья, устраивали карету или кабриолет, и вот сидевшие-то в карете переходили из путешественников в муравейные братья. К ним присоединялись и остальные. Очень, очень хорошо это было, и я благодарю Бога за то, что мог играть в это. Мы называли это игрой, а между тем все на свете игра, кроме этого [Толстой 1906, 372].

Хорошо придумали — влюбляться

В нашем переулке в белом угловом доме жил профессор Николай Яковлевич Грот. ...У Николая Яковлевича была большая семья — много девочек, тихих и скромных, и один мальчик — Аля, кругленький и розовенький. Среди нас считалось, что Анд-рюша влюблен в старшую девочку Женю, некрасивую и скучную, Миша в Наташу, а я в Алю. Я еще не совсем понимала, что значит влюбляться, но братья мне внушили, что это так надо, и я поверила. Один раз за курганом, когда мы с Алей очутились вдвоем, мы поцеловались, и Аля меня спросил: "Когда ты будешь большая, ты выйдешь за меня замуж?" "Конечно", — ответила я.

На другой день утром Аля принес мне букетик подснежников. "Очень весело, — думала я, — и какой Аля милый! Как это Анд-рюша и Миша хорошо придумали — влюбляться!"

Я уехала в Ясную, а братья остались в Москве держать экзамены. Когда Миша приехал, он таинственно отвел меня в сторону и передал мне письмо. Аля писал очень ласково и напоминал, что мы должны жениться, когда вырастем совсем большие.

Миша сказал, что надо быть осторожной, чтобы письмо никому не попало, поэтому я... перечитала его еще раз и, хоть жалко было, разорвала и бросила. Ответить Але я не решилась: он писал как большой, по одной линейке, а я еще по двум, да с ошибками [Толстая 1988, 192—204].

Обожатели

Мы, дети, очень любили бывать в гостях у Толмачовых. У них был огромный фруктовый сад, и мы в этом саду играли "в разбойников". В саду была старая, заброшенная сторожка, и она нам служила разбойничьей пещерой.

В наших играх принимали участие и девочки — Катя и ее две подруги — Варенька и Юлия. Катя была незаменимым товарищем для игр, лучше нельзя было и желать, но любовью нашей пользовалась ее подруга Варенька, красивая, серьезная девочка. В нее одновременно были влюблены брат Кати Толмачовой и мой брат Саша, а потом и я разделил их участь. Нужно заметить, что Варенька была на два года старше самого старшего из нас, ей было около пятнадцати лет, а нам лет по двенадцати-тринадцати. Варенька не обращала на своих поклонников ни малейшего внимания и смотрела на нас как на мальчишек. Ее же подруга Юленька замечала нашу влюбленность, зло вышучивала нас и очень ревновала к своей подруге.

Однажды мы втроем — брат Кати Толмачовой, мой брат Саша и я — созвали "совет" и решили похитить Вареньку и Юленьку и заманить их в разбойничью пещеру, и там заставить Вареньку поцеловать каждого из нас. Мы выработали очень сложный стратегический план по образцу тех, о которых мы читали в истории о войнах древних персов с греками. Наш план удался. Мы заманили девочек к сторожке и, к ужасу Кати, похитили ее двух подруг. Но Катя храбро ворвалась в разбойничью пещеру на защиту своих подруг и стала отбивать Вареньку. Юленька вырвалась и, плача, побежала жаловаться [гувернеру] Пулэну. Я не знаю, чем кончилась бы вся эта история, если бы сама Катя Толмачова не примирила всех нас. После этого мы перестали дразнить Юлию, а Вареньку стали "обожать" еще больше. Но вскоре наступила осень, и мы переехали в Москву и здесь скоро ее забыли [Кропоткин 1988, 80—81].

Мне было пять лет

Вероятно, это и была первая любовь. Мне хотелось подражать этой маленькой девочке. Она как-то наклонялась корпусом то в одну, то в другую сторону — надо полагать, приводя в порядок какую-то часть одежды, — я делал то же самое движение, причем наедине с собой и без нужды.

Мне было, я думаю, пять лет. Девочка, пожалуй, была постарше, но не слишком. Как ее звали, не помню. Помню фамилию — Архарова.

Помню сумерки на улице, перед оградой какого-то садика — там, где была третья гимназия, в районе, на мой взгляд, чудесном, не совсем еще загородном, но уже близком к морю, уже с виллами, с розами, с клетками попугаев на балконах.

Сумерки, но мы, дети, еще на улице. Вероятно, поблизости взрослые, но мы с ними не общаемся. Мы сами по себе — дети. И среди нас Архарова. Какая же она? Нет, я никогда не извлеку из этих сумерек ее лица. Да и не требовалось тогда видеть лицо, чувство слагалось из каких-то других предпосылок — вот хотелось, например, так же как и она, наклоняться то вправо, то влево, чтобы поправить одежду [Олеша 1965, 21].

Я стал больше походить на человека

И вот однажды... я увидел семью Крачковских. Это событие произошло в поле, между городским садом и больницей. Перейдя калитку со ступеньками, мы прошли чуть вправо и уселись в траве на лужайке. Недалеко от нас, возле детской колясочки, увидели мы худенькую даму в черном с исплаканным лицом. В детской коляске сидела большая девочка, лет двух. А недалеко собирала цветы ее четырехлетняя сестра такой красоты, что я заметил это еще до того, как мама, грустно и задумчиво качая головой, сказала: "Подумать только,

что за красавица". Вьющиеся волосы ее сияли, как нимб, глаза, большие, серо-голубые, глядели строго — вот какой увидел я впервые Милочку Крачковскую, сыгравшую столь непомерно огромную роль в моей жизни. Мама познакомилась с печальной дамой. Слушая разговор старших, я узнал, что девочку в коляске зовут Тоня, что у нее детский паралич <...>, что у Варвары Михайловны — так звали печальную даму — есть еще два мальчика: Вася и Туся, а муж был учителем в реальном училище и недавно умер. Послушав старших, я пошел с Милочкой, молчаливой, но доброжелательной собирать цветы. Я тогда еще не умел влюбляться, но Милочка мне понравилась и запомнилась, тем более что даже мама похвалила ее. Хватит ли у меня храбрости рассказать, как сильно я любил эту девочку, когда пришло время? <...>

Строгая, неразговорчивая, загадочная Милочка держалась просто и дружелюбно со мной, и тем не менее я боялся ее, точнее, благоговел перед ней. Я долго не осмеливался называть ее Милочкой, так устрашающе ласково звучало это имя. На вечерах я подходил к ней не сразу, но, правда, потом уж не отходил, пока не раздавались звуки последнего марша. Я научился так рассчитывать время, чтобы встречать Милочку, когда она шла в гимназию. Была она хорошей ученицей, первой в классе, никогда не опаздывала — перестал опаздывать и я. Иногда Милочка здоровалась со мной приветливо, иной раз невнимательно, как бы думая о другом, то — дружески, а вдруг — как с малознакомым. Может быть, мне чудились все эти особенности выражений, но от них зависел иной раз весь мой день. В те годы я был склонен к печали. Радость от Милочкиной приветливости легко омрачалась — то мне казалось, что мне только почудилась в ее взгляде ласка, то в улыбке ее чудилась насмешка. Положение усложнялось еще и тем, что в училище я обычно шел теперь вместе с Матюшкой. Часто, хотя он с Милочкой был знаком мало, я относил ее приветливость тому, что со мной Матюшка. Любопытно, что Милочка как-то сказала мне, уже значительно позже: "Ты часто так сердито со мной здоровался, что я огорчалась". И я ужасно этому удивился. Что-то новое вошло в мою жизнь. Вошло властно. Все мои прежние влюбленности рядом с этой казались ничтожными. Я догадался, что в сущности любил Милочку всегда, начиная с первой встречи, когда мы собирали цветы за городским садом, — вот почему и произошло чудо, когда я встретился с ней глазами. Пришла моя первая любовь. С четвертого класса я стал больше походить на человека. В толстой клеенчатой тетради я пробовал писать стихи. <...> Но в стихах моих не было ни слова о Милочке. Никому я не говорил о ней [Шварц 1982, 89—90, 102—103].

Я страдаю очень сильно

Я прочла к этому времени все произведения Диккенса, Теккерея, Шекспира, а кроме того тысячи романов, хороших и скверных, вдохновенные книги и пустяки. Я поглощала все. Обычно я бодрствовала ночью, читая до рассвета при свете огарков, собранных мною в течение дня. Я принялась писать роман и одновременно издавала газету, которую писала всю сама — передовицы, хронику и короткие рассказы. В придачу я вела дневник, для которого изобрела секретный язык, так как у меня в это время появилась великая тайна. Я была влюблена.

Кроме детских классов мы с сестрой приняли нескольких учеников постарше, которым она преподавала то, что тогда называли "светскими танцами": вальс, мазурку, польку и другие.

Среди этих учеников было двое молодых людей. Один был молодой доктор, второй — химик. Химик был изумительно красив и носил восхитительное имя — Верной. Мне было тогда одиннадцать лет, но зачесывая волосы вверх и нося длинные платья, я выглядела старше. Я записала в свой дневник, что безумно, страстно влюблена, и полагаю, что со мной это действительно было. Сознал ли это Верной или нет, не знаю. В том возрасте я была слишком стыдлива, чтобы открыть свое увлечение. Мы ходили на балы и танцы, где почти каждый танец он танцевал со мной, а затем я бодрствовала до раннего утра, рассказывая

своему дневнику об ужасающей дрожи, которую испытала, "носясь", как я это излагала, "в его объятиях". Днем он работал в аптеке на главной улице, и я исхаживала целые мили, чтобы лишний раз пройти мимо него. Иногда я набиралась достаточно храбрости, входила и спрашивала: "Как вы поживаете?" Я разыскала дом, в котором он жил, и обычно убегала вечером посмотреть на свет в его окне. Это увлечение продолжалось два года, и я считала, что страдаю очень сильно. К концу второго года он объявил о своей предстоящей женитьбе на одной молодой девушке из оклендского общества. Я излила свое мучительное отчаяние на страницы дневника. Помню день свадьбы и свои чувства, когда увидела, как Верной спускается из церковного придела с некрасивой девушкой под белым покрывалом. После этого я больше его не видела.

Когда я недавно в последний раз танцевала в Сан-Франциско, в мою уборную вошел какой-то мужчина с белоснежными волосами, но кажущийся совершенно молодым и чрезвычайно красивым. Я узнала его сразу. Это был Верной. Я решила, что после всех минувших лет могу рассказать ему об увлечении своей молодости. Я думала, что это его позабавит, но он чрезвычайно испугался и заговорил о своей жене, неинтересной девушке, которая, оказывается, еще была жива и любовь к которой у него никогда не прекращалась. Как бесхитростно может протекать жизнь некоторых людей!

Такова была моя первая любовь. Я была безумно влюблена и полагаю, что с тех пор никогда не переставала быть безумной влюбленной [Дункан 1992, 18—19].

Ледяное прикосновение

В доме была большая анфилада комнат, а в конце ее огромная угловая зала со множеством окон. В простенках стояли на высоких табуретах чьи-то мраморные бюсты. Не раз я пробиралась в эту залу, заперев за собой тяжелую дверь. Мне нравились там тишина и таинственное присутствие этих немых голов. Подолгу стаивала я посреди, прислушиваясь, и мне казалось, что кругом дышат эти люди, до меня, может быть, между собой разговаривали, шевелились... Войдя, я помешала им. Вот они и застыли в этих позах... Каждый бюст я изучала отдельно, подолгу, так же добросовестно, как дома картины. Каждый говорил мне свою повесть... Некоторые меня отталкивали, другими я любовалась. Один же меня приковал к себе. Это был бюст императора Николая I.

Все чаще и чаще я останавливалась перед ним, очарованная художественной красотой этого лица. Безукоризненная чистота его профиля восхищала меня своей гармонией. Мало-помалу у меня явилась потребность видеть его постоянно. Для этого я жадно ловила малейший случай, придумывая всевозможные предлоги чаще бывать у моих друзей.

На Рождество меня пригласили на семейную елку, но я была безучастна: оживленное веселье не затронуло меня. Я думала одно — уйти скорее туда, к моей красоте. Улучив минуту, когда гувернантки, рассевшись, занялись сплетнями, а дети своими подарками, я ускользнула...

В зале полумрак. Впервые вхожу туда вечером. Шторы у окон спущены. Чернеют в простенках бюсты. Иду... Подхожу к излюбленному... Он точно ждет меня и стоит, как всегда, в полуоборот... В широкую щель неплотно спущенной шторы вливается яркой полосой фосфорный блеск луны, окутывая розоватым светом дивный, величавый профиль, любимые черты... Гляжу на него и остолбенела: он дышит, живет... Чтобы лучше разглядеть его, я встала на стул. Все ближе и ближе гляжу в восхищении... Он манит неотразимо... Голова кружится, в висках стучит... Еще миг... Какой-то бред... Мои губы коснулись его... Я вскрикнула, упала... Ледяное прикосновение меня ошеломило... Это была моя первая любовь... [Тенишева 1991, 33].

Чувство мое одно на обеих

Чудо и загадку любви я стал разгадывать рано. Едва ли не в девять лет. Насколько я

помню, Лялю Стрепетову привели к нам во 2-й "Б" класс. Привели новенькую и посадили за переднюю парту: будто легкий мотылек влетел в окно и опустился прямо перед глазами. Городской бант на косе еще более напоминал бабочку. Тотчас разузнали, что это племянница директора школы. (До Михаила Кирилловича Подо был у нас другой директор, но запомнился лишь потому, что был дядей Ляли Стрепетовой.) И еще стало известно: сирота, родители у нее умерли. Не потому ли такой печальной всегда и беззащитной она казалась? Вся такая хрупкая, воздушная. Одевал ее дядя, как куколку (очевидно, по нашим, глушанским меркам), а тут еще имя — Ляля. Плачет, если тройку получит — умереть можно. От смеха. Пусть кто-то от смеха заходился, а я, притворяясь таким же, обмирал от жалости к девочке-мотыльку. Что именно это называется "страстью нежной", любовью, подсказывал мне Пушкин. Не одними лишь певучими строчками, но еще и тем непонятным чувством, которое будило во мне само слово: "Пушкин". Без конца срисовывал с портретов стремительный профиль, вспушенные бакенбарды, отложной белый воротник. Без конца мог вглядываться в такое светлое, ни на чье не похожее, лицо. И как обмер - испугался однажды, когда показалось: он видит мой влюбленный взгляд! Вот так же случалось, когда Ляля оглянется, а я свои глаза не успел отвести в сторону: как кипятком зальет всего внутри.

Жил в постоянном страхе, что она посмотрит в мою сторону или, того хуже, встретится с нею неожиданно лицом к лицу. Представляю, каким букой я ей казался, если она, конечно, замечала мое существование, и одновременно неотступное желание заговорить, смотреть, смотреть на нежное, как бы совсем прозрачное личико, в неправдоподобно голубенькие глаза. Почему-то плакать хотелось, наверное, от распирающей меня нежности. Бежал в клуб на каждый фильм: а вдруг придет? Дождался до последнего на веранде, уже и фильм начнется, а я все гляжу на шоссе: не она ли там со своими дядей и тетей? Чтобы хоть увидеть тоненькую фигурку, проследить, где они сядут в зале. Это мне надо было знать для того, чтобы когда свет погаснет, вскочить на ноги и смотреть, смотреть в ту сторону. Вспыхивал экран, я сразу садился и ждал-дождался, когда что-нибудь испортится и заглухнет кинопередвижка. Постоянные мучения для глушанской публики — эти вечные обрывы киноленты или глохнувший мотор для одного человека в зале были минутами блаженства. Киносеанс затягивался иногда до 2 до 3 часов ночи, терпеливые кинозрители уже выспятся на стульях или скамейках, а пацаны — на полу перед экраном. Кино наконец кончалось, а у человека еще одна счастливая возможность: вовремя выскользнуть на веранду и посмотреть на нее вблизи, прячась за людей.

Да существовала ли она для меня физически? Во всяком случае, я почти не поверил, когда увидел, что среди бегущих сторонкой девочек, старающихся незаметнее и подальше от "мужских", то есть наших, глаз проскользнуть в женскую половину туалета, стоявшего на отшибе, что в той стайке и она, хихикает там за стенкой, звучит падающей далеко вниз струйкой? Она, как все? — как же обидно мне с этим было согласиться.

Должно быть, Ляля действительно была красивая, потому что многие в нашей школе влюблялись в нее. Вот и мой одноклассник Франц Стефанович, я с ним подружился, как ни с кем, когда понял, что и он тоже. Приходил ко мне и по вечерам, в темноте, подальше от чужих ушей мы говорили о Ляле. Говорил он, а я слушал, когда же Франц выходил из роли, которую я ему незаметно отводил — озвучивать мои к ней чувства, — я снова переводил незаметно разговор на ту, которую мы оба любили, только он открыто, а я тайком, трусливо. Подружился я и с братом Ляли, если бы хватило смелости, легко могло бы осуществиться то, что я и десятилетия спустя иногда видел во сне: прихожу к ней в дом; мы с нею разговариваем, смеемся, она показывает какие-то книги, я, чтобы занять мешающие мне собственные руки, вожусь с патефонными пластинками и могу смотреть на ее личико, нежный рот, светлые глаза, косу на худенькой спине. Но на это я никогда бы не решился, зато мог сколько угодно глазеть на ее брата и в чертах его лица угадывать что-то общее с нею.

И вдруг она уехала из Глуши. Мотылек залетел в окно, потрепетал нежными, яркими крылышками, припал на минуту к шторе, вдруг оторвался, и крылышки унесли красоту,

неизвестно кем нанесенную на них. Я места себе не находил. Но странно, испытывал и какое-то облегчение, вроде бы надежду, что больше не будет мучить эта постоянная тоска, беспокойство, которые меня переполняли. А тут опять в нашем классе новенькая — дочка присланного на завод молодого инженера. Она сразу же стала любимицей глушанских школяров. Было это не совсем то, что наша любовь к уехавшей Ляле. Тут скорее скандальная популярность, чем красота. В класс вошел учитель истории "Весьма Дужий" (прозванный так за излюбленное его выражение и соответствующий внешний облик), руку поднимает худющая чернявка с резкими чертами лица и смелыми глазами, просит объяснить ей "глушанское слово". Какое? А вот: "малафейка" (то есть, сперма). "Весьма Дюжий" только и нашелся, что посоветовал — лучше выбирать в Глуше друзей.

Сблизилась чернявка Валентина с жившей у нас папиной племянницей Надей, и я получил редкую возможность подружиться с девочкой прежде, чем влюблюсь. Потому что ощутил: снова влюбляюсь! — с беспокойством и тоской это почувствовал. Опять мучиться на расстоянии, от несмелости, трусости. Пытался переломить, загодя победить в себе это. Но не удалось. Вот уже немать стал при ее появлении в нашем доме, язык делается шершавый, сухой, а руки, наоборот, мокрые, потные, как только услышу, что она пришла. А добило меня "Сулико". У Валентины был голос. Что петь и иметь голос — это не одно и то же, мы в этом не очень разбирались, кто только не пел с клубной сцены, а тут перед залом встала изломанно-худенькая девочка, и что-то произошло с людьми в нашем привычно-скучном заводском клубе. И песня-то была как бы свыше одобренная (грузинская, а по тем временам, все, что из "солнечной Грузии", заключало в себе лирический образ вождя), и мероприятие было вполне казенное, но об этом никто уже не помнил. С удивлением смотрели на девочку, которая высоким детским и грудным женским голосом звала и благословляла любовь, горную, чистую, которую каждый в себе носит как возможность, как мечту, только не знает, как это выразить, как о ней, какими словами сказать.

Отец наш, когда выходили из клуба, кому-то (уже не помню кому) сказал и очень серьезно: нельзя ей рано выходить замуж. Может пропасть голос. Голос невинности в столь, казалось, развязной и раскованной, а по глушанским меркам, и распушенной девчонке.

Ясно, что повторилось все, как и с Лялей, я снова не мог даже приблизиться к обожаемому существу. А тем более пробиться не умел, потому что Валентину всегда сопровождал эскорт ухажеров, намербованный из старших классов. Снова мечтал, как увижу ее, хотя бы издалека, в школе, в клубе, на шоссе. И вдруг в Глушу вернулась моя первая любовь. Вернулась в школу Ляля. Вот тут на меня обрушились тройки и даже двойки, дома не понимали, что это вдруг произошло с прежним пятерочником. Мне стали запрещать то, без чего я жить, казалось, не мог: сиди зубри, раз такой, ни шагу из дому, тем более в клуб, в кино. А я смотрю в книжку, решаю задачки, но думаю о них, сразу об обеих, мечтаю, как увижу Лялю, как увижу Валентину, хотя бы издали увижу беленькую, увижу смуглянку, кого больше хочется увидеть, уже не знал. Сидел за школьной партой, а на самом деле находился в каком-то сладостном парении, аж голова кружилась, даже поташнивало: передо мной на передней парте снова сидит девочка-мотылек, а сзади, "на галерке", что-то все время происходит, учителя без конца: "Валентина, чем ты занята?" "Валентина, сейчас выйдешь из класса". Вначале эти две разорительницы наших школьных душ (мы так гнезда птичьих разоряли, по-детски безжалостно) сторонились одна другой, соперницы, а затем, видно, поняв, какая они силища, когда вместе, стали неразлучны, всегда рядом, везде вдвоем. Но мне это было даже с руки, они во мне и так рядышком, одна и вторая, как что-то одно. Но нет, не они одно, чувство мое одно на обеих. Ну, совсем, как у Наташи Ростовской (читаю сейчас, перечитываю Толстого), когда ей думалось: а почему нельзя любить двоих одновременно — князя Болконского и Анатоля Курагина? Перечитал это место и снова ахнул и огорчился: куда ни сунься, в любой уголок собственной души, в собственную память, а там уже побывал Лев Николаевич, оставил свою "визитную карточку". Но все же не совсем так, раздвоения на любовь "чистую" и "низменно-плотскую" не было, хотя, конечно, разница замечалась в обеих девочках, а возможно, и в чувстве к ним. В стройной

черноглазой Валентине сильнее угадывалось то женское, что нас уже волновало.

Но если бы только волновало. В стае пацанов, такой, как наша, рано или поздно сыщется развратитель, матери не случайно так боятся "подворотен". Но нам ни к чему были подворотни, у нас был лес, где спрятаться легче, лес провоцирует азарт, инстинкт поиска, охоты за неизведанным, неиспытанным.

Однажды после шумного беганья-катания на веревках вокруг столба ("Гигантские шаги" на лесной поляне нам достались в наследство от пионерлагеря) я подошел к группе пацанов в кустах, которые чем-то очень увлечены, заняты были. Удивило, как тихо там у них, они что, в карты играют? Стоят плотной группой и на что-то там в середине смотрят. Придвинулся, встал на цыпочки и вдруг увидел! На пеньке сидит Генка "Сухорукий" и что-то делает у своих коленок. Губа прикушена, глаза скошенные на то, что он делает, а когда вскидывает их и смотрит на всех, они у него пусто-бесстыжие. А все глядят на него, на мелькающее меж пальцев нечто отвратительно голое, веря и не веря в то, что перед ними, у них перед глазами. Со мной тоже что-то происходило в ту минуту: будто это я сам на том пеньке, вот оказывается, это как бывает, и я уже не прежний, никогда им не буду, навсегда что-то потеряно, потерял и жить не хочется...

То же самое ощутил — как в щель провалилось, откуда не достать — когда впервые сел играть в карты на деньги и даже выиграл. Выигрыш вернул, ушел, и весь день меня точила тоска, о чем-то потерянном непоправимо, чего мне не вернут, как я деньги вернул.

Я обвиняю тебя, что ты предал свою первую любовь!.. Иван Богослов, изрекая сие, имел в виду что-то свое. Но я в тот день, возможно, это услышал — в собственной душе [Адамович 1990, 46—48].

Эротическое впечатление

В памяти не осталось четкой последовательности событий. Все время приходят на ум и путают черед события мелкие, которые для меня, однако же, очень важны, и таким, наверное, было мое первое эротическое впечатление, которое странным образом переплелось с моим восприятием природы. Наверное, любовь и природа с самых ранних лет были источником и почвой моей поэзии.

Напротив нашего дома жили две девочки, непрестанно бросавшие в мою сторону взгляды, которые заставляли меня краснеть. То, что во мне таилось молчаливо и робко, в них, созрев раньше времени, выплескивалось в дьявольские затеи. В тот раз, стоя в дверях своего дома, я изо всех сил старался не глядеть на них. Но девочки держали в руках что-то необыкновенно интересное, и я не устоял. Осторожно приблизился, и они показали мне птичье гнездо, слепленное из мха и перышек, а в нем — изумительные бирюзовые яички. Я потянулся за яичком, но одна из девочек сказала, что сперва посмотрят кое-что у меня. Я похолодел от ужаса и бросился прочь, а юные нимфы, подняв как флаг над головой свое завлекательное сокровище, кинулись за мною. Спасаясь от погони, я побежал по переулку к пустой пекарне, принадлежавшей моему отцу. Преследовательницы нагнали меня и уже начали было стягивать с меня штаны, как вдруг в коридоре послышались шаги отца. Тут гнезду пришел конец. Чудесные яички растеклись по полу заброшенной пекарни, а мы — и преследовательницы и преследуемый — замерли под прилавком...

Я рос. Начинал интересоваться книгами. Уносился в страну мечтаний — к подвигам Буффало Билла, в странствия героев Сальгари. Моя первая, самая чистая любовь вылилась в письма к Бланке Уилсон. Она была дочерью кузнеца, и один из моих приятелей, влюбившийся в нее без ума, попросил меня писать за него любовные письма. Уже не помню, что я писал, может, это и были мои первые литературные опыты, но только как-то раз, встретив меня, она спросила, не я ли пишу те письма, которые ей передает влюбленный молодой человек. У меня не хватило сил отречься от своих произведений, и, страшно смутившись, я признался. В ответ она протянула мне айву, которую я, конечно, не съел, а хранил, как сокровище. Итак, вытеснив своего приятеля из сердца девушки, я продолжал

писать ей нескончаемые любовные послания, а в ответ получал айву. <...>

После жаркого, после гитар и слепящей усталости от солнца и молотьбы пришла пора устраиваться на ночь. Мужья с женами и одинокие женщины улеглись на земле, внутри лагеря, огороженного свежими досками, а мы, молодые парни, отправились спать на гумно. Там на горах мягкой желтой соломы вполне могло бы разместиться целое селение.

С непривычки мне показалось неудобно. Я никак не мог улечься. Попробовал снять башмаки и аккуратно сунуть их под голову — вместо подушки. Потом разделся, завернулся в пончо и утонул в соломе. Я устроился в сторонке от остальных, а те, не успев лечь, сразу же захрапели.

Я долго лежал на спине с открытыми глазами, руки и лицо — все в соломе. Ночь стояла ясная, холодная, пронизывающая. Луны не было, но зато звезды, только что вымытые дождем, сверкали и искрились на небе, казалось, для меня одного, кто не спал среди глухо спящего мира. Потом я заснул. Проснулся от того, что кто-то полз ко мне, чье-то тело двигалось под соломой, все ближе и ближе. Мне стало страшно. Это неизвестное медленно надвигалось. Я чувствовал, как шуршали и ломались соломинки под ним. Все мое тело напряглось, выжидая. Я замер. Совсем рядом, у самого лица, я услышал дыхание.

И тут ко мне протянулась рука — большая, натруженная рука, но рука женская. Рука пробежала по моему лбу, по глазам, нежно ошупала все лицо. Жадный рот приник к моему рту, и я почувствовал, как к моему телу — ко всему телу, до самых ног — прижалось женское тело.

Постепенно страх сменился сильнейшим наслаждением. Я тронул волосы, заплетенные в косы, гладкий лоб, глаза, прикрытые веками, нежными, точно лепестки маков. Рука продолжала искать и коснулась больших и крепких грудей, широких, округлых бедер, ног, которые переплетались с моими, и пальцы утонули в лесном мху. И за все время ни единого слова не произнес ее рот.

До чего же трудно любить в стогу соломы, в стогу, пропоротом еще семью или восемью спящими мужчинами, которых ни в коем случае нельзя разбудить. Но, по правде говоря, все возможно, хотя и требует невероятной осторожности. А потом, когда незнакомка заснула возле меня как убитая, на меня опять нахлынул страх. Скоро рассвет, думал я, люди начнут просыпаться и увидят на соломе, рядом со мною, обнаженную женщину. Но я все равно заснул. А когда, проснувшись, протянул в тревоге руку, то нащупал лишь теплую вмятину — только и всего, что от нее осталось. Тут запела птица, а за ней и вся сельва наполнилась птичьими трелями. Рядом застрекотал мотор, и мужчины и женщины взялись каждый за свою работу, засновали у самого гумна. Начинался новый день молотьбы.

В полдень все вместе обедали за длинным дощатым столом. Я ел и украдкой поглядывал на женщин, стараясь угадать, какая из них могла ночью прийти ко мне. Но одни были слишком стары, другие — чересчур тощие, а молоденькие — худосочные, как сардинки. Я же искал плотную, с длинными косами и крепкими грудями. И вдруг вошла женщина, она несла жаркое своему мужу, одному из Эрнандесов. Да, это могла быть она. Я сидел на другом конце стола, но, по-моему, я заметил, как эта красивая женщина с длинными косами бросила в мою сторону быстрый взгляд и чуть улыбнулась. И мне показалось, что улыбка ее стала шире, стала глубже — что она раскрылась внутри меня [Неруда 1988, 49—51, 66—67].

Д в е л ю б в и

Мне особенно хотелось рассказать ей [матери] о любви, главном стержне, вокруг которого вращалась вся приподнятая театральная жизнь. Но об этом говорить было почему-то неловко, да и я не в силах был рассказать об этом просто и понятно. Я сам не понимал, почему в театре о любви говорят так красиво, возвышенно и чисто, а в Суконной слободе любовь — грязное, похабное дело, возбуждающее злые насмешки? На сцене любовь вызывает подвиги, а в нашей улице — мордобой. Что же — есть две любви? Одна считается высшим счастьем жизни, а другая — распутством и грехом?

Разумеется, я в то время не очень задумывался над этим противоречием, но, конечно, я не мог не видеть его. Уж очень оно било меня по глазам и по душе. <...>

Начитавшись убийственных романов, насмотревшись театральной жизни, я начал несколько преждевременно мечтать и бредить о любви. Впрочем, не только я, но и мои товарищи тоже не чужды были этих мечтаний. Мы все считали себя влюбленными в Ольгу Борисенко, равнодушную красавицу гимназистку, которая ходила уточкой и смотрела на весь мир безучастными глазами. Боже мой, как жадно ждали мы пасхи, чтобы похристосоваться с Ольгой! Помню такой случай: против церкви Сошествия Святого Духа татары торговали кумачом, всякой галантереей, мылом и удивительными духами, — их можно было купить на три копейки полный маленький пузырек. Мы купили эти духи. Не дожидаясь конца заутрени, выбежали на паперть, и там каждый из нас намазал себе духами зубы, кончик языка и губы. Духи жгли, но благовоние получилось замечательное! Когда вышла Оля, мы, возглашая "Христос воскрес!", подходили к ней гуськом, как за билетами к театральной кассе, и осторожно чмокали даму наших сердец. Она пребывала равнодушной.

Женя Бирилов почему-то называл ее некрасивым именем — Дульцинея Тобосская. Как-то раз я поправил его.

— Тобольская!

— Молчи, коли не знаешь, — сказал он.

Из-за этой Дульцинеи я дрался на шпагах, как и надлежит истинному кавалеру. Дуэль произошла не потому, что она была неизбежна, а потому, что мы были предрасположены к этому делу, начитавшись Дюма и Понсон дю Террайля. С нашей компанией познакомился гимназист, который воровал у своего отца ружья, продавал их и на вырученные деньги угощал нас пивом в портерных. В сущности, он был хороший парнишка и нравился нам не только потому, что пивом угощал.

Так вот, как-то однажды этот гимназист позволил себе отнестись недостаточно уважительно к нашей даме. Ничего особенного он не сделал, но, — когда любишь, то неизбежно ревнуешь. Для каждого из нас было счастьем сказать Оле два-три слова, побеседовать с ней минуту. Мне, к сожалению, доставалось этих минут меньше, чем друзьям моим. Я был моложе всех и менее интересен. Но именно я сказал гимназисту, чтоб он немедленно убирался ко всем чертям. Он хотел избить меня, но вступились мои товарищи, заявив, что если он желает получить "сатисфакцию", любой из нас готов драться с ним. Он горячо согласился, что дуэль необходима.

Дуэлянтom выбрали меня, так как я, подражая Мефистофелю, Фаусту и Валентину, умел гнуть палку, как шпагу, делая ею всевозможные воинственные театральные пируэты и выпады. Было единогласно решено, что именно мне и следует пронзить нашего обидчика.

Женя Бирилов принес рапиры, которые висели дома у него на стене как украшение. Концы рапир оказались нам недостаточно острыми. Тогда мы снесли оружие к слесарю, чтобы он его наточил. Помню, клинки рапир были черные, а концы светлые, точно из серебра.

Местом боя мы избрали Осокинскую рощу. Секундантами обеих сторон были мои приятели, но они вели себя безукоризненно честно по отношению к обоим дуэлянтам. Вообще все было — как в самом хорошем романе.

— Не очень старайтесь! — сказал нам один из секундантов. Другой подтвердил:

— Смотрите, до смерти убивать не надо!

Дуэль началась и кончилась в минуту, если не скорее. Ударив раза два рапирами одна о другую, мы, не долго думая, всадили их кому куда нравилось: противник в лоб мне, а я ему в плечо. Ему, видимо, было очень больно, он выпустил рапиру из руки, и она повисла, торча острием в голове моей. Я тотчас выдернул ее. Из раны обильно полилась кровь, затекая мне в глаз. И у гимназиста по руке тоже стекала кровь. Так как мы условились драться не на смерть, а до первой крови, секунданты признали дуэль конченной и начали перевязывать наши раны, причем один из них для этой цели великодушно оторвал штрипки от своих подштанников.

Мы, противники, пожали руки друг другу и сейчас же отправились в чей-то сад воровать яблоки, — это, в сущности, не считается кражей, — а вечером я, гордый собою, явился домой и был жестоко выпорот. Это было ужасно! Пришел человек с благороднейшими чувствами в груди, а с него снимают штаны и бьют по голому телу какими-то шершавыми веревками. Невыносимо обидно!

Знала ли об этой дуэли Оля Борисенко? Вероятно, ей сказали. Но это ничего не изменило в ее отношении ко мне и в моей судьбе.

Любовь — та, которую показывали на сцене театра, и та, которой мучились в Суконной слободе, — не могла не тревожить моего воображения. Слободские девицы задумчиво пели:

На том ли поле серебристом
Стояла дева пред луной
И уверяла небо — чистым
Хранить до гроба свой покой.

Несомненно, это глупые слова, но в них звучало искреннее чувство, понятное мне. А дальше в этой песне были слова и не в такой степени глупые:

Любовь моя прочней могилы.
Я всю себя ей отдала.
Она мои убила силы;
В ее огне я отцвела.

Хотя это распевалось отцветшими слободскими девицами, но все-таки трогало меня за сердце.

Я видел, что все ищут любви, и знал, что все страдают от нее — женатые и холостые, чиновники и модистки, огородницы и рабочие. В этой области вообще было очень много страшного, недоступного разуму моему: девицы и молодые женщины пели о любви грустно, трогательно. Почему? А парни и многие мужчины рассказывали друг другу про любовь грубо, насмешливо и посещали публичные дома на Песках. Почему? Я знал, что такое публичный дом, и никак не мог связать это учреждение с любовью, о которой говорилось в "Даме с камелиями".

Я пел на свадьбах, видел невест, действительно похожих на белых голубиц, и видел, что почти всегда они плакали. Деревенские девицы, выходя замуж, тоже плачут и поют песни, проклиная замужнюю жизнь. Потом все они — городские и деревенские — "в муках рожают детей". Но в то же время все стремятся выйти замуж, все ищут любви. Она, в сущности, является главным содержанием жизни.

Вообще все, что было известно мне в области отношений полов, являлось предо мною разноречивым до совершенной непримиримости. Мне было ясно, что в обыденной жизни женщина — домашнее животное, тем более ценное, чем терпеливее оно работает. Но в то же время я видел, что женщина всюду вносит с собою праздник и что жизнь при ней становится красивее, чище. Я бывал на "посиделках", которые устраивались в мастерских: мастера и подмастерья, пьяницы, матерщинники, заставляли нас, учеников, "прибирать" мастерскую, покупали пряников, конфет, орехов, наливок и, приглашая девиц — швеек, коробочниц, горничных, — устраивали танцы, игры.

Играли в фанты: выберет себе девицу какой-нибудь отчаянный человек и ходит под ручку с ней, а остальные поют:

Боже мой, боже мой? Что за душечка со мной!
Щечки розаном покрыты, Губки аленькие!

Еще брови да глаза — Это просто чудеса!
Поцелую раз, другой И пойду сейчас домой!

Нужно было видеть радостное смущение сапожника, портного или столяра, когда он неуклюже и стыдливо целовал свою избранницу, нужно было видеть ее девичий румянец, ее глаза в этот миг! Это было хорошо, хотя теперь кажется смешным; это так чудесно скрашивало трудную жизнь в подвалах!

И во всем этом я чувствовал, что женщина — радость жизни, владыка ее! Но в то же время в глаза бросалось множество других явлений, грубо унижающих ее.

Очень поразил меня один обычай. Девушка, сестра моего товарища, выходила замуж "по

любви" за молодого человека, почтового чиновника. Я был на свадьбе, смотрел, как пировали. Все это было очень весело, очень любопытно. Поздней ночью молодые ушли спать на чердак, а я с товарищем — на сеновал.

Утром меня разбудил дикий визг, крики, грохот, — как будто случилось великое несчастье. Я выглянул на двор и увидел картину, которую не забуду никогда: по двору безумно прыгали похмельные, полуодетые, нечесанные бабы. Одни плясали какой-то дикий танец, поднимая юбки до колен и выше; другие визгливо пели; третьи били о землю и стены дома горшки, плошки, стучали в сковороды и кастрюли; некоторые размахивали по воздуху большой белой тряпкой, испачканной кровью. Все это казалось безумием и вызывало чувство страха. Мужчины, тоже полупьяные, хохотали, орали, обнимая баб. А бабы все толкались по двору, точно комары над лужей. На стареньком крыльце дома стояли, взявшись за руки, молодые и, улыбаясь, смотрели на это безумие, в котором было много постыдного. Женщины, плясавшие на дворе, орали грязные слова, показывая ноги. Мужчины не уступали им. А молодые были счастливы. Я никогда, ни прежде, ни после, не видал таких счастливых глаз, какие были у них в то утро.

Товарищ был старше и опытнее меня. Я спросил его, что они делают.

— Радуются, — ответил он. — Слышишь, поют "Во лузях"? Видишь, рубаха-то в крови? Стало быть, сестра у меня честная была. "Расцвели цветы лазоревые".

Удивленный, я спросил:

— А теперь она разве стала бесчестной?

Товарищ долго объяснял мне, что такое честь девушки. Я слушал его с большим любопытством, но все-таки мне было как-то неловко, стыдно. И во всем, что он говорил, во всем, что происходило на дворе, пред глазами у меня, я чувствовал что-то неладное, как бы некоторое издевательство над женщиной и над любовью.

Осталось только одно светлое пятно — это сияющие счастьем лица молодых. И я подумал, что какую бы грязь ни разводили люди вокруг любви, а все-таки она — счастье! Может быть, я не тогда подумал об этом, но я рад, что эта мысль пришла ко мне рано, еще в отрочестве.

Кажется, этой же мысли, в связи со всеми прочими впечатлениями, которые я вынес из отношений женщин и мужчин, я обязан тому, что познал женщину тоже слишком рано.

У меня была знакомая прачка, запойная пьяница. Одна ее дочь, горничная, вышла замуж за генерала. Прачка жила безбедно на средства, которые присылала ей богатая дочь. Она даже выписывала "Ниву", а я читал ей романы и объяснения картинок. На этом и устроилось мое знакомство с нею. У нее была еще другая дочь, очень красивая девушка, но душевно больная. Она, как я знал, любила офицера, ушла с ним. А он ее бросил. И вот девушка сошла с ума. Мне было очень жалко ее, но она возбуждала у меня темное чувство страха.

Она всегда молчала, только хихикала странным пугающим звуком, который казался мне злым. Ее голубые, красивые глаза смотрели на все и на всех пристально, неподвижно. А я не мог смотреть на нее долго. Мне думалось, что она может сказать что-нибудь страшное. Я иногда думал о ней:

"Почему она несчастна? Такая красивая! Если бы она вышла замуж, за офицера, как сестра моего товарища за почтальона".

И вообще она своим молчанием, своим мертвым взглядом заставляла меня много думать о ней.

Зимой, на святках, я поехал с ее матерью ряженым в Козью слободку, к знакомым прачки. Там танцевали кадрили, ели, пили, играли в фанты. Я понравился какой-то толстой девице. Она уводила меня за печку и целовала какими-то особенными поцелуями, от которых кружилась голова и которые неприятно волновали меня. Возвращаясь из гостей поздно, пьяная прачка предложила мне ночевать у нее. До Суконной слободы было далеко. Я согласился, и прачка указала мне место для ночлега: на сундуке, в комнате ее дочери.

Мне было 13 лет в ту пору. Не стесняясь моим присутствием, прачка раздела дочь и уложила ее на постель, против сундука, на котором лежал я. Уложила и ушла, погасив огонь.

Мне не спалось. Я был взволнован поцелуями толстой девицы. Я вспоминал любовные истории, о которых слышал, романы, прочитанные мною, красивые речи влюбленных на сцене театра и, главное, прежде всего счастливое лицо сестры товарища, когда она стояла на крыльце под руку с мужем, над толпою бесновавшихся баб. Мне подумалось:

"А что если я заменю офицера? Может быть, эта красивая девица выздоровеет?"

Я встал, тихонько сел к ней на кровать, взял ее голову и повернул к себе. В темноте мне показалось, что больная смотрит на меня более осмысленным взглядом, и это увеличило мою храбрость. Она все молчала, не сопротивляясь мне и даже, как будто, не дыша. Когда я пришел в себя, то ясно увидел, что глаза ее смотрят в потолок так же мертво, как всегда.

Вероятно, что в этом рассказе не все верно, и на самом деле я вел себя грубее и прямей, а соображения и мысли, до некоторой степени оправдывающие меня, придуманы мною после. Что же делать? Нет человека, который не нуждался бы в оправдании пред самим собою. Я думаю, что нет такого человека.

Я мог бы не рассказывать эту историю, но мне надо сказать, что с той поры, что бы я ни делал, делал для женщины, для того, чтобы заслужить ее внимание, ее любовь [Шалапин, 1957, 63—68].

Вдумайтесь в это, родители

Мария Семеновна [мачеха] заболела чем-то и слегла, наступила ночь, в продолжение которой я все время не мог заснуть: в отдаленных комнатах суетились, позвякивали кувшинами, хлопали дверями и слышался непрерывный, душу раздиравший и куда-то глубоко в меня проникавший и до физической боли в этой глубине коловший крик мачехи, и все одни и те же две фразы, только в разных оттенках, с различною резкостью: "Боже мой! Иисусе Христе!" Мне сказали, что заболела мама, к ней идти нельзя, а нужно вести себя тихо и спать. Крики все учащались, становились до оглушительности громкими, так что я вскакивал на своей постели и детской душой своей понимал, что так можно кричать только когда человека режут. Еще несколько рвущих тишину криков — и все умолкло. Я уснул. Наутро все ходили на цыпочках. Нас с братом и с Колей после чая сейчас же отправили играть во двор.

Было воскресенье. Сын дворника, Сашка Цуркин, старше меня двумя годами, отвел меня за угол дома и там, у водосточной трубы, начал объяснять мне нижеследующее, начав с вопроса:

— Знаешь, что с твоей матерью? — и получив на это ответ: "Она больна", тыкая у себя пальцем то место, где у него расположен половой член, он говорил мне, что у моей матери ребенок вышел оттуда.

"Что за абсурд, — подумал я. — Ведь оттуда у меня только желтая вода течет иногда, каким же образом ребенок оттуда может появиться?"

Я резко оборвал Сашку, сказал, что он лжет и что слушать его не буду, и хотел уйти от него, но он удержал меня за локоть, быстро вынул из кармана карандашный огрызок и начал рисовать на серой стене дома, над фундаментом, овалы, кружочки и колбаски; началось пошлое разъяснение половых органов, и при этом нецензурные названия их, объяснение сущности полового акта, причем Сашка стал двигать своим животом и задом вперед и назад и при этом ржал. "Так вот, через эту дырку у твоей матери вышел ребенок", — заканчивал он, испытующе и лукаво глядя в мое недоумевающее лицо.

— Чушь говоришь! И из живота и вдруг — ребенок! Глупости! — оборвал я опять, прослушав, однако, о половых органах и об акте внимательно.

— Ну, поди наверх и спроси Акулину, есть ли ребенок! — крикнул Сашка мне вслед.

Но я не наверх пошел, туда не было приказано возвращаться до зова, а в небольшой палисадник, где никого не было, и стал ходить около клумбы, на которой горело несколько головок поздней настурции.

Был холодный, но ясный день. В моей десятилетней голове задвигались несовместимые с

разумом представления.

"Вот и в гимназии, — думал я, — в гимнастическом зале, на стенах, тоже нарисовано множество таких же колбасок и овалов, и над ними надписи с теми же названиями, что сейчас произнес Сашка, да еще в рифму, в виде коротких стихотворений говорится о тех же словах. И в клозетах гимназических на перегородках то же нарисовано. Тут какая-то правда, ведь вот и у меня, действительно, есть такая колбаска, а как у девочек — не знаю".

И вспомнил я, что было летом. Родители приняли в дом сиротку, Маню, отец и мать которой, очень больные, умерли скоропостижно один за другим от чахотки. Она была полька, но владела русским языком лучше своего родного. Ей было тоже десять лет, она тоже была в первом классе здешней женской гимназии. Отец мой, под влиянием христианских побуждений мачехи, решил воспитывать и содержать сироту, и она поселилась в нашей семье. Мы всегда играли вместе, учили уроки, кушали вместе и подружились с ней. В жаркий летний день мы были все в саду, потом почему-то дети куда-то все разбежались, а мы с Маней очутились возле кустов малины, которую стали общипывать. Маня мне начала говорить о дружбе ко мне и вдруг спросила:

— Ты доверяешь мне, Федя?

Я не понял слова "доверяешь", не знал, что оно значит, но мы были однолетки, мне было совестно признаться в этом, и я ответил как-то не сразу:

— Да.

— Это хорошо, мы будем друг другу все говорить и у нас ничего не будет скрытого, хочешь? — спросила она.

— Да, хочу, — отвечаю, и тут же какой-то внутренний бес толкнул меня, и я спросил: — А ты мне все можешь сказать, все сделаешь, чего я попрошу?

— Все, все, — отвечает та решительно.

Но я спохватился и ничего больше не спрашивал. Тогда она начала настаивать, чтобы я не скрывал от нее ничего.

— Вот ты мне не доверяешь, раз не говоришь.

"Ах, вот что значит, это слово, — подумал я. — Значит можно спросить, покажет", — думаю...

— Подними свое платье и покажи мне, как у тебя между ногами устроено, — бухнул я. Та залилась в лице, вдруг повернулась на месте и стрелой убежала из сада, а я остался около малины, но уж перестал ее есть, а только недоумевал: не было ли в моих словах чего ужасного, что она так скоро убежала? Но ужасное, очевидно, было, так как через полчаса меня позвала в дом мачеха (отца дома не было), заперлась со мной в родительской спальне, села на стул и начала говорить:

— Как ты смел, бесстыдник, разве ты не понимаешь, она бедная сирота, а ты ей говоришь гадости. Ты гадкий, мерзкий мальчишка! Растегивай штаны!

И она сама начала лихорадочно спускать мои невыразимые, перекинула меня через стул, на котором до этого сидела, и задала мне обычную порку.

— Убирайся, не смей никогда говорить таких слов! — кричала она мне, запыхавшись, но на ее красном полном лице я почувствовал, уходя, взмахнув глаза на нее и застегиваясь, что-то недосказанное, какую-то самоозадаченность. Маню после этого перевезли жить к учительнице музыки, старой деве, но на счет отца. Она у нас бывала почти каждый день. Первая встреча наша после инцидента сопровождалась каким-то обоюдным смущением. Я взглядом без слов говорил ей о результате своего доверия к ней. И она это понимала. Потом все пошло по-прежнему и мы никогда об этом не вспоминали.

Вот, бродя теперь около клумбы и вспоминая этот инцидент, я и думал: "Вот ведь Маня не показала, как у нее устроено. Может быть, Сашка и прав", но все-таки, чтобы в животе очутился ребенок и оттуда вышел живой, — я не допускал.

— Федя, Воля, Коля, домой! — послышался голос Акулины из кухонного окна второго этажа, где была наша квартира.

Идем по лестнице, входим в столовую. Из гостиной к нам навстречу направляется отец, с

лицом осунувшимся, но почти довольным, и голосом, чем-то обрадованным, объявляет:

— Ну, дети, маме лучше, она теперь спит. Играйте в детской тихо! А вот аист в эту ночь принес вам нового братца, такого малюсенького. Он устал и тоже теперь спит. Если будете послушными, то, когда они проснутся, вас всех позовут к маме и вы увидите маленького брата.

Все, обрадованные, получают по пирожному и исчезают в детской. Недоумение меня продолжает разбирать и увеличивается мое внутреннее стуканье лбом о неизвестную мне стену; а уж о том, что за нею находится, я и вообразить не могу.

Ходил потом в спальную со всеми. Видел Марию Семеновну, лежавшую на постели всю в белом, с распущенной косой, с капельками пота на губах. В лице ее была ясная, спокойная улыбка, которая, мне казалось, ко мне относится. Сбоку от нее что-то пищало. Я приложился к ее влажной руке, потом к горячей щеке, и, когда рассматривал сморщенную головку красенького, как рак, закутанного, как куколка, ребенка, то невольно перебежал глазами то на большой, под одеялом, живот мачехи, то на ребенка, сравнивал мысленно размеры того и другого, но ни к какому выводу не приходил. Так этот вопрос до времени оставался для меня на одну четверть приоткрытым, а в остальном темным и таинственным долго еще. <...>

В один из таких побегов я, сидя у забора и жуя хлеб, увидел в небольшом деревянном домике напротив выходящего из сенцов парня. Он выходил на улицу пошатываясь, боком, ибо был в плечах очень широк, выходил нагибаясь, чтобы не удариться о притолоку. Выйдя на середину улицы, он повернулся ко мне спиной и стал смотреть на домик. В дверях появилась растрепанная, в одной рубашке, съехавшей с плеча и обнажившей отвислую, но большую грудь, молодая рыжеволосая женщина. Она скалила зубы и при этом издавала какие-то эстонские звуки с подвыванием. Звуки ее голоса, ее полунагота и какое-то незабываемое потом никогда движение правой рукой по животу привели меня в неведомый мне раньше трепет. Вдруг она высоко вздернула рубаху кверху и обнажила при этом прелестные бедра и еще что-то темное, цветное и скрылась. Это было одно мгновение. Парень заржал, замахал руками и пошел по улице, а я весь задрожал. В последовавшие бега я часто приближался к этому домику, садился неподалеку на противоположной стороне и ждал. Мне очень хотелось ее увидеть. Почти всегда выходили оттуда мужчины, изредка показывалась на пороге и она, но всегда уже хоть и неряшливо, но одетая. Никогда уже я не видел ее наготы, но я отчетливо сознавал, что хотелось бы быть возле нее, хотелось, чтобы она погладила меня своей красивой рукой, и хотелось (я это в десять с половиною лет, вдумайтесь в это, родители, я говорю все время чистую правду!), хотелось понюхать ее волосы. Но я боялся подойти к ней, хотя два раза прошмыгнул мимо окон домика, но ее ни в дверях, ни в окнах не увидел.

<...> Рядом со мною на стульях сидела самая красивая пара, великовозрастный поляк-гимназист с Катей Ракитиной, высокой, стройной девушкой, гимназисткой шестого класса, дочерью крупного в городе инженера.

Сидя рядом со своей девочкой, я все время молчал и смотрел откровенно, влево от себя на Ракитину. Я знал ее и раньше в лицо, но и только. Смуглая, с вытянутым лицом, с черными как смола с завиточками у лба и висков волосами, с глазами карими, смеющимися и с великолепно точеным узким носом, она сидела в полоборота к своему красивому кавалеру-юноше и играла на своем колене перчаткой, улыбалась и что-то ему говорила. Я через плечо всматривался в ее профиль. Вдруг она резко оборачивается в мою сторону, ловит мой откровенный взгляд и говорит смеющимся непринужденным голосом:

— Что же вы не развлекаете свою даму?

Я заерзал на стуле, сконфузился и повернул голову к своей девочке. И какую маленькой показалась она мне вдруг после стройной, высокой Ракитиной. Мне не захотелось даже разговаривать с нею, да я и не знал, о чем говорить. Но девочка сама выводила меня из затруднения:

— Вы хорошо декламировали сегодня, — говорит она своим тоненьким голоском.

Но не успел я ей что-нибудь на это ответить, как слышу у своего левого уха мелодичный

металлически-звонкий голос Ракитиной:

— А вы за что разгоняли учениц на прошлой неделе?

Отвернувшись от своей девочки и во все глаза глядя в лицо Ракитиной, я теперь чувствовал уничтожающее мое смущение и только пожимал плечами.

— Храбрый, нечего сказать, весь класс разогнал! Я улыбаюсь, но слова не могу произнести.

— А следующую фигуру вы танцевать умеете? — спрашивает она и обворожительно улыбается.

— Нет, не совсем, — выцеживаю слова.

— Ну, так следите за мной и делайте то же самое!

Музыка заиграла. Я бессознательно стал делать "то же самое". Вечер кончился. Больше с Ракитиной мне говорить в жизни не пришлось, но с тех пор я постоянно следил за ней, и где бы я ее ни встречал, смотрел на нее, как на божество, и низко ей кланялся. Слова ее "следите за мной!" стали для меня роковыми. Скитаясь потом из города в город, я все время в воображении своем много лет подряд продолжал "следить за ней" и всегда при ухаживаниях и в своих увлечениях старался приблизиться к девушкам с типом лица Ракитиной.

Я не знаю, что потом с нею случилось и как сложилась ее жизнь. Но если ты прочтешь теперь, уже почти сорокалетняя, Катя, мою повесть, ты узнаешь себя под этой вымышленной фамилией: порадуйся тому, что этот незначительный и мимолетный разговор с 11-летним мальчиком имел такие неожиданно фатальные последствия для него, а в твой роскошный венок из амурных успехов вплел лишний скромный, но до сих пор неувядший цветок. <...>

Наступила теплая, какая-то знойная весна. Состоялся перевод и меня и брата в следующие классы. Стремление к женщине стало волновать меня со стихийной силой, и вот стою на огороде, залитый солнцем, волнуемый в воображении сладостными образами и следя за тем, как полет гряды коренастый сторож, хвалит землю и говорит:

— Панич, какие корнеплоды будут нынче! Я обращаюсь к нему:

— Петр, ты можешь привести мне девку?

Тот поднимает на меня свои глазищи и спрашивает недоумевающе:

— Что это, панич, разве уж так больно захотелось?

— Петр, я не могу больше, приведи девку!

— А что ж, — отвечает, — можно.

— Сегодня же, в каморку сторожа, вечером, слышишь?

— Хорошо.

— Ты приведи, запри ее там и постучи в мою дверь три раза, я сейчас же сойду!

— Хорошо, панич, не беспокойтесь, все сделаю.

И я ушел с огорода. Весь остаток дня с необыкновенно длинным показавшимся мне вечером я провел в трепетном ожидании действительно важного в жизни мужчины события.

И до этого решительного разговора со сторожем, с наступлением этой весны, я очень часто прогуливался мимо ворот, мимо окон больших домов, все с определенным желанием найти себе женщину, преследовал служанок, ходивших за покупками, и приставал к ним с двусмысленными предложениями. Меня несколько тревожил только вопрос: что если даже какая-нибудь служанка и согласится на мое предложение, то где может произойти сношение? Но я успокаивал себя мыслью о том, что можно будет, пожалуй, как-нибудь пробраться к ней на кухню. Служанки всегда или убегали от меня, или огрызались, но так уж неудачны были, видно, мои искания, что никогда на мои заманивания они не шли, а один раз одна милотная толстуха, шедшая с молитвенником из костела неподалеку, входя в свои ворота, обернулась и стала громко меня проклинать по-польски, называла дьяволом, грозила адом, призывала кары на меня от пресвятой девы и Иисуса Христа, плюнула в мою сторону и захлопнула за собою калитку. При свете керосинового фонаря неподалеку лицо ее в минуты брани было очень обольстительное; платок сбился с головы и обнаруживал высокую грудь, хорошенькую короткую шейку и гладко причесанную головку. Я любовался ею, не испытывал страха от ее проклятий, хотя и был тогда по-церковному религиозным и

религиозно-мнительным.

Находясь иногда в гостях у чиновников, когда взрослые садились за свои зеленые столы и посматривали на нас, подростков, с таким свысока видом, что вам, мол, далеко до сладостных переживаний играющих в карты, и не предполагавшим, что мы задували уже по целым ночам так ими любимый преферанс, дети шли играть в детскую и там портили мебель за неимением подходящих предметов для гимнастики. Я в таких случаях часто тайком уходил в кухню, приставал там к прислуге, но и она и я чутко прислушивались, как бы не послышалось шагов хлебосольной барыни: если таковые слышались, я убежал на лестницу черного хода и, по уходе той, возвращался как кот обратно; эта настороженность и занятость прислуги мешала всему, и я уходил в комнаты. Здесь с зевотой смотрел семейные альбомы с ничего мне не говорившими дамами и мужчинами в сюртуках и мундирах, бросал это, начинал обводить глазами стены, увешанные картинками с корабликами, женскими головками, ангелочками, с букетиками цветов; надоело и это — шел тогда к столикам играющих и становился поочередно за их спинами, лениво всматриваясь, как те лихорадочно разбирали карты по мастям, а учителя мои, если им случалось тоже играть, как-то вздыхали при этом перебирании пальцами. И так до ужина. Потом домой. Там перед сном — онанизм, а наутро измятое лицо, синие круги под глазами, опять борьба с инспектором, скучные занятия, ничего не говорившие моему уму, и так далее, и так далее.

Но вечер надвигался. Я часто выглядывал в окно, в темноту сада, потом на звезды, затем на часы. Отужинал уже давно один, сославшись на уход к товарищу, и ждал стука в дверь, ждал с нетерпением, с замиранием всего тела, с дрожью, не будучи в состоянии ничего делать, ни о чем другом думать, как об этой вожденной минуте.

В дверь стукнули три раза. Опрометью выбегаю на лестницу, едва выслушиваю оправдания сторожа, что, мол, никак не мог он поспеть раньше, но я только успеваю уловить его утвердительный кивок на быстро брошенный ему вопрос:

— Она там?!

И бегу с лестницы через двор, и затворяю за собой дверцу от каморки конюха. Это помещенье, где стояла одна койка, и больше ничего не могло стоять, было без окна. Чернильная темнота охватила меня. Простираю руки, попадаю на сильно пахнущий овчинный тулуп на стене, потом на лицо. Началась какая-то возня, у меня помутилось сознание, кое-как был впопыхах совершен акт, и тут же погас... этот величайший, после пробуждения Бога в душе, момент в жизни человека, вспыхнул в темноте и погас в ней, и навсегда утонул этот золотой слиток в омуте жизни, не принявший никакой ювелирной формы, без любви и страсти, — и уже стало противно, гадко, мерзко до тошноты, до рвоты, — и я выбежал вон, на свежий воздух, взглянул на золотые звезды, но было стыдно, на душе гадость, в теле омерзение.

Такое состояние несколько притупилось на второй, третий день, но отвращение к не виденной женщине не улеглось еще несколько дней, и, по прошествии их, опять до нестерпимости захотелось ее иметь, и я просил Петра опять привести ее в каморку.

Снова темнота, какое-то остервенение во мне всколыхнулось, уже сознательнее все происходило, я сажал ее на свои колени и осыпал поцелуями опять невидимое мне ее лицо, а она дрожала и придыхающе говорила по-польски:

— Панич сегодня какой-то шалый!

По приезде домой, я стал есть за столом со всей семьей, только из отдельного прибора. Брат Всеволод знал теперь все, что со мной произошло.

— Воля! — говорю я ему на второй день своего приезда, — сядь со мной рядом!

Тот как-то нерешительно подсел ко мне.

— Ты знаешь, в какое ужасное положение я попал, совершенно невинный. Вся жизнь моя отравлена и загублена, а мне вот через месяц только исполнится пятнадцать лет. Долгом своим считаю предостеречь тебя от опасности, если уж мне своевременно не разъяснили ее и не предохранили моей юности, то всем детям теперь я буду описывать все, что их может ожидать. Не иди на улицу, терпи; если позывы половые почувствуешь, скажи мне, покажи

эту женщину, пойдем с ней вместе раньше к доктору и узнаем, здорова ли она.

Тот сидел, понуря голову, и по позе его я заметил, что мои великодушные слова как-то не производят на него ожидаемого мною впечатления.

— Обещай мне, милый Воля, что не пойдешь!

Тот начинал мяться, потом покраснел и медленно заговорил:

— Уже поздно, Федя, только ты не говори папе; тут, видишь, пока ты был в Варшаве, пришел в город полк: я познакомился с офицерами, и один из них стал меня часто угощать водкой, а раз у него были две женщины. Я напился и потом тоже согрешил, и вот — тоже влопался...

У меня волосы на голове зашевелились — ведь ему 13 лет!

— Что у тебя, говори!

— Триппер, — отвечает тот. — Я все лечусь сам, по советам офицера, а к доктору идти боялся; помоги мне лечиться.

Я стал помогать и водил его к врачу [Орлов-Скоморовский 1923, 40—43, 47, 56—57, 96—97, 109].

Я был влюблен во всех девочек

Великим постом хор [в гимназической церкви] пел особенно хорошо — как-то повесенному звонко и радостно, точно стая молодых жаворонков. Мы стояли, зачарованные этим пением, и смотрели не отрываясь на правый клирос. Там находились "приходящие". Это были родители и сестры наших товарищей. Главное — сестры.

Что это были за красавицы, все эти Нины и Тоси, Сони и Верочки, Любы и Нади! Какими неземными небесными созданиями казались они нам! Как мерцали их очи, озаренные снизу восковыми свечами! Как взлетали их длинные, загнутые кверху ресницы! Какие они были стройные, светлые и лучезарные в своих белых передничках! Как мы были влюблены в них! И сами себе боялись в этом признаться. Это было стыдно до слез... страшнее чего угодно! Это была первая, как луч солнца во тьме, ослепительная, сияющая, неосознанная еще, но уже сжигающая, непостижимая, недостижимая, безответная и бескорыстная, чистая как хрусталь любовь! Ее даже нельзя было назвать любовью! Это был какой-то огонь, зажженный в сердце, яркий и теплый, который мы несли бережно, как свечу из церкви, чтобы ее не задул ветер!

Я даже не помню точно, в кого именно был влюблен... Во всех. В них. В этих тоненьких, как березки, девочек. Мы тщательно скрывали друг от друга свои чувства и при встречах с девочками на улице в вербную субботу, например, даже били их слегка вербой, приговаривая: "Верба бьет! Не я бью!.." Таков уж был обычай и способ ухаживания. А гимназистов чужих гимназий, увлекавшихся нашими девочками, лупили нещадно.

Иногда удавалось познакомиться с девочкой или даже проводить ее до дому. Это уже было огромное счастье! Все парты в моем классе были изрезаны перочинными ножами, и почти на каждой парте виднелись буквы "М.П.". Это были инициалы девочки, в которую была влюблена чуть не вся гимназия. Дочь железнодорожника, машиниста, она была на редкость хороша. А как вы думаете, какая у нее была фамилия? Плачькобыла. Маня Плачькобыла! С ума сойти! И дал же Бог такую фамилию такой красавице! Мы по безмолвному уговору никогда фамилию эту не произносили вслух, чтобы не давать повода для ненужных острот. Мы говорили просто: "Маня" [Вертинский 1991, 26].

Покой и буря

Как тогда, в детстве, в тот первый раз, я и теперь влюблен. Как и тогда, я робко, издали обожаю ту же милую тихую Лелю. Ей уже двадцать четыре года; она мне кажется такой взрослой, такой серьезной! Она поет. У нее милый (все милое, что в ней и около нее) грудной голос. По вечерам иногда мы музицируем. Нашлись романсы со скрипкой. С грехом

пополам, то отставая, то убегая вперед, я "исполняю" свою скрипичную партию, страшно волнуясь. Я, мальчишка, боялся показаться нелепым, смешным в этом своем чувстве, боялся чем-нибудь его обнаружить. Потому держался подальше, стараясь не попадаться ей на пути чаще, чем все другие, и больше всего боясь оказаться наедине с ней. А как-то вышло так, что мы провели с ней целый день с глазу на глаз, совсем одни! Ей предстояло ехать на базар в Курят-Мас, большое башкирское село, за хозяйственными закупками — она все так же вела все домашнее хозяйство.

Как хорошо я помню этот день, когда мне выпало счастье или, вернее, сладостное мучение быть около "нее", вдали от чужих глаз — и так долго! Вышло как-то так, что меня откомандировали ей в помощь, "уговорили" поехать с нею за покупками!

День был серый. С утра почти без перерывов моросил мелкий дождичек.

Если перенести все это приключение в роман Гюго, то, следуя традиционным приемам романтиков, погода не могла бы быть такой постоянной, но ясные, солнечные и тихие минуты должны бы сменяться внезапными порывами бури с грозой и ливнем: так менялось состояние моего духа — то тихое, удовлетворенное (я с нею!), почти спокойное (никто не видит, не посмеется!), то вдруг смущенное бурей сомнений, даже ужасом. Мне вдруг казались нелепой дерзостью эта близость на дне корзины тарантаса под поднятым верхом, завешенном еще спереди кожаным фартуком, в мягком полумраке, где под качку нырявшего по колеям тарантаса мы невольно сталкивались то плечами, то головами. То "буря" вновь утихала, меня опять охватывал уют нашего убежища, напоминавшего мне "дом 3", которые мы с сестрой строили совсем еще недавно из стульев и пледа и куда забирались со всяким нашим имуществом [Конашевич 1968, 97—98].

Дитя и Бог

Индивидуальный религиозный опыт подчас весьма трудно, если вообще возможно, выразить в словесной форме. Его мистическая составляющая внесловесна. Воспоминания чаще запечатлевают лишь отдельные эпизоды, оставившие наиболее четкие впечатления, связанные с религией. Лишь немногие авторы скрупулезно прослеживают эту область своего духовного развития, сыгравшую так или иначе важную роль в становлении их "взрослого" мировоззрения (например, Карл Юнг, Бертран Рассел, Павел Флоренский).

Воспоминания о детстве, проходившем в атмосфере религиозной традиции, часто содержат рассказ о живом восприятии церковных служб, интересе к Священному писанию. "Я был весьма набожен, — вспоминал о себе 7—8-летнем М. Глинка, — и обряды богослужения, в особенности в дни торжественных праздников, наполняли душу мою живейшим поэтическим восторгом. Выучась читать чрезвычайно рано, я нередко приводил в умиление мою бабушку и ее сверстниц чтением священных книг" [Глинка 1988, 8—9].

Религиозный опыт ребенка в первую очередь включает в себя знакомство с обрядовой стороной религии. Весьма часто именно красота церковного убранства и богослужения поражают воображение ребенка и привлекают его в церковь. Мальчик с чуткой душой художника — А. Вертинский — воспринимал церковь и службу в ней как прообраз театра с декорациями и костюмами, пением и чтением.

Однако даже при внешней привлекательности церковного обряда выстаивание долгой службы обычно утомительно для ребенка, он отвлекается от происходящей церемонии, рассматривает все и всех вокруг, скучает, углубляется в свои мысли и фантазии, подмечает всякие пустяки и при этом испытывает чувство вины и непозволительности своего поведения. Детей привлекает не только красота, но и таинственность церковных обрядов, они ожидают чудес, необычных состояний от исповеди и причастия и, если таковых не происходит, испытывают глубокое разочарование.

Молитвенный опыт также важен для ребенка. Во многих автобиографиях прошлых времен есть воспоминания о том, что переживания ушедшего дня ребенок подытоживал в вечерней молитве, прося у Бога прощения за свои грехи или же заступничества. Детские

молитвы часто связаны со страхом перед наказанием. Нередко неисполнение горячо произносимой молитвы, как и ее исполнение, оказывают решающее воздействие на веру ребенка, который ждет от молитвы немедленного результата. Его отсутствие может вызвать резкое религиозное охлаждение, если оно не нейтрализуется силой обращения и уверенностью, что просьба когда-нибудь все же будет услышана и исполнена.

Специалист по литературной автобиографии Р. Коу в своей книге "Когда трава была выше" приводит из воспоминаний Гвена Раверата интересный эпизод размышлений ребенка о возможных результатах молитвы. Мальчик узнал от родителей, что Бог исполняет вознесенные к нему молитвы. И он помолился о том, чтобы учительница танцев оказалась мертва до того, как дети войдут в танцевальный класс. Молитва не была исполнена. "Это означает, — размышлял ребенок, — что Бог или равнодушен к молитве, или не может ее исполнить, но если бы Он ее исполнил, я (Гвен) немедленно и навсегда потерял бы к Нему всякое уважение" [Коу, 1984, 44].

Сложно отношение ребенка к Богу. Какой Он — добрый или злой? Как Он выглядит? Слышит ли Он меня, видит ли мои проступки? С этими и другими вопросами ребенок обращается к старшим, ожидая от них очень конкретных ответов, но часто они не удовлетворяют его своей туманностью. В детском собственном понимании Бог становится и добрым таинственным другом, к которому можно обратиться со своими переживаниями, и строгим надсмотрщиком, который может отправить в ад. Страх ада, отмечал Н. Лосский, омрачал его детски радостное восприятие религии. Дети, растущие в тяжелых семейных условиях, создают себе образ Бога — помощника и защитника, от которого можно ожидать поддержки, так как более ее ждать неоткуда.

Любовь и страх, благоговение и любопытство, недоумение и равнодушие — чувства, определяющие отношение детей к Богу. Облик божества в детском сознании весьма причудлив, мистический опыт ребенка не связан с теологией. Абстрактно-теоретический Бог взрослого мира не имеет еще опоры в его мышлении. Но сила конкретных образов, связанных с Господом, Христом, Богородицей и святыми, очень велика, хотя и своеобразна. Ребенок пытается расположить эти образы недалеко от своего мира, примерить их на себя и окружающих людей. Так, в детстве Жан Марэ мнил себя Богом, а Николай Бухарин — Антихристом.

Всю чрезвычайную сложность субъективных эмоций и размышлений, связанных с Богом, пытался особенно подробно раскрыть в воспоминаниях Карл Юнг, подростком терзавшийся проблемой: что же хочет Бог от человека, каково Его отношение к нему, и как ему можно вести себя с Богом?

Познания в религиозной сфере дети черпают из книг, в ранние годы знакомство со священной историей производит большое впечатление, хотя очень многое в ней остается непонятым, далеким от современной жизни. Дети с трудом осмысливают временную отдаленность прошлого, приближая ее к своей жизни. Марк Твен вспоминает о знакомстве в детстве с древней старухой, прикованной к постели, о которой дети думали, что "ей больше тысячи лет и что она беседовала с самим Моисеем". Они пришли к убеждению, "что она расстроила свое здоровье во время долгого странствия в пустыне после исхода из Египта, а потом так и не могла поправиться. У нее была круглая плешь на макушке; бывало, мы подкрадывались к старухе, созерцая эту плешь в благоговейном молчании, и думали, что волосы у нее, должно быть, вылезли от страха в ту минуту, когда тонул фараон" [Твен 1980, 30].

Не меньшее эмоциональное впечатление оказывает и чтение житийной литературы, полной необычных, близких, к сказочным, чудес. Любовь к подражанию книжным героям проявляется и тут в желании следовать примеру святых мучеников. Приведем в этой связи воспоминания Ильи Ефимовича Репина: "Вечером пришла странница Анюта, и маменька стала читать жития святых. Читали про Марка во Фраческой горе. Как он ушел из своего дома и спасался один. Так интересно, так интересно! Я стал думать: "Вот если бы мне уйти также во Фраческую гору спасаться..." Один... мне страшно стало. ... Когда кончили

Феофила, стали читать житие преподобного Нифонта. Очень смешно, как черти старались рассмешить преподобного Нифонта и ездили перед ним верхом на свиньях, — так смешно!.. Но преподобный Нифонт не рассмеялся. ...Маменька читает очень хорошо, ясно. И церковный язык так понятен, а непонятное слово сейчас же объясняет. Такой приятный голос у маменьки! Я задумал сделаться святым и стал молиться Богу. За сарайчиком, где начинался наш огород, высокий тын отделял двор от улицы — уютное место, никто не видит. И здесь я подолгу молился, глядя в небо" [Репин 1960, 49].

Вот еще подобное воспоминание: "Мама раскроет житие и начнет читать. В комнате и на дворе тихо. В углу мирно горит лампада перед иконой. Слушаешь о святом старце, и на душе становится светло и спокойно. И в детской душе рождается мысль: "Ведь и я могу быть святым, если буду жить и поступать так, как преподобный Серафим". С этой думой и с детской молитвой преподобному так, бывало, и заснешь. Твердо могу сказать, что воспоминание о том, как я ребенком слушал жития святых, было одним из самых светлых в моей жизни" [Макаров 1996, 7].

Восьмилетний А. Швейцер, сын священника, уже самостоятельно читал Новый завет и даже пытался критически анализировать его текст, но отнюдь не с атеистических позиций, а с точки зрения здравого смысла.

Традиционное в православных семьях посещение монастырей с их необычной, столь отличающейся от домашней, обстановкой, встречи с монашествующими, тихими и смиренными, имеют для некоторых детских душ притягательную силу. Даже рожают в них желание уйти в монастырь. Иногда оно оказывается стойким, иногда — мимолетным.

Верить или не верить — для ребенка еще вопрос во многом внешний, вопрос образа действия, а не чувств. Он открыт для подражания мнению уважаемых им взрослых и может под их влиянием "разувериться" в Боге относительно легко, не понимая и не задумываясь о сущности веры. В ранний период детства такое разочарование и охлаждение происходит гораздо проще, чем в отрочестве или юности, поскольку понятие Бога для ребенка еще слишком сложно и абстрактно.

Антирелигиозная пропаганда, исходящая от авторитетных взрослых, как показывают воспоминания, легко и просто находит доступ к детям, причем они тут же начинают бравировать своим неверием. Например, убежденности и силы мнения матери для Айседоры Дункан оказывается достаточно, чтобы суметь противопоставить себя в вопросе веры школьному коллективу. Поучения безбожника быстро схватываются Владимиром Бахметьевым. Наум Коржавин также быстро заражается безверием. Однако его атеистический энтузиазм вошел в соприкосновение с проблемой недоказуемости бытия Божия и заставил исподволь понять, что вопрос этот не разрешается, как ему казалось, простым образом.

В отроческом и юношеском возрасте вдумчивые натуры стремятся самостоятельно разобраться в трудных проблемах веры и неверия, доказательствах Божия бытия, и эти страстные искания занимают важное место в становлении юной личности.

Павел Милюков вспоминает, как его детское влечение к таинственности церковных обрядов наталкивалось на формализм и бездушие, с которым они проводились. Родители и школа делали участие в них обязательными, но не разъясняли ребенку их смысл и значение. Поэтому он самостоятельно стал искать способы выражения своего личного и интимного отношения к вере. Желанию разобраться в религиозных проблемах помогло чтение философской литературы. Оно перевело интерес с вопросов обрядности и догматики на уровень интереса к проблеме познания, рационального и внерационального.

Довольно типичны в этом отношении и воспоминания Антона Деникина, относящиеся к возрасту 16—17 лет: "Но больше всего, страстнее всего занимал нас вопрос религиозный — не вероисповедный, а именно религиозный — о бытии Бога. Бессонные ночи, подлинные душевные муки, страстные споры, чтение Библии наряду с Ренаном и другой "безбожной" литературой..." [Деникин 1990, 25]. Бертран Рассел вспоминает, что "приблизительно в 14 лет мысли мои обратились к теологии. В последующие четыре года я последовательно

отверг свободу воли, бессмертие и веру в Бога. Я думал, что очень страдаю, однако, когда весь этот процесс подошел к концу, обнаружил себя гораздо более счастливым, чем в то время, когда сомневался. Полагаю уже сейчас, что своим несчастьем я был в большей степени обязан одиночеству, чем теологическим затруднениям. За все это время я ни с кем не говорил о религии, за исключением одного домашнего учителя, который был агностиком. Его вскоре отослали, возможно, из-за того, что он не смог отбить у меня охоту к неортодоксальности.

Из боязни быть смешным я главным образом молчал. В 14 лет я пришел к убеждению, что фундаментальным принципом этики должно быть человеческое счастье, и поначалу это казалось мне столь очевидным, что я полагал, будто так должны думать все" [Рассел 1987, 212—213].

Утрата детской веры и мучительные сомнения отрочества у многих сопровождаются душевным кризисом. У Н. Лосского он начался с небольшой обиды на несправедливость священника и с его осуждения и окончился перенесением этих эмоций на всю церковь и ее вероучение.

Таким образом, мифологизм детской души может в отрочестве соединиться с религией и философией, прорасти религиозным чувством, а может так и остаться на уровне суеверий и смутного ощущения общего мистического смысла бытия. Во многих случаях на юношеское отношение к вере влияет и побуждает ее принять или отвергнуть не глубокое изучение вопроса, основанное на разуме, а душевный критический настрой, свойственный молодости с ее скептическим отношением к внушаемым истинам, которые отрицаются из простого чувства противоречия.

* * *

Боженька, пусть отпустят!

Когда переехали из деревни в город, отдали меня в "немецкую" городскую школу. В немецкую потому, что помещалась она насупротив нашего дома, а до нормальной было далеко. Впрочем, немецкой называлась она только ввиду того, что сверх обыкновенной программы там преподавался немецкий язык. Между прочим, начальной школы с польским языком не было...

Помянуть нечем. Вот только разве "чудо" одно... Оставил меня раз учитель за какую-то провинность после уроков на час в классе. Очень неприятно: дома будут пилить полчаса, что гораздо хуже всякого наказания. Стал я перед училищной иконой на колени и давай молиться Богу:

— Боженька, дай, чтобы меня отпустили домой!..

Только что я встал, открывается дверь, входит учитель и говорит:

— Деникин Антон, можешь идти домой.

Я был потрясен тогда... Этот эпизод укрепил мое детское верование. Но... да простится мой скепсис — теперь я думаю, что учитель случайно подглядел в окно (одноэтажное здание), увидел картину кающегося грешника и оттого смиловался. Ибо не раз потом, когда я вновь впадал в греховность, и мне грозило дома наказание, я молил Бога:

— Господи, дай, чтобы меня лучше посекли — только не очень больно — но не пилили!

Однако почти никогда моя молитва не была услышана: не секли, а пилили [Деникин 1990, 20].

Всебезутайки

И вот у меня, по натуре крайне экспансивной, тяжело страдавшей от того, что некому рассказать всего, что со мною случается, вдруг явилась возможность все без утайки высказывать Богу. Я предпочла бы, чтобы доверенным лицом было живое существо — Саша

или покойная няня, но их не было, и я, стоя ночью на коленях, шепотом жаловалась Господу Богу на истязания [отчима] Савельева, просила Его, чтобы Он скорее прибрал его к Себе, а если это грешно — чтобы Он сделал его добрым; если же мне суждено погибнуть от его руки, я молила Бога, чтобы Он, как и няню, причислил меня к лику святых (я не сомневалась, что она святая) и позволил мне уже никогда более не расставаться с нею; просила я Его и о том, чтобы матушка любила меня, чтобы Саша перестала гувернантствовать. Чем более я молилась, чем пламеннее была моя молитва, тем более горячих слез проливала я, тем сильнее охватывало меня какое-то еще неведомое наслаждение и облегчение. Каждый раз, кончив молитву, я чувствовала — точно тяжелый камень сваливался у меня с сердца [Водовозова 1987, I, 309].

Дети и акафист Пресвятой Богородице

Прилепили перед образом три восковые желтые свечи, и маменька стала приготовляться читать акафист Пресвятой Богородице. Мы знаем, что это продлится долго и будет очень скучно. Доняшка и Гришка уже стоят за нами. Сначала все положили по три земных поклона и слушали непонятные слова; мы ждали знакомых слов, когда надо было класть земной поклон.

А вот: "Радуйся, невесто невестная!" Мы сразу бултыхнулись к чистому полу. Встали.

Поднявшись, маменька продолжала чтение тем же выразительным голосом, чуть-чуть нараспев. Опять долго. От скуки я оглядываюсь. Вижу, Гришка — уж видно, неуч — быстро и смешно машет рукой, сложенной в щепоть, делает короткие кивки и скоро отбрасывает прядь своей рыжей скобки, сползающей ему на глаза... а в это время следует только смиренно стоять, — деревня!

— Аллилуйя! — произносит нараспев маменька, и я опять бросаюсь в земной поклон рядом с Устей.

Поднимаемся дружно. Опять длинное чтение. Я оглядываюсь на Доняшку, она крепко прижимает два перста ко лбу. Мы все крестились двуперстным знаменем, хотя и не были староверы. Но маменька говорила, что креститься щепотью грех: табак нюхают щепотью. И я стал крепко прижимать ко лбу два перста. Кстати раздалось опять: "Радуйся, невесто невестная!" — земной поклон.

Снова долгое чтение. Я оглянулся на Гришку и чуть не прыснул со смеху: он так смешно дремал стоя. При этом еще щепоть на высоте рта как-то дергалась вместе с рукой, которая никак не могла сделать крестное знамение, глаза смешно слипались, а брови поднимались высоко-высоко и морщили лоб, — потешно...

Наконец, к моей радости, маменька пропела "аллилуйя", и я поскорей бултыхнулся, чтобы не смеяться, и продолжаю лежать, уткнувшись в пол, чтобы не заметили. Потом потихоньку — от полу — заглядываю в бок на Устю. Она серьезно сдвинула брови, стоит ровно и смотрит на меня сердито. Я поднимаюсь, оправляюсь...

"Радуйся, невесто невестная!" После должного поклона я боюсь уже оглядываться и решаюсь собрать все силы и ждать конца. Мы знали, что, когда начнут читать "О всепетая мати, рождшая", тогда, значит, скоро конец. Но долго еще чередовались "аллилуйя" и "радуйся, невесто невестная".

Но вот и желанная "всепетая"; вот и конец [Репин 1960, 43—44].

Ребенок на молитве

Начиная с 3—4 лет мои воспоминания носят совершенно иной характер: они эпизодичны, как вообще все детские воспоминания, но несомненно реальны и очень живы. Иной раз, непонятно почему, в моей памяти запечатлелись — и с какой яркостью! — совершенно незначительные сцены моего детства. Например, я помню, как будто это было вчера, такую картинку. Я стою на утренней молитве в нашей киевской детской. Я ясно помню не только

отдельные предметы обстановки, но даже освещение, падающее из окна. Я еще не дорос до того, чтобы носить штаны, — в те времена маленьких мальчиков долго одевали в платья, как девочек. Няня повязала мне поверх белого платяца широкий и жесткий темно-красный муаровый кушак и завязала его сзади бантом. Я заметил, что бант этот настолько велик, что я могу видеть его концы, если смотреть через плечо, и это мне очень понравилось. И вот, во время молитвы, я, вполне сознавая, что это непозволительно (это я хорошо помню), тихо поворачиваю голову, чтобы взглянуть на бант через левое плечо. Няня стоит сзади меня и говорит слова молитвы. Я их повторяю. Она замечает мое движение и словом останавливает его. Я продолжаю молиться. Однако искушение слишком сильно, и я начинаю тихо и, мне кажется, незаметно поворачивать голову так, чтобы взглянуть на бант с другой стороны, при этом я старательно продолжаю повторять слова молитвы... Увы, мое движение замечено! На этот раз няня ничего не говорит, но моя правая щека встречает ее руку, которая не только не дает мне продолжать запретное движение, но приводит мою голову в исходное положение... Мне обидно не только то, что я не увидел банта, но еще более того, что моя хитрость не удалась... <...>

Учили нас учителя, но воспитывала нас Мама, и этой своей основной материнской обязанности она никому не передавала: гувернеры и гувернантки были ее помощниками, но она им никогда не поручала дела нашего воспитания и всегда сама во все входила.

Как Мама нас воспитывала?

Не по какой-либо "системе" воспитания, а создавая тихую и благотворную семейную атмосферу любви и стройного порядка, со всех сторон нас окружавшую. Мы дышали этой атмосферой с самого детства, и она нам казалась вполне естественной. На самом деле это была атмосфера исключительная, которой могли бы только позавидовать многие и многие семьи.

Главная основа воспитания была у Мама — религиозная. Религия была отнюдь не формальная и даже далеко не в такой мере традиционно-церковная, как бывало в прежних поколениях. "Бог есть любовь" — вот чем было проникнуто религиозное сознание Мама и, естественно, все ее воспитание нас. Даже голос Мама становился совершенно особенным, когда она читала нам в Евангелии о любви, как о первой и главнейшей заповеди Господней. Может быть, именно вследствие этой религиозной атмосферы, которой я дышал с детства, понятие "страха Божия" сделалось мне понятным только гораздо позднее, и то больше умом, чем чувством. Мама прививала нам именно любовь к Богу, а не "страх Божий", который, конечно, отнюдь не противоречит любви, но относит человека к Богу как бы под другим углом зрения.

Основное духовное качество Мама — смирение. Может быть, даже именно вследствие избытка в ней самой смирения, Мама менее прививала его нам, но покорность воле Божьей всегда и во всем она старалась нам внушить с самого раннего возраста.

Другие, скорее нравственные, чем религиозные, черты характера Мама — душевная дисциплина и обостренное чувство долга. Дисциплина эта была в ней от природы, но она кроме того была сильно развита немецким воспитанием. Эту нравственную дисциплину и это чувство долга Мама также стремилась внушить нам.

Мама сеяла в наши души только добрые семена, но, как и в евангельской притче, не все зависит от семени, но также и от той почвы, на которую это семя падает.

Я уже говорил об исключительно хорошей атмосфере, которой Бог привел нас дышать в нашей семье с самого рожденья. Но мы видели с детства любовь и хороший пример не только со стороны наших родителей. Очень большое влияние в детстве оказала на меня Бабушка Трубецкая. О ней писал Папа в своем "Из прошлого". Конечно, мы, дети, не могли до глубины понять исключительно даровитую, тонкую и одухотворенную природу Бабушки, но мы безошибочно чувствовали ту тихую благодать, которую она излучала на все вокруг себя. Главное, что сохранила мне память о ней — я не могу передать словами, это ощущение какого-то тихого, струящегося света. Оккультисты сказали бы, что я своей детской душой ощущал исключительно светлую "ауру" Бабушки. В детстве, слыша слова молитвы: "Свете

Тихий", я вспоминал о ней. Тогда я не осознавал своей мысли, но теперь понимаю, Бабушка была для меня образом "Тихого Света", — такой она осталась для меня и поныне... [Трубецкой 1989, 10—11, 33—34].

Все было непонятно

Отец был, как мне кажется, человеком неверующим, но и тут не давал ответа, верующий он или неверующий. Во всяком случае, в церковь он не ходил, никогда не крестился, но взглядов своих не навязывал. У нас в доме принимали священников, бывали молебны и меня водили в церковь исповедоваться и причащаться. В комнате моей матери и в детской висели иконы. Моя крестная мать Варвара Андреевна Чернышева была очень религиозна. Когда я гостил у них в доме, я всегда ходил с ее детьми в церковь. Но ходил я в церковь и исповедовался и причащался только в том случае, если я сам этого хотел. Правда, в церкви меня главным образом привлекали разные внешние украшения. Приятно было во время причастия глотнуть особенного, настоящего вкусного вина, таинственно и интересно было исповедоваться батюшке в своих грехах, интересно вставать совсем как взрослому и отправляться к заутрене в церковь ночью или пронести зажженную свечку, чтобы она не погасла до дому, от двенадцати евангелий в страстной четверг. Все эти обеты и увлекательные процессы представляли для меня свой интерес.

Первые мои детские вопросы о земле и небе, о Боге ставили мою мать в тупик. Ведь она не могла ничего подробно мне объяснить. А я требовал подробного и обстоятельного объяснения. Когда мать мне говорила, что "Бог создал землю", я спрашивал: "А что было до этого и кто создал Бога. И что было до этого этого? И что будет?"

Ни Священное Писание, ни ответы матери не вносили для меня ясности в такие вопросы. Все было непонятно и неясно. Но мать продолжала мне в то время упорно внушать, что Бог есть и что Он в моем сердце [Ильинский 1961, 13—14].

Косматый лик

Моим первым воспоминанием был дьявол. С трех или четырех лет мне уже было позволено по воскресеньям бывать в церкви. Всю неделю я радостно готовился к этому событию. Я до сих пор чувствую на губах нитяную перчатку нашей служанки, которая прикрывала мне рот рукой, если я зевал или слишком громко пел. Но каждое воскресенье я видел одно и то же: из блистающей рамы сверху возле органа высовывался косматый лик и, вертясь, оглядывал церковь. Он был виден, пока играл орган и длилось пение, но исчезал, когда мой отец читал молитвы у алтаря, опять возникал, как только вновь начинали играть и петь, и снова исчезал, когда отец произносил проповедь, чтобы потом появиться еще раз во время пения и органной игры. "Это дьявол, который заглядывает в храм, — говорил я себе. — Когда мой отец произносит божественное слово, ему приходится убраться". Эта переживаемая каждое воскресенье наглядная теология придала особую окраску моей детской набожности. Лишь намного позже, когда я долгое время уже посещал школу, мне стало ясно, что косматый лик, столь необычайно возникавший и исчезающий, принадлежал отцу Ильтису, органисту, и появлялся в зеркале, прикрепленном к органу, чтобы органист мог видеть, когда мой отец подходит к алтарю или церковной кафедре. <...>

Еще кое-что памятно мне из этого моего первого школьного года. Прежде чем я пошел в школу, отец уже рассказал мне много библейских историй, среди них — о всемирном потопе. Как-то особенно дождливым летом я пристал к отцу с расспросами: "Как же так, вот у нас дождь уже больше сорока дней и ночей, а вода еще даже не подступила к домам, не говоря уж о том, чтобы подняться выше гор". "Но ведь тогда, — ответил он, — в начале мира, дождь шел не каплями, как сейчас, а лил потоками, как из ведра". Это объяснение показалось мне вполне убедительным. И когда потом учительница в школе рассказывала нам историю потопы, я ждал, что она упомянет также о различии того и теперешнего дождя. Но

она это пропустила, и я не мог удержаться. "Фройляйн учительница, — закричал я со своего места, — ты должна рассказывать правильно". Не дожидаясь, пока меня призовут к порядку, я продолжал: "Ты должна сказать, что дождь тогда шел не каплями, а лил как из ведра". Когда мне было восемь лет, отец дал мне, по моей просьбе, Новый Завет, который я прилежно читал. К историям, больше всего меня занимавшим, относилась и история о волхвах с Востока. Что сделали родители Христа с золотом и другими дарами, полученными от этих людей, спрашивал я себя. Как же они могли после этого остаться бедными?

Совершенно непонятно для меня было и то, отчего волхвы позже не заботились о младенце Иисусе. Я был также глубоко потрясен тем, что ничего не сказано больше о пастухах из Вифлеема: стали они потом учениками Иисуса или нет [Швейцер 1992, 9—10, 13—14].

Богомолье детей

В Коренную [Пустынь] порешили идти после обеда, — раньше матери все равно не управиться. Уже носился в воздухе вкусный запах калачей, но до обедни пробовать их не полагалось.

Нынче в церковь все выйдут нарядные: сестры наденут лучшие платья, мы, младшие, будем в розовых, и передники с петушками, брат в малиновой рубахе и новых сапогах, от которых пахнет дегтем, а отец, как всегда, в свитке, где по солдатской привычке все прилажено — складочка к складочке. Отец и в церкви держит шапку по-военному.

К храму тянутся люди длинными, яркими лентами. У коновязи стоят повозки, крытые коврами, лошади в богатых сбруях. ...Кто победнее, — те пришли пешими и теперь в сторонке надевают полусапожки, которые по бережливости всю дорогу несли в руках. А бабы... сверкают множеством бус.

В церковной ограде повстречала я Машутку, она сказала мне, что с бабушкой идет в Коренную Пустынь. Значит, идем вместе.

В церкви я стала впереди отца, и ему часто приходилось меня одергивать, чтобы я стояла смиренно; а как тут устоишь, когда кругом так много любопытного. На левом клиросе виднеются пышные цветы на шляпках Рыжковых барышень, тут же Таничка Морозова в чудном голубом платье, вся в оборках и с турнюром, ну точь-в-точь как на картинке, что прилеплена к стенке в горнице Потапа Антоныча. Таких барынь рисовала я на грифельной доске, которую таскала у сестер. Нарисую барыню, а позади непременно собачку.

На правом клиросе сегодня особенно хорошо пел хор, а в хору Егор, сын дяди Дея, и Васютка Степанов; наши певцы — любимцы всей деревни: у одного альт звонкий и чистый, у другого дискант. А главное, они пели "с понятием".

Управлял хором учитель Василий Гаврилович, помахивал рукой, — рука белая, тонкая, не такая корявая, как у моего брата.

Мать говорила, что других дум, кроме молитв, в церкви быть не должно: "Ты, как свеча перед Богом, должна в церкви стоять".

Я же сегодня совсем на свечу не похожа, верчусь, на месте не устою, в голове мысли грешные — хорошо бы шляпку такую, как на Рыжковой барышне, и платье в оборках, как на Тане Морозовой. Шляпки из лопуха, что мы с Мишуткой мастерили, совсем не годны. Хочется вот такую.

А белая рука учителя помахивает, будит во мне честолюбивые замыслы: вот в эту зиму учиться пойду и, наверное, буду петь на клиросе, голос у меня не хуже, чем у Махорки Костиковой, которую все село хвалит. А я, не далее как вчера, в лесу, ее перекричала. Покуда текли мои мысли, отошла обедня. Отец дал мне просфоры, и мы все, после приветствий с родней, тронулись к дому, помолясь по дороге на родных могилках. В избе все было готово, и мать ждала нас разговляться.

После обеда мать и бабка Машутки с котомками за плечами, где было много лакомств, двинулись в Коренную Пустынь. <...>

Не дошли мы еще до Коренной восьми верст, как перед нами в роще, на горе, засияли золотые купола Святой обители.

Бывало, в своей деревенской церкви я думала, что такой церкви, верно, нигде на свете нет, разве только у царя хоромы не хуже, а тут такая красота, и не далеко, где царь, а совсем от нас близко.

Переезжали мы на пароме, поднимались по старинной длинной лестнице. Мимо проходили монахи, неся на руке подола черных мантий... Все чудеса, чудеса невиданные.

Отдохнув, мы пошли ко всеобщей. Народу много, и духота. Я усердно молилась и, не отставая от матери, истово била поклоны. <...>

Отстояв вечерню, мы отправились на ночлег в монастырскую гостиницу. После утомительного дня я сразу уснула и спала так крепко, что к ранней меня не будили. Мать принесла мне нитку красных бус и торопила умываться, чтобы успеть к поздней.

После обедни мы сошли вниз в часовню, ко Святому колодцу, где явился образ Знамения Божией Матери.

Несметная толпа богомольцев, с великой верой пришедшая сюда из разных губерний российских за сотни и тысячи верст, принесла в сердцах своих радости и горести, чтобы выплакать их или чтобы благодарить за тихие милости Пресвятую Владычицу.

Я помню, когда приносили к нам в деревню эту чтимую святыню: все от мала до велика надевали лучшие одежды. Мылись-чистились избы и чтобы застилались самыми лучшими скатертями, точно к Светлому Празднику. <...>

Прожили мы в Коренной три дня, и мать решила пойти в Курск и уже оттуда домой.

Увидеть город — вот чудеса — тот дальний город, откуда к нам в ясный день доносится тихий благовест. Я не раз слушала бархатный курский звон, долетавший до нас за многие версты. И вот я иду, нет, еду, на росписной палке, и Машутка не поспевает за мной. Скорее, скорее бы, город. <...>

Мы шли по длинной и ровной Московской улице, которая мне показалась прекрасной. От удивления, засунув палец в рот, я спотыкалась на каждом шагу и еле поспевала за матерью, глаза по сторонам.

А шляпки встречались одна наряднее другой, а над головой висели балконы. Дивило меня их устройство: без подпорок, они словно висели бы в воздухе и очень напоминали мне большие серые гнезда ласточек. И Машутка примолкла, а рот открыт. Так и дошли до собора.

На колокольне собора курского знаменит Чудо-Колокол. Его Божий звон плывет чистой и мощной волной по окрестностям. По вечерней заре мы не раз всей семьей выходили на крыльцо избы, благоговейно слушая дальний бархатный благовест.

Горячо я молилась в соборе и давала всяческие обеты — замуж не идти и всем сказать, чтобы меня не дразнили "сенькой сопатым — женихом", еще попрошу, чтобы отец отдал мне старые ясли, а мать попонки из приданого моего, а остальное пусть себе заберут.

Я же ясли прикрою попонками, заставлю их на зиму снопами и, по примеру древних сподвижников, удалюся от мира в пустынь. Далекое забираться в лес на житие отшельное страшно мне; надо думать, можно спастись и в яслях на огороде.

Еще дала обет не сердиться и у Машутки прощения просить, что потихоньку ругала ее черным словом.

Из собора пошли мы ночевать в Девичий Монастырь, к знакомым монахиням. По дороге, где были лавочки с пряниками, я забыла, что в подвижнической жизни надобно воздержание, и все приставала, чтобы мать пряника мне купила. Просто глаза разбегаются: разноцветные коврижки и белые коньки, карамель всякая в золотой бумаге, на концах бахромы. У Козурки, нашего деревенского лавочника, такого и не бывало.

В Девичьем Монастыре все знали Акулину Фроловну и встретили нас приветливо. Монахини гладили меня по голове.

Монастырский двор был выстлан красным кирпичом, в елочку. У каждой кельи цветов было множество. Тишина. Монахини не ходили, а как бы скользили без шума. Хорошо, как в

раю.

У двух старушек-монахинь, к которым мы пришли ночевать, кроткие лица так и светились тихой радостью, а глаза были ясные, как у детей. Старшую звали Милетина, а которая помоложе — Конкордия.

Уютные кельи устланы самодельными ковриками, лампы теплятся у образов. Покойная тишина и запах русских монастырей: кипариса, ладана, мирро.

Нас угощали чаем с вишневым вареньем и сдобной булкой. Подавала на стол келейница Поля, некрасивая, но милая девушка.

Вдруг за дверью послышался молодой голос:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас...

— Аминь, — ответила мать Милетина.

В келью вошла молодая монашка в остроконечной черной повязке, с бледным лицом. Она попросила благословения у матушки

Милетины и пригласила ее на спевку. Матушке Милетине хотя и было уже под шестьдесят, но была она лучший канонарх монастырский.

И вот мы в церкви стоим, а с левого и правого клироса идут тихо и стройно черные монахини. Вот стали они полукругом перед Царскими Вратами, а посреди матушка Милетина с морщинистым, но тонким лицом, прекрасная в своей черной мантии.

— Глас шестый. Господи возвах к Тебе, услыши мя.

Проникновенному альту плавно ответил весь хор. В нежной волне голосов слышался мягкий бас. К моему удивлению, басом пела тоже монахиня: бывает...

Я еле сдерживала слезы умиления. Множество свечей, как стая огненных мотыльков, колыхалась над серебряными подсвечниками, заливая светом своим драгоценные ризы святых. У большого образа Матери Божией играет разными огнями множество лампад. К этому образу чинно подходили и прикладывались богомольцы. Там стояла монахиня и вытирала со стекла следы поцелуев чистым полотенцем. Сияли пелены, изумительно расшитые золотом. Все сияло изумительной красотой.

Меня охватил молитвенный восторг, я твердо порешила уйти в монастырь...

Не расставалась я с мыслью уйти в монастырь и когда мы вернулись с богомолья домой. В моей детской голове стояли образы кротких монахинь. <...>

[На Пасху] Но вот чтец деяний апостольских смолк, только слышно сдержанное покашливание. Вот заколыхалась над головами Плащаница, тихо поплыла, сокрылась в алтаре. И зазвенели серебряные хоругви, закачались над толпой образа, высокое распятие, и одна за другой вспыхнули свечи, кротко озаряя лица. По щекам у многих катятся слезы. Тишина.

Тогда не дивилась я ни тишине, ни слезам, тогда Дежка, как все, переживала благостную минуту. И теперь я знаю, что нет драгоценнее сокровища у человека, чем эти слезы — тайная вечеря души, свершаемая в святой тишине.

— Воскресение Твое Христово Спасе, Ангелы поют на небеси и нас на земле сподобити чистым сердцем Тебя славити.

Я прижалась к матери, и вся — слух. Святое песнопение то приближалось, то удалялось; крестный ход идет кругом церкви.

Крепко живет во мне память о светлых днях милого детства. И как крепка во мне вера, данная мне безграмотной матерью [Плевицкая 1993, 43-49, 68—69].

Дорога в монастырь

В свободное время я для прогулки выходила в монастырский сад. Здесь я очень скоро познакомилась и даже подружилась с белицами, девочками моих лет, которых тоже ежедневно часа на два — на три выпускали гулять. В монастыре не особенно любили, чтобы девочки-монашенки входили в сношения с мирскими, но это запрещение не касалось меня. Ирина Трофимовна была щедрая благотворительница и дружила с игуменьей, а потому для

меня, как ее родственницы было сделано исключение. Мне не только позволяли разговаривать с ними при прогулках в саду, но не запрещали присутствовать при их спевках, уроках рисования и рукоделий. Девочки мне очень нравились, главным образом, своею душевною чистотой и наивностью. Все это были выросшие с малых лет в монастыре и видевшие мирских только издали. Меня удивляли их наивные вопросы о мирской жизни и умиляло то спокойствие духа, нетребовательность и полная удовлетворенность тем малым, что их окружало. Это особенно меня поражало, когда я сравнивала с ними некоторых девочек из нашей гимназии.

Ирина Трофимовна часто бывала в церкви, и я с истинным удовольствием присутствовала на богослужениях, особенно на всенощной службе, когда в темном храме так красиво и таинственно мерцали многочисленные цветные лампы. Это был мир, который влек к себе мою душу.

Мое религиозное настроение особенно усилилось с того времени, когда начались церковные торжества по поводу перенесения из Печор (верст шестьдесят от Пскова) чудотворной иконы Божией Матери. Эти перенесения чудотворной иконы повторяются ежегодно. Икону в сопровождении массы народа несут на носилках богомольцы, останавливаются по дороге в деревнях, служат там молебствия и через два-три дня доносят икону до Пскова, где она и остается в одном из монастырей две недели, после чего чудотворную икону таким же торжественным образом относят в Печору. Мне вместе с тетушкой пришлось и встречать за несколько верст икону, и провожать ее, и то умиленное благоговейное настроение и высокий подъем духа всех молящихся произвели на меня чрезвычайное впечатление. Мало-помалу в душе моей стало складываться убеждение, что самая счастливая и радостная жизнь — это монастырская жизнь, и я пришла к мысли оставить мир и поступить в монастырь, где все: и церковные службы, и пение, и монахини — казались такими привлекательными для моего мечтательного ума.

Мое воображение рисовало мне прелестные картины моей будущей монашеской жизни. Правда, мне иногда становилось грустно, жаль чего-то, жаль самое себя, и я раза два-три над собою проплакала. Наконец мое умиленное настроение достигло высшей степени, и я, после бессонно проведенной ночи, объявила о своем решении пойти в монастырь Ирине Трофимовне и просила ее поговорить о моем приеме с матерью-игуменьей. Тетушка от всей души одобрила мое решение, но, прежде разговора с игуменьей, захотела узнать, как посмотрят на это мои родители, и посоветовала им написать. Я написала очень красноречивое письмо и с нетерпением стала ждать ответа. Но чрез два дня пришла краткая телеграмма: "Папа захворал, выезжай немедленно". Ввиду телеграммы, удерживать меня не стали: Ирина Трофимовна в тот же день собрала меня, отвезла на вокзал и поручила своей знакомой, ехавшей в столицу. Я всю дорогу проплакала, опасаясь, что не застаю папы в живых. Но каковы же были мое изумление и моя радость, когда в окно вагона я увидела ожидавших меня на перроне и папу и маму. Оказалось, что папа и не думал хворать. Родители мои просто испугались того, что я останусь в монастыре, а впоследствии, войдя в лета, буду жалеть и раскаиваться в своем необдуманном поступке. Отсоветовать и запрещать мне было опасно: это могло только укрепить во мне намерение. Поэтому поступили решительно и вызвали меня под предлогом папиной болезни, так как иначе Ирина Трофимовна не отпустила бы меня до осени.

Когда я спросила мнения родителей, то они сказали, что я слишком молода и себя не знаю; что мне сначала надо кончить гимназию и пожить в мире и что если я буду чувствовать потребность уйти в монастырь, то они мне в этом препятствовать не станут.

Вернувшись осенью в гимназию и окунувшись с головою в действительную жизнь, я мало-помалу охладела к привлекавшей меня идее и таким образом на всю жизнь осталась в миру. Об этом я нимало не сожалею, так как мир дал мне бесконечно много радости и счастья [Достоевская 1987, 62—64].

Сокрушение и радость

В раннем детстве, когда мне было три или четыре года, я два раза был в Троице-Сергиевой Лавре, куда меня возили на богомолье мои родители. Эти поездки были короткие — каждая не более одного дня.

Во время этих посещений большое впечатление произвели на меня уют Лавры и монахи, которых я увидел впервые. Мне тогда показалось, что все монахи похожи друг на друга в своих строгих и одновременно стройных одеждах. Глубоко тронуло меня ласковое, какое-то очень доброе отношение их ко мне, и вскоре же после первой поездки я сказал маме, что хочу быть монахом. Это желание оставалось у меня довольно долго и потом, но, увы, мирская жизнь с ее соблазнами, искушениями, удовольствиями, заботами, тревогами и суетой столь закружила меня, что в монахи я не пошел. Почва для благодатного зерна, запавшего в мою детскую душу, оказалась каменистой и засоренной. Однако образ монаха всегда привлекал и привлекает меня своей святостью. И мне близка и понятна мечта А.С. Пушкина, которую он выразил в стихотворении "Монастырь на Казбеке".

Далекий, вожделенный брег! Туда б, сказав прости ущелью, Подняться к вольной вышине! Туда б, в заоблачную келью, В соседство Бога скрыться мне! <...>

Иеромонах положил Крест и Евангелие на аналой и стал читать молитвы перед исповедью. Мне стало жутко, как, видимо, бывает жутко человеку перед судом. Я не знал, что мне говорить иеромонаху, в чем каяться. Это чувство все более усиливалось по мере того, как приближалась моя очередь подойти к духовнику. Наконец, я, совершенно растерянный, поднялся на клирос и подошел к старцу. Он наклонился ко мне и по-отечески обнял меня за плечи.

— Как тебя звать? — спросил он меня ласково. Я ответил.

— А кто твой Ангел? Я тоже ответил.

— Молись ему каждый день утром и вечером, чтобы он ограждал тебя от плохих дел. А теперь расскажи мне, какие у тебя есть грехи.

— Я не знаю, — ответил я очень смущенно и совсем тихо.

— Забыл, значит, или стыдишься? — спросил он меня очень тепло и продолжал: — Ты всегда стыдись их делать, но никогда не бойся говорить о них на исповеди. Если что скроешь на исповеди, добавится новый грех: скрывание греха; а тот грех, который скрыл, Господь тоже не простит. Давай вместе вспоминать твои грехи.

И он стал перечислять грехи, которые действительно у меня были. Я подтвердил их, сокрушено думая: "Какой же я большой грешник — грешнее всех. И почему я их не мог сказать сам?"

— А еще у тебя есть грехи? — спросил он.

Я вспомнил, как напугал девочек, когда шел... от всенощной, и рассказал об этом.

— Пообещай больше этих грехов не делать. А если когда случатся какие грехи, запоминай их и говори: "Господи, прости мне", — и больше их не делай. А когда придешь исповедоваться, обязательно скажи о них на исповеди.

Он накрыл меня епитрахилью, от которой немного пахло ладаном, сказал разрешительную молитву, дал мне поцеловать Евангелие и Крест, и я с облегченным сердцем сошел с клироса. С этой же легкостью на душе я пошел домой после исповеди.

На другой день, в субботу, я радостно стоял обедню и с отрадой ожидал причащения. Вот читаются молитвы перед причащением. Я вслушиваюсь в них и вдруг слышу: "Пред дверьми храма Твоего предстою и лютых помышлений не отступаю". Мне стало страшно: это говорится обо мне. Ведь сегодня, по пути к обедне, я вспомнил, как мне попало от моего соседа по дому, Витьки Блин-кова, когда мы с ним подрались. И, вспомнив об этом, я подумал: "Хорошо бы с ним опять подраться и побить его". Правда, я тут же отогнал от себя эту мысль: "Иду причащаться, а сам..." Теперь слова молитвы вновь напомнили мне о лютых помышлении, которое посетило меня почти "пред дверьми храма", я опять почувствовал себя очень грешным и с большим сокрушением повторил про себя слова молитвы, которую

прочел перед чашей иеромонах, служивший обедню: "Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз..."

С этим сокрушением и страхом я подошел к Чаше, и когда причастился — вместо сокрушения и страха меня наполнила большая радость. Появилось ощущение, что и все окружающие меня люди наполнены этой радостью. Когда я шел домой, я чувствовал, что и солнце сияет, радостно поблескивает и подтаивает снег, и радостно поблескивают лужицы, и радостно дует ветерок, и радостно чирикают и перелетают воробьи. Всюду радость! И впереди тоже радость!

Говение... Оно приближает и соединяет человека с Господом. А где Бог — там настоящая, неоскудевающая, вечная радость.

К стыду своему признаюсь, что я не узнал имени исповедовавшего меня иеромонаха. А ведь он заложил во мне основу духовного самоанализа [Макаров 1996, 113—114, 57—60].

Ужаленный красотой

[8 лет] По субботам кухня Наташа, которая иногда подолгу жила у нас, водила меня за ручку во Владимирский собор [в Киеве]. Как прекрасно, величественно и торжественно было там! Васнецовская гневная живопись заставляла трепетать мое сердце.

Один "Страшный суд" чего стоил. Откуда-то из недр растрескавшейся земли в день Страшного суда выходили давно умершие грешники с изможденными, неживыми лицами и тянули свои иссохшие руки к престолу Всевышнего. Из каких-то каменных подземелий среди развороченных могильных плит и гробов восставали цари в ржавых коронах, с поломанными скипетрами. А худые и строгие праведники, высохшие, как скелеты, возводили очи к небу, благочестиво прикрывая наготу своими длинными седыми бородами. Давно умершие люди, бледные и прекрасные царицы, "в бозе почившие" цари — все это толпилось у подножия трона в день последнего Божьего суда.

А рядом, около алтаря и наверху в притворах, была живопись Нестерова. Как утешала она! Как радовала глаз, сколько любви к человеку было в его иконах! Вот Борис и Глеб, похожие на царевичей из русских сказок. Вот "Рождество Христово" — созвездие, приведшее волхвов к яслям. Вот великомученица Варвара... И все это на фоне русских задумчивых пейзажей со стройными елочками и юными подростками-березками. А какая вера светилась в глазах этих мучеников!

Если Васнецов покорял и даже пугал мощью своей живописи, если его святые были борцами за веру, крепкими и мужественными, то святые Нестерова выглядели просветленными и благостными, тихими и примиренными с жизнью, которую они принимали как она есть, но в самой глубине ее — находили источники душевной чистоты русского народа.

Образ Богоматери был наверху, в левом притворе. Нельзя было смотреть на эту икону без изумления и восторга. Какой неземной красотой сияло лицо Богоматери! В огромных украинских очах с длинными темными ресницами, опущенными долу, была вся красота дочерей моей родины, вся любовная тоска ее своевольных и гордых красавиц. Я окаменел, когда увидел впервые эту икону. И долго смотрел испуганно и беспомощно на эту красоту, не в силах оторвать от нее глаз. Много лет потом, уже гимназистом, я носил время от времени ей цветы. А внизу, в храме, по субботам, во время торжественного богослужения, пел хор Калишевского. Как пели они, эти мальчишки! Как звенели их высокие стеклянные голоса! Какими чистыми горлицами отвечали им женские голоса! Как сдержанно и тепло рокотали бархатные басы и баритоны мужчин!

Великим постом на Страстной неделе посреди церкви солисты из оперы пели "Разбойника благоразумного". Моя детская душа не могла вместить всех этих переживаний. Точно чьи-то невидимые ангельские руки брали ее и, как мячик, подбрасывали вверх — к самому куполу, к небу! Как радостно и страшно было душе моей, как светло! И, наконец, самое главное. По

ходу службы из алтаря появлялись в белых стихарях тонкие и стройные мальчики чуть постарше меня и несли высокие белые свечи. И все смотрели на них!

О, как завидовал я этим юным лицедеям! Вот откуда взяло свое начало мое актерское призвание! <...>

Непреходящей мечтой моей было стать церковным служкой. Еще в раннем детстве, ужаленный красотой богослужения, я мечтал попасть в их число. Но судьба долго не улыбалась мне. И вдруг однажды на уроке закона Божьего отец Троицкий спросил:

— Кто из вас может выучить наизусть шестипсалмие, чтобы прочесть его завтра в церкви?

Я поднял руку. Я мог выучить что угодно в несколько минут. Читал я довольно хорошо, ибо уже тогда во мне были все задатки актера.

— Ну, попробуй!..

Я взял книгу псалмов и с чувством, толком и расстановкой прочел его единым духом от доски до доски, не жалея красок и интонаций. Батюшке понравилось мое чтение.

— Молодец, — похвалил он. — Приходи завтра пораньше в алтарь, выберешь себе стихарь.

Итак, моя мечта сбывалась! Стоит ли говорить, что я не спал всю ночь. К утру я знал шестипсалмие назубок. Придя вечером в церковь за два часа до начала службы, я прежде всего бросился примерять стихари. Увы! Ни один из них мне не годился. Я был долговяз и худ, а стихари были сшиты на обычный рост и едва доходили мне до колен.

— Читай без стихаря, — сказал батюшка.

Но какой же интерес это представляло для меня? Я со злостью швырнул стихари куда-то в угол и сказал:

— Пусть вам монахи читают!

И ушел [Вертинский 1991, 17—18, 26—27].

Нет Санта Клауса

Моя мать, крещенная и выросшая в ирландской католической семье, оставалась набожной католичкой вплоть до того времени, когда обнаружила, что мой отец не был тем образцом совершенства, каким она себе его всегда представляла. Она развелась с ним и, оставшись с четырьмя детьми, оказалась лицом к лицу с миром. С этого времени она отсеклась от своей веры в католическую религию, стала законченной атеисткой, последовательницей Боба Ингерсолла, чьи произведения она обычно нам читала.

Между прочим, она решила, что всякая сентиментальность является нелепостью, и когда я была еще ребенком, она открыла нам тайну Санта Клауса. Это привело к тому, что, когда на школьном рождественском празднике учительница, раздавая конфеты и пирожные, сказала: "Поглядите, дети, что вам принес Санта Клаус", я встала и торжественно ответила:

— Я вам не верю, никакого Санта Клауса нет. Учительница была сильно расстроена.

— Конфеты предназначаются только тем девочкам, которые верят в Санта Клауса, — сказала она.

— Тогда я не хочу ваших конфет, — ответила я.

Учительница неблагоприятно потеряла терпение и в назидание другим велела мне выйти вперед и сесть на пол. Я вышла и, повернувшись к классу, произнесла первую из своих знаменитых речей.

— Я не верю вракам! — воскликнула я. — Моя мать сказала мне, что она слишком бедна, чтобы быть Санта Клаусом. Это только богатые матери могут притворяться Санта Клаусом и делать подарки.

Тут учительница схватила меня и попыталась силой усадить на пол, но я, напрягая ноги, не далась. Она достигла только того, что мои каблуки ударялись о паркет. Потерпев неудачу, она поставила меня в угол; но, даже стоя там, я повернула голову через плечо и воскликнула: "Никакого Санта Клауса нет, никакого Санта Клауса нет", пока наконец она не оказалась вынужденной отослать меня домой. Я пошла домой, твердя всю дорогу: "Никакого Санта

Клауса нет". Но я никогда не избавилась от ощущения несправедливости, которую учительница учинила надо мной, лишив конфет и наказав за то, что я говорила правду. Когда я рассказала о случившемся матери, спросив ее: "Разве я не права? Ведь никакого Санта Клауса нет?", она ответила: "Никакого Санта Клауса нет, и нет Бога. Лишь твой собственный разум может помочь тебе". И вечером, когда я села на ковер у ее ног, она прочла нам лекции Боба Ингерсолла [Дункан 1992, 9—10].

Не Антихрист ли я

Примерно около этого времени или несколько позднее я пережил первый так называемый "душевный кризис" и окончательно разделался с религией. Внешне это, между прочим, выразилось в довольно озорной форме: я поспорил с мальчишками, у которых оставалось почтение к святыням, и принес за языком из церкви "тело Христово", победоносно выложив оное на стол. Не обошлось и здесь без курьезов. Случайно мне в это время подвернулась знаменитая "лекция об Антихристе" Владимира Соловьева, и одно время я колебался, не антихрист ли я. Так как я из Апокалипсиса знал (за чтение Апокалипсиса мне был, между прочим, сделан строгий выговор школьным священником), что мать антихриста должна была быть блудницей, то я допрашивал свою мать — женщину очень неглупую, на редкость честную, трудолюбивую, не чаявшую в детях души и в высшей степени добродетельную — не блудница ли она, что, конечно, повергало ее в величайшее смущение, так как она никак не могла понять, откуда у меня могли быть такие вопросы [Бухарин 1927, 373].

И не Бог ли я?

Мне казалось, что мама на все имеет право, что она не похожа на других матерей. Почему? Да потому, что моя мать была подругой Бога, может быть, его женой или его матерью... но тогда... Тогда я был, быть может, да, я был самим Богом.

Я представлял себе, как захожу в кино не в четверг [день систематического посещения с матерью кинотеатра], а в обычный день недели; там никого нет: ведь меня не ждали; или я мысленно давал пощечину кондуктору автобуса, и естественно, что в воображении ребенка, считавшего себя Богом, он должен был пасть передо мной испепеленным.

"Если бы ты был Богом, ты бы это знал, — рассуждал я сам с собой. — Нет, ты захотел провести длинные каникулы, живя жизнью человека, и ты приказал, чтобы никто тебе об этом не говорил. Это игра Бога: забавы ради я стал человеческим ребенком. Время моего возвращения должно быть решено заранее".

Меня определили в христианскую школу... Я стал служкой. Был самым младшим, с волосами, подстриженными а ля Жанна д'Арк. Больше всего мне нравился мой костюм, но казалось странным, что я помогаю священнику, который, не подозревая этого, служит мне, потому что ведь я-то был Богом.

Вскоре я понял, что однажды уже приходил на землю... [Марэ 1994, 22—23].

Богоборец

Проходя начальную школу, я, девятилетний, оказался "безбожником", и тут повинен был один из моих дядьев, исколесивший в бешеной тоске по "правде-матке" вдоль и поперек Русь. Это он увлек меня книжонкою с рассказами Шишко и собственными живыми рассказами о Разине и Пугачеве, о царевичах, о бунтах... "Господь Бог, — поучал он, — сушая выдумка для устрашения обездоленных". Атеистические наши беседы привели к тому, что в первый же "великий пост" перед праздником Пасхи, проходя с одноклассниками обряд "исповеди" у попа, я на его вопрос под епитрахилью "в чем грешен, раб Божий?" не без удалства пролепетал: "В Бога, батюшка, не верую!" Видимо, ошеломленный столь дерзким покаянием, он переспросил: "Как, как ты сказал?" А услышав повторно мое "не верую",

попик стукнул меня крестом в лоб и отпихнул прочь, а я поспешил нырнуть в толпу молящихся к выходу [Бахметьев 1959, 117].

А т а к а а т е и с т а

Атеизм... дался мне гораздо легче, чем многим, в том числе и великим мыслителям прошлого. И гораздо более дешевой ценой, чем моему отцу. Дело в том, что в детстве я сначала в Бога верил. Моя тетьа Хаита, заменявшая мне бабушку, рассказывала мне о Нем, о том, какой Он добрый и мудрый, как все понимает, обо всех заботится и всех любит. В том числе и меня. И я отвечал Ему тем же. И так продолжалось до того дня, когда я пошел в детский сад. В этот первый мой детсадовский день из первой же беседы воспитательницы с детьми я доподлинно узнал, что никакого Бога нет, и с ужасом увидел, что все, кроме меня, давно уже это знают, что я остался в одном лагере с капиталистами и помещиками, которые всю эту сказку выдумали, чтоб обманывать людей, или с отсталыми, отжившими свое людьми, которые по темноте и неграмотности не могут уже от этого нелепого предрассудка освободиться. Это меня потрясло. Если первое ко мне все-таки относиться не могло (меня явно не обманывали специально), то второе относилось в полной мере. Я оказался под влиянием темных и отсталых людей. <...>

Короче, мою религиозность как рукой сняло. Более того ...почувствовал себя обманутым, без вины вовлеченным в "отсталость". Мой детский конформизм был оскорблен и требовал немедленного возмездия. И я приступил к нему сразу, как только вернулся домой. А именно — стал сыпать хлебные крошки в хранившуюся в нижнем отделении нашего буфета теткинью пасхальную посуду. Это было кощунством, ибо пасхальное не должно соприкасаться с хлебом: в пасху едят мацу. Мацу, правда, я и после этого случая не разлюбил и ел ее — хотя, конечно, не 8 дней подряд, как полагалось, — с прежним удовольствием, но стал богоборцем. В сущности, я поступил так же, как в те годы антирелигиозного террора поступали и взрослые воинственные безбожники. Вероятно, и мой атеизм по глубине и серьезности был вполне сравним с их — в истории бывают инфантильные эпохи.

С высоты этого атеизма я и повел атаку на своего отсталого бородатого дядю, спросив у него без обиняков, зачем он молится, раз Бога все равно нет. Неожиданно вместо обычного посмеивания в ответ враг, как тогда говорили, "решил показать свои зубы". Впрочем, никакого оскала не было, и я поначалу никаких "зубов" не заметил.

— А что, — спросил он меня невинно, — ты действительно знаешь, что Бога нет?

Не чуя подвоха (да и как мне(!) можно было ждать подвоха от этого бородатого пережитка некультурных веков?) и не обратив никакого внимания на спрятанное в ровной интонации вопроса коварное слово знаешь, я ответил утвердительно. Естественно, я это знал. Еще с детского сада. А кто этого не знает? И тогда дядя скромно попросил меня поделиться своим знанием и с ним, поскольку он этого не знает. Я был готов. Что вопрос этот отнюдь не невинный и что многим на нашей планете это давно известно, я узнал много позже. И я бодро бросился в расставленную ловушку, повторяя ту чушь, которую слушал в детском саду и в школе (по уровню это было одно и то же), и внезапно сам с удивлением ощутил, что запутываюсь, что аргументов у меня нет. Дядя только изредка задавал "уточняющие" вопросы, после чего я еще глубже увязал в трясине теряющих смысл словес.

— Нет, — завершил дядя сочувственно, — ты этого не знаешь.

Я был уничтожен, оказавшись бессильным в схватке с мракобесом. Но как один чеховский герой, "будучи развит не по годам", я тут же нашелся и попытался переложить труд доказательства на оппонента:

— А ты раньше докажи, что Он есть.

Прием не рыцарский, но противник как будто дрогнул.

— Не могу, — смиренно ответил он.

Я вздохнул облегченно. Разум все же победил невежество. Оставалось только закрепить эту победу. Я подытожил:

— Ну так чего ж ты?

Но оказалось, что закреплять было нечего.

— А разве я когда-нибудь говорил, что я знаю, что Бог есть? — спросил дядя еще более невинно. — Я только верю, что Он есть.

Чем мне было тут крыть? Конечно, это был старый трюк, и ни один сколько-нибудь образованный атеист на него бы не попался — атеисты тоже знают, что небытие Божье так же недоказуемо, как и Его бытие. Но я еще не был сколько-нибудь образованным, и значительность этих слов, этого хода мысли потрясла меня. И хоть я, конечно же, своих взглядов не изменил, я впервые столкнулся с тем, что все не так просто, и почувствовал уважение к чужой позиции, хоть и был мой дядя при бороде и в ермолке — явных атрибутах отсталости и мракобесия.

Есть у каждого из нас в жизни такие разговоры, такие услышанные фразы, сущность которых мы еще не готовы ни понять, ни принять, но которые тем не менее западают в душу, подспудно поражая своей убедительностью. Они все равно исподволь участвуют в нашем формировании, помогают рушиться всему внушенному, навязанному, несамостоятельному, чего много всегда, особенно в наше время. И в нужный момент — когда мы уже готовы к этому — они вдруг всплывают на поверхность сознания и облегчают наше дальнейшее развитие, наши болезненные "прозрения" (ведь прозревать иногда приходится самые банальные истины) [Коржавин 1992, 166—167].

Символ веры

[12—15 лет] Семидесятые годы двадцатого века. Советский Союз. Семья инженеров, где о религии никогда не говорили и даже не упоминали. Однако...

То, о чем я сейчас собираюсь рассказать, очень смутно и туманно для меня самого. Есть память о действии, но память чувств, память мотивов и память восприятий и оценок содеянного — ушла в безвозвратную мглу.

Много лет на лето родители отправляли меня к дедушке и бабушке. У них был свой дом с садом, и считалось, что городского мальчика надо за лето откармливать, а то он, не дай Бог, в каменных джунглях загнется. Дед всю жизнь пробыл военным, бабушка — домохозяйкой. Их семья была абсолютно безрелигиозна. В доме никогда не говорилось, так же как и у нас в городе, о религии, вере, церкви.

Но в душе подростка зрели непонятные настроения. Я уже не помню, как ко мне попала — на время — старая, растрепанная, дореволюционная книга о христианстве. Это было что-то вроде учебного пособия или комментированного издания священных текстов. И вот я в разгар лета сижу и тайком перьевой ручкой, постоянно макая ее в чернильницу, медленно и скрипуче в старую, найденную где-то в бабушкином шкафу, пожелтевшую тетрадку с плохой бумагой переписываю Символ веры и Нагорную проповедь с прилагавшимися к ним комментариями. Зачем? Что меня заставило исписать неудобным пером почти 30 страниц, прежде чем я прервался, отвлекшись на другое или просто столкнувшись с более сложными текстами той книги? Не знаю. Помню, мне нравился старый стиль книжной речи, не вполне обычные слова. Помню, я понимал, что это тайное и запретное знание. Что эту тетрадь нельзя никому показывать и даже рассказывать о ней.

Это был первый контакт с религиозным текстом, с заповедями, идеями, принципами, нормами религиозной веры, контакт в условиях абсолютно безрелигиозного окружения. Я не все понимал из переписанного, но сохранял заветную тетрадь довольно долго. И даже после того, как уже раздобыл Библию, не выбрасывал эту мою тетрадку с кривыми буквами, нацарапанными перьевой ручкой: "Блаженны нищие духом, ибо наследуют Царство Небесное"...

Но дальше переписывания и хранения Нагорной проповеди и Символа веры дело в то время не пошло. Лишь только к концу школы сформировалось у меня понятие о едином Боге, которого я представлял тогда как абстрактного Бога всех религий [Иров 1996, 12].

Мне снилась звезда в беспредельном эфире

В здании училища, в двух шагах от нас, была домовая церковь, и в торжественные дни Страстной недели и Воскресения Христова духовенство устраивало процессии, обходя с хоругвями и пением все помещения в здании училища. Один раз и нас, меня и брата, удостоили присутствовать при выносе плащаницы. Долго мы готовились к этому таинственному для нас акту; наконец, вечером, нас повели по темному зданию училища и поместили на какой-то галерее. Мы были очень разочарованы, во-первых, долгим ожиданием в темноте, причем разговаривать не полагалось, а затем и краткостью момента между появлением и исчезновением процессии, — и этим все кончилось: процессия скрылась в темноте, из которой вышла. Это первое мое воспоминание, связанное с церковью [возраст — не старше 6 лет]. Но никакого воспитательного влияния оно не имело. Почему и чем мы были связаны с училищем, мы, конечно, не понимали. Позднее мы узнали, что отец наш был преподавателем в этом "Архитектурном" училище и что, следовательно, он был архитектором; что, кроме того, он был инспектором в Училище Ваяния и Зодчества. Значение этих званий мы все же себе не представляли. <...>

Почти против самого дома Спечинских [где жила после пожара в собственном доме семья Милюковых, Павлу 7—9 лет] стояла пятиглавая церковь во имя Иоанна Предтечи, — сколько помню, оштукатуренная в красный цвет. Туда нас водили по праздникам. Впервые после таинственной процессии в Архитектурном училище мы здесь входили в более близкое соприкосновение с церковью. Дальше церковного обряда, для нас непонятного, дело, конечно, не шло. Но я все-таки помню наши первые исповеди у священника. Нас предупреждали, что надо вспомнить все наши детские грехи и рассказать о них священнику, чтобы получить отпущение, причаститься вина из чаши и получить вырезанную просвиру. К этому действию мы добросовестно и со страхом готовились, — правда, не вполне доверяя угрозам прислуги, что священник, в наказание, будет на нас ездить верхом. Но все же возможность такого наказания над нами висела. И не без разочарования мы отходили, когда священник, спешно спросивши, не обманывали ли мы папу и маму, покрывал нас епитрахилью, спешно бормотал какие-то слова отпущения и переходил к следующим грешникам. Обряд все же нас привлекал — меня в особенности... <...>

[1869—1873 гг., 10—14 лет] Я говорил о каком-то бессознательном чувстве неудовлетворенности, с которым я выходил, после первой исповеди, из церкви Иоанна Предтечи. Оно особенно окрепло, когда после поступления в гимназию исповедь и причастие стали обязательным актом, о выполнении которого надо было представлять гимназическому начальству официальное удостоверение. Я уже знал, что бесполезно припоминать перед исповедью все грехи года, что священнику все равно их слушать некогда и что он покроет меня епитрахилью, так сказать, в кредит. А между тем грехи были налицо, и я чувствовал себя как бы не прощенным, а, следовательно, получал причастие "в суд и в осуждение". Как это примирить с высоким значением таинства, я, конечно, не знал, но чувствовал, что родители мне объяснить этого не смогут. Дома не имелось для этого никаких предпосылок. Не думаю, чтобы у нас была даже дома Библия или Новый Завет. Книги эти долго оставались мне неизвестными. Религия, как воспитательное средство, у нас отсутствовала: проявления домашней религиозности не шли дальше обязательного минимума. В определенные дни приходил в дом священник с крестом, кадил и кропил, сопровождаемый нестройным пением дьячка и причетника. После обязательного обмена несколькими елейными фразами надо было наделить каждого соответственно иерархии. Этим кончалось домашнее соприкосновение с служителями церкви. Значение церковных обрядов, литургии и таинств я мог узнать только из учебника "Богослужения" — но не в первых классах гимназии. А связь между догматами веры и их таинственный смысл оставались для меня неизвестными до университета.

Между тем у меня росла несомненная потребность выразить как-то более лично, более

интимно свое отношение к вере. Ходить чаще в церковь, соблюдать точнее обряды, выражать это в действиях, истово класть на себя крест, становиться на колени, ставить свечи перед образами... Церковь, та же самая красная церковь Иоанна Предтечи, была близко. И в 10—12 лет я стал настоящим "дево́том" [devotus (лат.) — набожный, благоговейно преданный]. Дома этого отнюдь не поощряли; но тем более я считал это своей личной заслугой. Не помню, как это пришло и как это кончилось. Но это было и доставляло мне внутренне удовлетворение. Кругом не было никого, кто бы от этих начатков показал путь дальше... И традиция дома Спечинского не оборвалась. Но она как-то завяла сама собой.

[1873—1877 гг., 14—18 лет, последние классы гимназии] В мои руки попали — не помню как — четыре великолепно переплетенных тома (из полного собрания), заключавших в себе "Философский словарь" Вольтера. Ирония и сарказм Вольтера подействовали на меня неотразимо. Они осмыслили мое отрицание формальной стороны религии. Насмешки над наивностями и примитивными добродетелями Библии разрушили традиционное отношение к библейским рассказам. Библия еще не встала для меня в ряд важных исторических памятников древнейшего быта, но потеряла свое учительное значение и свой ореол богодухновенности. Однако этого было недостаточно, чтобы подорвать самые основы религиозности. Я почувствовал, что эти основы еще не тронуты во мне, по странному поводу. В последнем классе гимназии я познакомился с синтетической философией Спенсера. Кажется, это был первый том "Психологии", тогда только что появившийся в русском переводе. Спенсер, как известно, очень осторожно относился к вопросам, выходящим за пределы опытного познания. Но мне, при моем тогдашнем настроении, он показался просто безбожником. И я исписал целую тетрадь полемическими возражениями, чуть не на каждую фразу относящихся сюда страниц книги. Очень жалею, что пропала эта моя гимназическая тетрадь: она установила бы этот переходный этап в развитии моего мировоззрения. Точнее говоря, я тут столкнулся с вопросами мировоззрения впервые, и как ни охотно я расставался с остатками принятой на веру религиозной традиции, она явно отступала перед расширяющейся сферой научного познания. Зброшенные Спенсером искры сомнения, при всем желании, скажу даже, при всем негодовании на автора, потревожившего мой покой, — затушить не удалось.

Последний год гимназии провожает меня в этом колеблющемся настроении. Оно лучше всего выразилось в одном моем стихотворении того времени, которое, очевидно, не случайно, сохранилось в моей памяти. Форма навеяна знакомством с разными философами в изложении, — раньше чем я познакомился с оригиналами; но тенденции — ясны.

Мне снилась звезда в беспредельном эфире, Мне снилось, что к ней я летел от земли, Земля потонула в глубокой дали, И был я один в всеобъемлющем мире.

И вдруг она скрылась. Пространство и время, И все, что условлено здесь, на земле, И все, что предельно, заснуло во мне, И спало бесплодного знания бремя.

Но ум мой наполнило знанье другое, Мне стали понятны законы чудес, И с выси далеких лазурных небес Я сам засветил путеводной звездой.

За "пространством и временем", "земными" формами познания есть еще другое, внепредельное, но и у "чудес" есть тоже свои "законы", доступные высшему познанию. Так мысль бродила между двумя исходами, не вверяясь ни тому, ни другому и стремясь взлететь выше обоих [Милюков 1990, 41—42, 46, 66—67, 83—84].

Е п и т и м ь я

Православный храм был от нас далеко, в 27 верстах в Креслав-ке. Впервые я побывал в нем сознательно, лишь когда мне было уже десять лет. Но зато у нас в Дагде был прекрасный каменный католический костел. По воскресеньям мы с матерью — она была католичка — ходили туда слушать мессу. Благодаря этим впечатлениям детства и глубокой религиозности матери мне доступна интимная сторона не только православного, но и католического богослужения.

Глубокое впечатление производило торжественное молчание в момент пресуществления и повторные настойчивые звонки колокольчика. Импонировала величественная латинская речь. Храм был полон народа; большею частью это были крестьяне и крестьянки из соседних деревень... Трогательно было участие всего народа в богослужении: ответы хором на некоторые возгласы ксендза и пение гимнов всеми молящимися. <...>

Никаких неудобств и соблазнов оттого, что мать была католичкою, а отец и все дети православными, не было. К благочестивому и кроткому Креславскому священнику отцу Иоанну Гнедовскому мать наша и все мы питали глубокое уважение и любовь. С семьею его, когда мы и они впоследствии жили в Витебске, мы были дружны. Мать бывала иногда в православной церкви, как и мы не отказывались посещать при случае костел.

В моей детской религиозности тягостною стороною был мучительный страх ада и адских мук. Иногда после вечерней молитвы перед засыпанием придет в голову мысль о грехах, и ужас перед возможностью вечного жестокого наказания за них охватывает душу с потрясающей силою. Не знаю, что было источником этих представлений об аде. Может быть, рассказы о дьяволе, о привидениях и о всяких страшных вещах, которые мы слышали от прислуги, когда в осенние вечера сидели вокруг стола и занимались шинкованием капусты, готовя запасы на зиму, а в длинные зимние вечера расщипывали перья, гусиные и куриные, для набивки ими подушек. <...>

[17 лет] Это было весною 1887 г. В это время произошла глубокая перемена в моей религиозной жизни. Во время Великого поста все православные гимназисты обязаны были исповедоваться у гимназического священника... Во время исповеди он мне задал вопрос: "Романы читаешь?" — "Да, читаю", — ответил я. "Нехорошо", — сказал священник и наложил на меня эпитимию: класть по сто поклонов во время вечерней молитвы в течение всего остального времени поста.

Я рассказывал уже раньше, что в течение двух лет я не читал никаких романов и повестей, считая вредным влияние их на нравственную жизнь. Только в шестом классе я понял ошибку и начал читать опять художественные произведения, но со строгим выбором. Таким образом, мое поведение в этом отношении заслуживало не эпитимии, а одобрения. Я вполне понимал это, но, конечно, подчинился своему наставнику и, несмотря на насмешки товарищей, становясь на молитву, усердно отбивал поклоны.

Однако после поклонов я начал размышлять о Церкви, о религии, мне приходили в голову всевозможные слышанные мною рассказы о злоупотреблениях в монастырях, о корыстности духовенства и т.п. Не прошло и месяца, как я уже отверг не только Церковь и религию, но даже и бытие Бога. Не было вблизи меня в это время авторитетного и знающего человека, который научил бы меня отличать идеальную сущность христианства от земных искажений его и показал бы, что даже в XIX в. православная Церковь хранила в себе великие духовные богатства. Вместе с грязною водою я вылил из ванны и ребенка, подобно сотням тысяч русских и западноевропейских интеллигентов [Лосский 1991, 144—145, 158—159].

Непристойность и страх

Моя мать научила меня молитве, которую я должен был читать каждый вечер. Я рад был это делать, потому что это успокаивало меня перед лицом смутных образов ночи.

Раскрой свои крылья,
добрый Иисусе,
и прими к себе твоего птенца.

Если Сатана захочет сделать его своею добычею,
пусть запоют твои ангелы,
и он не сможет причинить ему никакого вреда.

"Heir Jesus" был уютным, добродушным господином — совсем как герр Вегенштайн из замка, он был почтенный, богатый, влиятельный, он заботился о маленьких детях по ночам. Почему он должен быть крылатым как птица, было загадкой, которая меня больше не

беспокоила. Куда более важным и наводящим на размышления было сравнение детей с птенцами, которых "Herг Jesus", очевидно, "принимал" неохотно, как горькое лекарство. Это было трудно понять. Но я сразу же понял, что Сатана любит цыплят и ему нужно не дать проглотить их. Так что "Herг Jesus", хотя ему это было и не по вкусу, все равно поедал их, чтобы не доставались Сатане. До сих пор ход моих мыслей был утешителен. Но затем я узнавал, что "Herг Jesus" таким же образом "принял" к себе других людей и что "принятие" означало помещение их в яму, в землю.

Зловещая аналогия имела печальные последствия. Я начал не доверять Христу. Он больше не казался мне большой добродушной птицей и стал ассоциироваться с мрачной чернотой людей в церковных одеяниях, высоких шляпах и блестящих черных ботинках...

Эти мои размышления привели к первой осознанной травме. Однажды... я увидел спускающегося из леса человека в странно широкой шляпе и длинном темном облачении. Он выглядел как мужчина, но был одет как женщина. ...При виде его я преисполнился страхом, который превратился в смертельный ужас... несколько дней адский страх [перед возможностью нового появления этого страшного человека] пронизывал мои руки и ноги... <...>

Мы шли в церковь и мать вдруг сказала: "А это католический храм". Страх и любопытство побудили меня ускользнуть от матери и заглянуть внутрь. У меня как раз хватило времени, чтобы увидеть большие свечи на богато украшенном алтаре (это было перед Пасхой), когда я вдруг споткнулся о ступеньку и ударился подбородком о железо. Я помню, что глубоко поранился и у меня сильно текла кровь, когда родители поднимали меня. Ощущения мои были противоречивы: с одной стороны, мне было стыдно, потому что мои крики привлекли внимание прихожан, с другой стороны, я чувствовал, что совершил нечто запретное. ... Это та самая католическая церковь, что связана с иезуитами. Она виновата, что я упал и кричал.

Многие годы я был неспособен войти в храм без того, чтобы не испытать тайный страх крови, падения и иезуитов. Таковы были образы, маячившие в моем воображении при мысли о католическом храме, и вместе с тем его атмосфера всегда очаровывала меня. Близость католического священника обостряла мои чувства (если такое возможно). <...>

Я ненавидел хождение в церковь. Единственным исключением было Рождество. Рождественскую песенку "Это день, который сотворил господь" я очень любил. И потом вечером, конечно, была рождественская елка. Рождество было единственным христианским праздником, который я праздновал с азартом, к остальным я был равнодушен. <...>

С одиннадцати лет идея Бога стала интересоваться меня. Я молился Богу и это действовало на меня умиротворяюще, здесь не было противоречия. К Богу я не испытывал недоверия. Более того, Он не был "черным человеком" и не был "Her'ом Jesus'ом", изображенным на картинках, где он в чем-то ярком, окруженный людьми, и те вели себя с ним вполне фамильярно. Он (Бог) был ни на что не похожим существом, которого, как я слышал, никто не может себе представить. Он был несомненно чем-то вроде очень могущественного старого человека. Моему ощущению отвечала заповедь "Не сотвори себе кумира". С Богом нельзя обращаться так фамильярно, как с "Her ом Jesus'oM", который не был ничьим "секретом". <...>

Ходить в церковь постепенно стало для меня сущим мучением. Там люди — вслух, и, мне хочется сказать, бесстыдно, проповедовали о Боге, о Его намерениях и поступках. Там людей громко убеждали иметь такие чувства и верить в такие тайны, которые, я знал, были внутренними и сокровенными, и которые не следует выдавать ни единым словом. Я мог лишь заключить, что никто, даже священник, видимо, не знает тайны, иначе никто бы не осмелился открыто говорить о ней и профанировать глубокие чувства банальными сантиментами. Более того, я был уверен, что такой путь к Богу был неправильным, потому что я знал, знал по опыту, что благодать нисходит только на того, кто безоговорочно подчиняется Его воле. Это говорилось и с кафедры, но словами Апокалипсиса, который был мне совершенно непонятен. Мне казалось, что каждый должен всякий день задумываться о

смысле Божьей воли. Я этого не делал, но был уверен, что сделаю, как только возникнет настоящая необходимость. <...> Мне казалось, что религиозные предписания зачастую заменяли собой Божью волю, которая могла быть столь неожиданной и пугающей, — с единственной целью избавить людей от необходимости понимания. Я становился все более скептичен, проповеди моего отца и других священников вызывали у меня чувство неловкости. Люди вокруг, казалось, принимают как должное этот темный жаргон, бездумно проглатывая все противоречия, как то: Бог всеведущ, и поэтому все предвидел, Он сотворил людей грешными, и тем не менее он наказывает их за грехи вечным проклятием и адским пламенем.

В один прекрасный летний день того же 1887-го года я вышел из школы и направился на соборную площадь. Небо было великолепно и все вокруг заливал яркий солнечный свет. Крыша кафедрального собора блестела от свежей глазури. Я пришел в восторг от этого зрелища и подумал: "Мир прекрасен и церковь прекрасна, и Бог, который создал все это, сидит далеко-далеко в голубом небе на золотом троне и..." Здесь мысли мои оборвались и я почувствовал удушье. Я оцепенел и помнил только одно: Сейчас не думать! Наступает что-то ужасное, что-то, о чем я не хочу думать, к чему не смею приблизиться. Но почему? Потому что я совершу самый страшный грех. Что же это за самый страшный грех? Убийство? Нет, не может быть. Самый большой грех — это грех против Святого Духа, и он не может быть прощен. Всякий, кто совершит его, проклят навечно. Это очень огорчит моих родителей: их единственный сын, к которому они так привязаны, обречен на вечное проклятие. Я не могу допустить, чтобы это произошло с моими родителями. Все, что мне нужно, — никогда больше не думать об этом.

Но легче было решить, чем сделать. Все время, что я шел домой, я пытался думать о самых разных вещах, но обнаружил, что мысли мои снова и снова возвращаются к прекрасному кафедральному собору, который я так любил, и к Богу, сидящему на троне — дальше все обрывалось, словно от ударов током. Я все повторял про себя: "Только не думать об этом. Только не думать об этом!" Домой я пришел в смятенном состоянии. Мать, заметив, что со мной что-то не так, спросила: "Что с тобой? Что-нибудь случилось в школе?" Я не обманул ее, сказав, что в школе все в порядке. Я подумал, что может лучше будет, если я признаюсь матери в подлинной причине своего смятения. Но для этого мне пришлось бы сделать то, что казалось невозможным: довести свою мысль до конца. Бедная мать ни о чем не подозревала, она не могла знать, что я находился в смертельной близости греха, который не прощается, что я мог попасть в ад. Я решил не признаваться и постарался привлечь к себе как можно меньше внимания.

В ту ночь я плохо спал. Снова и снова неведомая и запретная мысль прорывалась в мое сознание и я в отчаянии пытался отогнать ее. Следующие два дня были сущим мучением, и мать окончательно убедилась, что я болен. Но я противился искушению признаться во всем, я понимал, что признание причинит моим родителям сильное страдание.

Однако, на третью ночь мучение стало столь невыносимым, что я уже не знал, что делать. Я проснулся как раз в тот момент, когда поймал себя на мысли о Боге и кафедральном соборе. Я уже почти продолжил эту мысль! Я почувствовал, что больше не в силах сопротивляться. Покрывшись испариной от страха, я сел на кровати, чтобы стряхнуть сон. "Вот оно, теперь это всерьез! Я должен думать. Это должно быть придумано прежде чем..." Но почему я должен думать о том, чего не знаю! Я не хочу этого, клянусь Богом, не хочу! Но кому-то это нужно? Кто-то хочет принудить меня думать о том, чего я не знаю и не хочу знать. Я подчинен какой-то страшной Воле. И почему выбран именно я? Я придумывал хвалы Творцу этого прекрасного мира, я был благодарен Ему за этот ни с чем не сравнимый дар, но почему же я должен думать о чем-то непостижимо жестоком? Я не знаю, что это, я действительно не знаю, потому что я не могу и не должен подходить сколь-нибудь близко к этой мысли, иначе я рискую внезапно подумать об этом. Я этого не делал и не хотел, это пришло, как дурной сон. Откуда берутся такие вещи? То, что случилось со мной, — не в моей власти. Почему? В конце концов я не создавал себя, я пришел в этот мир по воле Бога,

т. е. я был рожден своими родителями. Или, может быть, этого хотели мои родители? Но мои добрые родители никогда бы не помыслили ничего подобного. Это было бы слишком жестоко!"

Последняя мысль показалась мне даже забавной. Я подумал про дедушку и бабушку, которых знал только по портретам. Они выглядели такими добродушными — я не мог представить себе, что они в чем-то виноваты. Затем я окинул взором длинный ряд своих неведомых предков и, наконец, добрался до Адама и Евы. И тут меня осенило: Адам и Ева были первыми людьми, у них не было родителей, они были созданы самим Богом, и он намеренно создал их такими, какими они стали. У них не было другого выбора, кроме как быть такими, какими создал их Бог. И они не знали, что можно быть какими-нибудь другими. Они были безупречны, ведь Бог творит лишь совершенство, и все же они согрешили. Как стало возможно такое? Они не смогли бы сделать этого, если бы Бог не создал для них эту возможность. Очевидно, что Бог и змия сотворил им в искушение. Бог в Своем всеведении устроил все так, чтобы первые родители согрешили. Итак, это Бог хотел, чтобы они согрешили.

Эта мысль сняла с меня тяжкий груз, теперь я знал, что то, что происходит со мною сейчас, — происходит по Божьей воле. Но должен ли я совершить свой грех, — входит ли это в Его намерение, или же нет. Я больше не думал молить об просветлении, ведь сам Бог придумал для меня эту безнадежную ситуацию, я неволен уйти и не могу рассчитывать на Его помощь. Я был уверен, что, по Его мнению, я сам должен найти выход. И я продолжал свои размышления.

Чего хочет Бог? Действия или бездействия? Я должен выяснить, чего Бог хочет от меня, и должен выяснить это сейчас. Разумеется, я сознавал, что с точки зрения общепринятой морали следует избегать греха. Это я и делал до сих пор; но я также знал, что больше так не смогу. Мое душевное расстройство подсказывало мне, что, стараясь не думать, я запутываюсь все дальше. Так продолжаться не могло. Но я не смогу поддаться искушению прежде, чем пойму, в чем состоит Божья воля, чего Он добивается от меня. Ведь я даже не был уверен, что именно Он поставил меня перед этой отчаянной проблемой. Замечательно, что я ни на минуту не допускал мысли о дьяволе. Дьявол играл такую незначительную роль в моем тогдашнем духовном мире, что в любом случае я считал его бессильным в сравнении с Богом. Но с того момента, как мое новое "я" возникло словно из туманной дымки, и я стал осознавать себя, мысль о единстве и сверхчеловеческом величии Бога стала преследовать мое воображение. Так, я не задавал себе вопроса, сам ли Бог поставил меня перед решающим испытанием, все зависело лишь от того, правильно ли я пойму Его. Я знал, что в конце концов буду вынужден подчиниться, но я боялся своего непонимания, оно ставило под угрозу спасение моей вечной души.

"Бог знает, что я не могу больше сопротивляться, и Он не хочет помочь мне, хоть я в шаге от смертного греха. В Своем всеведении Он легко мог бы устранить это искушение, однако не делает этого. Должен ли я думать, что Он желает испытать мое послушание, поставив меня перед непостижимой задачей: поступить против моей морали, против веры, и даже против Его собственной заповеди, чему я сопротивляюсь всеми силами, потому что боюсь вечного проклятия? Возможно ли, чтобы Бог хотел видеть, способен ли я повиноваться Его воле даже тогда, когда моя вера и мой разум восстают при мысли о вечном проклятии? Похоже, что так и есть! Но, может быть, это всего лишь мое предположение, а я могу ошибаться. Я не смею до такой степени доверять моей собственной логике. Я должен все это продумать еще раз".

Но снова и снова я приходил к одному и тому же: Богу угодно, чтобы я проявил храбрость. — Если это так, я сделаю это, тогда Он помилует меня и просветит.

Я собрал всю свою храбрость, как если бы вдруг решился немедленно прыгнуть в адское пламя, и дал мысли возможность появиться. Я увидел перед собой кафедральный собор, голубое небо. Бог сидит на своем золотом троне, высоко над миром — и из-под трона кусок кала падает на сверкающую новую крышу собора, пробивает ее, все рушится, стены собора

разламываются на куски.

Вот оно что! Я почувствовал несказанное облегчение. Вместо ожидаемого проклятия благодать снизошла на меня, а с нею невыразимое блаженство, которого я никогда не знал. Я плакал от счастья и благодарности. Мудрость и доброта Бога открылись мне сейчас, когда я подчинился Его неумолимой воле. Казалось, что я испытал просветление. Я понял многое, чего не понимал раньше, я понял то, чего так и не понял мой отец, — волю Бога. Он сопротивлялся ей из лучших убеждений и из глубочайшей веры. Поэтому он так никогда и не пережил чуда благодати, чуда, которое всех исцеляет и делает все понятным. Он принял библейские заповеди как путеводитель, он верил в Бога, как предписывала Библия и как его учил его отец. Но он не знал живого Бога, который стоит, свободный и всемогущий, стоит над Библией и над Церковью, который призывает людей стать столь же свободными. Бог, ради исполнения Своей Воли, может заставить отца оставить все его взгляды и убеждения. Испытывая человеческую храбрость, Бог заставляет отказываться от традиций, сколь бы священны они ни были. В Своем Всемогуществе Он позаботится о том, чтобы эти испытания не причинили настоящего зла. Если человек исполняет волю Бога, он может быть уверен, что выбрал правильный путь.

Бог создал Адама и Еву таким образом, чтобы они думали то, что совсем не хотели думать. Он сделал это для того, чтобы знать, послушны ли они. И Он мог точно так же потребовать от меня нечто, для меня традиционно неприемлемое. Именно послушание давало благодать, а после этого опыта я знал, что такое благодать Божья. Вы должны совершенно подчиниться Богу, не заботясь ни о чем, кроме исполнения Его Воли. В противном случае все лишено смысла. — Именно тогда у меня возникло настоящее чувство ответственности. Мысль о том, что я должен думать, зачем Бог осквернил свой собор, была ужасна. И вместе с тем пришло неясное понимание того, что Бог способен быть чем-то ужасным. Это была страшная тайна, и чувство, что я владею ею, наложило тень на всю мою жизнь.

Этот опыт также заставил меня в большей мере ощутить чувство собственной неполноценности. Я — дьявол или свинья, — думал я, во мне какая-то червоточина. Но потом я перечел отцовский Новый Завет и с некоторым удовлетворением обнаружил там притчу о фарисее и сборщике податей, и понял, что лишь осужденные будут избраны. Новый Завет навсегда оставил меня в убеждении, что несправедливый домоправитель был хвалим и что Петр, — колеблющийся, — наименован камнем.

Чем более росло во мне чувство собственной неполноценности, тем более непостижимой казалась мне Божественная благодать. В конце концов я никогда не был уверен в себе. Когда моя мать однажды сказала: "Ты всегда был хорошим мальчиком", — я просто не в состоянии был понять это. Я хороший мальчик? Это невероятно. Я всегда казался себе существом порочным и неполноценным.

Вместе с мыслью о соборе у меня, наконец, появилось нечто реальное, составлявшее часть моей великой тайны... Но на самом деле это был опыт, которого я стыдился. Словно я был отмечен чем-то постыдным, чем-то зловещим, и — в то же время это был знак отличия. Время от времени у меня возникало сильное искушение говорить об этом, не прямо, но каким-то образом намекнуть, дескать, со мной произошла интересная вещь... Я просто хотел выяснить, происходит ли что-либо подобное с другими людьми. Самому мне не удавалось заметить ничего похожего. В конце концов у меня появилось чувство, что я — не то отвержен, не то избран, не то проклят, не то благословлен. <...>

Долгие годы детство оставалось для меня табуированной сферой и я не мог говорить об этом ни с кем.

Вся моя юность может быть понята лишь в свете этой тайны. Из-за нее я был невыносимо одинок. Моим единственным большим достижением (как я сейчас понимаю) было то, что я устоял против искушения поговорить об этом с кем-нибудь. Таким образом, мои отношения с миром были предопределены: сегодня я одинок, как никогда, потому что знаю вещи, о которых никто не знает и не хочет знать.

В семье моей матери было шесть священников, священником был не только мой отец, но и два его брата. Так что я наслушался разного рода богословских бесед, теологических дискуссий и проповедей. И всякий раз у меня возникало чувство: "Да, все это так. Но как же быть с тайной? Ведь это же таинство благодати! Никто из нас не знает об этом. Никто из вас не знает, что Бог хочет, чтобы я поступал дурно, что Он заставляет меня думать об отвратительных вещах для того, чтобы я испытал чудо Его благодати". Все, что говорили другие, было совсем не то. Я думал: "Богу должно быть угодно, чтобы кто-нибудь узнал об этом. Где-то должна быть правда". Я рылся в отцовской библиотеке, читая все, что смог найти о Боге, Троице и Духе. Я поглощал книги и не становился умнее. Теперь я стал думать: "Вот и они тоже не знают". Я даже искал это в лютеровской Библии. Убогая морализация Книги Иова отвратила меня, а жаль, ведь я мог найти в ней то, что искал: "Хотя бы я омылся и снежною водою... то и тогда ты погрузишь меня в грязь..." (9, 30).

Мать рассказывала мне потом, что в те дни я часто пребывал в угнетенном состоянии. В действительности это было не совсем так, скорее я был поглощен своею тайной. <...>

Тогда же во мне зародилось глубокое сомнение относительно всего, что говорил мой отец. Когда я слушал его проповеди о чуде благодати, я всегда думал о моем опыте. Все, что он говорил, звучало банально и пусто, как история, рассказанная с чужих слов человеком, не вполне в нее верящим. Я бы хотел ему помочь, но не знал как. Более того, я был слишком замкнут, чтобы делиться с ним своим опытом или вмешиваться в его личные дела. <...>

Гораздо позже, когда мне было восемнадцать лет, я часто спорил с отцом и всегда питал тайную надежду, что смогу рассказать ему о чуде благодати, и таким образом помогу его совести. Я был убежден, что, если он выполнит Божью волю, все будет к лучшему. Но споры наши ничем не кончались. Они раздражали его и огорчали меня. "Это что, — говаривал он, — вечно ты хочешь думать. А должно не думать, а верить". Я думал: "Нет, должно знать и понимать". Однако говорил: "Так дай мне эту веру". На что он пожимал плечами и в отчаяньи отворачивался. <...>

Отец лично готовил меня к конфирмации. Это утомляло меня смертельно... Я наткнулся на главу о Троице. Там было нечто меня волновавшее: единство, что было в то же время тройственностью. Этот парадокс занимал меня. И я с нетерпением ожидал момента, когда мы дойдем до этого места. Но, когда мы, наконец, дошли, отец сказал: "Мы сейчас подходим к Троице, но мы ее пропустим, потому что я сам здесь ничего не понимаю". Я был восхищен его честностью, но я был глубоко разочарован и сказал себе: "Вот так. Они ничего не знают и даже думать не хотят. Как же я могу рассказывать о моей тайне?" <...>

Несмотря на скуку, я прилагал все усилия, чтобы достичь слепой веры без понимания, — такое отношение, казалось мне, соответствовало отцовскому — и я готовился к причастию, на которое я возложил мою последнюю надежду. Это было, думал я, всего лишь традиционное причащение, своего рода ежегодное прославление Господа нашего Иисуса Христа, который умер 1890 - 30 = 1860 лет назад. Однако, он говорил кое-какие вещи, как то: "Приимите, ядите, сие есть тело Мое" [Мф.26:26], — чтобы мы ели хлеб причастия так, будто это Его тело, изначально бывшее человеческой плотью. Точно так же мы должны пить вино, которое было Его кровью. Мне стало ясно, что таким образом мы должны были принять Его в себя. Это казалось мне настолько абсурдным и невозможным, что я уверился в существовании великой тайны, лежащей за всем этим, и в своей причастности к этой тайне. Это и было причащением, которому мой отец придавал такое большое значение.

Как это было заведено, моим крестным отцом стал член церковного комитета. Это был симпатичный молчаливый пожилой человек, — он был каретник, и я часто бывал в его мастерской. Теперь он пришел торжественный, праздничный, в рясе и цилиндре, и повел меня в церковь, где мой отец в знакомом облачении стоял позади алтаря и читал молитву из литургии. На алтарной столешнице лежали большие подносы с маленькими кусочками хлеба. Я знал, что хлеб испечен нашим пекарем, а его выпечка редко бывала удачной, как правило, она была безвкусна. Из оловянного кувшина вино было налито в оловянную чашу. Мой отец съел кусочек хлеба, отпил глоток вина — я знал харчевню, где его брали — и

передал чашу одному из старейшин. Все были напряжены и, как мне казалось, безучастны. Я с волнением ждал чего-то особенного, но все было так же, как обычно, на других церковных службах — крещении, похоронах и т.д. Мне показалось, что все здесь происходящее свершалось раз и навсегда заведенным образом и мой отец более всего озабочен тем, чтобы завершить все согласно правилам, и в эти правила входило выделение некоторых слов особым ударением. Почему-то ничего не говорилось о том, что Иисус умер 1863 года назад, в то время, как во всех других поминальных службах на дате делалось особое ударение. Я не видел ни печали, ни радости, и чувствовал, что праздник оказался недостойн личности, которой он посвящался. Служба не шла ни в какое сравнение со светскими юбилеями.

Неожиданно подошла моя очередь. Я съел хлеб — он был невкусным, как я и ожидал. Вино — я сделал лишь маленький глоток — было слабым и кислым, явно не из лучших. Потом была заключительная молитва; люди уходили — на их лицах не было ни огорчения, ни просветления, там было написано: "Ну вот и все".

Я шел домой с моим отцом, остро сознавая, что на мне черная фетровая шляпа и новый черный костюм, похожий на рясу. Это был странный удлиненный жакет, внизу он заканчивался двумя крылышками, между ними была шлица с карманом, куда я мог засунуть носовой платок, что мне казалось взрослым мужественным жестом. Я внезапно ощутил свой новый социальный статус: я был принят в мужское братство. Обед в тот день тоже был необыкновенно хорош. Еще я мог гулять в своем новом костюме. И все же я чувствовал опустошенность и ничего больше.

Мало-помалу, с течением времени я убедился, что ничего не произошло. Вот я уже на вершине религиозных таинств, жду чего-то, чего сам не знаю, и... ничего не произошло. Я знал, что Бог может делать со мной удивительные вещи. Он может испепелить и может наполнить все вокруг меня неземным светом, но в той церемонии не было и следа Бога. Правда, все говорили о Нем, но всё это было не более, чем слова. Ни у кого другого я не заметил и доли того безграничного отчаяния, того предельного напряжения всех сил и той чудесной благодати, наконец, которые для меня составляли самую сущность Бога. Я не заметил ничего похожего на "сочтупіо", никакого слияния, никакого единения... Единения с кем? С Иисусом? Но он был всего лишь человеком, умершим 1860 лет назад. Почему кто-то должен "сливаться" с ним? Его называли "сыном Божьим" — следовательно, он был полубогом, в роде античных героев; каким же образом обычный человек может "слиться" с ним? Это называлось "христианская религия", но она не имела ничего общего с тем Богом, Которого я знал. С другой стороны, было совершенно ясно, что Иисус — человек, знавший Бога. Он знал отчаяние и крестные муки, и он учил любить Бога как доброго отца. Должно быть и ему был ведом страшный облик Бога. Это я был в состоянии понять, но какова была цель этой несчастной поминальной службы с этим хлебом и этим вином? Мало-помалу я пришел к пониманию, что это причастие было роковым для меня. Оно меня опустошило, более того, я как будто утратил что-то. В этой религии я больше не находил Бога. Я знал, что больше никогда не смогу принимать участие в этой церемонии. Церковь — это такое место, куда я больше не пойду. Там все мертво, там нет жизни.

Меня охватила жалость к отцу. Я осознавал весь трагизм его профессии и его жизни... Между ним и мной открылась пропасть, она была безгранична, и я не видел возможности когда-либо преодолеть ее. Я не мог бы повергнуть в отчаяние моего доброго отца, который всегда был так терпим ко мне. Я не мог заставить его впасть в кошунство, необходимое для постижения благодати. Только Бог мог потребовать от него это, но не я — это было бесчеловечно. Бог не подвержен человеческим слабостям, думал я, Он и добр и зол, Он являет смертельную опасность и естественно каждый старается каким-то образом спастись. Люди недалековидно цепляются за Его любовь и благодать из страха перед Его искушениями и Его разрушительным гневом. Иисус тоже заметил это и потому учил: "И не введи нас в искушение" [Мф. 6:13].

Итак, я порвал с церковью и с человеческим миром, такими, какими я их знаю. Я, — так мне казалось, — потерпел величайшее поражение в жизни. Религиозное воззрение, которое,

как я воображал, составляло мою единственную осмысленную связь с мирозданием, было разрушено: я больше не мог разделять со всеми общую веру, но обнаружил себя причастным к чему-то невыразимому, к моей "тайне", которую разделить не мог ни с кем. Это было ужасно и, что всего ужаснее, это было вульгарно и нелепо, это была какая-то дьявольская шутка.

"Что человек должен думать о Боге?" — размышлял я. Я не мог придумать, как Бог разрушил собор... Ответственна ли за это природа? Но ведь природа не что иное, как воля Создателя. Обвинить дьявола, — тоже не получится — и он создание Бога. Только Бог действительно существует — он способен испепелить и подарить неопишное блаженство.

А что же причастие? Может, все дело в моей собственной несостоятельности. Но я готовился к нему со всею серьезностью, надеясь, что переживу просветление и чудо благодати — и ничего не случилось. Бога не было при этом. Богу угодно было, чтобы я оказался отрезанным от церкви и от веры моего отца. Я оказался отрезанным от всех людей, потому что они верили не так, как я. Знание это тенью легло на мою жизнь, и так было вплоть до моего поступления в университет [Юнг 1994, 28—31, 38—39, 46—53, 61—65].

Ингерсолл Роберт Грин (1833—1899) — американский адвокат и лектор, выступавший против христианства и Библии, что помешало ему сделать политическую карьеру.

Дети и взрослые

Эта глава — об отношениях между детьми и взрослыми членами их семьи. Семейное воспитание имеет разные исторические формы и традиции, многое в них меняется, а многое содержит извечные проблемы "отцов и детей". Большинство наших авторов росло и воспитывалось в семейной традиции, ушедшей в прошлое, но давшей высокие образцы и примеры воспитания, не теряющие значение и сегодня.

Система воспитания, существовавшая в прежние времена, предполагала определенную дистанцию между родителями и детьми. "Отец и мать, деды и бабки были для нас в детстве не только источниками и центрами любви и непрерываемого авторитета; они были окружены в наших глазах еще каким-то ореолом, который не знаком новому поколению. ...В нынешнее время и любовь, и почтительность принимают "облегченные" и "упрощенные" формы", — писал С. Е. Трубецкой, детство которого пришлось на конец XIX в. Послушание родителям, безусловное им подчинение являлось основой отношений и в дворянской, и в купеческой, и в крестьянской семье.

Семья в те времена имела более тесные и обширные связи с обществом, с тем сословием, к которому она принадлежала. Ребенок, как правило, видел родителей в их общении с многочисленной родней, с друзьями дома, со знакомыми "своего круга", и сам он воспитывался, чтобы стать уважаемым членом своего сословия. Несоответствующее принятым в обществе и семье идеалам поведение было постыдным, порождало групповое осуждение, которое приводило к более эффективному воспитательному воздействию, чем внутренние семейные наказания, без которых, тоже, конечно, не обходились. Пороки, свойственные в той или иной степени человеческой натуре, естественным образом проявлялись в детских характерах. Но они не были совместимы с кодексом чести, существовавшим с различными отличительными особенностями не только в дворянском, но и в других сословиях. И если сами родители оказывались неумелыми воспитателями, не находили подходов к детям, последних все же воспитывала культурная традиция, принятая в соответствующем обществе. Боязнь потерять уважение окружающих сдерживала проявление дурных наклонностей ребенка.

В современном обществе семья все больше становится замкнутой ячейкой, родители остаются один на один с детьми, дети отстранены от общения с кругом близких родителям взрослых. Если ранее ребенок понимал, что он должен держаться определенных моральных и этических правил потому, что он дворянин, потому, что он христианин, потому, что так

поступали его отцы и деды, а вести себя иначе — позорно, то с утратой этих понятий в бессословной (и, особенно, маргинальной) среде внушать ребенку соответствующие нормы поведения стало весьма непросто. Инструмент общественного осуждения в большой мере потерял свое значение в воспитании. Утраченные понятия сословной чести и христианского долга частично стала подменять идеология (пролетарская, буржуазная, демократическая, фашистская и т.д.), согласно которой ее приверженцы выстраивают основные линии воспитания как в школе, так и в семье.

Поэтому в современном обществе роль членов семьи, своим собственным примером дающих ребенку образец морального и нравственного поведения, чрезвычайно возрастает и требует от них больших усилий в воспитании. На родителей падает особая роль создания морального микроклимата в семье, имеющего воспитательное значение. Не поучения, а поступки родителей, их круг общения, их разговоры между собой и с другими людьми, не предназначенные для детских ушей, но чутко улавливаемые ими, оказывают наибольшее воспитательное влияние на детей.

По-разному складываются отношения у детей с родителями — в одних семьях царят любовь и взаимопонимание, в других — отчуждение и ссоры. Но во всех случаях жизнь ребенка в семье наполнена различными, мелкими и крупными, событиями. Некоторые из них запоминаются с особой остротой, и авторы воспоминаний считают их заслуживающими того, чтобы поделиться ими с читателями. Чем же примечательны эти семейные казусы? Видимо, тем, что они послужили ребенку моральным уроком и вызвали сильные эмоциональные переживания. В воспоминаниях мы находим очень важные примеры того, как воспитательные усилия взрослых оцениваются и воспринимаются самими "субъектами воспитания", т.е. детьми.

Образ отца или матери, сложившийся в душе ребенка, может быть действенным воспитательным фактором, особенно если их статус в глазах ребенка достаточно высок (по сравнению с иными персонажами детского мира). Так, "нравственным помощником в жизни" называл Павел Воинович Нащокин своего отца, которого он потерял в возрасте пяти лет: "Воспоминание об нем и мысль, что я сам сын хорошего отца, часто удерживали меня от дел такого рода, где с пылким сердцем моим, с раздражительным воображением, и при частых скверных обстоятельствах не мудрено было увлечься к весьма худому, страшно вымолвить — к подлому. В таких обстоятельствах и с таким характером, иногда со всею твердо-стию духа, я бывал не в силах довольствоваться собою, и искал какого-нибудь сильного, нравственного пособия в другом существе, и довольно часто находил это пособие исключительно в одном моем отце; более вот каким способом: истощив без успеха все способы к преодолению какого-нибудь трудного обстоятельства, я выбивался из сил, ложился спать (ибо конец дня я полагаю некоторым образом концом всякого дела), и, засыпая в таком расположении духа, я всегда видал во сне его, чаще будто возвращающегося издалека, после долгого отсутствия в свое семейство каким-то неопределенным лицом — и тут же тяжесть забот с меня спадала, и хотя во сне, но с чувством любви и покорности уже полагал себя под покровом существа сильнейшего, и этот душевный покой сновидения возобновлял во мне силы и надежды на самом деле" [Нащокин 1974, 285].

Воспитательное значение отцовского поведения и характера ярко прослеживается на примере воспоминаний, оставленных членами семьи графов Толстых. Сам Лев Николаевич Толстой так запечатлел образ своего отца: "Я понимал то, что отец никогда ни перед кем не унижался, не изменял своего бойкого, веселого и часто насмешливого тона. И это чувство собственного достоинства, которое я видел в нем, увеличивало мою любовь, мое восхищение перед ним... я очень любил отца, но не знал еще, как сильна была эта моя любовь к нему, до тех пор, пока он не умер" [Толстой 1903—1906, 337, 339].

Для детей один из главных критериев оценки взрослого — справедливость или несправедливость его поступков и поведения. И в этом отношении умение признавать собственную неправоту — одна из высокоценных детьми черт характера взрослого. Строгий воспитатель чутко улавливает, что даже справедливый, но недобрый упрек

порождает не стыд, а боязнь и отчуждение. Далек не каждый взрослый может сказать ребенку "прости меня", как это сделала по отношению к Александре Толстой ее старшая сестра, причем "прости" не за несправедливость, а за недоброту.

Обида детей на воспитывающих их взрослых особенно сильна, когда ребенку не верят, что он говорит правду. И в нем возникает сомнение: стоит ли говорить правду вообще, если от нее одни неприятности?

Дети чутко улавливают, что слова и поучения родителей не всегда однозначны: они говорят одно, а думают или на деле оказывается — другое. Но если взрослый умеет завоевать авторитет ребенка, то его мнение становится очень важным, а осуждение с его стороны вызывает у ребенка стыд. Это чувство столь мучительно, что второй раз проступок осмелится повторить не каждый. Осуждение недостойного поступка Анатолия Мариенгофа отцом-другом помогает ему взглянуть на себя со стороны и увидеть подлость в том, что казалось остроумием.

Ябедничество, столь свойственное многим детям, было в корне пресечено в дочери отцом Наталии Сац. А ведь многие родители не видят в нем большого греха и не осознают, что оно, укореняясь в ребенке, может привести к подлости характера.

Сергей Образцов всего через одну сказанную ему фразу получает урок, отучивший его от хвастовства и самолюбования. Нина Берберова расплачивается отчаянным стыдом за высокомерие и снобизм. А вот Анастасия Цветаева осуждена близкими всего-то за пустячную детскую просьбу, осуждена потому, что просить, выпрашивать — стыдно уважающему себя человеку, даже если он еще совсем мал. Гидон Кремер, наказанный родителями за воровство, не чувствует раскаяния, поскольку придумал оправдания для своего поступка.

Подобными воспитательными казусами заполнена жизнь ребенка. Бесконечная комедия положений... Бесконечное единство и своеобразие человеческой природы... Бесконечная палитра оттенков человеческих взаимоотношений... Оптимально, если в борьбе ребенка с родителями нет ни побежденных, ни победителей. Многие автобиографии содержат воспоминания о несправедливых, суровых наказаниях, но нам, пожалуй, будет достаточно лишь нескольких случаев.

В семье случается всякое: и нехорошие поступки детей, и необдуманные, несправедливые по отношению к ним поступки взрослых. Родители, видя, что ребенок поступает, по их мнению, плохо, всегда стараются, так или иначе, наставить его на путь истинный. Но перед ними встает непростая проблема того, как это сделать, чтобы достичь желаемого эффекта. По воспоминаниям мы видим, что одни родители действуют при помощи рукоприкладства, другие — при помощи слова. Многие прибегают к испытанному методу — наказаниям. Обычно, если наказание справедливо и кара заслужена, провинившийся не держит зла на родителей. Но непонимание ребенка, недоверие к нему, незаслуженные упреки надолго травмируют его душу.

Среди наказаний особое место занимает древнее и традиционное — порка. Физическое унижение тяжело сказывается на детской психике и часто вызывает озлобление. Однако некоторые дети воспринимают ее как неизбежность, если проступок был серьезен.

Вот как, например, вспоминает свое воспитание Павел Андреевич Вяземский — поэт пушкинской эпохи: "Помню, как дядька мой, Larierge, секал меня, четырех- или пятилетнего мальчика, бритвенным ремнем в Нижегородском губернаторском доме. Лет тридцать спустя, если не более, заходил я в этот дом, и, кажется, узнавал комнату, в которой совершалась экзекуция надо мною, и припоминал ее вовсе без злопамятства. Да, милостивые государи, меня секли ремнем, и после несколько раз меня секли розгами, однажды, и собственными руками отца моего, за персик, который я тайно присвоил себе и съел. Впрочем, не за лакомство свое был я наказан, а за ложь, то есть за то, что не хотел признаться в проступке своем. Мне было тогда лет восемь или девять. Не помню, плакал ли я тогда под розгами, но помню слезы на глазах отца. Сознаюсь в том и убежден я, что эти наказания нисколько не унизили характера моего" [Вяземский, 1982, 243].

Совершенно иначе воспринимал такое же наказание и его результаты историк, глава кадетской партии Павел Николаевич Милюков: "Сколько я себя помню, у нас, детей, помимо соблюдения обязательного обряда сыновнего повиновения, сложилась своя внутренняя жизнь, забронированная от родительского внимания и наиболее для нас интересная. Пытаюсь объяснить себе, как это могло случиться, я должен искать корней в области далекого подсознательного прошлого. Из глубины забвения всплывает мрачная картина телесных наказаний, тоже восходящая к лефортовскому периоду (т.е. к самому раннему периоду детства. — Ред.). Не помню, чтобы мы с братом совершали какие-нибудь преступления, которые должны были бы караться таким способом, но кара появлялась как-то-внезапно и была неумолима. Слезы, вопли, просьбы о прощении — ничего не помогало. Решение, продиктованное обычно матерью, выполнялось отцом. Приготовления к экзекуции ощущались, кажется, еще страшнее самой экзекуции. Потом отчаяние, нечеловеческие крики, боль, злоба, не примиренный конец, обида. В старые годы я перечитал "Исповедь" Ж.-Ж. Руссо. Его анализ совершенно верен. Телесное наказание рвет моральную связь и уничтожает доверие к родителям. Между детьми и ними становится стена; за невозможностью взаимного понимания, сговора и убеждения создается система укрывательства внутренних побуждений и, по необходимости, лукавства и лжи" [Милюков, 1990, 50—51].

Воспоминания свидетельствуют: наиболее благотворное впечатление на детей оказывают проявленные к ним со стороны взрослых доверие и уважение, отличные от слепой родительской любви. Когда ребенок испытывает к родителям не только любовь, но и уважение, когда их авторитет в глазах детей высок, то простое осуждение или похвала оказывают гораздо большее воспитательное значение, чем унижение.

* * *

Папа пустил

Сестры стали понемногу выезжать на танцевальные вечера. У них были свои подруги, с которыми они шептались, отгоняя меня прочь. Им шили наряды, а мне перешивали из двух платьев одно. Все это казалось мне несправедливым и обидным, и не раз, чуть не плача, я говорила себе: "Чем я виновата, что я меньшая?" Но в особенности я была огорчена следующим случаем.

Однажды мать, желая доставить удовольствие сестрам, сказала, что есть ложа в Малом театре, и что они поедут на спектакль.

— А я поеду? — спросила я.

— Нет, пьеса эта совсем не для тебя, да у тебя и уроки есть, — сказала мама.

И как я ни просила, мама стояла на своем.

Вечером, когда они уехали и дети легли спать, окончив уроки, я бродила по темной зале. В доме все было тихо, и эта тишина угнетала меня. Мне стало и одиноко, и скучно. Я села в угол залы, и чувство жалости к самой себе умилило меня и я заплакала.

Из кабинета отца послышался звонок. Прошел камердинера Прокофий, много лет уже живший у нас в качестве денщика. Он, вероятно, заметил, что я плачу, так как потихоньку, на цыпочках, прошел мимо меня, как бы имея уважение к моим детским слезам.

Я слышала, как отец спросил:

— Уехали в театр?

— Уехали, но меньшая барышня сидит в зале и плачет, — сказал Прокофий.

И вдруг я услышала шаги отца. Я испугалась. Я почти никогда не плакала при нем. Он всегда был со мной ласков, никогда не бранил и не наказывал меня, но впечатление его нервного характера вообще внушало мне страх. Что может вызвать в нем гнев, а что не может, для меня всегда было неожиданностью.

Не успела я осушить слез своих, как отец в накинутом на плечи халате стоял передо мной.

— О чем ты плачешь? — спросил он меня.

— Меня не взяли в театр, и я одна, — отвечала я, всхлипывая снова.

Папа молча погладил меня по голове. Он о чем-то раздумывал. Потом прошел в кабинет и приказал Прокофию подать еще не отложенную карету, горничной Прасковье и лакею проводить меня в театр, а меня послал одеваться.

Я побежала к себе и торопила Прасковью. Федора помогала мне одеваться и радовалась за меня.

Дверь моей комнаты тихонько отворилась, и неслышными шагами вошла няня Вера Ивановна.

— Аль в театр едете? — спросила она меня.

— Да, еду, а что? — Я знала, что Прасковья уже доложила ей об этом.

— Нехорошо, что маменька-то скажут?

— Папа пустил, — коротко ответила я, не глядя ей в лицо. Няня неодобрительно покачала головой.

— И глаза-то, и лицо у вас красные от слез, еще простудитесь. Федора, подай платок барышне на голову надеть, — говорила она. — Баловник ваш папаша, — ворчала няня.

— Оставь меня, чего ты ворчишь, — говорила я с досадой. Я старалась не думать о том, что мать, может быть, рассердится на меня.

Через полчаса капельдинер отворил дверь ложи, и мама увидела меня перед собой. Занавес был поднят и шла пьеса Островского. Мама с удивлением посмотрела на меня.

— Это что такое? — строго спросила она.

— Папа меня прислал, — спокойно ответила я. В голосе моем слышалось, что если папа прислал, то значит это ничего.

Я видела недовольство матери. Она ни слова не сказала мне, но строгими глазами глядела на меня. Не пустив меня сесть вперед ложи, как обыкновенно, она посадила меня сзади, возле себя.

Освещенный театр и интересная пьеса Островского привели меня в хорошее расположение духа.

На обратном пути в карете сестры расспрашивали, каким образом я приехала, и что произошло дома. Я все рассказала. Сестры добродушно смеялись, слушая меня.

— А все Прокофий виноват, это он насплетничал папа, — говорила Лиза. Мама все время молчала, она очевидно, не хотела говорить против отца.

Дома после чая, когда все разошлись, я прислушалась к громким голосам родителей, доносившимся до буфета, где я стояла, нарочно не идя к сестрам ложиться спать. Между родителями шел горячий спор, и я знала, что это из-за меня. В детстве моем ссора отца с матерью была для меня ужаснее всего.

Внутренний голос говорил мне, что мать была права, а сердцем я была благодарна отцу.

Я легла спать, но не могла заснуть. Мне хотелось идти просить прощения у матери, но я не решалась. Хотелось с кем-нибудь поделиться своим горем, но с кем? Сестры уже спали. С няней? Но ночью к няне идти нельзя. Я прочла молитву, прибавив от себя: "Прости, господи, мое прегрешение", перекрестилась и заснула [Кузьминская 1986, 71—73].

Д в о й с т в е н н о с т ь

Моя мать была для меня очень хорошей матерью. От нее исходило живое тепло, с нею было уютно и хорошо. Она любила поболтать, но сама готова была выслушать всех. У нее очевидно был литературный талант, вкус и глубина. Но эти ее качества никогда должным образом не развились. Они так и остались спрятаны за внешней видимостью полной, добродушной, пожилой женщины; она очень любила кормить гостей и прекрасно готовила, она, наконец, была не лишена юмора. Взгляды ее были вполне традиционными для человека ее положения, однако ее бессознательное нередко обнаруживало себя, и тогда возникал образ мрачный и сильный, обладающий беспрекословной властью и как бы лишенный физического тела. Мне казалось, она состояла из двух половинок: одна — безобидная и

человечная, другая — темная и таинственная. Эта вторая обнаруживала себя лишь иногда, но всякий раз это было неожиданно и страшно. Тогда она говорила, как будто сама с собой, но все, ею сказанное, проникало мне в душу и я совершенно терялся.

Когда это произошло впервые, помнится, мне было лет шесть. Я еще не ходил в школу. В то время у нас были довольно зажиточные соседи. У них было трое детей — старший мальчик, примерно моего возраста и две девочки помладше. Они были совершенно городские люди, и по воскресеньям наряжали детей, как мне казалось, очень смешно — в лакированные туфли, крахмальные жабо и белые перчатки. Одежду детей чистили щеткой, а их самих причесывали даже в будни. Они были хорошо воспитаны и старались держаться на расстоянии от грубого мальчика в рваных брюках, дырявых туфлях и с грязными руками. Мать бесконечно надоедала мне сравнениями и увещеваниями: "Посмотри на этих милых детей, они так хорошо воспитаны, так вежливы, а ты ведешь себя как хулиган, ты невозможен". Я почувствовал себя униженным и решил отколотить "милого мальчика", что и исполнил. Его мать пришла в бешенство, она прибежала к моей с криками и протестами. Моя мать была, конечно, напугана и прочитала мне нотацию, приправленную слезами, более долгую и страстную, чем что-либо из слышанного мною прежде. Я не чувствовал никакой вины, наоборот, я был вполне доволен собой, мне казалось, что я в какой-то мере наказал этого чужака за его вызывающее поведение. Однако волнение матери напугало меня, и я в раскаянии убежал к своему столику за клавирами и принялся играть в кубики. Некоторое время в комнате было тихо. Мать, как обычно, сидела у окна и вязала. Потом я услышал, как она невнятно бормочет что-то, и из отрывочных слов, которые я разобрал, я понял, что она думает о происшествии, но смотрит на него уже другими глазами. Вдруг она произнесла: "Но нельзя же так выставляться, в конце концов!" Я догадался, что она говорила о тех разодетых "обезьянках". Ее любимый брат был охотником, он держал собак, и без конца говорил о щенках, полукровках, помете и т.д. С облегчением я понял, что она тоже считает этих ужасных детей "беспородными", и что ее брань не нужно принимать всерьез. Но я уже тогда понимал, что мне должно оставаться совершенно спокойным и не стоит показывать свой триумф и говорить: "Вот видишь, ты же сама так считаешь!" Она бы пришла в негодование: "Ты ужасный мальчишка, как смеешь ты говорить такое о своей матери!" Отсюда я заключаю, что что-то подобное случилось и раньше, но я забыл об этом. <...>

Двойственная натура моей матери была причиной моих ночных кошмаров. Днем она была ласковой матерью, по ночам же казалась мне странной и таинственной. Она являлась мне страшным всевидящим существом, — полужверем, жрицей из медвежьей пещеры, беспощадной как правда и как природа. В такие минуты она была воплощением того, что я называю "natural mind" [природный разум]. <...>

Моя мать считала меня не по возрасту разумным, обычно она разговаривала со мной как со взрослым. Она говорила мне то, чего не могла сказать отцу, она рано сделала меня своим поверенным и делилась со мной всеми своими заботами. Мне было лет одиннадцать, когда она сообщила мне об одном деле, это было связано с отцом и сильно меня встревожило. Я долго ломал голову и, наконец, решил, что должен посоветоваться с одним приятелем отца, — по слухам он был влиятельным человеком. Не сказав матери ни слова, я отправился после школы в город. Был полдень, когда я позвонил у двери этого человека. Служанка, открывшая мне, сказала, что его нет дома. Разочарованный, я вернулся домой. Но теперь можно сказать, что все это было своего рода *providentia specialis* [особая предусмотрительность]. — Вскоре мать снова упомянула об этом деле, на этот раз все выглядело совершенно иначе и не стоило выеденного яйца. Я почувствовал себя глубоко уязвленным, я думал: "Каким же нужно было быть ослом, чтобы принять все это всерьез, я ведь чуть было не наделал бед!" С тех пор все, что говорила мне мать, я делил надвое. Мое доверие к ней было подорвано, и меня больше никогда не тянуло рассказать ей о том, что всерьез занимало мои мысли.

Но иногда наступали минуты, когда ее второе "я" обнаруживало себя, и то, что она говорила тогда, было настолько *to the point* [к месту], что меня бросало в дрожь. В такие минуты мать была неподражаемым собеседником [Юнг 1994, 57—61].

"Я не права"

Однажды я читала Майн Рида "Всадник без головы". Это было увлекательно, я не могла оторваться, с ужасом думая, что скоро уложат спать и я до завтрашнего дня не узнаю конца. С вечера я заготовила несколько огарков и в постели, держа свечу в руке, продолжала читать. Я услышала, что кто-то вошел в комнату, только когда сестра Маша подошла к кровати. Я инстинктивно задула огарок. Маша рассердилась на меня.

— Как тебе не стыдно, не только делаешь то, что запрещают, но еще хочешь скрыть, лжешь... — Маша говорила недобро, жестко и ушла, хлопнув дверью.

"Ну, чего она злится?" — думала я, и мне было досадно, что не узнаю сегодня, кто был этот всадник. Мысли переносились в прерию, мне мерещились скачущие мустанги. Я задремала.

— Саша, ты спишь? — Маша сидела у меня на кровати. — Ты прости меня, — сказала она, — знаешь, я подумала, что я не права. Раз ты меня боишься, значит, я тебе дала повод к этому, была с тобой недобра...

И вдруг горечь и злоба мгновенно растаяли и заменились радостью и раскаянием. Мне стало стыдно, что я хотела обмануть Машу, радостно, что она такая добрая и простила мне [Толстая 1988, 192].

Урок извинения

Я хочу рассказать об одном полученном мною уроке, память о котором останется у меня на всю жизнь.

Мне было лет девять. Мы проводили лето в Наре. Дедушка Щербатов любил всякие технические новшества и выписал в Нару фонограф. Тогда этот аппарат был еще редкостью. Звук записывался на нем не на круглых пластинках, как в современных граммофонах, а на восковых пустых валиках.

Этим летом в Наре жили кроме нас еще мои двоюродные братья, Петрово-Соловово. Детям было запрещено без взрослых пускать фонограф. Однако скоро для меня, как для старшего, было сделано исключение и Мама позволила мне его пускать, "когда это никому не мешает".

Пользуясь этим правом, я однажды сидел один после завтрака в пустой гостиной и слушал, как сейчас помню, арию тореадора из "Кармен". Через комнату неожиданно прошел Дедушка, он имел озабоченный вид. Вдруг он заметил меня: "Сережа, что ты тут делаешь? Тебе же запрещено пускать фонограф!" — "Нет, Дедушка, — ответил я, — Мама позволила мне его пускать". — "Неправда! — сказал Дедушка раздраженно, — останови фонограф и иди к себе!"

Я был оскорблен до глубины души — Дедушка сказал мне, что я говорю неправду, он не поверил мне! Я сразу побежал рассказать о случившемся Мама и сказал ей, что отныне мои отношения с Дедушкой будут исключительно формальные. "После того, что мне сказал Дедушка, я могу быть с ним только почтителен, но любить его я больше не могу и не люблю его никогда в жизни!" — Мама ответила мне, что со стороны Дедушки тут было просто недоразумение, которое, конечно, скоро выяснится, но она обрушилась на меня за мои "бессердечные" заявления, "как тебе не стыдно так говорить о Дедушке..." Однако я остался сух и непреклонен...

Мама", очевидно, хотела переговорить с ним о случившемся, но не успела, Дедушка пошел к себе отдыхать. Настало время дневного чая, и мы все спустились вниз. За чаем я сидел с подчеркнутым чувством собственного достоинства, чего, к моему большому сожалению, Дедушка даже не заметил; сам он был как всегда...

После чая все поехали в Алексеевский лес, в нескольких экипажах, я должен был ехать туда же верхом, но... я поехал в другую сторону.

К обеду приехало несколько гостей из Литвинова — имения тети Софьи Щербатовой, вдовы старшего брата Дедушки. Не помню, приехала ли сама тетя Софья, но тетю Машеньку Долгорукову (ее дочь) я в этот день хорошо помню, и она была не одна.

После второго звонка к обеду, мы, дети, с нашими учителями и гувернантками стояли, как полагалось, у нижнего конца длинного обеденного стола. Я был по-прежнему полон достоинства...

В столовую вошел Дедушка с Папа, Мама, дядями, тетями и гостями. Все шло как обычно... Вдруг Дедушка вместо того, чтобы пойти к своему креслу, направился на наш конец стола, и мне, как и всем, сделалось ясно, что он идет именно ко мне.

— Сережа! — громко сказал Дедушка, так что все присутствовавшие, в том числе — люди, это услышали, — я тебя сегодня обидел. Я думал, что ты сказал мне неправду. Но я был не прав: ты неправды не сказал. Прости меня!

Я стоял в оцепенении. Все смешалось в моих глазах. Я не мог выговорить ни слова. И вдруг я зарыдал...

Даже сейчас, при воспоминании об этой сцене, что-то подкатывает у меня к горлу... Такие уроки — незабываемы! [Трубецкой 1989, 35—37].

Презумпция виновности

Я старалась быть правдивой, а иногда мне не верили. Это меня очень огорчало и обижало. Раз был такой случай: мы учились с мама. В известный час ей понадобилось принять лекарство, и она послала меня за ним в свою спальню.

— Поди, Таня, — сказала она, — и принеси мне маленький пузырек с коричневыми каплями. Он у меня стоит на туалете.

Я побежала в спальню к мама, но ни на туалете, ни на ночном столике я пузырька не нашла. Пришлось прийти назад и сказать, что я лекарства не нашла.

— Никогда ты ничего найти не умеешь, — сказала мама и сама пошла в спальню.

Эти слова меня обидели, и я ждала возвращения ее с обидой в сердце и со слезами на глазах.

Мама вернулась с каплями, которые она нашла у себя в шифоньерке.

— А это ты откусила и бросила у меня на туалете винную ягоду? — спросила она.

— Нет, не я, я даже никаких винных ягод на туалете не видела.

— Откуда же попала откусанная половинка рядом с мешком с винными ягодами?

Я молчала.

— Подойди сюда. Открой рот. Если ты откусила винную ягоду, то у тебя должны быть семечки во рту.

Красная от возмущения и обиды, сдерживая слезы негодования, я подошла к мама и открыла рот.

Конечно, никаких зернышек от винной ягоды у меня во рту не оказалось, так как я ее не ела.

Я злобно торжествовала.

"Стоит ли говорить правду, — думала я, — если тебе все равно не верят".

Но внутренний голос ответил мне, что правду говорю я не для мама, и не для [гувернантки] Ханны, и не для того, чтобы мне верили, а потому, что, раз полюбивши правду, отступать от нее и лгать самой тяжело и стыдно [Сухотина-Голстая 1980, 42—43].

Герой и экзекуция

Успех чтеца-декламатора меня портил. Точные науки меня раздражали — количество пестиков и тычинок в тюльпанах и лилиях тормозило будущую фантазию. Я ускорял свое развитие тем, что начал брить отсутствующие усы папиной бритвой. Желая бравировать, я попросту превращался в лгуна. Небрежность по отношению к урокам приводила к плохим

отметкам в четверти, плохие отметки лишали меня права посещать театры, и это толкнуло меня на преступление...

Схватив перед рождественскими каникулами две двойки по географии и по геометрии, я получил от моего товарища Леша Р. (говорят, он сейчас исправился и работает в качестве ведущего инженера) предложение переделать эти двойки в пятерки, с тем чтобы после родительской подписи снова превратить эти пятерки в двойки. За обращение двоек в пятерки Леша "испросил" 50 копеек. За противоположную операцию — еще столько же. Платеж должен был состояться лишь при возвращении табеля в гимназию...

Надо отдать должное исключительному мастерству "реставратора": он делал свое дело очень ловко. Я внес полтинник, щегольнул перед родителями пятерками, был поощрен, но затем поиздержался (посещение театра, шикарные поездки на конке и шоколад) и не сумел внести очередного полтинника за восстановление двоек. Поразмыслив, я решил действовать самостоятельно... В искусстве дилетантизм недопустим — я протер дырку.

Дальше действие развивалось гораздо стремительнее, чем можно предполагать. Я уличен, появляется папа, и... артист-чтец-герой-кумир лежит на папином колене со спущенными штанами, и каж-

дый удар по неприкрытому месту комментируется: "это за жульничество", "это за подлог", "это за ложь". Все это сопровождается вздохами и сожалениями мамы.

Очевидно, эта экзекуция оказалась полезной.

Мне не хотелось бы, чтобы у вас возникло ощущение, что автор умиляется этими милыми детскими шалостями, но после этого я на всю жизнь сделал вывод: обман наказывается [Петкер 1968, 8—9].

Между ссорящимися родителями

Тогда, вовлеченный в путаную "пьесу" родительских отношений, я ощущал себя беспомощным. Лишь позднее мне довелось узнать кое-что об их конфликтах, которые имели ко мне лишь косвенное отношение. В детстве я часто видел в слезах и мать и отца. Мне было жалко их обоих и самого себя.

Гармония в нашем доме царила редко. Как правило, тогда, когда мама многое "проглатывала", а папа смотрел сквозь пальцы на то, что обычно его приводило в ярость, или же когда я, добиваясь успехов, оказывался в роли связующего звена...

Насильно втянутый в замысловатую игру родительских чувств, истоки которой мне были неведомы, я не всегда мог предугадать правила и реагировал по-своему. Однажды я обнаружил 25-рублевую купюру, торчавшую из кармана отцовского пиджака. Искушение было велико, я эту купюру взял, ибо считал, что если она так торчит, то все равно потеряна, а кроме того, если отец таскает с собой лишние деньги, то он и не спохватится о пропаже. Вечно шел разговор о том, что нам надо экономить, что у нас мало денег. На спортивный велосипед их не хватало, но при этом помидор на помойку все же выбрасывался. Некое желание восстановить справедливость могло сыграть свою роль. Возможно, я хотел положить эту купюру в копилку, в которой собирал деньги на велосипед. Скорее же всего, в тот момент я просто не знал, что можно сделать с двадцатью пятью рублями. Так или иначе, долго размышлять об этом мне не пришлось, так как содеянное вскоре было раскрыто. Я был наказан и даже получил трепку. В глазах отца я был "вором" и баста. Установилось многодневное карающее молчание.

Да, я осознавал, что деньги стащил, но ни одного вопроса по сему поводу мне ни разу не задали. Так я и остался наедине с собственной виной. Ни разговора, ни прощения. Провинился и точка.

Не так давно в разговоре с мамой я затронул эту историю и спросил, представляла ли она тогда, зачем я взял эту 25-рублевую бумажку? "Этого я никогда не могла понять, — сказала она, — но ты же знаешь, что поступил плохо..." Ей все еще казалось, что дело было только во мне.

Ничего удивительного, что я рано замкнулся в себе и уже в одиннадцать—двенадцать лет почувствовал себя одиноким, чужим и непонятым. Родителям было уже не под силу справиться со мной. И безотчетно я чувствовал это. Что до причин их бессилия, то мне, ребенку, они были безразличны. Главное — казалось, что они неспособны вникнуть в то, что происходило внутри меня. Для них существовала лишь одна истина, и этой истиной был их собственный взгляд на вещи и обстоятельства. Когда я интересовался девочкой, они называли это "детской любовью", когда я привязывался к приятелям, их обзывали "легкомысленными" и "дилетантами", когда я занимался своей коллекцией марок, это было "бесполезной тратой времени", лишь отвлекавшей меня от занятий. Я чувствовал, что со всем, что меня увлекало помимо скрипки и школьных занятий, родители, в лучшем случае, лишь смирялись. <...>

Несчастьем родителей был насыщен воздух моего детства. Мама, уходя от своего горя, переносила всю свою любовь на меня. Стыдно было ее расстраивать своим неудовольствием по поводу слишком горячего супа в тарелке или воды в ванне (как правило, это так и бывало). Если же я все-таки был раздражен, она глотала это и внушала мне с обезоруживающей материнской любовью, что желает лишь моего блага. Я... подсознательно понимал, в чем были корни ее чрезмерной заботы [Кремер 1995, 75—77, 79—80].

"Мы могли бы..."

Отец был среднего роста, хорошо сложен, живой, сангвиник, с приятным лицом и с всегда грустными глазами.

Жизнь его проходила в занятиях хозяйством, в котором он, кажется, не был большой знаток, но в котором он имел для того времени большое качество: он был не только не жесток, но скорее даже слаб. Так что и за его время я никогда не слышал о телесных наказаниях. Вероятно, эти наказания производились. В то время трудно было себе представить управление без употребления этих наказаний, но они, вероятно, были так редки и отец так мало принимал в них участие, что нам, детям, никогда не удавалось слышать про это. Уже только после смерти отца я в первый раз узнал, что такие наказания совершались у нас. Мы, дети, с учителем

возвращались с прогулки и подле гумна встретили толстого управляющего Андрея Ильина и шедшего за ним, с поразившим нас печальным видом, помощника кучера Кривого Кузьму, человека женатого и уже немолодого. Кто-то из нас спросил Андрея Ильина: куда он идет, и он спокойно ответил, что идет на гумно, где надо Кузьму наказать. Не могу описать ужасного чувства, которое произвели на меня эти слова и вид доброго и унылого Кузьмы. Вечером я рассказал это тетушке Татьяне Александровне, воспитавшей нас и ненавидевшей телесные наказания, никогда не допускавшей его для нас, а также для крепостных там, где она могла иметь влияние. Она очень возмутилась тем, что я рассказал ей, и с упреком сказала: "Как же вы не остановили его?" Ее слова еще более огорчили меня... Я никак не думал, чтобы мы могли вмешиваться в такое дело, а между тем оказалось, что мы могли. Но уже было поздно, и ужасное дело было совершено. <...>

Тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это — первое. Второе — то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни [Толстой 1906, 336, 346-349].

Учись бороться и побеждать!

Скакать по крышам чердаков и сараев, играть в казаки-разбойники с дворовыми ребятами — плохо ли?! Мерилась силой с самим Аркадием. Он на два года меня старше, курносый,

ловкий, но атаманом ребята чаще выбирали меня.

Однажды этот Аркадий меня побил. Не особенно больно, но самолюбие было задето. Побежала домой, пожаловалась папе, и когда папа взял меня за руку и вместе со мной отправился на квартиру, где жил Аркадий, заранее вкушала "радость победителя". Узнав, что пришла Наташа со своим папой, Аркадий струхнул не на шутку и как-то боком вышел из комнаты в переднюю, где мы стояли. Папа поздоровался с ним вежливо, а потом сказал:

— Вот, Аркадий, серебряная монета, десять копеек. Я буду давать тебе каждый раз столько же, когда ты будешь бить Наташу; буду давать до тех пор, пока она не научится сама за себя заступаться.

Папа протянул Аркадию гривенник, Аркадий ничего не понял, отдернул руку, монета упала и исчезла в щели пола, Аркадий за-

ревел, а у меня от удивления слезы высохли. Мы вышли из чужой квартиры и долго молчали. Только перед сном папа меня обнял и сказал:

— Не годится тебе, моя ученица, жаловаться! В жизни будет много трудностей. Учись их преодолевать, а не хныкать. Учись бороться и побеждать [Сац 1984, 31].

Меняю родителей

В третью зиму (я была в первом классе) случилось одно происшествие, после которого моей матери довольно долго пришлось приходить в себя: я предложила одной подруге обменяться родителями. Я заметила, что за ней после уроков приходит мать с маленьким братом, и эта мать мне чем-то понравилась. Нравилось тоже, что отец ее писал в газетах. Я сказала ей, что собираюсь, когда вырасту, тоже писать в газетах. Особенно же мне понравилось то, что у нее дома были еще сестры. Я объяснила ей, что будет очень, очень интересно, если на время перемениться родителями: она поживет вместо меня у нас, а я — у нее. Скажем: месяц. А потом мы опять переедем куда-нибудь в третье место. Так мы больше узнаем о жизни, сказала я, скорее вырастем, а то если все сидеть годами с одними и теми же родителями, то ничему не научишься и ничего не узнаешь.

Она оторопело посмотрела на меня и вдруг захныкала. Я пожала плечами, больно дернула ее за косичку и отошла. Эта мысль побольше узнать пришла мне в голову еще летом, когда Даша сказала про одну знакомую кухарку, что она нигде не заживается, меняет господ каждый год и оттого такая "бывалая". Я решила как можно скорее тоже сделаться "бывалой".

На следующий день на перемене я заметила, что кое-кто с любопытством посматривает на меня. Пришли три большие девочки из пятого класса, им было лет по четырнадцать. Окружили меня:

— Ты что, найденная? Расскажи...

Нет, я не была найденышем, а впрочем... кто его знает?

— Тебя что, дома порют?

Нет, меня не пороли... А впрочем, был один случай, только один, кажется: я, лет пяти, сорвала с груди немки-бонны часики вместе с мясом, как говорится, и брякнула их об пол. Отец, схватив меня одной рукой за пояс, отнес в спальню, бросил ничком на кровать, задрал платье и своей собственной ночной туфлей... Да что об этом вспоминать! Я переминалась с ноги на ногу.

— А почему ты именно Тусю выбрала?

Я знала, почему именно я выбрала Тусю: я всегда хотела иметь сестер и братьев для того, чтобы они оттянули от меня внимание. Мне казалось: больше свободы, больше одиночества, меньше гнездышка, меньше крылышка, где пусть они будут сидеть, не я.

— Значит, ты хочешь кочевать по чужим родителям? Я даже облизнулась от удовольствия при этой мысли.

— Ну подожди, попадет тебе от Марьсеменны.

На следующий день мою мать вызвала к себе М.С. Михельсон, до которой дошло мое странное поведение. Она решила выяснить, истязают ли меня дома.

Мать вернулась перед обедом заплаканная. Я поняла, что такое "позор", "опозориться", "опозорить собственную мать", "покрыть позором семью". Это был тяжелый день моей жизни, и я даже мечтала умереть. Я умоляла позволить мне хотя бы три дня посидеть дома, пока там все забудется, но на следующее утро меня выпроводили из дому.

Долго еще приходили из старших классов смотреть на меня. Некоторым отчасти понравился мой план, они его обсуждали. Обсуждали и меня. Кое-кто отвернулся от меня, пригостишки боялись меня. А когда "позор" прошел и осталась только память о моей дерзости, я стала чувствовать легкий ореол вокруг себя, и хотя это было приятное чувство, но мне все-таки продолжало быть стыдно до самого лета.

Однажды во время рождественских каникул, по сугробам и в грохоте скребущих снег поскребков, мы отправились с отцом в одну столярную мастерскую покупать за чем-то нужный в гостиную столик маркетри. Там, в гостиной, стоял нотный шкаф с инкрустациями, и я, только утром узнав, что это называется маркетри, носилась с этим словом и не чувствовала под собой ног от радости, что отец берет меня с собой. Мы пошли — уже не за руку, а под руку; мы пришли к столяру, человеку пожилому и степенному, и отец довольно подробно обсуждал вопросы "маркетри" и "буллия" (о котором я не имела ни малейшего понятия). Выходя во двор, я сказала отцу, немножко ревнуя его к столяру, с которым ему было, видимо, интереснее, чем со мной:

— Ты с ним говоришь о маркетри, а он, наверное, и не знает, что такое маркетри.

Положительно, произнести это слово уже доставляло мне неизъяснимое заумное удовольствие, от которого я не могла удержаться.

Столяр, сняв картуз, сказал тихим и вежливым голосом за моей спиной:

— Я уже тогда знал, что такое маркетри, барышня, когда вас на свете не было.

Мне показалось, что земля заколебалась под моими ногами, и я, с надеждой провалиться в нее, замедлила шаги, но, к сожалению, это была иллюзия. Я взглянула на отца. Он спокойно смотрел в сторону.

— Так тебе и надо, — сказал он холодно. — Спасибо, Трофимов.

И мы ушли. Я не знала, куда мне смотреть, я хотела вернуться и просить у столяра прощения.

— Ну, довольно глупостей, — сказал отец, — ты не только необразованна и невоспитанна, но еще вдобавок и сентиментальна.

Я пришла домой убитая. Мне и теперь совестно думать, что это случилось уже тогда, когда в гимназии ставились мои пьесы... [Берберова 1996, 73—75].

Не проси

Я с папой иду по улицам Севастополя. Ветер. Витрина книжного магазина. Смотрит ли папа на книги? Как я увидела маленькую книжечку "Загадочных картинок", мою страсть находить: "где кучер?" "где девочка?" — находить их в изгибах деревьев, в очертании крыш, в облаке... Сердце замирает. Попросить папу купить? Невозможно! Никогда! Мы никогда не просим. Ведь просить — стыдно. Это мы знали с детства. Я стоически ухожу от окна. Но когда я шагаю с папой по тротуару, боль в сердце достигает такой остроты, расставание с загадочными картинками превышает мои силы.

— Папа, — говорю я, не помня себя от стыда, — там в окне книга... Маленькая! "Загадочные картинки"...

Больше я не могла говорить.

— Картинки? — отозвался вызванный из задумчивости папа. — Так тебе их купить?

И он повернул, я — за ним. Я шла в горячем вихре стыда. Но счастье его смело. Когда папа заплатил за него двадцать пять копеек серебряными монетками и книжка оказалась в моих руках, я шла назад счастливая. Но когда мы вошли в комнату, где нас ждала мама, и она увидела в моих руках купленное, я, должно быть, выдала лицом непрочность своего счастья. Мама сразу поняла, что не папа выбрал мне эту книжку, — ей это было ясно. Она

ничего не сказала. Она только на меня поглядела. И стыд победил счастье. Оторвавшись от книги, неумолимый взгляд [сестры] Маруси уже шел за каждым моим движением, беспощадно-насмешливо. Глаза ее были чуть суженными, в невыразимом презрении. И только папа, давно забыв о покупке, не замечал этой трагической пантомимы [Цветаева 1983, 184].

Бацлла тщеславия

Так как голос мой был высоким и легким, я обычно запевал. Приходившие в гости друзья или соседи по даче хвалили меня и часто просили спеть какую-нибудь песню. Наверное, я, как и все дети, вначале стеснялся, а потом привык. Мне стало нравиться, что меня просят петь и песня превратилась в предлог для маленького хвастовства. Болезнь тщеславия начиналась, и сейчас я благодарен не тем добрым и благожелательным людям, которые хвалили мое пение, а, наоборот, тем, которые, не щадя меня, высмеяли мою детскую уверенность в том, что я пою хорошо.

Помню два таких случая. Вероятно, это были серьезные случаи, если я так хорошо их запомнил.

Мама впервые повела меня в оперу, в Большой театр. Что это была за опера, я вспомнить не могу, так как было мне тогда лет шесть, и содержание оперы я, естественно, не понял. Пожалуй, больше всего меня поразили аплодисменты. Взрослые люди все сразу, как маленькие, били в ладоши, отчего получался страшный шум. Мама объяснила мне, что это всегда так делают в театре, когда что-нибудь очень нравится. Я удивился, что взрослые могут вести себя таким образом, но с удовольствием включился в их несерьезное занятие.

Второй неожиданностью был дирижер. Движения его палочки точно совпадали с возникающими звуками. Я решил, что звуки происходят от самой палочки, в чем и убеждал потом няню, обижаясь, что она мне не верит.

Наконец, третьей неожиданностью оказалась сама манера пения. На человека, не привыкшего к такому пению, полный оперный звук всегда производит впечатление некоторого тремолирования. Особенно на высоких нотах.

Мне не показалось это красивым, но каждый раз, когда толстая дама на сцене кончала петь, зрители начинали шуметь и хлопать ладошками. Значит, именно так и надо петь. Значит, это хорошо.

Не знаю, сразу ли я это сообразил или пришел к этому выводу позже, но помню, что летом, забравшись в акацию, я долго "репетировал", стараясь, чтобы мой голос дрожал. Потом поднялся по деревянной лестнице к комнате моей крестной матери бабы Капы, уселся на ступеньку около ее двери и стал петь, чтобы она слышала, как я хорошо пою.

Дрожащим голосом я выводил каждую гласную: "У зо-о-о-ри-и у-у зо-о-о-орень-ки-и мно-о-о-о-го-о-о я-а-а-асны-ых зве-е-езд". Мне не удалось допеть песню до конца. Дверь открылась, и удивленная моим пением баба Капа сказала: "Что это с тобой? Почему ты так противно поешь?"

Думаю, что это было мое первое сознательное актерское выступление с расчетом на то, чтобы поразить слушателей, и первый мой актерский провал. Я заплакал и удрал под балкон, где и просидел до самого ужина в углу под паутиной. Даже зашедшие ко мне счастливые цыплята казались врагами, и я их прогнал кусочками земли.

Очень может быть, что, если бы такую оценку моему пению дал кто-нибудь другой, я бы просто по-детски упрямо обиделся, не сознался бы сам себе в своем кокетстве и не ощутил стыда. Но баба Капа была в моем детстве третьей по любви к ней после моих родителей, и любовь эта основывалась на глубоком уважении и непререкаемом ее авторитете во всем.

До самого последнего дня своей жизни — а умерла она, когда ей было уже девяносто лет, — баба Капа оставалась удивительно цельным человеком, с ясным умом, требовательностью к людям, честностью и добротой, лишенной какого бы то ни было сантимента. Она была вдовой, жила трудно, и одна воспитала всех своих детей и мою мать, бывшую ей приемной

дочерью.

Около бабы Капы нельзя было бездельничать, так как она сама работала с утра до ночи и бездельников не выносила, даже если эти бездельники — маленькие дети. Круглый год она жила в своем маленьком имении Потапово под Москвой, которое называлось именем больше по старой памяти, так как все было давным-давно распродано, и сохранились только усадьба с фруктовым садом, старый деревянный дом да несколько надворных построек.

Недели и месяцы, которые я проводил в гостях у бабы Капы, никогда не забудутся, потому что это одни из самых радостных воспоминаний моего детства, и я навсегда останусь благодарным ей за то уважение к труду, которое возникало не от воспитательных проповедей, а от самого общения с бабой Капой. Она научила меня работать на огороде и на пчельнике, косить, запрягать лошадь, штопать чулки и даже вышивать метки на полотенцах.

За многое я должен благодарить бабу Капу, но, вероятно, больше всего я должен благодарить ее за то, что она осудила мое хвастливое пение.

От ее суда мне некуда было деться, нельзя было найти никакой лазейки для своего оправдания. Раз она сказала, что я пою противно, значит, так оно и есть. И самым стыдным было не то, что плохо пел, а то, что она поняла мое хвастовство. Вот почему я и сидел под балконом до вечера.

Актерский стыд — одна из самых сильных прививок против бациллы тщеславия, и я благодарен бабе Капе за то, что она вовремя сделала эту трудную прививку.

Следующий случай произошел года через два. В гостях дети водили хоровод и пели: "Ах, попалась, птичка, стой!" Пели очень нестройно, совсем не так, как мы с мамой и папой. Кто-то попросил меня запевать, и я с полной уверенностью, что сейчас покажу, как надо петь эту песню, встал в центре круга и запел: "Ах, зачем я вам, миленькие дети?" По-видимому, я взял слишком высоко, потому что тут же сорвался, и все захохотали. Елка кончилась плачем, и даже подаренные мне акварельные краски не смогли компенсировать моего публичного позора.

Вероятно, этих двух случаев было достаточно для того, чтобы предотвратить стремление к сольным выступлениям. С тех пор я никогда больше не "выступал" с пением ни в гостях, ни на школьных вечерах, хотя дома наше семейное пение продолжалось [Образцов 1981, 20—22].

Подлость победителя

У меня соперник. Это вихрастый гимназист Вася Косоворотов, сын сторожа из Вдовьего дома.

Если бы я мог оценить относительно спокойно наши взаимные шансы на победу, то, вероятно, мое отроческое сердце не отбивало бы в груди трагическую барабанную дробь.

Смотрю и смотрю на себя в зеркало: "Да, у меня римский нос. Абсолютно древнеримский!.. Тонкие иронические губы... Благородно-удлиненный профиль... Как вычеканенный на античной монете (отец коллекционировал их). Интересное лицо!"

Я никогда не был повинен в чрезмерной скромности.

"А Васька? Он же типичный губошлеп! Что-то безнадежно курносое. Да еще в коричневых веснушках! Даже зимой. А что будет летом?"

Но у ревности такие же громадные глаза, как у страха. И я говорю себе: "То, что я красивей, это неоспоримо, но в его проклятой физии есть какая-то чертовская милота. Он похож на Митю Лопушка, героя моего детства. Пропади пропадом Васькина круглая морда! Вместе со своей улыбочкой — "душа нараспашку!"

И стучит ревнивое сердце — утром, днем, вечером. Однако сплю как убитый. Четырнадцать лет!

"А главное, он замечательно катается на коньках, этот чертов сын Васька! Выкручивает на льду какие-то невероятные кренделя.

Даже танцует вальс-бостон! Леший с ним! Пусть бы танцевал на своих дрянных

снегурочках хоть танец самого дьявола. И раскроил о лед свою башку! Но ужас в том, что Васька всей этой конькобежной премудрости обучает Лидочку. Мою Лидочку! Ой, а теперь они танцуют польку-бабочку!"

Я, конечно, презрительно смотрю на них прищуренными глазами и улыбаюсь печоринской улыбкой. Но коварная девица в крохотной горностаевой шапочке (раскрасневшаяся, сияющая, сверкающая серебряными глазами!) не обращает на мою печоринскую улыбку ни малейшего внимания.

"Оказывается, она — дура! Пустышка! Круглый ноль!.. А я-то ее на "Гамлета" вожу. Нашел кого! Пустышку, которой бы только крутиться на льду в каких-то кретинских танцах".

И я отворачиваюсь в сторону от "дуры", от "пустышки", от "круглого ноля".

Однако выдержки у меня маловато: опять, не отрываясь, гляжу на нее, на него, на них. Гляжу прищуренными глазами. То и дело сдергиваю с руки и вновь нервно натягиваю белую замшевую перчатку. Совсем как Орлов-Чужбинин в "Коварстве и любви" Фридриха Шиллера.

Наш Чернопрудский каток обнесен высокой снежной стеной. В дни, когда играет большой духовой оркестр под управлением Соловейчика, билет стоит двугривенный. Это большие деньги. На них можно купить груду пирожных в булочной Розанова. Откуда взять такую сумму сыну сторожа из Вдовьего дома? И вот, рискуя жизнью, мой соперник всякий раз кубарем скатывается по снежной крутой стене. Раз! два! — и на льду. И уже выписывает свои замысловатые кренделя на допотопных снегурочках.

В одну прекрасную субботу я, терзаемый ревностью, говорю своей даме в крохотной горностаевой шапочке (Боже, как она к ней идет!):

— Взгляните налево, Лидочка.

И показываю ей сына сторожа из Вдовьего дома в то самое мгновение, когда он скатывается на лед. Собственная спина служит ему салазками. Фуражка слетела. Желтые вихры, запорошенные снегом, растопорщились, как шерсть на обозленном коте при встрече с собакой.

— Что это? — растерянно шепчет Лидочка.

— "Заяц"! — отвечаю я с искусственным равнодушием. — Самый обыкновенный чернопрудский "заяц". К счастью, уборщик снега не видел, а то бы ваш кавалер получил метлой по шее.

На Лидочку это производит страшное впечатление. Она надувает губы, задирает носик и прекращает всякое знакомство с моим грозным соперником.

— Нет, — говорит она, — этот чернопрудский "заяц" мне не компания.

Я торжествую победу. И в тот же вечер всю эту историю рассказываю отцу, с которым привык делиться событиями своей жизни. У нас товарищеские отношения.

Отец снимает с носа золотое пенсне, кладет на книгу, закуривает папиросу и, кинув на меня холодный недружелюбный взгляд, говорит негромко:

— Так. Значит, победитель? Победитель!.. А чем же это ты одолел своего соперника? А? Тем, что у тебя есть двугривенный, чтобы заплатить за билет, а у него нет?.. Н-да! Ты у меня, как погляжу, герой. Горжусь тобой, Анатолий. Продолжай в том же духе. И со временем из тебя выйдет порядочный сукин сын.

Отец не боится сильных выражений.

Я стою с пылающими щеками, словно только что меня больно отхлестали по ним.

Отец надевает на свой крупный нос золотое пенсне и берет книгу. Он перечитывает "Братьев Карамазовых".

— Иди, Анатолий. — Таким тоном он разговаривал со мной не больше одного раза в год. — Иди же! Готовь уроки.

Я медленно выхожу из его кабинета.

"Стыд, стыд, где твой румянец?" — спросил бы принц Датский.

Разумеется, в тот вечер я не приготовил уроков. Не до латинского языка мне было.

Прошло пять десятилетий. И, как видите, из моей памяти не изгладились скверные события зимнего нижегородского дня [Мариенгоф 1990, 36—39].

Воспитание предков

Дома меня быстро спустили с небес на землю.

— Еще один кружок? Ездить в центр!¹— ужаснулась мама. — Когда? Посчитай, сколько у тебя общественных нагрузок в школе!

— Конечно, что-нибудь оставить придется...

— Музыку? Ни в коем случае! Георгия Петровича, я надеюсь, ты тоже не предашь?² Выбрось из головы этот ТЮЗ — и все!

Мама у нас умная, волевая. Ей все подчиняются.

Умолкаю, сажусь за уроки. Но знаю — от театра не откажусь. Первый раз я не принимаю мамино решение беспрекословно. Но что делать, что изобрести?

И все-таки на то, первое занятие я пошла без разрешения. Хорошо, что кончилось оно рано. А потом уже была выработана тактика поведения. Я постаралась освободиться от многих мелких поручений в школе. Домой приходила рано. Молниеносно делала уроки, а музыку оставляла на вечер, когда родители возвращались с работы. Учила старательно и тоже быстро. Времени свободного оставалось теперь уйма. Я слонялась по дому и всем видом показывала, как я несчастна. Родители сначала были удивлены. Потом встревожились: что с ребенком? И тут состоялся откровенный разговор (я постаралась, чтобы его провела мама).

После настойчивых расспросов я растолковала, как ужасно, когда родители диктаторствуют, подавляют личность, разрушают заветные мечты и все в таком духе. В конце концов ТЮЗ посещать разрешили!.. [Вьюкова 1989, 13—14].

Речь идет о работе учеников 6—7-х классов в активе Театра юного зрителя в Москве. Литературно-речевой кружок у классного руководителя.

Школа

Счастлив тот, кто любил свои школьные годы. Но мы будем говорить и о тех детях, для которых школа оказывается каторгой. Именно в их проблемах особенно важно разобраться и педагогам, и родителям. Дети не всегда умеют рассказать о своих трудностях в школе, взрослый же в воспоминаниях уже в состоянии проанализировать то, что с ним происходило во время учебы.

Малыши стремятся скорее попасть в школу, завидуют старшим школьникам, но часто за заветным порогом их ожидают большие разочарования. Учитель, вспоминая Рабиндранат Тагор, сказал ему, маленькому дошкольнику: "Теперь ты плачешь, чтобы тебя пустили в школу, но тебе придется еще больше плакать, когда ты в ней побываешь". "Никогда более не слышал я столь верного пророчества" [Тагор 1965, 10].

Воспоминания помогают увидеть школьную среду "изнутри", через переживания детей, через те испытания, которые каждому суждено пройти в школьные годы. Главная трудность, если не считать тоски по дому тех детей, кто учится вдалеке, сводится к противостоянию: учителям, сверстникам и особенно старшим ученикам, а также неинтересным предметам.

В воспоминаниях перед нами предстает широкой спектр различных учебных заведений — это и бурса, и кадетский корпус, и благородный пансион, и классическая гимназия, и училище, и колледж, и обычная советская школа. Их всех роднит одно — ненависть к ним учеников — авторов воспоминаний. Учителя, чьи образы представлены в воспоминаниях, являют в общем довольно грустную картину, хотя зачастую пишется о них с известной долей

1

2

юмора.

Какие схожие впечатления от учителей встречаем мы здесь у людей, разделенных временем и пространством. Русский актер XIX в. В. Давыдов пишет о своих учителях: "Мне казалось, что кто-то их насильно заставляет нас учить и мучить" [Давыдов 1931, 87]. Айседора Дункан — американская танцовщица конца XIX — начала XX в.: "Учительница казалась мне бесчеловечным чудовищем, созданным, чтобы мучить нас" [Дункан 1992, 11]. Галерея преподавателей-мучителей пополняется глупцами и чудаками. Сама же школьная система, мешающая самостоятельным занятиям, полностью подчиняющая учащихся режиму, крайне мешает развитию способных учеников. Отсюда у многих вспоминающих свою школу проскальзывает ненависть к педагогике, которая ассоциируется с карцером, кондуитом и другими подобными воспитательными мерами.

Но не все принимают школьную муштру и скуку близко к сердцу. Н. Тимофеев-Ресовский даже находит в строгостях школьной дисциплины положительный момент — сдерживание необузданного хулиганства учеников. Но где предел требовательности учителя? Как определить ту грань, за которой дисциплина обучения превращается в несправедливость наказания? Ужас перед школой, перед учителем — может ли кто-нибудь измерить глубину его воздействия на ребенка? Как важно ему почувствовать, что учитель не столько враг, сколько друг. Хорошие преподаватели "делают" школу и оставляют в сердцах учащихся благодарность, даже если в ней в целом царит скука и условия для учеников "свинские".

Никогда не забывает человек хорошего учителя, которого он полюбил и который открыл ему путь к познанию и творчеству. Таким учителям в воспоминаниях посвящено немало теплых слов.

Учитель, любящий и знающий свой предмет, не сковывающий преподавание пределами программы, поддерживающий своих учеников перед начальством, — завоевывает любовь и уважение Павла Милюкова, которые остаются в его душе и после окончания школы. Скучное обучение классическим языкам, на которое так часто жалуются авторы других воспоминаний, становится интересным, чтение греческих классиков превращается в излюбленное занятие гимназиста Милюкова. Доброжелательность директора школы и его внимание к ученикам, к их интересам и склонностям заставляют Бориса Петкера уделить ему особое внимание на страницах воспоминаний.

В любимом учителе Самуила Маршака привлекает все — и аккуратный внешний вид, и приятная манера поведения, и красивая речь, и юмор, и равнодушие к начальству, и некоторая загадочность, ну и, конечно, увлекательное, неформальное преподавание. Эти воспоминания лишний раз убеждают нас в том, что нет скучных предметов, а есть бездарные или талантливые учителя.

Люди, в дальнейшем не только ставшие образованными, но и внесшие весомый вклад в отечественную культуру, зачастую полагают, что школа им ничего не дала. "В смысле науки я ничего не вынес из гимназии", — пишет К. Станиславский [Станиславский 1972, 57]. "Не могу также сказать, чтобы я вынес из гимназии солидные знания или даже привычку работать", — вторит ему СИ. Гес-сен [Гессен 1995, 413]. Происходит это потому, что школа, как ее описывают наши авторы, это машина, которая впахивает в учеников регламентированные порции знаний и требует их переваривания, не учитывая ни индивидуальности детей, ни их различных способностей, ни интересов.

Карл Юнг — ребенок с созерцательным, философским типом мышления — был не похож на других и поэтому чувствовал себя одиноким в школе. Учителя не верили в его способности, оскорбляя его этим, с одноклассниками у них были разные интересы. В результате школа приводила исключительного ребенка к неуверенности и отчаянию.

Процесс познания в ребенке может успешно развиваться и при полном, абсолютном неприятии учеником школы с ее систематизацией знаний, заданиями, проверками, экзаменами, как это было, например, с Николаем Бердяевым. Школа не принимает такого самостоятельного развития, а ученик не нуждается в такой школе.

Фактически дети способные и творчески одаренные осуществляют собственное

формирование помимо школы, в основном через чтение книг. Очень многие ищут убежище от школы в природе, там ребенок чувствует себя свободным и уверенным в себе, там у него свой добрый и интересный, созвучный ему мир. Городской ребенок бежит на улицу, во двор, где свободно общается со сверстниками.

Многообразны и поучительны в воспоминаниях размышления о том, почему ребенку не давалась учеба. Иногда на самом деле он вполне хорошо знает урок, но не может ответить, начинает спотыкаться и заикаться. Обстановка в классе угнетает, учитель настроен враждебно. Иногда ему непонятны суть и назначение даваемых ему знаний. В других случаях натура противится системе заданий, самому навязыванию знаний в том виде и пропорциях, которые считает нужными учитель. Многие авторы с ужасом вспоминают ту зубрежку, которая требовалась при изучении классических языков. Действительно, методика обучения латыни, обращенная исключительно к памяти учеников, была достойна той критики, которая звучала из уст современников. Однако талантливый учитель мог сделать и эти предметы интересными для детей. Многие знания школа считает запретными, а именно к ним часто проявляют интерес учащиеся. Так, И.А. Теодорович вспоминает: "Во время экзаменов на аттестат зрелости в выпускном сочинении по русскому языку я обнаружил знакомство с дарвинизмом и социализмом. Это всполошило педагогический совет, и последний решил: аттестата зрелости не давать и из гимназии исключить" [Теодорович 1927, 140]. Точно так же и в советской школе интерес к "буржуазной" науке и литературе постоянно преследовался.

Воспоминания о школе эмоциональны: авторы рассказывают не столько о событиях, сколько повествуют о своих ощущениях и переживаниях, конкретные же случаи играют подчиненный, иллюстративный характер. Вероятно, это глубоко оправдано, так как чувства запоминаются лучше, чем события, их вызвавшие.

Анализируя воспоминания о школе, можно выделить несколько основных тем: отношение к учителям, товарищам и к учебе. Однако главную проблему следует сформулировать так: "Почему мне было плохо в школе?"

Поступление в школу знаменует новый этап в жизни ребенка, и к этому изменению он не готов. Он "выпадает" из семьи и попадает в совершенно новую для себя ситуацию. В школе он становится "атомарен", то есть лишается всех своих привычных личностных связей (тем самым теряет чувство защищенности) и начинает выступать как самостоятельная единица. Принцип традиционной школьной организации есть вполне первобытный принцип силы и старшинства. И здесь мир педагогов независим от мира детей, первые часто позволяют последним самостоятельно устанавливать и поддерживать свою иерархию, не прилагая больших усилий целенаправленно воздействовать на этот процесс.

Именно в сфере отношений и следует искать ответ на вопрос о причинах взаимоотношений к школе — отношения к учителям и отношений с одноклассниками. Как правило, между учителями и учениками нет личного контакта, поэтому они как бы "свободны" от нравственных обязательств по отношению друг к другу. Неудивительно поэтому, что когда такой контакт возникает, то желание "не огорчать" любимого учителя может оказывать сильное дисциплинирующее воздействие (как в отношении учебы, так и поведения).

Отсутствие личных отношений ведет к тому, что недовольство школьными порядками выливается в хулиганство, издевательства и другие весьма некрасивые вещи. Но даже и легальный вариант вежливого выражения недовольства не предусмотрен официальной системой образования, более того, может быть расценен как бунт и "подрыв устоев" и авторитета школы. Государственная политика, межнациональные сложности также вторгаются в школьную жизнь и создают в ней дополнительную зону для конфликтов. Иногда они кончаются трагически.

Личностные отношения в школе складываются в основном между учениками. Но и они, по правде сказать, весьма далеки от идеальных. Стихийный процесс ученического взаимодействия устанавливает иерархию (причем на достаточно жестоких принципах)

внутри школы, но не приводит к формированию некоей общности (коллектива). Здесь сказываются многие различия между детьми, как социальные, так и интеллектуальные или физические. Отношения с товарищами — вот что может и отравить, и облегчить жизнь в школе. Когда в школе ребенок находит друзей, то это значительно скрашивает все тяготы школьной жизни. В школе образуются небольшие дружеские группы, основывающиеся на общности интересов. Иногда друг — один, но зато "закадычный", на всю жизнь. Часто ребята группируются вокруг лидеров, и происходят стычки между "своими" и "чужими". Не вошедшие ни в какие группировки стремятся перессорить одноклассниц или одноклассников. Утвердить себя в среде сверстников хочет каждый и добивается этого разными путями. Одним из них является непослушание, противостояние учителям, издевательство над ними. Ведь "любимчиков" в классе не любят. Особенно страдают от детских шалостей добрые и безобидные учителя.

Складываются школьные взаимоотношения сложно. Если недовольство школьными порядками и учителями может иметь форму протеста-хулиганства, то возмущение отношениями в среде соучеников и более опасно (в первом случае ты — часть коллектива, во втором — один против всех) и требует большей нравственной силы. Новичок в классе, как и в любом другом детском коллективе, подвергается испытаниям, часто весьма жестоким: ему дают щелчки, затрещины, его высмеивают. Так дети реагируют на "чужака", так они знакомятся и выявляют сущность характера новенького: кто таков, какое место займешь среди нас? Что делать, как поступать новичку перед лицом насмешек и побоев? Жаловаться учителю? Обороняться? Перетерпеть? Или вступать в схватку и отвечать ударом на удар? Издеательства старших над младшими отвратительны, но, к сожалению, весьма типичны для школьного быта. И особенно страшно, когда диктат старших происходит при молчаливой поддержке его учителями. Для школы, как и для армии, характерны унижение и издеательства старших над младшими, сильных над слабыми. Здесь действует закон силы. Действует он и в семье, где часто старшие братья и сестры жестоки по отношению к младшим. Детский коллектив в воспоминаниях выглядит иногда даже страшнее, чем в знаменитой книге У. Голдинга "Повелитель мух" или в кинофильме Р. Быкова "Чучело". Немало вопросов также возникает, когда мы пытаемся понять, почему же многие авторы отказывают школе даже в ценности знаний, в ней приобретенных, в их пользе для своей последующей жизни. Видимо, в какой-то степени это можно объяснить тем, что воспоминания часто пишутся с точки зрения "дела своего будущего Я", это мемуары известных писателей, художников, ученых. И естественно, что в смысле профессиональном общеобразовательная школа им мало что дала.

Что же все-таки есть школа? Институт, работающий на благо ребенка, или машина по уничтожению детства? Земля обетованная или фабрика по производству безличностей? На этот вопрос давно и мучительно ищут ответ педагоги и родители, ученые и практики. Возможно ли создание школы, созвучной природе ребенка, или она — средство производства массовой продукции для государства? Можно ли на это найти ответ, исходя из школьной "природы", из общих особенностей создающейся воспитательной среды, или все зависит от конкретной школы и педагогического коллектива? Автобиографии ставят эти вопросы, ответы на них следует искать прежде всего в собственной душе и личном опыте.

В качестве "послесловия" к введению в главу хотелось бы предупредить читателя, что в ней, увы, превалируют воспоминания о плохой школе, о школе, как о том месте, от пребывания в котором у человека остаются лишь скорбные отголоски. Такой эффект не есть внутренняя установка или сокровенное желание составителей книги привить читателям стойкое отвращение к качеству и методике преподавания, к фигуре учителя как таковой. Отнюдь нет. Преобладание негативных воспоминаний о школе в опубликованных автобиографиях XIX—XX столетий оказалось неожиданным и для коллектива составителей, этот эффект был незапланированным и для нас удивительным. Постаравшись немного смягчить его, мы все же не смогли рискнуть утаить данное обстоятельство от читателей. Но вот что мы хотели напомнить перед обращением к самим текстам: даже самая скверная

школа выполняет все же важные функции социализации, даже в самой скверной школе есть, по крайней мере, несколько учителей и предметов, о которых сохраняется добрая память. Как бы нам хотелось, чтобы положительных воспоминаний о школе было гораздо больше, чем отрицательных!

* * *

Я быстро привык

Меня и определили в киевскую гимназию. Грустно было расставаться с любимым домом, с родителями, с Мироном и товарищами. Но еще тоскливее показалось в Киеве, среди совершенно чужих людей. Еще сохранился в платьях аромат лесов и садов, еще в памяти рисовались картины приволья и свободы в родном гнезде, еще не высохли слезы разлуки, как уже нужно было по шести часов высиживать в душных комнатах, выслушивая сухие наставления; ходить и гулять в строю под надзором воспитателей; вставать, ложиться и обедать по звонку и вообще соразмерять каждый свой шаг с педантическими правилами сурового режима, который царил тогда во второй киевской гимназии. Школьные дни протекали строго по расписанию. Все делалось по указке, и самому ребенку, его инициативе, ничего не предоставлялось. Для меня, выросшего на свободе, в степи, сносить все это было крайне тягостно.

Как новичка меня встретили очень любезно, каждый, проходя мимо меня, считал неременным долгом наградить меня щелчком по лбу. "Новичок? Щелчок!" — ликующе восклицал "старик" (так называли воспитанников старших классов), и резкий щелчок впи-вался в мою бедную голову, начинавшую уже пухнуть от таких поздравлений. Педагоги были скучнейшие и я, сидя на скамье, не раз задумывался над тем, откуда берутся такие безрадостные люди. Мне казалось, что кто-то их насильно заставляет нас учить и мучить... Состояние общества, конечно, сказывалось и на школе. Теперь и представить себе трудно, в каком плачевном состоянии тогда находилось дело воспитания и образования, кому оно было вверено. После сурового режима киевской гимназии, после домашнего уюта я вдруг очутился в бедламе, именуемой тамбовской гимназией. Не знаю, что она представляла до меня и после меня, но в мое время она была вместилищем всего дурного и скорее походила по своим нравам на бурсу, хотя воспитывались в ней преимущественно дворянские дети. Родители, провожая меня, страшно беспокоились за мои познания, но оказалось, что моих небольших знаний, полученных дома, вполне достаточно, и, по испытанию, я был назначен прямо в четвертый класс.

Директор гимназии, добрейший Артюхов, был человек бесхарактерный, и дисциплины, вследствие этого, не было никакой. Педагоги, гимназисты, дядьки — делали, что хотели. Воровали, кому было не лень. На уроках обычно играли в карты, распивали квас, убегали в трактир "Золотой якорь" состязаться на бильярде, или вовсе уходили из гимназии рано утром и разгуливали целый день по знакомым, посещали вечеринки, и даже, переодевшись в штатское, проникали в клубы... Педагоги уроков не посещали, так как были завалены частными домашними уроками у местных помпадуров... Все это никого не удивляло: все полагали, что так обстоит дело везде.

Много содействовало распущенности еще то обстоятельство, что многие жили по частным квартирам, так как помещение гимназии было страшно тесное, грязное, сырое... Учились мы чему-нибудь, а главное — как-нибудь, вернее, ничему и никак не учились. Пособий не было никаких, читать было нечего, уроков не задавали, и следовательно, и не готовили. В классах на уроках стоял такой галдеж, что при всем желании что-либо схватить, усвоить, сделать было это невысказано. Хорошо помню преподавателя древнего языка, тогда преподавали только латинский язык. Он напоминал того учителя по исторической части, о котором в "Ревизоре" рассказывает Сквозник-Дмухановский. Увлекался страшно, жестикулировал, читал на разные голоса, теребил свои волосы, потрясал кулаками, но занимался

только с тем, кого вызывал к кафедре, а остальные могли заниматься чем желают. Иногда он приносил в класс свои произведения: он сочинял пьесы и читал их нам, снабжая каждую тираду длиннейшими примечаниями. Мы делали вид, что восхищены до глубины души, интересовались подробностями, он же входил в раж, увлекался еще более и читал нередко несколько дней подряд, а мы, таким образом, отлынивали от занятий. И росли мы, как олухи небесные!

Церкви в гимназии не было, но зато мы были обязаны каждую субботу ходить ко всеобщей, а в праздники к обедне — в собор, но, так как нас отпускали одних, без наставников и дядек, то можете себе легко представить, как много из нас было богомольных.

Я быстро привык к общему строю жизни. Казацкий мой нрав пришелся к месту и я скоро ни в чем не уступал "старикам". Во многих проказах я был инициатором и главарем, но всегда умел прятать концы в воду. Бывало, после какого-нибудь происшествия вызовет тебя для объяснений Неслуховский — наш инспектор, а ты сделаешь серьезное, невинное лицо. Он посмотрит и скажет: "Нет, нет!.. Это сделал не Горелов. У него слишком открытые, чистые и добрые глаза!" Наивнейший был человек!

Жил я при гимназии и как не подпал под дурное влияние — сам удивляюсь! Судьба сберегла меня для лучшей участи, а многие опускались очень низко: заводили грязные романы, играли в карты, воровали и спивались — распущенность, наконец, дошла до того, что через год, кажется, после моего выхода, один воспитанник, поляк, вырезал купеческую семью, в которой был репетитором. Полагали, что преступление свое он совершил с целью грабежа, некоторые же уверяли, что убийство произошло из мести, на национальной почве, — в это время сильно притесняли поляков. Приговорен он был к смертной казни, замененной, по причине его молодости, ссылкой в Сибирь на вечное поселение, где постигла его ужасная участь [Давыдов 1931, 87, 91—93].

К таким наставникам мы не могли питать уважение

Меня определили в Благородный пансион.

Эти благородные пансионы существовали единственно только для детей привилегированного класса, родителям которых казалось тогда обременительным и бесполезным подвергать своих избалованных и изнеженных деток излишнему труду и тяжелому университетскому курсу, наравне с какими-нибудь разночинцами и семинаристами. Курс благородных пансионеров едва ли был не ниже настоящего гимназического курса, а между тем эти пансионы пользовались равными с университетами привилегиями. Некоторые профессора университета и учителя не скрывали по этому поводу своего негодования и высказывали его очень резко, особенно на экзаменах. Они пожимали плечами, покачивали головами и справедливо замечали, что награждать университетскими привилегиями таких неучей, как мы, — вопиющая несправедливость. Об этом нам особенно часто повторял учитель латинского языка, преподававший этот язык также и в Высшем училище. Он с каким-то особенным ожесточением нападал на нас. Неблаговоспитанность его доходила до крайних пределов. Если кто-нибудь из нас не знал урока и повторял подсказываемое ему сзади товарищем, то учитель, насупив свои густые брови, восклицал обыкновенно:

— Коли будешь слушать чужие речи, то тебе взвалят осла на плечи. Болван!

При таких грубых выходках оскорбленные ученики поднимались со своих скамеек и в один голос говорили:

— Покорно прошу обращаться с нами вежливее. Здесь не Высшее училище. Мы дворяне.

— Ах вы, пустоголовые дворяне! — возражал учитель. — Ну какой в вас толк? Да у меня в Высшем училище последний ученик, сын какого-нибудь сапожника, без одной ошибки проспргает глагол ато, покуда я его держу на воздухе за ухо...

Профессор математики, экзаменовавший нас, обыкновенно повторял с злобою:

— Нет, никуда вы не годитесь... разве только в гусары либо в уланы.

Впрочем, некоторые профессора и учителя, самые неумолимые, строгие и грубые, оказывались не только снисходительными, даже нежными к тем из нас, которые перед экзаменом адресовались к ним с просьбой о частных уроках. К числу таких принадлежал и неблаговоспитанный учитель латинского языка.

Когда ученик являлся к нему перед экзаменом с просьбой о частных уроках, учитель латинского языка обыкновенно приятно ухмылялся и говорил:

— Я предупреждаю вас, что беру за уроки дорого... 25 р. за урок. Шесть уроков для вас будет довольно. Это будет стоить вам 150 р. — и деньги покорнейше прошу вперед.

Ученик отдавал ему деньги. Учитель являлся на первый урок, объявлял ему то, что именно он спросит его на экзамене, и затем уже более не являлся на остальные пять уроков, отговариваясь неимением времени или болезнью.

К таким наставникам мы не могли питать уважения; к тому же их рутинное, пошлое, устарелое преподавание по самым жалким курсам не могло не только заохотить нас к учению, но просто отвращало нас от этой мертвой науки — и мы принуждали себя учиться только для того, чтобы получить известный класс... Наши умственные способности нисколько не развивались, они, напротив, тупели, забитые рутинной. Бессмысленное заучиванье наизусть, слово в слово по книге, было основой учения, и потому самые тупые ученики, но одаренные хорошою памятью, всегда выходили первыми.

Пошлость, тупоумие и разные нелепые выходки наших наставников заставили нас смотреть на них, как на шутов, и забавляться их смешными и слабыми сторонами [Панаев 1988, 28—29].

Учение

По старым, патриархальным обычаям того времени наше учение началось дома. Родители не жалели денег и устроили нам целую гимназию...

Однако необходимость получения льгот по воинской повинности и соответствующего образовательного ценза принудила мать согласиться. Меня, уже тринадцатилетнего мальчика, повели держать экзамен в третий класс в одну из московских гимназий. Для того чтобы Бог умудрил меня на предстоящих испытаниях, няня повесила мне на шею мешочек с грязью со святого Афона, мать и сестры навешали на меня образки. Вместо третьего класса я попал в первый, и то благодаря протекции и хлопотам. Пыжась написать экстемпорале, я от бессилия теребил пуговицу на груди, она продырявила мешочек с афонской грязью, и грязь просыпалась.

По возвращении домой меня, верзилу, ученика первого класса, бранили, а потом послали в ванну, которую я пополнил собственными слезами, смывая афонскую грязь.

Тогда я уже был почти того же роста, как и теперь. Мои же товарищи были все малорослые, немного выше моих ног. Естественно, что входившие в класс сразу обращали внимание на меня. Придет ли директор, придет ли попечитель — и непременно вызывают меня. Как я ни старался быть ниже ростом, ничего не выходило, я только привыкал горбиться.

Меня отдали в гимназию как раз в то время, когда усиленно культивировалось классическое образование. Выписанные в Россию иностранцы всех национальностей для проведения в жизнь классической программы водворяли свои порядки, нередко идущие вразрез с природой русского человека.

Директор нашей гимназии был глупый человек и чудак. Он прибавлял букву "с" почти к каждому слову. Входя на кафедру и обращаясь к нам с приветствием, он говорил:

"Здравствуйте-ста-с, молодые люди-ста-с! Сегодня-ста-с будет экстемпорале-ста-с. А прежде всего проверим рецензиум-ста-с вер-борум-ста-с".

Сидя на кафедре, он ковырял ручкой пера в ухе и вытирал перо о тряпочку, которая с этой целью носилась в кармане.

Но многое ему Бог простит за то, что он был добрый человек, и я не поминаю его злом.

<...>

Из-за самых пустых причин, без всякого разбора дела, детей сажали в карцер. А в карцере были крысы. Ходили даже сплетни, будто их там нарочно разводили, — вероятно, с педагогической целью, чтобы наказание было действительно.

Преподавание заключалось главным образом в долблении латинских исключений и зазубривании не только самого текста поэтов, но и перевода его на ломаный русский язык. Вот образчик такого перевода, который мы учили наизусть. В одном месте "Одиссеи" было сказано, что "конь насторожил уши". Но учитель-иностранец перевел дословно и заставлял нас зазубривать фразу так: "уши на конце торчат".

Должен быть справедливым и сознаться, что некоторые из моих товарищей вышли из гимназии с хорошими знаниями и даже с недурными воспоминаниями о проведенном в гимназии времени. Но я никогда не умел зубрить; непосильная работа, задаваемая памяти, совершенно истощила ее и испортила на всю жизнь. Как актер, которому нужна память, я претендую за это увечье и с недобрим чувством вспоминаю гимназическое время.

В смысле науки я ничего не вынес из гимназии. У меня и по сие время ноет сердце, когда я вспоминаю мучительные ночи, проведенные за зубрением грамматики или греческого и латинского текста поэтов: двенадцать часов ночи, свеча догорает, борешься с дремотой, мучительно напрягаешь свое внимание, сидя над длинным списком ничем не связанных между собой слов, которые нужно запоминать в установленном порядке. Но память не принимает больше ничего, точно губка, переполненная влагой. А надо еще вызубрить несколько страниц. Если же нет, — то впереди крик, плохой балл, может быть, и наказание, но, главное, ужас перед учителем с его унижительным отношением к человеку!

Наконец терпение переполнилось, отец над нами сжалился и решил взять нас.

Мы перешли в другую гимназию, которая являлась полной противоположностью той, из которой мы бежали. Здесь тоже совершались невероятные вещи, но совсем иного рода. Так, например, за несколько недель до нашего поступления был такой случай. Инспектор, красавец и известный покоритель женских сердец, обходил дортуары воспитанников. Вдруг один из них, восточного происхождения, погнался за инспектором с поленом в руке и бросил его в своего начальника, желая переломить ему ногу. К счастью, дело ограничилось одним ушибом. Инспектор долго хворал, а ученик сидел в карцере. Но дело замяли, так как в него была замешана женщина.

В другой раз в одном из классов начался урок, в середине которого послышались звуки гармоники и глухое, точно отдаленное, пение. Сначала не обратили на него внимания и думали, что оно доносится с улицы; но потом разобрали, что звуки идут из чуланчика, который находился при входе в класс. Оттуда извлекли пьяного ученика, которого запрятали туда, чтобы он проспался.

Многие из учителей были чудачки. Так, например, один из них входил в класс каждый раз по-новому: дверь отворялась, и в класс летел и попадал на кафедру учительской журнал, который носят с собой преподаватели для отметок и замечаний; вслед за ним уже являлся сам учитель-комик. В другой раз тот же учитель неожиданно являлся в класс раньше звонка, когда мы все еще шалили, бегая по классу. Мы пугались, бросались к своим партам, а он тем временем скрывался и возвращался с опозданием.

Священник был тоже наивный чудак. Его уроки предназначались нами для подготовок к латинскому и греческому. Чтобы отвлечь старика и сорвать его урок, один из товарищей, очень умный и начитанный человек, заявлял священнику, что Бога нет.

"Что ты, что ты, перекрестись!" — пугался старик и начинал вразумлять заблудшего. Казалось, что ему это удастся. Он даже был рад своей победе. Но тут выплывал новый, еще более кощунственный вопрос, и бедный пастырь вновь считал себя обязанным спасти заблудшую душу. За этой работой протекал весь урок. В награду за ловкость и усердие товарищу преподносили несколько пирогов с ливером во время ближайшего завтрака.

Выпускные экзамены обставлялись с необыкновенной строгостью. Больше всего боялись письменных экзаменов греческого и латинского языка. Этот экзамен происходил в огромном

круглом старом зале дома. Выпускных учеников, которых было всего де-сять-пятнадцать человек, сажали за отдельные парты, расставленные на большом расстоянии. Чуть не перед каждой партой стоял учитель или надзиратель, чтобы не допускать списывания. Посреди залы был длинный стол, за которым восседали директор, инспектор, учитель, ассистент и проч. В результате все без исключения ученики списали свои работы у одного из товарищей. У всех были одни и те же ошибки. Весь синклит ломал себе голову, чтобы разгадать этот фокус. Хотели назначить переэкзаменовку, возбудить дело, но оно прежде всего сконфузило бы самое начальство, которое не находило даже приблизительного объяснения случившемуся. В чем же секрет? Ученики, которые все, кроме одного, не знали предмета, вместо того чтобы изучать его перед экзаменом, закрыли книги и обратили все свое внимание на азбуку глухонемых. По целым вечерам они занимались только этим. Первый ученик, писавший экзаменационную работу на высший балл, продиктовал ее нам, на виду у всех, пальцами рук. Прошло много лет. Я уже был взрослым, женатым человеком, когда встретился с бывшим учителем греческого языка. Он еще не забыл случая и умолял меня открыть секрет.

"Ни за что! — ответил я со злорадством. — Я завещаю секрет своим детям, если вы не научитесь делать учебные годы детей радостным сном на всю жизнь, а не каторжной работой, о которой вспоминаешь, как о мучительном кошмаре!" [Станиславский 1972 55—59].

Регби

Год спустя я и переехал в Регби, в школу, которая своей высокой репутацией обязана (как я обнаружил со временем) гению одного первоклассного учителя, Роберта Уайтлоу. Он был человеком, который украшал все, к чему прикасался. Один год из тех пяти, что я находился там, я учился в его классе, и потому было бы несправедливо утверждать, что мое пребывание в школе оказалось напрасной тратой времени. Были и другие приобретения. Я провел три года в шестом классе и два из них был старостой ученического общежития; здесь впервые я ощутил прелесть административной деятельности и раз и навсегда научился заниматься ею. Кроме Уайтлоу, который, очевидно, совершенно искренне предполагал, что все знают так же много, как и он, заставляя тем самым учеников совершать невероятные подвиги, я некоторое время занимался и с другим хорошим преподавателем, С. П. Хастингсом. От него я много узнал о новой истории. Я подружился и с некоторыми учителями, которым не довелось обучать меня; что же касается моих отношений со сверстниками, то они всегда были превосходными.

Вот и все блага, которые дала мне школа как таковая. Остальные я приобрел скорее вопреки ей. Я открыл для себя Баха, научился играть на скрипке, изучал гармонию, контрапункт и оркестровку, сам сочинял массу ерунды. Я научился читать Данте и познакомился со многими другими поэтами на разных языках, ранее мне неизвестными. Это несанкционированное чтение (для которого летом я обычно забирался на иву, склоненную над Эйвоном) я бы отнес к самым счастливым воспоминаниям о Регби, хотя и не самым сильным. Последние же связаны со свинскими условиями нашего быта, с постоянным запахом гнили. Второе, что мне приходит в голову, — это ужасающая скука занятий (занятий предметами, которые должны были вызывать захватывающий интерес) у усталых, рассеянных или некомпетентных педагогов; затем — муки из-за расписания, явно придуманного для того, чтобы заполнить время какими-то обрывками деятельности, да так, чтобы никто не мог приняться за работу и сделать что-нибудь стоящее. В особенности же это расписание было придумано для того, чтобы помешать "думать"... [Коллингвуд 1980, 325].

Жизнь была веселой в общем-то

...Каждая гимназия, коммерческое или реальное училище, многие высшие и начальные

городские училища имели своеобразные, иногда немножко чудные традиции. Одни гимназии состояли в дружбе, другие — в традиционной вражде. Например, в Николаевском парке, ныне парк Шевченки, кажется, с одной стороны находилась наша Первая гимназия. Императорская Александровская, с другой стороны, прямо напротив, кажется, Императорское коммерческое училище. По традиции, особенно зимой, по снегу, в Николаевском парке по субботам после уроков происходили Кулачные бои между нашей гимназией и коммерческим училищем. Это, конечно, было предприятие, связанное с целым рядом мероприятий по защите от начальства гимназического и коммерческого и от полиции. Потому что, конечно, начальство все это не одобряло. Но проводились настоящие стычки по всем старинным правилам, с запретом набирать пятаки в кулак и с определенными правилами, куда можно и куда нельзя бить. И эти бои проходили настолько интенсивно, что иногда мне после таких боев приходилось часик-другой где-нибудь оттираться снегом и в парке отлеживаться перед тем, как возвращаться домой, чтобы очень уж не бросалось домашним в глаза то состояние, в котором мы после таких боев находились.

Но некоторые гимназии друг с другом дружили. И вообще в поведении гимназистов и школьников на улицах, в парках — всюду в Киеве — по традиции сохранялось "льцарство", как говорилось, рыцарство своего рода. Например, мы идем втроем — встречаем четырех "коммерсантов". Мы могли задрать их и начать небольшую свалку или драку, но они не могли, потому что их было четверо, а нас трое. На их стороне было большинство, и это считалось бы не рыцарским поведением: задрать, так сказать, более слабую сторону.

Было одно исключение. Все школы рыцарски относились друг к другу более или менее, за исключением частной гимназии Нау-менки. Это была частная привилегированная гимназия, в которой учились главным образом дети богатых родителей, так сказать буржуазии тогдашней. Они имели отличную от всех прочих гимназий форму — синюю такую. И вообще они несчастные были юноши, потому что их разрешалось бить в любой комбинации. Нау-менковцев можно было, ежели даже трое, а он один, все равно можно было ему морду набить. Так что они как бы вне закона стояли. Наверное, мы не любили все науменковцев за то, что они, во-первых, были передовые, во-вторых, богатые, в-третьих, какие-то такие чистенькие, холеные и вели себя соответственно — тихо и смиренно. Интеллигентные были мальчики.

А мы были шпана, конечно. У нас были и традиционные занятия, и более-менее рыцарские, и более такие, ну, что ли, некультурные. Учился я во времена знаменитого Кассо. При Кассо гимназисты находились на таком, значит, полувоенном положении: после восьми часов вечера на улицу выходить не имели права, к различным неполадкам в форме строжайшие были придирки. Ежели кушак не так надет или число пуговиц не соответствует положенному на рубашках или куртках, ежели по улице школьник идет с неряшливо заткнутой за пояс рубашкой, то так называемые классные надзиратели и их помощники могли остановить, записать, и потом происходили от этого всякие неприятности.

Никакого телесного наказания в наши дни, конечно, не применялось, но карцер существовал. Можно было получить карцер на один день, а можно было и на две недельки получить. Это не значит двухнедельная отсидка, карцер означал отсидку в течение трех часов по окончании уроков. Ежели карцер давался на неделю, то всю неделю каждый день нужно было три часа отсидеть в карцере. Ну, конечно, это была неприятная штука. На неделю, на две недели получали редко, за наиболее крупные преступления. Ну, так на день-два-три — это довольно часто можно было получить.

У нас, в нашей гимназии, процветал в мое время такой спорт. Назывался он "марафонский бег". После восьми, так около полде-сятого-десяти вечера мы компанией, обыкновенно зимой, выходили на самые неположенные места, скажем, на Бибиковский бульвар, который был под полным запретом в вечерние часы для гимназистов. И там отыскивали какого-нибудь педеля — помощника классного надзирателя, по гимназической терминологии — коридорного наставника. Это были обыкновенно довольно бедные такие неудачники, по образовательному цензу не вытягивавшие в учителя, самая низшая категория служащих

министерства народного просвещения. По чину они были начиная с коллежского регистратора до коллежского секретаря: коллежский регистратор, губернский секретарь и коллежский секретарь — три самые низшие чина. Получали они небольшое жалованье, были обыкновенно люди многосемейные уже и подрабатывали сверхурочные, дежурия по ловле гимназистов вечером на улице. Это называлось "систировать". Они должны были систировать нашего брата.

А мы вот, значит, собирались в самое неполюженное время в неполюженном месте небольшой компанией и выискивали такого педеля. Конечно, перед этим загибался значок на фуражке. Ведь на фуражке была такая кокарда из дубовых листьев с номером гимназии. Вот этот номер гимназии либо чем-нибудь закрывался, либо загибался так, чтобы просто по внешнему виду нельзя было определить, из какой гимназии. Надо сказать, что обращаться к полиции этим педелям было строгойше запрещено. Это было дело не полиции, а дело министерства народного просвещения. Они должны были управляться, как хотели, сами.

И вот мы выискивали такого педеля, так сказать, показывались ему целой компанией — человека четыре-пять... Ему, конечно, выгодно было систировать сразу небольшую компанию: всякий улов количественно определяется. Одно дело систировать одного, другое дело — сразу пятерых. Он, значит, за нами, а мы от него. Он наддает ходу, и мы наддаем ходу. Он притомится, замедлит шаги, и мы замедляем шаг. И помаленьку так идем в район, скажем, "круглый", университетский. Это была улица, которая таким винтом шла вверх от Караваевской, кажется, по кругу университетскому. Замедляем ход — он нас почти догоняет. Мы опять припускаем до какого-нибудь темного, совершенно пустынного бокового переулка, куда мы загибаем. И он загибает. Мы по команде скидываем шинели, кроем его шинелями и смертным боем бьем. Потом быстро свои шинели берем и удираем уже бегом.

Нам потом было жалко, конечно, этих несчастных коридорных наставников, зарабатывавших свои сверхурочные. Но, в общем, это повело очень быстро к тому, что они все-таки никогда своих гимназистов, из своих гимназий, не систировали. Так что это имело некоторое воспитательное значение для воспитателей. А воспитанники, нет, они не разлагались, потому что все-таки разложения нет. Бить начальство — это не разложение, а наоборот. Вот. А, как я вам уже докладывал, рыцарство в основном работало, и группу явно слабейшую и малочисленную бить не полагалось. Они могли, конечно, нападать. Ну, конечно, ежели задерут, то их можно было и побить, но более сильный не имел морального права первым нападать. Так что из этого уже видно, что жизнь была веселой в общем-то.

Вот часто в различных мемуарах, особенно в мемуарах всяких наших передовых интеллигентов, встречаются воспоминания о школах типа бурсы... Ну, бурса существовала в XIX веке. В XX веке помяловская бурса, в сущности, уже нигде не существовала в России... А были в основном казенные гимназии и реальные училища, особенно провинциальные, довольно-таки мракобесные и с довольно строгой дисциплиной и с начальством, следившим за соблюдением формальных правил порядка в школе. И вот это обыкновенно наши передовые интеллигенты со всякими вздохами и причитаниями считали ужасным: у бедных мальчиков загублено детство этими самыми ужасными, какими-то отсталыми школами, гимназиями и так далее. Я считаю, это, конечно, все чушь. Такие отсталые порядки в школах, во-первых, не так были страшны. Не так страшен черт, как его малютки... Это я нарочно. А во-вторых, все имеет всегда свои плохие и свои хорошие стороны. Хорошей стороной в этой строгой дисциплине формальных порядков, заведенных в отношении одежды, в отношении поведения и в отношении просто дисциплины в общественных местах и при встречах с учителями, со своим начальством и довольно-таки строгих наказаниях при нарушениях... а за систематические нарушения школьных порядков выгоняли, иногда с волчьим билетом, то есть без права поступления в казенные заведения. Это имело, конечно, прекрасную воспитательную сторону.

Я в жизни своей часто убеждался, что вся эта так называемая педагогика, уговаривание, всякое такое... чепуховски смешное отношение педагогов к ученикам — в общем, один разврат, и толку от него никакого. В первую голову передовые школы с передовой

педагогикой не дают детям, учащимся, основного, что должна дать школа, — воспитания чувства ответственности, прежде всего за самого себя. Вот сейчас приходится наблюдать, что школьники в школах могут не только на головах ходить, а и со своими учительницами вытворять все, что им заблагорассудится, и ничего им не грозит решительно. А вот мы-то знали, что серьезное хулиганство влечет за собой, прежде всего для нас и для наших семей, ужасные последствия, поэтому с младших классов начиная все мы прекрасно понимали своим полудетским ученическим коллективом, что такое хулиганство допустимое и что такое хулиганство с под-линкой и недопустимое. И, во всяком случае, мы прекрасно знали, что за все проделки наши мы всерьез отвечаем. Вот это то, чего, мне кажется, не хватает в современной школе. Это в нас, несомненно, воспитывало чувство ответственности. А чувство ответственности должно воспитываться в человеке сызмальства, потому что это очень важная вещь во всей моральной структуре человека. У меня от всех этих, казалось бы, реакционных сторон организации тогдашней гимназической жизни в Киеве не осталось каких-нибудь таких очень уж неприятных воспоминаний. Во всяком случае, я, положив руку на сердце, не могу считать это чисто отрицательным явлением. Ну, конечно, были со стороны глупых и бездарных учителей, гимназического начальства и так далее перегибы, часто действительно нехорошее отношение к ученикам, но это было редко, а чаще... Бывали такие случаи, что если, например, директор заметит в классе какое-нибудь либо слишком уж серьезное хулиганство, либо что-то нежелательное, скажем в кавычках — политическое, он этого официально не замечал, а потом при случае нам давал понять, что он заметил. И это, конечно, лучше всяких наказаний заставляло нас опять-таки ответственно относиться и к нашему хулиганству, и к затеям, которые, как мы знали, гимназистам не полагались. И затеи эти продолжались, но велись так, чтобы не подводить друг друга и не подводить и наше начальство.

Вот, например, у меня был очень замечательный учитель Павел Викторович Терентьев, такой немножко вечный студент Киевского университета. Он сперва почти кончил естественное отделение физико-математического факультета, а потом перешел на медицинский факультет и уже кончил его после нашего отъезда из Киева, после того, как мы переехали в Москву. Павел Викторович обладал замечательным свойством, нужным, собственно, всякому преподавателю: я был человек, так сказать, трудноподдающийся дисциплинированию, порядку и всяким приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла Викторовича Терентьева. Я учился всегда прекрасно и выполнял все его указания, просто чтобы не огорчить его — настолько я уважал и любил Павла Викторовича Терентьева [Тимофеев-Ресовский 1995, 42—47].

Непреднамеренная жестокость

Довольно рано, по всей вероятности благодаря сильно развитому воображению и впечатлительности, я начал оценивать своих учителей со стороны их подхода к детям; за редкими исключениями, все учителя в их отношении к детям были друг на друга похожи. Я знал, что они были моими начальниками, и поэтому все знают и все умеют, но чувствовал, что они не умеют обращаться с детьми. Я помню отчетливо свою первую педагогическую оценку: я ясно видел, что мои учителя постоянно "забывают о том, как они сами были маленькими", и поэтому не понимают, как жестоко их ученье. Хотя благодаря этой критике во мне и должен был возникнуть протест против моего школьного начальства, тем не менее первые четыре года я учился чрезвычайно добросовестно и был на отличном счету у своих учителей. Я хорошо помню, как уже к концу четвертого года мое ученье стало в значительной степени мне надоедать. Я жадно искал среди взрослых такого человека, который бы мог меня понять, на кого бы я мог опереться. У меня были надежды, что в старших классах все будет идти как-то по-другому, но эти надежды не оправдались. Тот протест, который я чувствовал в себе и который видел в среде своих товарищей, стал гораздо более ясным в старших классах гимназии. Ученики совершенно определенно говорили о том, что

надо воевать с учителями; шалости, лицемерие, обманы, всевозможные способы устроиться так, чтобы получить хорошую отметку, ничего не зная, было самым обычным делом. В наших отношениях с учителями были и серьезные битвы, были маленькие победы и большие поражения. Ученье мне окончательно опостытело.

Участвуя во всех сторонах гимназической жизни и ученья, я продолжал оценивать те способы, которые применялись учителями по отношению к нам, ученикам, и относился к ним, вероятно, так же, как и все мои товарищи (за редкими исключениями): чрезвычайно отрицательно. Я чувствовал, что мои способности и мои запросы не находят себе здесь ни одного отклика. Я жил, учился и в то же время чувствовал, что так жить и учиться не надо; вся моя жизнь наполнялась огромным количеством всевозможных пустяков. На эту критику было затрачено чрезвычайно много сил, и это единственное, что было интересным, а работать систематически, настойчиво я совершенно разучился [Шацкий 1958, 9—10].

Отчаяние утрашения и благодать человечности

Занятия мои во 2-й гимназии шли успешно. Будучи почти, совсем не подготовленным ранее и очутившись после замкнутой деревенской жизни в чуждой мне среде и обстановке, я никак не мог отделаться от застенчивости, я был в полном смысле слова "дичком". И отвечать урок перед "страшным" учителем, да еще перед целым классом учеников, для меня было настоящей пыткой. Когда меня вызывали для проверки урока, я терялся, бледнел, память мне изменяла, и я лишался возможности что-либо соображать.

Но вот в моей жизни наступил перелом. Мои родители стали терпеть некоторые материальные затруднения. Представился случай перевести меня на вакантную стипендию в 1-ю классическую гимназию против храма Христа Спасителя. И с осени 1881 года я уже отрываюсь от своих, становлюсь пансионером 1-й классической гимназии и должен опять начинать там с приготовительного класса, так как меня оставили на второй год.

В 1-й гимназии, при повторных уроках, я стал постепенно привыкать овладевать собой и, понемногу осваиваясь, начал постигать "премудрости науки".

Но все же я чувствовал себя в пансионе отчаянно. Я никогда доселе не жил вне семьи, и для меня было ужасно очутиться среди чужих и в чуждых мне условиях.

А условия были поистине чудовищны, особенно в той гимназии, куда меня определили. В приготовительном классе, пока классным наставником не был директор гимназии, было еще довольно сносно. Но с первого класса, когда классным наставником и одновременно учителем русского и латинского языков сделался И. Дж. Л-ев, директор гимназии, — стало совсем невыносимо.

Директор Л. был едва ли нормальный человек. Его "строгость" граничила с жестокостью, а он давал тон всему учреждению. Он был грозой для всех. Его боялись не только мы, воспитанники, но и все педагоги, за редким исключением, в свою очередь представлявшие собой какую-то кунсткамеру. Среди них было немало всевозможных "чудаков", способных только калечить своих воспитанников...

Методы воспитания нашего директора заключались главным образом в том, чтобы "устрашать", как он обычно говорил. И он достиг своей цели! Мы все буквально дрожали, когда этот грозный старик входил в класс.

Когда мы, пансионеры, появлялись в классе с целою кипой книг в левой руке, придерживая их сверху подбородком, чтобы их не рассыпать, мы, находясь в каком-то волнении от предстоящего урока директора, инстинктивно быстро осеняли себя крестным знаменем. И курьезно: я потом неоднократно ловил себя на этом инстинктивном движении, которое вырывалось у меня в минуту сильного волнения. Помню, смотрел я Ермолову в "Грозе". После сильно проведенной ею сцены "Геенны огненной" я был так захвачен и взволнован ее игрой, что, когда опустился занавес и раздались аплодисменты, я поймал себя на том, что вместо того, чтобы аплодировать, моя рука по инерции описывала крестное знамение, точь-в-точь так, как я это проделывал, входя в класс на урок свирепого учителя!..

Так вошло в привычку, помимо воли, выражать этим движением свое волнение.

Приведу ряд примеров, по которым можно представить всю картину тогдашнего так называемого "воспитания".

На уроках русского языка отвечает кто-либо из учеников, и отвечает хорошо, но преподавателя это нисколько не удовлетворяет, и за хороший ответ он ставит свою излюбленную отметку — единицу. Причем не только по русскому языку, но ставит ту же единицу в журнал латинского языка и только потому, что он одновременно состоит преподавателем и того и другого предмета!.. Основание у него одно: "Для устрашения". И прибавляет: "Мальчишка, негодяй, можешь, можешь учиться, но не хочешь!.." А в назидание поднимает указательный палец правой руки с золотым перстнем и бьет им по лбу несчастного ученика...

Но хорошо приходящим ученикам! Получил две единицы в журнал (по-русски и заодно по-латыни), — ну и дело с концом, отправился все-таки домой. А вот, каково пансионерам! Что они испытывали от этого "устрашения"?! В бальник им обыкновенно, кроме единиц, вписывалось: "В отпуск не ходить". Это значило, что в праздник вы должны были сидеть в своей тюрьме, т.е. в пансионе, не смея и думать побывать дома, у близких сердцу, о чем так сильно мечталось в продолжение всей недели, вплоть до того, что высчитывались оставшиеся дни и даже часы...

А иногда и этого мало было директору; он добавлял страшную фразу: "Завтракать со мной". Это означало, что во время большой перемены, когда всех пансионеров попарно поведут в столовую завтракать, вас пригласят в приемную и поставят в угол с учебною книжкою всем на посрамление.

В эти часы обыкновенно являлись родители воспитанников, подчас вам знакомые, за получением каких-либо справок или объяснений к классным наставникам, и каждый из этих посетителей почему-то считал нужным заинтересоваться вами и спросить: "За что наказан?" А иной еще прочтет наставление или пристыдит тебя... Стоишь, бывало, голодный, краснеешь и бледнеешь от стыда и обиды, сознавая всю несправедливость своего наказания, и чувствуешь себя обиженным и глубоко несчастным... <...>

Контраст между казарменно-тюремным режимом гимназии и моим пребыванием в семье в дни отпуска был настолько велик, что, наконец, мне стало невыносимо мириться с условиями жестокой и тупой формалистики в стенах гимназии, как бы нарочно предназначенной глушить в самом зародыше духовный рост юной жизни. Будь еще я приходящим, было бы возможно терпеть, но в душной атмосфере пансиона я положительно задыхался.

Моя мать своей чуткой душой разгадала, что происходит во мне, и стала искать выхода из создавшегося положения.<...>

Итак, из 4-го класса гимназии я перешел в Земледельческую школу. Тут только я, как говорится, увидел свет!..

Добром должен вспомнить я мое — правда, кратковременное — пребывание в этой школе. Все тут было иначе, чем в гимназии. Контраст поразительный. На первых же порах я почувствовал полное раскрепощение и человеческое отношение к себе вместо морального ущемления, незаслуженного третирования, окриков и всяческого унижения, в результате которых в конце концов теряешь веру в себя и впадаешь в полную апатию.

Подбор преподавателей в Земледельческой школе был очень сильный. Русский язык преподавал Александр Данилович Алферов. Москва хорошо знала этого замечательного педагога. Математику преподавал небезызвестный Фортунатов, естественную историю — Никитин.

Тут только я познал, что не все педагоги — манекены, что для них не обязательно быть сухими, жестокими и бездушными, что они могут быть людьми чуткими, живыми и могут считаться с индивидуальностью каждого из своих питомцев. А главное — людьми своего призвания, умеющими заинтересовать учеников своим предметом. Великое спасибо им! Они окрылили меня, дали бодрость и осмысленность в занятиях и помогли мне найти себя.

Из слабых, малоуспевающих питомцев гимназии я попал в первые ученики Земледельческой школы.

Помню, как-то на одном из уроков А.Д. Алферов, после того как я удачно ответил заданный им урок, вдруг объявил мне, что будет относиться ко мне строже и требовательнее, чем к остальным моим товарищам.

— Почему?.. — спросил я удивленно.

— А потому, что я вас считаю способнее других, — ответил А.Д. Алферов.

Не знаю, был ли это прием опытного педагога, или что-либо иное, но только подобные случаи заставляли меня еще более подтянуться и с еще большей силой уверовать в себя, в свои возможности.

Словом, все шло наилучшим образом, но лишь до поры до времени — пока не наступило лето. Вот тут-то я и не оправдал надежд толстовцев, к которым, как я сам воображал, принадлежал и я.

Летом всех нас отправили в Петровско-Разумовское на практику и, как на грех, на первых же порах заставили со скотного двора вывозить навоз.

Во мне, нужно признаться, была черта, ненавистная молодым студентам наших "субботников", не раз ими во мне осуждавшаяся, да и не только ими, но и некоторыми из наших родственников: во мне сидел... увы!., "ненавистный барчук"... И что делать? Я не мог преодолеть себя... Не мог копаться в навозе... И "барчук" взял верх. Я оставил практические работы и, покинув Земледельческую школу, твердо решил готовиться на аттестат зрелости при Московском учебном округе [Юрьев 1948, 14—16, 36—38].

Убийственное однообразие

Томительно-однообразная жизнь и отсутствие чего бы то ни было, что хотя несколько шевелило бы мысль, привлекало глаз, постепенно вливали в душу ледящий холод и замораживали ее. У будущих воспитательниц молодого поколения, которые должны были нести ему живое слово, совершенно была подавлена душевная жизнь и проявление самостоятельной воли и мысли. Всегда и всюду требовалась тишина, каждый час, каждая минута жизни распределялись пунктуально, по команде, по звонку. Результатом этого была развинченность нервов, что чаще всего сказывалось паническим, безотчетным страхом, который иногда вдруг овладевал сразу всеми воспитанницами. Когда вечером после молитвы классная дама уходила к себе, мы, нередко уже раздетые, босые и в одних рубашках, кутаясь в одеяла, размещались на кроватях нескольких подруг и начинали болтать. Но о чем могли разговаривать существа, умственно неразвитые, изолированные от света и людей, лишенные какого бы то ни было подходящего чтения? Мы болтали о разных ужасах, привидениях, мертвецах и небывалых страшилах. При этом чуть где-нибудь скрипнет дверь, послышится какой-нибудь шум — и одна из воспитанниц моментально вскрикивала, а за нею все остальные с пронзительными криками и воплями, нередко в одних рубашках, бросались из дортуара и неслись по коридору. Вбегала классная дама, начинались расспросы, допросы, брань, толчки, пинки, и дело оканчивалось тем, что нескольких человек на другой день строго наказывали.

Таким образом, через сто лет после основания института совершенно был забыт устав, данный ему Екатериною II, в котором так много говорилось о том, чтобы для "целости здравия увеселять юношество невинными забавами", приучать к чтению и устраивать библиотеки, которых у нас не было и в помине. Совершенно противно уставу Екатерины II, все условия института были направлены к тому, чтобы не было нарушено однообразие закрытого заведения. Наше начальство находило это необходимым для того, чтобы воспитанницы сосредоточивали все свои помыслы на развитии нравственных способностей, чтобы приучить их довольствоваться скромною долею. Но достигали диаметрально противоположных результатов. Слишком рассеянная жизнь, несомненно, делает учащихся малоусидчивыми, заставляет их легкомысленно относиться к своим обязанностям, но еще

более вредное влияние оказывало убийственное однообразие: оно стирало все индивидуальные особенности, оригинальность и самобытность, притупляло способности ума и сердца, охлаждало живость впечатлений, губило в зародыше восприимчивость и наблюдательность.<...>

За все время воспитания мы никогда не видели ни цветов, ни животных, не могли наблюдать и явлений природы: сидим, бывало, в саду во время летних каникул, а чуть только тучи начинают сгущаться, — нас немедленно ведут в дортуар или класс. Во время всей нашей затворнической жизни нам не удавалось видеть ни широкого горизонта, ни простора полей и лугов, ни гор, ни лесов, ни моря, ни рек и озер, ни восхода и заката солнца, ни бурана в степи, хотя мы и делали сочинения о всех этих явлениях природы. Те, у кого в детстве была развита любовь к природе, здесь совершенно утрачивали ее. Весьма естественно, что, окончив курс в институте, мы были вполне равнодушны к красотам природы. С утра до вечера мы видели перед собой лишь голые стены громадных дортуаров, коридоров, классов, всюду выкрашенные в один и тот же цвет. <...>

Известный детский ночной грех возбуждал к провинившейся бесчеловечное отношение со стороны всех без исключения окружающих. Это несчастье случалось с некоторыми воспитанницами обыкновенно лишь в первый год их вступления в институт, следовательно, когда им было 9 или 10 лет. В младшем классе редко кто из девочек понимал позор доноса на подругу, и никто из них не умел разобраться в том, происходит ли несчастье с товаркой от дурной привычки или от болезни. Совершенно так же плохо были осведомлены на этот счет и классные дамы. Между тем те и другие твердо усвоили понятие о том, как постыдно не соблюдать чистоплотных обычаев. Как только утром воспитанницы вставали и одна из них замечала, что у подруги не все обстоит благополучно, она объявляла об этом во всеуслышание. Провинившуюся осыпали бранью, кричали ей, что она опозорила дортуар, и звали классную даму, которая надевала провинившейся мокрую простыню поверх платья и завязывала ее на шее. В таком позорном наряде несчастную вели в столовую и во время чая ставили так, чтобы все взрослые и маленькие воспитанницы могли все время любоваться ею. Тут опять на несчастную сыпался град насмешек и издевательств, отовсюду раздавались вопросы — из какого дортуара эта особа? Во время урока несчастную избавляли от позорного трофея, но когда приходилось спускаться в столовую к завтраку и обеду, она опять была украшена им.

Этого несчастья воспитаннице никогда не удавалось скрыть от подруг, а между тем оно обыкновенно повторялось... Подруги, считая себя из-за нее окончательно опозоренными, все запальчивее выражали к ней ненависть и презрение, не называя ее иначе как позорными эпитетами, толкали, щипали ее. Чтобы предупредить повторение этой слабости, воспитанницы каждый раз, когда кто-нибудь из них просыпался, считали своею священной обязанностью будить несчастную. В дортуаре было до 30 девочек, они то и дело просыпались ночью и совсем не давали спать злосчастному ребенку. Понятно, что при этих нападениях несчастье с ребенком начинало быстро учащаться и в конце концов делалось хроническим явлением. Такие девочки являлись настоящими мученицами. В то время как бедную девочку чуть не сживали со света, никто никогда не обратился к доктору, чтобы узнать, не подвержена ли она какой-нибудь болезни, не следует ли ее лечить, вместо того чтобы карать с такою жестокостью [Водовозова 1987, 343—345, 359].

Национальный гнет

О гимназических порядках, об отношениях между учениками и учителями говорить не приходится. Нас наказывали за разговор на польском языке, несмотря на то, что во II классической гимназии, в которой я учился, в то время еще сохранились учителя-поляки. Но мы и к ним относились с большой осторожностью, глубоко убежденные, что "поляк на русской службе" — как нам говорили дома — хуже "москаля". Во II гимназии были и такие, но были и другие, весьма порядочные, как Скłodовский — отец Кюри-Скłodовской,

Крынский и другие. Но они с такой же опаской относились к нам, как мы к ним, и мы до окончания гимназии оставались чуждыми друг другу. Но с ними у нас хоть столкновений не было. Не то было с другими, в особенности с учителем немецкого языка фон Дуйсбургом, который заставлял нас учить стихотворение, рисующее подвиги немецкого героя, разгромившего всю польскую армию. Он этим не ограничивался и часто провоцировал нас на столкновения. Я как-то не вытерпел и спросил его, не было ли это в битве под Грюндвальдом, где немцы были на голову разбиты поляками. За эту дерзость я был оставлен на 2 часа без обеда, но зато дома мой ответ "швабу" был принят восторженно. Я на короткое время стал героем, чуть ли не мучеником. Но уже тогда впервые меня, как обухом по голове, ударило наставление матери: "Все же, мальчик, будь осторожен..."

Я тогда еще не понимал того, что "патриотизм" был не только в моей семье, но и в большинстве польских семей, только, так сказать, "для дома", а вне его рекомендовалось быть "паинькой". Я таким "паинькой" не был и вскоре чуть не вылетел из-за этого из гимназии. Я был в пятом классе, когда в Варшаву приехала, после продолжительного пребывания за границей, пользовавшаяся всемирной известностью, артистка Елена Модржеевская. Зная, в каком тяжелом положении находятся все учреждения под управлением царских сатрапов-руссификаторов, Модржеевская дала целый ряд спектаклей в пользу студентов, учеников гимназии и т.д., и только уже потом начала свои спектакли по контракту с Большим театром. Все учреждения, желая подчеркнуть свое отношение к артистке-гражданке, во время этих спектаклей устраивали ей оvationи, подносили венки, забрасывали цветами. Только мы одни, ученики гимназии, не могли принять в этом участия. Нам без разрешения гимназического начальства, даже в одиночку нельзя было посещать театры. Само собою разумеется, что чем внушительнее становились устраиваемые Модржеевской демонстрации, тем нам было досаднее, что мы ничем не выражаем своего отношения к ней. И нас в конце концов "прорвало".

В Варшаве в то время было шесть гимназий: I — по преимуществу для детей русских чиновников, IV, в которой группировались сыновья крупных польских помещиков, VI — аристократическая и три остальные — для детей обыкновенных смертных. Вот представители этих трех гимназий собрались и решили, что и "мы не лыком шиты", что и нам необходимо вывить свое отношение к артистке. Но как? После долгих препирательств постановили ни венков, ни букетов не подносить — Модржеевская поймет почему, — закупить раек и галерку и массой, не считаясь с запрещением, присутствовать на спектакле. Пьесу выбрали самую "невинную", чтобы начальство не могло придраться, и избрали трех человек, которым поручили заняться покупкой билетов. Обо всей этой затее узнало начальство и запретило дирекции театра продавать нам билеты. Это лишь подлило масла в огонь. Мы собрались вторично и решили, что коль скоро самым невинным нашим затеям ставятся препятствия, то нужно "им", т.е. начальству, "показать". Дети повстанцев, мы кое-что смыслили в конспирации. Притворились подчинившимися, в гимназии ни слова не говорили о своих планах, а тем временем, соблюдая конспирацию, собирали деньги на билеты, большой венок и букеты, поручили посторонним лицам закупить раек и галерку и, уже *не стесняясь ничем, пьесу выбрали "подходящую": "Даму с камелиями" Дюма. Мало того, к венку были заказаны польские национальные ленты с надписью: "Елене Модржеевской — польская учащаяся молодежь". Гимназическое начальство и полиция хватились лишь тогда, когда все было готово. Несколько полицейских не смогли сдержать натиска нескольких сот юношей, и мы ворвались в театр, поднесли венок и устроили шумную манифестацию. Несколько дней спустя во всех трех гимназиях началась расправа. Нас допрашивали: был ли на спектакле, давал ли деньги на венок, знал ли, что ленты национальные, кто собирал деньги на билеты и венок и кто поднес венок. На первые три вопроса мы отвечали утвердительно, на два последних отказались ответить. Тогда из каждого класса, по выбору инспектора, было исключено из гимназии по пяти человек. В числе исключенных был и я.

Во второй и третьей гимназии этим дело и окончилось; в пятой оно осложнилось. В число

исключенных не попал Игнатий Нейфельдт, подносивший венки. Считая, что другие страдают за него, он, когда инквизиторы уже уходили, заявил им: "Я поднес венки".

— И я, — откликнулся другой ученик — Домбровский.

— А я собирал деньги, — заявил мой однофамилец — Кон.

Они предполагали, что своим признанием спасут других, но добились лишь того, что их всех трое исключили с волчьими билетами. Этим дело не кончилось. На следующий день Нейфельдт явился к директору Хорошевскому с просьбой назначить ему другое наказание, так как исключение ставит его и его семью в отчаянное положение: он уроками содержит старуху-мать, а исключенный, он потеряет уроки. Тут же Нейфельдт прибавил, что, если его просьба не будет уважена, ему ничего не остается, как пустить себе пулю в лоб. "Жид — и пулю в лоб — не поверю", — ответил директор. Несколько минут спустя Нейфельдт с раздробленной головой лежал мертвый на полу в соседней комнате. Он после этого разговора жил только столько времени, сколько нужно было для того, чтобы написать записку с сообщением о разговоре с директором.

При известии об этом вся Варшава от мала до велика вознегодовала, а власти трусили. К исключенным, в том числе и ко мне, был на квартиру прислан курьер с вызовом в гимназию, где нам было объявлено, что попечитель округа оказал нам снисхождение и решил принять нас обратно в надежде на то, что мы исправимся. Мы не исправились. Несмотря на запрещение участвовать на похоронах Нейфельдта, все высшие классы упомянутых трех гимназий приняли в них участие, каждый класс с венком с соответственной надписью. Но не одни ученики демонстрировали, демонстрировали и родители. Тысяч до 50 человек участвовало в этих похоронах, на гроб было возложено более 200 венков. На первых порах власти не принимали никаких мер, даже Хорошевского перевели куда-то в глубь России, но когда все успокоилось, мы, намеченные ранее к исключению, были наказаны многочасовым карцером.

Само собой разумеется, что дух бунта, который не мог не быть в детях в крае поработанном, только усиливался и все более и более толкал на революционный путь. А так как все зло приписывалось поработителям Польши, то путь этот был путем борьбы за независимость Польши. С этого начинала вся более отзывчивая молодежь, с этого начал и я... но только начал [Кон 1927, 447—449].

Блестящее исключение

Греческий язык преподавал русский — и не специалист, Петр Александрович Каленов. Если во мне разгорелась искра любви к классическому миру, то этим в значительной степени я обязан ему. Его преподавание стояло в полном контрасте с требованиями программы. Он сам был влюблен в культуру древнего мира — эту любовь передал своим ученикам. Он понимал, что знать грамматические исключения не значит знать язык, не говоря уже о том, для чего знание языка нужно. И он меня понял, когда обнаружил во мне, посредственном писателе экстемпоралий и плохом знатоке "параграфов" с "исключениями", первые признаки интереса к древней литературе. Это была поэтическая натура; Каленов зажигался, комментируя классические произведения, и в его толковании греческие тексты оживали перед нами, становились нам близкими. Помню его объяснения к "Антигоне" Софокла: они поставили перед нами этическую проблему и подняли дочь Эдипа на недостижимую моральную высоту. Помню сильное впечатление, произведенное в его толковании "Апологии Сократа". Трагедия глашатая новой истины, павшего жертвой старых суеверий толпы, осветила особым светом диалектику Сократа в диалогах Платона. Призыв "познай самого себя" прозвучал не только как принцип критической мысли, но и как регулятив нравственного поведения человека. Этого рода "классицизм" выходил далеко за пределы полицейских предвидений его сиятельства графа Дмитрия Андреевича [Толстого]. <...>

П.А. Каленов не изменял своего внимания и доброго расположения ко мне не только до конца гимназического курса, но и за его пределами. Он, перед окончанием курса, заставил

меня составить список всего, что я прочитал в оригиналах по-латыни и по-гречески, и выступил в совете на мою защиту против тех, кто выставял мои пробелы в экстемпоралиях. Вероятно, его аргументы в пользу того, что значит пользоваться языком для изучения культуры, оказались убедительными. Никто в классе, не вышел из гимназии с высшей оценкой — золотой медалью; но я единственный получил серебряную. Я упомянул, что Каленов был поэтом и хорошим переводчиком. Он готовил к изданию свой перевод "Валенштейна" Шиллера и обратился ко мне — уже в послеуниверситетские годы, — чтобы я написал предисловие к книжке. Я был польщен и страшно обрадован возможностью хоть чем-нибудь отплатить за то многое, что я от него получил. <...> ...Кончина его была для меня настоящим горем. Это был человек глубоко культурный, насквозь порядочный и чистый, который умел среди безвременья удержаться на высоте тех идей, которые защищал в течение всей жизни [Милюков 1990, 79—80].

Возмутительный артистизм

Наш француз параллельно с учительской функцией нес еще обязанности классного надзирателя и на одной из перемен поймал меня с поличным — именно его и копировал я под гомерический хохот слушателей.

— Следующим уроком, — подражал я Камиллу Гавриловичу, — готовить глаголь *fermer* — закрывать и *ouvrir* — открывать, а я пошешь торговать.

Этими словами я закончил свое выступление. Но успех мой был сорван. В дверях стоял маленький пузатенький Камилл:

— Петкер, заверить ваш ранец и ступайт домой. Дайте дневник.

Свирепость Камилла была понятна. Я выдал его тайну. Помимо занятий в гимназии Камилл Гаврилович представлял в Харькове французскую мануфактурную фирму. Он это скрывал, и поэтому "я пошешь торговать" его особенно разозлило.

Нужно ли говорить о мучительности переживаний, о почти гамлетовских сомнениях, которые предваряли мое сообщение родителям, что их вызывают к директору "по поводу возмутительного поведения сына".

Сыном я был единственным и среди четырех моих сестер далеко не доминировал как мужская сила. Напротив, мои сестры воздействовали на меня чрезмерно и заставляли вместе с ними шить куклам платья, укладывать их спать, лепить котлетки из песка, аккуратно есть и даже мыть руки перед едой.

Эти немужские занятия я добровольно выполнял и, находясь в тисках матриархального уклада, рассказывал сестрам о бедах и радостях.

Старшая сестра "представительствовала" по родительскому поручению в гимназии. Я рассказал ей о моем "возмутительном поведении", и ее защита перед директором была основана на том, что у меня вообще есть склонность к театру, что злого чувства или неприязни к господину учителю у меня нет и что дома я тоже играю и успешно, закутавшись в простыню и густо напудрив лицо, читаю "Сумасшедшего" Апухтина, а вчера, изображая цирк (здесь я морщусь, потому что цирк фигурирует во всех актерских биографиях), вывихнул руку младшей сестренке.

Эта аргументация вызвала вдруг живой отклик у директора и преподавателя латыни Арташеса Михайловича Мелик-Гайказова. Я был прощен — и более того, Арташес Михайлович стал инициатором моих первых артистических шагов.

"Арташес", как фамильярно называли этого доброго учителя, принадлежал к той категории подлинных воспитателей, которые проявляли интерес к внутренним стремлениям своих учеников. Он был живым человеком, со всеми признаками дружелюбия и внимания.

Он организовывал кружки — по труду, по физике, очень любил музыку и театральное искусство.

В младших классах нам разрешали посещать театр лишь на утренниках. Вечером это возбранялось или допускалось с разрешения директора гимназии. Добрый Арташес

Михайлович выдавал эти разрешения охотно и на другой день обязательно просил поделиться впечатлениями.

Какие чудесные вечера мы устраивали! С четвертого класса я сыграл Агафью Тихоновну, Сальери, Варлаама, Маскариля в осознав свой огромный артистический опыт, в драматическом кружке "Стелла" стяжал неистовую славу в образе героя в чеховской сцене "О вреде табака".

На этот сборный чеховский спектакль пришел папа и, к моей большой радости, одобрил меня. Я учился тогда в шестом классе, и отец разрешил мне участвовать в этих спектаклях, если я не буду отставать в гимназии.

Нужно ли говорить, что я опьянялся успехом, выступая на всех благотворительных вечерах в качестве чтеца. Я читал все, без разбора: и пушкинскую "Полтаву" на два голоса — и за Кочубея и за Мазепу, — и "Ссору" Никитина на три голоса, и "Умиращую мать" Апухтина...

Гимназисты меня называли "артист", а гимназистки во время танцев, "флирта цветов" и "почты" изъяснялись мне в любви. Еще бы: с каким драматизмом я читал "Умиращую мать"!

В самый кульминационный момент я считал обязательным для себя на словах "все кончено" закинуть голову назад, произнося "молитесь за нее", потрянуть головой так, чтобы специально отпущенный для этой цели чуб падал на лоб. Я считал это самой эффектной точкой. Впоследствии, уже взрослым, я это увидел у целого ряда эстрадных рассказчиков и куплетистов.

Однажды после такого выступления, когда я ждал похвалы, Арташес Михайлович в присутствии "публики" сказал: "Отвратительное, бессмысленное кокетство. Чуб завтра же состриги". Это повергло меня в уныние, в результате которого я осознал уже тогда, как порочно подмешивать в искусство кокетство, самопоказ, заигрывание с публикой [Петкер 1968, 6—8].

Как непохож он был на других

В первые годы моего пребывания в гимназии нашим классным наставником, переходившим с нами из класса в класс, был Владимир Иванович Теплых, о котором я столько слышал от старшего брата.

И до сих пор я бережно храню в своей памяти навсегда отпечатавшийся в ней облик этого особенного, не совсем понятного, но по-своему необыкновенно привлекательного человека.

Как сейчас, вижу его высокую, стройную фигуру в отлично сшитом форменном сюртуке. Белоснежно поблескивает грудь его крахмальной рубашки, безупречно свежи воротничок и манжеты. Светло-русые волосы уже слегка поредели, но зачесаны так, что лысина почти не видна, хоть он и любит шутливо повторять латинскую поговорку: "Calvitum non est vitium sed prudentiae iudicium" — "Лысина не порок, а свидетельство мудрости".

Легкими и уверенными шагами поднимается он на кафедру, свободным, красивым движением раскладывает книги и открывает классный журнал. Даже отметки он ставит красиво — изящным, тонким почерком. А как умеет он радовать нас метким, шутливым словом, веселой, чуть лукавой улыбкой в те минуты, когда хорошо настроен. От этой улыбки и сам он светлеет — светлеют глаза, волосы, острая золотистая бородка — да и вокруг как будто становится светлей.

Ни один учитель не умел так держать в руках класс, как умел Владимир Иванович. Он никого не ставил в угол, не оставлял без обеда, но ученики боялись его пронизательных, слегка прищуренных глаз, его холодного и спокойного неодобрения больше, чем ворчливой ругани Сапожника [прозвище преподавателя русского и литературы Антонова] или визгливых и резких выкриков Густава Густавовича Рихмана, учителя немецкого языка.

До моего поступления в гимназию любимцем Владимира Ивановича был мой старший брат. Как бы по наследству его расположение перешло и ко мне.

Он преподавал нам с первого класса латынь, а с третьего и греческий язык, но, в сущности, ему, а не учителям русского языка — Антонову и Пустовойтову — обязаны мы тем, что по-настоящему почувствовали и полюбили живую, не книжную русскую речь.

Не много встречал я на своем веку людей, которые бы так талантливо, смело, по-хозяйски владели родным языком. В речи его не было и тени поддельной простонародности, и в то же время она ничуть не была похожа на тот отвлеченный, малокровный, излишне правильный, лишенный склада и лада язык, на котором объяснялось большинство наших учителей.

Отвечая ему урок, мы чувствовали по выражению его лица, по легкой усмешке или движению бровей, как оценивает он каждое наше слово. Он морщился, когда слышал банальность, вычурность или улавливал в нашей речи фальшивую интонацию. В сущности, таким образом он постепенно и незаметно воспитывал наш вкус.

Не знаю, был ли Владимир Иванович хорошим педагогом в общепринятом значении этого слова. Занимался он главным образом со способными и заинтересованными в изучении языка ребятами. К тупицам и неряхам относился с нескрываемым пренебрежением. Зато лучшие ученики шагали у него семимильными шагами. Они изучали латинский и греческий языки как бы на фоне истории Рима и Греции — так увлекательно рассказывал Теплых в промежутках между грамматическими правилами о героях Троянской войны, о походах Юлия Цезаря, об одежде, утвари и обычаях древних времен.

Однажды он явился к нам на урок географии вместо отсутствовавшего в этот день Павла Ивановича. Он не стал проверять, есть ли у нас атласы, никого не вызвал к доске, а рассказал нам о своем путешествии в Японию.

Уж одно то, что рассказывал он о далекой, почти сказочной стране не с чужих слов, должно было покорить нас, ребят уездного городка, которым даже поездка в Москву или в Харьков представлялась далеким и заманчивым путешествием. Мы читали книги о дальних плаваниях, но впервые видели перед собой человека, который сам пересек на корабле синие пространства, занимавшие столько места на нашей карте. Незадолго перед тем я и Костя Зу-юс, не отрываясь, прочли "Фрегат Паллада" Гончарова и даже проследили по карте весь путь этого корабля. И вот теперь Владимир Иванович так приблизил к нам все, о чем мы узнали из книги, словно подал надежду, что и нам доведется когда-нибудь постранствовать по белу свету. <...>

Нас, учеников, пленяли его гордость и независимость. Когда к нам в гимназию пожаловал однажды сам попечитель Харьковского учебного округа, впоследствии товарищ министра, тайный советник фон Анреп, во фраке с большой орденой звездой, Владимир Иванович продолжал как ни в чем не бывало свой очередной урок и будто нарочно вызывал к доске самых посредственных, не блестящих способностями и познаниями учеников. Фон Анреп, долго сохранявший на своем лице благосклонную улыбку вельможи, в конце концов нахмурился и важно удалился, не сказав ни слова.

Теплых был загадкой для всего города. Толки и пересуды сопровождали каждый его шаг. Рассказывали, будто изредка он заходит в городской клуб и в полном одиночестве выпивает рюмку коньяку с черным кофе. Но ничего более предосудительного в его поведении обнаружить не могли.

Очевидно, он не был по своему происхождению аристократом (об этом свидетельствовала его сибирская, крестьянская фамилия), но как не похож он был на других учителей провинциальной гимназии, которые давно опустились, забыли о своих университетских годах и стали чиновниками и обывателями.

До поступления в гимназию я слышал много разговоров о его строгости, о том, что заслужить у него пятерку труднее, чем георгиевский крест на войне.

Но, видно, моему старшему брату и мне повезло. Нас обоих он называл "триариями" (отборными воинами римской армии), редко вызывал к доске, а с места спрашивал только тогда, когда долго не мог добиться от других верного ответа. В таких случаях он шуточно говорил: "Res venit ad tririos!" — "Дело доходит до триариев!"

Каждую субботу я приносил домой заполненную и подписанную им страницу

ученического дневника, пестревшую тщательно, с удовольствием выведенными пятерками и даже пятерками с крестом.

Меня — в отличие от старшего брата — он обычно звал "Маршачком".

— А ну-ка, пусть Маршачок расскажет нам про двух Аяксов — Аякса Теламоновича и Аякса Оилеевича!

Героев "Илиады" я знал в то время не хуже, чем многие из нынешних ребят знают наших чемпионов футбола, хоккея, бокса. Я мог, не задумавшись, сказать, кто из ахеев и троянцев превосходит других силой, весом, ловкостью, кто из них первый в метании копья и кому нет равного в стрельбе из лука.

Еще в младших классах гимназии я перевел стихами целую оду Горация "В ком спасение" — "In quo salus est".

До сих пор помню несколько строчек из этого перевода:

Когда стада свои на горы
Погнал из моря бог Протей, —
В лесных деревьях, бывших прежде
Убежищем для голубей,
Застряли рыбы. Лани плыли
По Тибру. Тибр поворотил
Свое течение и волны
На храм богини устремил
И памятник царя...

Так сумел заинтересовать нас Владимир Иванович древними языками и античной литературой — предметами, столь ненавистными большинству учеников классических гимназий [Маршак 1961, 104—111].

В Большом Каретном

Году в 28-м меня отдали в школу. Школа была далеко от дома — на Самотеке, переулок Большой Каретный. Не знаю, почему меня отдали в эту школу.

Тут я хочу возвратиться к тому удивительному времени, когда я был — дитя, и медленно шествовал я от Бахметьевской до Каретного переулочка по садам и бульварам, от Екатерининской к Самотеке.

Эта школа была результатом больших сломов и не похожа ни на русскую гимназию, ни на нынешнюю школу.

Помню первые тетради, карандаши, тоненькие ручки, перья 86-й номер, бледные чернила, тесные парты.

Школа! Я ее любил и люблю этот старый дворянский особнячок в Большом Каретном. Я опять возвращаюсь к идее, которая мучит меня и не может не мучить, — к идее нашего назначения.

Эта школа чем-то была хороша. Вот чем. Бедностью, истинным демократизмом, верностью понятию самоуправления, особой свободой.

Рядом со мной в первый день занятий сидел ученик Царьков, маленький хлипкий мальчик, которого, как и меня, привела в школу мама, женщина, по моим тогдашним понятиям, ужасная.

Учительницы не было в классе. И Царьков заорал. Он просто орал из чувства необычности того, что с ним происходит.

Учительница Александра Николаевна, которую я возненавидел на всю жизнь, вдруг вошла в класс.

— Кто кричал? — спросила она.

— Кто кричал? — спросила она меня. И я ответил:

— Царьков.

И учительница Александра Николаевна, вопреки всем понятиям, внушенным мне дома, —

вере в то, что учителю надо говорить правду, вдруг с яростью, вероятно, непедagogичной, схватила меня за плечи и стала трясти, говоря:

— Как ты смел предать товарища! Я понял только после этот урок.

Учительница Александра Николаевна, видимо, принадлежала к той среде, которая породила нас.

В нашей новой школе, бедной, демократической, шатаемой поспешными педагогическими концепциями, в школе, постоянно устраиваемой, с кучей случайных людей, назначаемых нам в учителя, — в новой школе костяком были старые педагоги, лишь формально принимавшие новые веяния, а на деле исподтишка учившие нас по старинке грамоте и арифметике.

Хорошим, добрым учителем в первых классах был Алексей Юрьевич, по прозвищу Козел. Плохо выбритый, седой, в очках, необычайно тощий, в синем сиротском халатике, он умело обучал нас письму и чтению. Ненавидел он только игру в "расшибец", в "орлянку", которой мы весной и осенью отдавали все большие и малые перемены, прячась в углу школьного сада, за каменной стеной которого размещалось турецкое посольство. Когда мы самозабвенно били дореволюционным пятакoм по стопочке мелких монет, сэкономленных от горячего завтрака, Алексей Юрьевич с необычайной легкой прытью выбегал из-за угла. С криком "Козел!" мы разбегались. А он, поймав кого-нибудь, давал шлепка, деньги же забирал. Ходил слух, что на эти деньги он живет.

Математику преподавал Федор Федорович Виноградов, огромный усатый старик, всегда отдувавшийся, близорукий и наивный. Пользуясь его близорукостью, на уроках шалили. Он грозно кричал:

— Староста! Запиши мне этого дезорганизатора!

И записку с дезорганизатором клал в карман и, видимо, там забывал или путал с записками учеников, достойных похвал за поведение и учебу.

Лентяям он неподкупно ставил "неуд". Но можно было на том же уроке исправиться.

— Федор Федорович, вызовите меня, — просил ученик, только что получивший двойку.

— Да ты же уже отвечал, — недоумевал Федор Федорович.

— Что вы! — изумлялся весь класс. И ученик шел вторично к доске и с помощью виртуозно поставленной подсказки выправлял положение.

Федор Федорович давно вышел на пенсию и потому имел ограниченное число уроков, но в школу приходил ежедневно, охотно заменял заболевших учителей, давал дополнительные уроки и неизменно завтракал с нами — ел крупяные котлетки, политые несладкой клейковиной, и пил жидкое какао, пахнувшее жестяной кружкой.

Тогда в Москве только пустили троллейбус. И Федора Федоровича тотчас прозвали троллейбусом. Я слышал, как он в недоумении рассказывал в учительской:

— Подходят, спрашивают: "Федор Федорович, вы видели троллейбус?" Я говорю: "Нет!" А они: "Тогда поглядите в зеркало". Где же это я в зеркале увижу троллейбус?

Была у нас хорошая учительница литературы Евгения Алексеевна, смешная историчка Елизавета Ивановна, Швабра.

Немало было их, верных, преданных делу, добрых и бедных учителей, на которых стояла тогдашняя неустроенная школа.

Школой управляли часто сменявшиеся директора, нечто вроде щедринских градоначальников, из которых я запомнил только одного — он преподавал у нас историю. <...> Постоянными властями в школе были педагогический совет и учком, часто заседавшие совместно. <...>

У нас не было тогда ощущения социальных перегородок. Наоборот, школа приучала нас к равенству. И все же была явная тяга к своим. Ядро класса составляли дети интеллигентов. К ним прибывались и остальные.

Любимым другом моим с первых же классов стал Алеша Червинский (Червик). <...> С Алешей дружба у нас была не "интеллектуальная", не основанная на общем интересе к каким-нибудь наукам и искусствам, — это была истинная душевная привязанность. Нам

просто и легко было друг с другом. Мы вместе проживали свое детство и взаимно открывались. Мы и влюблялись одновременно в одну девочку и делились ранними любовными переживаниями, друг к другу не ревнуя. Соперниками своими считали остальных поклонников.

Лет с тринадцати, осенью, мы часто уезжали с Алешей в выходной день в Подмоскowie, которое он хорошо знал, ловили рыбу, собирали грибы, готовили себе еду на костре и обычно, сойдя утром на станции одной железной дороги, выходили к вечеру к другой, ближайшей радиальной от Москвы, и по ней возвращались домой. <...>

Еще моим другом был Володя Рожнов... Володя интересовался искусством. У него были книги по итальянской живописи, по скульптуре. Он тщательно и долго перерисовывал "Мадонну Литта" Леонардо да Винчи и в этом достиг большого искусства. Помню и его тщательный рисунок со скульптуры Верроккьо "Давид".

Тогда это все внушало огромное уважение к Володе. Дивило меня и еще одно его качество: он удивительно легко писал. Размашистым просторным почерком он мог исписать несколько тетрадей на любую заданную тему, в то время как я с трудом выжимал из себя несколько страничек куцего сочинения.

Володя Рожнов — один из тех школьных друзей, которые в друзьях остались и по сию пору, несмотря на долгие перерывы в общении. Нас соединяет братское чувство общего детства.

В шестом-седьмом классах мы сидели втроем на предпоследней парте, у окна, — Червик, Володя и я. <...>

В те годы обучение было совместное, как и сейчас, и никто из нас не думал, что оно могло быть иным. Но в первых классах мальчики и девочки держались особняком; даже я, воспитанный в девичьем обществе, не позволял себе в классе обращаться к подруге детства Люсе Дорошенко иначе, чем "Эй, ты!".

Классу, наверное, к пятому взаимный интерес пересилил традиционное отчуждение. В нашу компанию, описанную выше, вошли девочки [Самойлов 1995, 84—86, 87, 88—90, 95].

Грязная зелень школы

Подготовка к профессиональной жизни началась у меня еще в дошкольном возрасте. Мои занятия были только репетицией к тому, что называлось настоящей работой. Но перед этим мне еще предстояла школа.

После лета на даче меня ожидал первый школьный звонок, я сгорал от любопытства, что же такое — эта таинственная школа.

Школа у меня ассоциируется с грязно-зеленовато-бежевым цветом. Сегодня кажется, что стены в здании были покрашены именно так. Серая школьная форма и красные пионерские галстуки, алые, как учительские чернила в моих тетрадях и как необъятный транспарант с ленинской цитатой: УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ. Черные парты и доска. Неприятное ощущение от мела, не менее противное, чем от песка, забившегося под ногти, еще не выветрилось из моей памяти. Никогда не забудется затхлый запах тряпки, которой стирали с доски, запах, навязчиво прилипавший к коже. Какое облегчение я испытывал, когда по окончании занятий сбегал вниз по лестнице с одним-единственным желанием: вон, вон, вон отсюда!

В ушах по сей день стоит бесконечное разжевывание очередных партийных директив. Свободное выражение мыслей воспринималось как проявление незрелости. Эмоции, даже на занятиях по музыкальным предметам, дозволялись редко. Либретто и их героев анализировали по классовым признакам, партитуры потрошили на составные части, лейтмотивы и септаккорды. О духовных устремлениях, о великих чувствах и мыслях, которые меня интересовали, вообще речи не было. А я пребывал в поиске идей, убеждений, искал то свободное пространство, где не следовало вписываться в одну и ту же, навязчиво повторяющуюся и определенную кем-то безымянным категорию. В этом смысле я оставался

в некоторой изоляции. Тем из моих соучеников, у кого была склонность к систематичности, все давалось проще, и отметки у них были получше. Мое стремление уйти от всякого рода норм, в большей степени внутреннее, вредило мне. Работать и мыслить систематично полагалось на каждом шагу, но именно это и было для меня камнем преткновения. <...>

В десятом классе я вдруг обнаружил, что учеба может быть и захватывающей. Наша преподавательница литературы заболела, и ее заменила другая. Я словно проснулся. На протяжении трех недель уроки по литературе вызывали острый интерес и побуждали мыслить. Я чувствовал себя вправе не соглашаться с Пушкиным, увлекся Достоевским, затевал дискуссии во время и после занятий.

В эту недолгую весну литературы у "систематиков" в нашем классе возникли трудности. Мне наконец приоткрылись те великие вопросы, которые уже давно будоражили душу; им же самостоятельная трактовка казалась чуждой. Я начал думать и формулировать, а они почему-то замолкли. В ту пору мне приглянулись две книги с папиной полки, которых в школьной программе не было: "Так говорил Заратустра" Ницше и "Жизнь пчел" Метерлинка. Они меня сильно увлекли и возбудили немало мыслей. Я искал, с кем бы обо всем поговорить. Этим человеком стала учительница, знавшая обе эти книги. Хотя Ницше, согласно официальному мировоззрению, считался буржуазно-декадентским философом, хотя его поносили как предтечу фашизма, а труды его, соответственно, распространялись в Советском Союзе только "из-под полы", я мог совершенно открыто делиться своими мыслями и задавать вопросы по поводу его идей. К этому присоединялись другие темы и размышления, и все вместе открыло передо мной учебу как нечто, имеющее непосредственное отношение именно ко мне.

Преподавательница эта, увы, была лишь эпизодом. Ее деятельность оказалась не слишком созвучной взглядам дирекции, и вскоре она исчезла. На уроках литературы снова воцарилась скука и немота.

Молчание вообще было неотъемлемой частью нашей жизни. Хотя никто нам об этом прямо не говорил, я, как и все дети моего времени, прекрасно понимал, о чем можно толковать в семье или с друзьями, что следует оставлять в себе, а о чем ни в коем случае нельзя заводить разговор в школе. О национальных проблемах не говорили, по поводу высказываний политических вождей предпочитали молчать, и по поводу неудовлетворительных экономических условий — ничего, кроме шепотком рассказываемых анекдотов. Было известно, что каждое слово могли использовать против тебя. Тот, кто искал успеха или покоя, предпочитал оставлять свои мысли при себе.

Большинство преподавателей строго придерживалось школьной программы и раздраженно реагировало на любые от ее отклонения. Все они были мне чужды. Носители определенных функций, никак уже не проявлявшие себя как личности, у которых есть собственное прошлое, настоящее и будущее. <...> В глазах, которые всегда избегали смотреть на нас открыто, в пустой оболочке слов наших преподавателей мы "унюхивали" тайну могущественной доктрины, которая по множеству вопросов, связанных с литературой, историей, общественными науками и музыкой, допускала лишь одно толкование.

Когда на уроках истории нам говорили о войнах, восстаниях и революциях, о том, кто кого подавил и убил, кто кого сбросил в море или отправил в изгнание, существовала лишь одна истина: большевики всегда правы. Белые, империалисты (они же — американцы) всегда ассоциировались только с угнетением и насилием. Коммунисты же, сражавшиеся исключительно за правое дело, как правило, были мишенями для сил зла. Они, в свою очередь, уничтожали людей, оправдываясь тем, что это — "исторический процесс" и что "обойтись без жертв он не может". Вся наша учеба строилась на этой "красно-белой" схеме, которая назойливо и неутомимо выдавалась в качестве кредо всеми средствами массовой информации. <...>

Нам, нашему подсознанию внушали: "ваше дело не думать, а повторять". Мы догадывались, что плывем по поверхности, ничего при этом не ведая об основах. Поверхность казалась бескрайней, всем оставалось только мириться, радуясь случайным

лазейкам и трещинам в ней. Так мы и жили. Под школьными партами велась бойкая торговля пиратскими записями официально высмеянной, а подчас и запрещенной рок- и поп-музыки. Для звукозаписи использовалась засвеченная, списанная рентгеновская пленка. И случалось, что со снимка перелома ноги нас убажала песня Beatles "Yesterday" [Кремер 1995, 39, 86—87, 89—93].

Одиночество

Мать моя очень скоро уехала домой и я остался один в среде, крайне чуждой и тягостной для меня. Сверстники мои были в большинстве дерзкие сорванцы. Грубые и нередко жестокие шутки их возмущали меня до глубины души. На меня они сразу набросились. Внешний вид мой, праздничный костюм с короткими штанами, соломенная шляпа с ленточками (в первые дни до получения казенного форменного платья), моя застенчивость и деликатность подстрекали шалунов к нападению на меня. Шляпу мою они называли "брилем" и меня стали звать "брилютером". Мое мягкое произношение некоторых звуков (например, что — чьто) они стали передразнивать.

Умный и бойкий, но дерзкий мальчик Иодко подходил ко мне и спрашивал: "Умеешь играть на скрипке?" — "Нет". — "Я тебя научу. Согни палец". Я сгибаю палец, он схватывает его и сильно прижимает верхний сустав к нижнему, боль получается невыносимая, стон вырывается из моей груди. "Вот видишь, ты и заиграл на скрипке", — смеется мой мучитель, а я понять не могу, как можно решиться причинять такие мучения своему ближнему, и товарищи мои начинают казаться мне существами с другой планеты.

"Знаешь ты, где живет доктор Ай?" — спрашивает меня другой сорванец. "Нет". Он схватывает у меня клочок волос на затылке и дергает снизу вверх изо всей силы. "Ай!" — кричу я. "Ну, вот теперь ты узнал, где живет доктор Ай". Мой сосед по спальне, умный, живой Ромуальд Пржевальский, раздеваясь, ударил меня по лицу грязными потными носками, что было непереносимо отвратительно. Иногда я начинал плакать, но слезы вызывали такой град насмешек — "баба", "плакса", что я скоро отучился плакать, как и все почти мальчики.

В первые же дни товарищи стали мне объяснять сущность половых отношений. Я усомнился в правильности их сведений. Когда кто-то из них заявил мне, что и я таким же способом появился на свет, я возмутился и вызвал оскорбителя на дуэль, что еще более насмешило мальчуганов. С видом глубокого убеждения я стал уверять их, что дети "не всегда зарождаются таким способом", как они говорят: иногда это происходит от поцелуев. Кажется, моя уверенность подействовала на некоторых более скромных мальчиков.

...Мать моя каким-то образом была издавна знакома с Мариеной Васильевною [Шабер]. Отдавая меня в гимназию, она пошла к ней вместе со мною. М.В. Шабер, Бадендик [учитель] любили детей; они предложили мне приходить к ним из конвикта в отпуск по субботам и воскресеньям. Общение с этими добрыми, культурными людьми было для меня отдыхом от конвикта. Когда я уходил от них в воскресенье вечером, они мне давали кучу сластей на целую неделю.

Вообще я делился этими подарками со своими товарищами, но однажды, получив между прочим засахаренные яблоки, я засунул их под подушку и ел понемногу один. Товарищи это подсмотрели и утащили мое сокровище. Придя вечером в спальню и не найдя пакета с яблоками, я был так возмущен, что решил в первый и, конечно, в последний раз в жизни пожаловаться надзирателю: в добольшевистской России жалоба начальству, донос, "ябедничество", как известно, считалось делом презренным: чувство товарищеской солидарности было очень развито.

Надзиратель пришел со мною вместе в спальню. Мои соседи по кровати, конечно, стали заявлять, что они знать ничего не знают, ведать не ведают. "Может быть, он сам куда-нибудь засунул свои яблоки, да и забыл", — сказал Иодко. Они подняли мою подушку, потом тюфяк, — под ним оказался пакет с яблоками. Надзиратель повернулся и ушел, а я,

подавленный смущением, униженный насмешками товарищей, готов был провалиться сквозь землю.

К сожалению, отношения мои к товарищам в конвикте испортились. У нас был обычай в случае ссоры заявлять: "Я с тобою не разговариваю". После этого все сношения между поссорившимися прекращались, они переставали замечать друг друга, и такой разрыв мог продолжаться несколько дней, недель и более.

Не знаю почему, вследствие ли различия интересов, характера и т.п., у меня такие ссоры стали учащаться и кончилось дело тем, что у меня прекратились отношения со всеми мальчиками в нашей "занятой" комнате. Среди своих товарищей я жил в полном одиночестве, которое тяжело угнетало меня своею крайней ненормальностью. Живые предприимчивые мальчуганы, конечно, не оставляли меня в полном покое. Некоторые из них изощрялись в причинении мне мелких неприятностей; например, зная, что я брезглив, какой-либо мальчишка обмазывал край моего стола своими соплями. Молча выносил я все такие обиды, никому не жалуясь, даже матери своей я не рассказывал о том, что происходило со мною в конвикте. <...>

Тягостное одиночество мое длилось два года, во втором и третьем классе. Удивляюсь тому, как я вынес это без тяжелого душевного расстройства. Наконец, старшие воспитанники обратили внимание на это ненормальное положение и стали убеждать моих товарищей прекратить ссору. Кажется, особенно повлиял на моих товарищей ученик шестого класса Шультецкий, который славился у нас как выдающийся шахматист. Примирение состоялось, и с тех пор отношения мои с товарищами были вполне хорошие [Лосский 1991, 149—152].

Уничтожение воли

Осенью 1853 года я поступил учиться в Первую московскую гимназию, а для домашних уроков отец пригласил студента Московского университета... Гимназия помещалась тогда на Пречистенке, почти рядом с нашим домом. Меня приняли в третий класс, мне было всего 11 лет, а уже приходилось проходить целый ряд предметов, большей частью выше детского понимания. Преподавались же все предметы самым бессмысленным образом. Геометрии нас учил некто Невенгловский, шутливо-грубо обращающийся с учениками. Большинство из нас ничего не понимало в тех премудростях, которые он вычерчивал на доске, и мы заучивали на память по книжке мудреные теоремы Эвклида. Мне Невенгловский ставил "пять", но я решительно не знаю за что. Я ровно ничему не выучился в гимназии из геометрии, и, когда четыре года спустя я снова стал учиться геометрии в Пажеском корпусе, все — с самых первых определений — было для меня совершенно ново. Я знал хорошо только четыре правила арифметики.

Всего лучше обстояло дело с русским языком. Писал я совершенно правильно под диктовку, и "сочинения" на заданные темы вполне удовлетворяли учителя Магницкого, который был грозой всего класса, но мне он всегда ставил "пятерки" вплоть до экзамена, когда я жестоко срезался на каких-то деепричастиях и мне поставили "двойку".

По истории дела у меня шли из рук вон плохо. История преподавалась у нас таким образом: в класс приносилась доска, разграфленная на квадратики, каждые сто квадратиков изображали столетие, а каждый квадратик — год. Как только доску устанавливали, начиналась пытка. Во всех квадратиках были изображены значки: кружочки, палочки, кресты. Учитель брал трость и тыкал ею то в палочку, обозначающую вступление на престол какого-нибудь царя, то в кружочек, обозначающий какую-либо войну, и грозно спрашивал: "Григорьев, что это обозначает: Николаев, а это что" и т.д.

Начиналось всеобщее нервничанье. Отвечать надо было сразу, и хотя кружок или палочка уже по самому своему положению обозначали год и то, что в этом году произошла война, но второпях каждый из нас отвечал невпопад, на столетие раньше или позже. Мы перевирали войны и "вступления на престол", и "единицы" и "двойки" так и сыпались в классный журнал. По истории у меня неизменно красовалась "двойка" вплоть до экзамена. На экзамене

мне досталось царствование Александра Первого и война 1812 года, и мой связный и одушевленный рассказ о наполеоновских войнах, о которых я так много слышал от Пулэна, так понравился экзаменаторам, что мне единодушно поставили "пять", да еще с плюсом, уничтожая таким образом все следы моих неизменных "двоек".

Горе у меня было также с географией. Я любил географию и учился с удовольствием. Я с моим другом Николаевым составил даже географию нашей гимназии. Написали целый курс с картами и планами. Помню, наш третий класс мы описывали так: "С юга он омывается морем — "Пречистенкой", на востоке граничит с государством второклассников, а с запада прилегает к обширному государству четвероклассников, говорящих на чужестранном языке, именуемом латынью".

Описывалась и "поверхность" нашего класса с "горою" — кафедрой, "вулканами", классной доской, перечислялись и "долины" между партами и характеризовались их "обитатели" — смиренные и степенные на первой скамье и все более и более буйные по мере удаления от главного "залива", в который приплывают чужестранцы, сиречь учителя, несущие страх и смятение в нашу страну. Тут же мы рассказывали историю нашей страны и описывали, как один из чужестранцев был сброшен вместе со своим тронном с горы-кафедры злокозненным обществом горных стрелков, которые ухитрились прорыть "канал" между кафедрой и стеной, то есть попросту отодвинули кафедру несколько от стены, поставили трон чужестранца на самый край "обрыва", вследствие чего иностранец, не заметивший козней своих врагов, усевшись, по обычаю, на трон, полетел на землю и стукнулся головой о стену. "Казенной" географии я тоже хорошо учился и вычерчивал очень тщательно карты. Но все-таки я был на дурном счету у "чужестранца", учившего нас географии, и за что — за излишнее усердие.

Учитель географии задавал нам чертить карты разных государств, но он заставлял нас просто копировать карты с географического атласа. Меня это не удовлетворило, и поэтому я вместе с [домашним учителем] Н.П. Смирновым чертил карты на географической сетке и раскрашивал их. Когда я принес изящно раскрашенную карту Англии и преподнес ее учителю, он ужасно рассердился и, к великому моему огорчению, поставил мне "двойку".

Научился я в гимназии очень немногому, но зима, проведенная в школе среди других мальчиков, бывших большей частью старше меня, — все это дало толчок моему развитию.
<...>

Заветное желание моего отца наконец осуществилось. Открылась вакансия в Пажеском корпусе, которую я мог занять, прежде чем достиг предельного возраста, старше которого уже не принимают. Мачеха меня отвезла в Петербург, я поступил в корпус. <...> Директором корпуса был превосходный старик генерал Жел-тухин, но он только номинально был главою корпуса. Действительным начальником училища был... полковник Жирардот. <...>

Игра, шутки и беседы прекращались, едва только мы завидим, как он, медленно покачиваясь взад и вперед, подвигается по нашим громадным залам об руку с одним из своих любимцев. Одному он улыбнется, остро посмотрит в глаза другому, скользнет безразличным взглядом по третьему и слегка искривит губы, проходя мимо четвертого. И по этим взглядам все знали, что Жирардот любит первого, равнодушен ко второму, намеренно не замечает третьего и ненавидит четвертого. Ненависть эта была достаточной, чтобы нагнать ужас на большинство его жертв, тем более что никто не знал ее причины. Впечатлительных мальчиков приводило в отчаяние как это немое, неукоснительно проявляемое отвращение, так и эти подозрительные взгляды. В других враждебное отношение Жирардота вызывало полное уничтожение воли, как показал это в автобиографическом романе "Болезни воли" Федор Толстой, тоже воспитанник Жирардота.

Внутренняя жизнь корпуса под управлением Жирардота была жалка. Во всех закрытых учебных заведениях новичков преследуют. Они проходят своего рода искус. "Старики" желают узнать, какая цена новичку. Не станет ли он фискалом? Есть ли в нем выдержка? Затем "старички" желают показать новичкам во всем блеске могущество существующего товарищества. Так дело обстоит в школах и в тюрьмах. Но под управлением Жирардота

преследования принимали более острый характер, и производились они не товарищами-одноклассниками, а воспитанниками старшего класса — камер-пажами, то есть унтер-офицерами, которых Жирардот поставил в совершенно исключительное, привилегированное положение. Система полковника заключалась в том, что он предоставлял старшим воспитанникам полную свободу, он притворялся, что не знает даже о тех ужасах, которые они проделывают; зато через посредство камер-пажей он поддерживал строгую дисциплину. Во время Николая ответить на удар камер-пажа, если бы факт дошел до сведения начальства, значило бы угодить в кантонисты. Если же мальчик каким-нибудь образом не подчинился капризу камер-пажа, то это вело к тому, что 20 воспитанников старшего класса, вооружившись тяжелыми дубовыми линейками, жестоко избивали — с молчаливого разрешения Жирардота — ослушника, проявившего дух непокорства.

В силу этого камер-пажи делали все, что хотели. Всего лишь за год до моего поступления в корпус любимая игра их заключалась в том, что они собирали ночью новичков в одну комнату и гоняли их в ночных сорочках по кругу, как лошадей в цирке. Одни камер-пажи стояли в кругу, другие — вне его и гуттаперчивыми хлыстами беспощадно стегали мальчиков. "Цирк" обыкновенно заканчивался отвратительной оргией на восточный лад. Нравственные понятия, господствовавшие в то время, и разговоры, которые велись в корпусах по поводу "цирка", таковы, что, чем меньше о них говорить, тем лучше.

Полковник знал про все это. Он организовал замечательную сеть шпионства, и ничто не могло укрыться от него. Но система у Жирардота была — закрывать глаза на все проделки старшего класса.

В корпусе повеяло, однако, новой жизнью, и всего за несколько месяцев до моего поступления произошла революция. В том году третий класс подобрался особенный. Многие серьезно учились и читали, так что некоторые из них стали впоследствии известными людьми. Мое знакомство с одним из них — назову его фон Шауф — произошло, я помню, когда он был занят чтением "Критики чистого разума" Канта. Притом в третьем же классе находились и самые большие силачи корпуса, как, например, замечательный силач Коштов, большой друг фон Шауфа. Третий класс не так послушно, как его предшественники, подчинялся игу камер-пажей. Последствием одного происшествия была большая драка между первым и третьим классами. Камер-пажи были жестоко побиты. Жирардот замолчал происшествие; но авторитет первого класса был подорван. Хлысты остались, но их больше никогда не пускали в ход. Что же касается "цирка" и других игрищ, то они перешли в область преданий.

Таким образом, многое было выиграно; но самый младший класс, состоявший из очень молодых мальчиков, только что поступивших в корпус, должен был еще подчиниться мелким капризам камер-пажей. У нас был прекрасный старый сад, но пятиклассники мало им пользовались. Как только спускались в сад, они должны были вертеть карусель, в которую садились камер-пажи, или же им приказывали подавать старшим шары при игре в кегли [Кропоткин 1988, 83—85, 103, 105—107].

Кошмар воспоминаний

Трудно составить себе понятие о том режиме, который старшие ученики установили относительно младших, отданных на их полный произвол и благоусмотрение. Когда много лет спустя мне попадались в печати описания жизни кадетских корпусов старониколаевской эпохи, то, сравнивая их с тем, чему свидетелем пришлось быть мне, я нахожу, что все такие воспоминания бледнеют перед тайнами Бурундукского училища.

Достаточно сказать, что старшие ученики не только беспощадно секли, били младших, но прямо-таки истязали их. Приведу для примера такие факты. В то время вошли в моду стальные перья. Старые заржавленные стальные перья давались для употребления ученикам. Старшие воспитанники придумали для младших такую пытку: они втыкали им под ногти эти перья. В классах имелись для употребления учеников металлические чернильницы. Старшие

воспитанники мочились в них, кипятили мочу на огне и затем принуждали детей пить такую мерзость. В училище был уродливый воспитанник чувашонок. Старшие сажали его себе на плечо, вооружали палкой и, гоняясь за младшими, заставляли его бить их палкой по чему попало. Остальные пытки все были в том же духе.

При училище имелся сторож. Для того чтобы он не мог доложить священнику Баратынскому о происходящих в школе безобразиях, сторож этот на время пыток, сечения, избиений посылался куда-либо в село. Дети так боялись взрослых товарищей, что, когда Баратынский собирался ехать в город или по сборам по приходу, в училище царили ужас, паника, горе, поднимался плач, конечно, втихомолку, чтобы об этом не узнало начальство, тогда старшие стали бы еще больше мстить младшим. Обыкновенно пытки и прочее производились по понедельникам, после того как малолетние ученики возвращались в училище, побывав дома в воскресенье. Детям приказывалось приносить сласти, подарки. Те, кто не мог удовлетворить желаний старших воспитанников, в наказание и пример подвергались пыткам. Может быть, сторож и догадывался о том, что происходило в его отсутствие, но делал вид, что ему ничего неизвестно, боясь потерять место. Наружно же в училище, благодаря принимавшимся старшими воспитанниками мерам, все казалось в порядке. Жаловаться Баратынскому никто не смел и думать, так как с таким жалобщиком расправились бы потом еще более жестоко, беспощадно.

Тяжелые воспоминания, навсегда во мне сохранившиеся, о времени пребывания моего в Бурундукском училище и о том положении, в каком находились там малолетние воспитанники, отданные на полный произвол безнравственных, некультурных старших, в связи с последующим опытом моей педагогической деятельности убедили меня в том, что горе тому учебному заведению, где дети отданы во власть детей же, а не взрослых.

На третьем или на четвертом году моего обучения в училище я сам был назначен старшим, как лучший по успехам (я окончил училище первым), притом отличавшийся хорошим поведением. С моим назначением старшим прекратились в училище вышеуказанные печальные явления.

Как я относился к жестокостям, совершавшимся Семеном Рубцовым и другими, более взрослыми воспитанниками? С испугом и нравственным страданием. Общее мое впечатление о времени, проведенном в Бурундукском училище, то, что это заведение имело глубоко развращающее влияние на детей и подростков. <...>

Быт землемерного училища не отличался чистотою нравов. Более взрослыми воспитанниками и здесь, как в Бурундукском училище, устраивались младшим по возрасту товарищам тоже своего рода истязания, пытки, но не столько со злом, корыстным умыслом, как в виде глупых, грубых шуток. Так, например, по ночам, когда все засыпали, практиковалось приложить к пяткам намеченной жертвы насаленную бумагу и поджечь ее, что вызывало нестерпимую боль, всунуть в нос спящему бумагу, свернутую в "цигарки" с порохом или нюхательным табаком, чтобы, поджегши такой снаряд, вызвать удушье, чиханье и испуг. С наступлением сумерек ученики безобразничали, испражнялись тут же в спальнях и т.д. Это делали, конечно, не все [Яковлев 1983, 45—48, 54].

Из обороны в наступление

Поступления новичков в третью и четвертую палату (Stube) я не видал, находясь в самом верхнем этаже корпуса в первой; а в эту, за исключением меня, новичков не поступало, и я могу только рассказать о том, что было со мною. Между благодушными и юмористическими товарищами некоторые, обладающие по возрасту значительной силой и ловкостью, были, к несчастью, склонны практиковать свою силу над новичком. В нашем классе некто Фурхт без основания внушал страх, как гласила его фамилия. Не было возможности спастись от его кулака, которым он по заказу бил куда хотел, заставляя видимым пинком в грудь, живот или нос невольно защищать угрожаемое место; но тут-то его кулак, как молния, бил в указанный бок. Хотя и с меньшей ловкостью, но не меньшим задором и силой отличались Менгден и

Кален. Последний не выжидал случаев или предлогов к нападению, а не только в рекреацию, но и в часы приготовления уроков вполголоса говорил: "Я иду, защищайся". И затем жестокие удары сыпались куда попало. Жаловаться дежурному в палате учителю нечего было и думать, так как этим приобреталось бы только позорное прозвание "Clatsche" — доносчика и удвоение ударов. Но ежедневные умножающиеся синяки вынудили меня на отчаянное средство. Я пошел в кабинет директора и, не жалуясь ни на кого, сказал: "Господин Крюммер, пожалуйста мне отдельную комнатку, так как я не в силах более выносить побоев".

— Ну, хорошо, — отвечал Крюммер, — ступай в свой класс, там видно будет.

Не знаю, принял ли директор какие-либо меры, но на другой же день просьба моя: "Господин Крюммер, пожалуйста мне отдельную комнату", — насмешливо повторялась большинством класса, и удары продолжали сыпаться с прежним обилием.

К этому присоединялись насмешки: "Хорош! Нечего сказать, в своем длиннополом сюртуке, и отец-то выпихнул его за дверь!" Действительно, во всей школе среди разнообразных и небогатых, но зато короткополых сюртуков и казакинов, я один представлял синюю сахарную голову. Чтобы раз навсегда окончить с поводом постоянных насмешек, я разложил свой синий сюртук на стол, обозначил мелом на целых две четверти кратчайший против подола круг и с некоторым упоением обрезал по намеченной черте губительные полы. Я должен прибавить, что из обрезков портной состроил мне модную, кверху в виде гречневика сужающуюся шляпу.

Так как ни один учитель или ученик не избегал прозвища, то, вероятно, в намек на мое происхождение из глубины России я получил прозвание "медведь-плясун", что при случае употреблялось в смысле упрека, а иногда и ласкательно. Выпрашивая что-либо, просящий гладил меня по плечу и приговаривал: "Tanzbaer, Tanzbaer". Про самого Крюммера злоязычники говорили, что он был "Прусский барабанщик", и между собою никто не говорил "Крюммер", а все: "Trommelschleger" [барабанщик — нем.].

Однажды перед приходом учителя в наш третий класс, помещавшийся во второй палате, широкоплечий Менгден без всякой с моей стороны причины стал тузить меня. Но, должно быть, задевши чересчур больно, он привел меня в ярость и заставил из оборонительного положения перейти в наступательное. Не думая о получаемых ударах, я стал гвоздить своего противника кулаками без разбора сверху вниз; тогда и он, забыв о нападении, только широко раздвинув пальцы обеих рук, держал их как щиты перед своею головой, а я продолжал изо всех сил бить, попадая кулаками между пальцами противника, при общих одобрительных криках товарищей: "Валяй, Шеншин, валяй!" Отступающий противник мой уперся наконец спиною в классный умывальник и, схватив на нем медный подсвечник, стал острием его бить меня по голове. В один миг бросившиеся товарищи оттащили нас друг от друга, так как я уже ничего не видал из-под потока крови, полившейся по лицу из просеченной до кости головы. Рубец этого шрама, заросшего под волосами, я сохранил на всю жизнь, но зато эта битва положила конец всем дальнейшим на меня нападениям [Фет 1983, 108—110].

Другие меня мало занимали

Меня определили в 6-й класс, где у меня было много учителей. В первый же день я представился каждому из них под разными фамилиями. Разумеется, это очень быстро обнаружилось, меня наказали, но в глазах товарищей я стал героем. Среда Жансона, где учились дети богачей, как она оказалась вредна для меня с моей склонностью к мифомании и лжи!

Брат оставался в сен-жерменском коллеже. Следовательно, проверить мои рассказы было невозможно, и я превратил своих родителей в очень богатых и знатных людей. Наврал, что у нас четыре замка, десять автомобилей, множество слуг. Мать приезжала за мной каждый четверг. Однажды она позвонила предупредить, что не приедет: ее такси попало в аварию. Директор, сообщив это при всем классе, произнес слово "машина". Это сразу подтвердило

все мои рассказы, все мои "испано", "делажи", "вуазены"...

Я выдумал также, что моя мать актриса. Меня спрашивали: "Где она играет?" Я отвечал: «В "Комеди Франсез"». Я не знал ни одного актера этого театра и думал, что мои товарищи — тоже.

Учителя и воспитатели меня очень любили и готовы были сделать своим фаворитом. Став "любимчиком учителей", я пал бы в глазах товарищей. Нужно было безобразничать без удержу, чтобы избежать расположения учителей.

Однажды, доверившись учителю французского, я признался, что хочу стать киноактером. На другой день при всем классе он обратился ко мне: "Господин Марэ, пока вы не стали звездой..." Я встал и молча вышел. После этого я ни разу не был у него на уроке.

Во время этих уроков я играл в прятки с надзирателем, который был обязан следить за тем, чтобы в коридоре не было ни одного ученика. Я даже изобрел такую игру: члены моей банды безобразничали в классе, и их поочередно выставляли за дверь. Чтобы привлечь внимание надзирателя, мы издали окликали его и мгновенно разбежались по лестницам, дортуарам, туалетам, где пробовали сигареты всех сортов. Опасался я лишь того, что меня в наказание не отпустят домой и я не увижу маму. <...>

Воровал так, что дирекция лицея вынуждена была заменить обычные замки на специальные, с секретом. Ленивый, тщеславный, высокомерный, раздражительный, претенциозный. Злой с учителями и с жалкими, порой не заслуживавшими этого надзирателями. Например, я на бегу подставлял самому себе подножку и падал под ноги надзирателю, сбивая его с ног. А он, несчастный, поднимаясь весь в пыли и думая, что это произошло случайно, спрашивал, не ушибся ли я. Мои товарищи надрывались от смеха, а он, ничего не понимая, ворчал на них. Его звали Будуль, он был добрый мальчик.

В другой раз, когда мы парами поднимались по лестнице, только для того, чтобы вызвать беспорядок, рассмешить товарищей и испугать учителя, я упал навзничь, притворившись, что мне стало дурно. Это был мой первый трюк: комедиант появлялся на свет. Я считал, что товарищи восхищаются мною. Так ли это было? Не думаю. Однако во время перемен два лагеря сражались во дворе за то, чтобы иметь меня своим главарем. В лагере победителей был студент из Афганистана, сын министра, Аболь. Он был старше нас. Этот молодой человек искал моей дружбы. Когда у консьержа, обычно снабжавшего нас сладостями, не было ничего, что могло бы доставить мне удовольствие, Аболь привозил мне подарки из Парижа, где у него была комната. Однажды в воскресенье он пригласил меня к себе. Здесь он повел себя иначе, чем в коллеже. Стал таким ласковым, таким нежным, что я сбежал. Но на другой день встретился с ним как ни в чем не бывало. Его дружба мне льстила. Я любил нравиться. Что это, достоинство или недостаток — хотеть нравиться?

Эти страницы могут вызвать неодобрение, но они продиктованы потребностью в честности. В юности я придавал значение справедливости только по отношению к самому себе. Другие меня мало занимали. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что сам был воплощенной несправедливостью.

По четвергам пансионеры коллежа шли на прогулку. В сопровождении учителя гимнастики они отправлялись в лагерь, расположенный в сен-жерменском лесу, где начинались игры, которые я не любил.

Всплыв на поверхность, "монстр" [Марэ так именуется темные черты своего детского характера. — Ред.] решил разыграть фарс. Я договорился с товарищами (импровизация исключалась). В четверг, порывшись в мамином гардеробе, я утащил оттуда платье, шелковые чулки, прелестные туфли, шляпку, сумочку, немного косметики. В лесу я переоделся и вернулся к коллежу, чтобы дождаться товарищей, затем пошел за ними до лагеря, а там, как было условлено, они "встретили" меня. Один из них представил меня учителю как свою сестру. Весь день учитель ухаживал за мной. Я чувствовал себя замечательным актером, не думая о последствиях, к которым может привести моя выходка.

На другой день в столовой ко мне подошел старший надзиратель: "Марэ, мне сказали, что вчера вы пришли в лагерь, переодевшись женщиной?" — "Да, господин старший

надзиратель, а что?" — "Это неприлично". — "В четверг я могу делать все, что мне угодно. Это вас не касается". — "Вас исключат". — "В таком случае, меня исключат несправедливо".

"Монстр" ликовал. Все мои добрые намерения улетучились. Дело было в июне. Стояла такая жара, что асфальт во дворе расплавился. Я взял большой комок смолы и залепил замки от всех классов. Два часа. Перемена кончилась. Никто не может войти в классы. Все ученики столпились у дверей. В придачу я отыскал большой камень и разбил девятнадцать окон. Я был уверен, что меня исключат. Не стал ждать и ушел сам.

Выйдя из коллежа, я сообразил, что попал в скверное положение. Что скажет мать? Только бы она ничего не узнала!

На следующий день я ушел из дома в обычное время. Дождался у калитки почтальона. "Есть для нас письма?" — спросил я с равнодушным видом. От отдал их мне. На одном из них штамп коллежа. Я сунул остальную почту в ящик и вскрыл конверт. Директор коллежа выражал сожаление, что вынужден исключить меня. Я разорвал письмо.

Целый месяц я провел в трамваях, поездах, на вокзале, на улицах, в сен-жерменском лесу. Случалось, что я часами ездил взад-вперед поездом Сен-Жермен — Париж, Париж — Сен-Жермен.

На каникулы мама увезла меня в Туке. Я дал себе слово признаться ей во всем. Наступил вечер, а я все молчал. С каждым днем приближалось начало учебного года. Меня одолевали мучения.<...>

Вскоре мама пошла в коллеж, чтобы заплатить за учебный год. "Но, мадам, вашего сына давно уже исключили".

В наказание меня отдали на один год в школу Сен-Никола. Эта церковная школа славилась своей строгостью [Марэ 1994, 27—37, 48—49].

Полный ступор

В один прекрасный день мама взяла меня за руку и отвела в городскую гимназию. Едва увидев здание, я подумал:

"Наверняка у меня здесь заболит живот, а учитель не разрешит выйти".

Хотя, что и говорить, кокарда — штука соблазнительная.

Ее прикрепят на фуражку и, возможно, надо будет отдавать честь прохожим офицерам?

Мы ведь все равны: чиновники, военные, полицейские, гимназисты?

Но евреев в эту гимназию не принимали. Моя отважная мама тут же отправилась к учителю.

Он — наш спаситель, единственный, с кем можно договориться. Пятьдесят рублей — не так уж много. Я поступаю сразу в третий, в его класс.

Надев форменную фуражку, я стал смелее поглядывать в открытые окна женской гимназии.

Форма была черной.

Мое естество громко возмущалось. И наверняка я еще больше поглупел.

Учителя носили синие сюртуки с золотыми пуговицами.

Я взирал на них с благоговением. Какие они ученые!

Откуда они взялись и чего хотят от меня?

Я смотрел в глаза Николаю Ефимовичу, изучал его спину и светлую бороду.

И не мог забыть, что он принял взятку.

Другое дело — Николай Антонович, вот уж кто, без сомнения, был самым настоящим ученым. Весь урок он мерял класс размашистыми шагами. Правда, он читал реакционные газеты, но все равно он мне больше нравился. <...>

Не знаю почему, я начал в это время заикаться. Может, из чувства внутреннего протеста.

Я отлично знал уроки, но не мог заставить себя отвечать. Такая забавная, но и весьма неприятная штука.

И дело не в отметках — плевал я на нули!

Ужас сковывал меня при взгляде на множество голов над партами.
Содрагаясь болезненной дрожью, я успевал, пока шел к доске, почернеть как сажа или покраснеть как рак.
И все. Иногда я вдобавок еще и улыбался.
Полный ступор.
И сколько бы мне ни подсказывали с первых парт — безнадежно.
Я действительно знал урок. Но заикался.
Мне казалось, я лежу без сил, а надо мной стоит и лает рыжая из страшной сказки собака.
Рот у меня забит землей, землей облеплены зубы.
Зачем мне все эти уроки?
Сто, двести, триста страниц учебников, изорвать бы их в клочья да развеять по ветру.
Пусть шелестят словами русского и всех заморских языков.
Отстаньте от меня!
"Ну что, Шагал, — говорил учитель, — ты будешь сегодня отвечать?"
Я открываю рот: та... та... та...
Мне казалось, что меня сейчас сбросят с четвертого этажа.
Втиснутая в гимназическую форму, душа дрожала как лист на ветру.
Но в конце концов меня просто отправляли на место.
Рука учителя выводила в журнале аккуратную двойку.
Это я еще успевал заметить.
В окно были видны деревья, женская гимназия.
"Николай Антонович, можно выйти?"
Я думал только об одном: "Когда же я закончу гимназию, сколько еще учиться, и нельзя ли уйти раньше срока?"
Если опроса не было, в классе стоял сплошной гул, и тут я вовсе терялся.
Меня шпыняли со всех сторон, а я не знал, куда деваться. Шарил по карманам, искал хлебные крошки. Ерзал, раскачивался, вставал и садился.
По улице проходит прекрасная незнакомка, я высовываюсь в окно, чтобы послать ей воздушный поцелуй.
И тут ко мне подкрадывается надзиратель. Хватает за руку, поднимает ее вверх.
Попался! Я краснею, багровею, бледнею.
"Напомнишь мне, негодник, чтобы завтра я поставил тебе двойку по поведению".
Как раз в это время я особенно пристрастился к рисованию. Едва ли понимая, что рисую.
Листочки с рисунками летали над партами, долетая иногда до учительского стола. <...>
Больше всего я любил геометрию.
Здесь мне не было равных. Прямые углы, треугольники, квадраты — чудный, запредельный мир. Ну, а на рисовании мне не хватало только трона.
Я был в центре внимания, мной восхищались, меня ставили в пример [Шагал 1994, 50—53].

Отсутствие присутствия

Когда мне исполнилось семь лет, отец решил отвести меня в школу. Я сопротивлялся изо всех сил — ему пришлось тащить меня волоком до самой школы, я же вырывался, вопил и закатывал такую истерику, что на всем пути следования нас сопровождали толпы любопытных. К тому времени родители обучили меня читать и писать свое имя. По окончании первого класса они с изумлением обнаружили, что я совершенно разучился тому и другому.

Никакой моей вины в том не было. Этим поразительным итогом я целиком и полностью обязан учителю, который являлся в школу исключительно за тем, чтобы спать.

Что же подвигло родителей отдать меня в школу, где учительствовал несравненный сеньор Трайтер? А вот что. Для моего отца, вольнодумца, выбор школы был вопросом

принципа. Он не желал отдавать меня ни в одну из монастырских школ, где обучались обычно дети нашего круга (напомню, что отец мой, местный нотариус, принадлежал к самым уважаемым людям Фигераса). Итак, он твердо решил отдать меня в муниципальную школу — поступок несуразнейший, лишь отчасти объяснимый слухами о педагогических талантах сеньора Трайтера, о которых ни сам отец, ни его друзья не имели ни малейшего понятия.

Целый год я проучился вместе с детьми из самых бедных семей, что возымело огромное значение и, полагаю, способствовало росту изначально присущей мне мании величия. Да иначе и быть не могло — ведь ежедневно я, сын богатых родителей, получал все новые доказательства своей исключительности, своего отличия от всех прочих. Только я один мог вынуть из суконного чехла с собственными инициалами восхитительный термос с горячим шоколадом и молоком. Только мне на всякую царапину накладывали чистейшую повязку, только у меня одного была матроска с вышитым золотой нитью якорем на рукаве и шапочка с помпоном, расшитая звездами. Только меня одного ежеутренне тщательно причесывали и умащивали туалетной водой — не зря же весь класс становился в очередь понюхать мои лелеемые кудри и испытать легкое головокружение. Наконец, только мои ботинки сияли как зеркало и вдобавок были украшены серебряными пуговками. И всякий раз, когда пуговка отрывалась, схватить ее тянулось множество рук, и случалось, дело доходило до драки, ведь большинство моих соучеников даже зимой ходило босиком или в дырявых башмаках, или в ошметках альпаргат. В довершение всего я — единственный — никогда ни с кем не играл и не разговаривал. Одноклассники явственно ощущали гнет моей уникальности и, робея, приближались разве что затем, чтобы получше разглядеть кружевную оторочку платка, высунутого из кармашка, или мою бамбуковую трость, увенчанную серебряным набалдашником в виде собачьей морды. <...>

В классе я по-прежнему отсутствовал, и это отсутствие, мое неотъемлемое свойство, стало удручать наставников.

Как-то раз за завтраком отец вслух прочел адресованное ему письмо из колледжа, извещавшее родителей о моем беспримерном прилежании и отменном поведении. В письме говорилось, что на переменах я сторонюсь товарищей и не принимаю участия в шумных играх, а стою себе в углу, разглядывая картинку с конфетной обертки (я до сих пор помню тот фантик с мученической кончиной Маккавеев). Подводя итог, наставники сообщали, что умственная лень укоренилась во мне так сильно, что надеяться хоть на какие-то успехи в учении просто невозможно. Тот день моя мать провела в слезах. Надо сказать, что я действительно был обречен остаться на второй год, ибо не выучил и десятой доли того, что в азарте соперничества освоили мои одноклассники, приступом взявшие очередные ступени лестницы, ведущей вверх. Отчуждение становилось моим знаменем, моей навязчивой идеей. Во славу ее мне даже случалось притворяться, что я не умею того, чему волей-неволей выучился. Так, я нарочно писал как курица лапой, хотя мне ничего не стоило представить образцы каллиграфии. [Дали 1992, 178, 179, 182].

Поражение

Школа стала утомлять меня. Она занимала слишком много времени, а я предпочел бы потратить его на рисование битв или игры с огнем. Уроки закона Божьего были скучны несказанно, а уроков математики я просто боялся. Учитель делал вид, что алгебра — вполне обычная вещь и ее нужно принимать как нечто само собой разумеющееся, тогда как я не понимал даже, что такое числа. Они не были камнями, цветами или животными, они не были ничем, что можно вообразить, они были просто количества — они получались при счете. Мое замешательство усиливалось оттого, что эти количества не были обозначены буквами, как звуки, которые, по крайней мере, можно было слышать. Но, как ни странно, мои одноклассники оказались в состоянии справиться с этими вещами и даже находили их очевидными. Никто не мог объяснить мне, что такое число, и я даже не мог сформулировать

вопрос. С ужасом обнаружил я, что никто не понимает моего затруднения. Нужно признать, что учитель вдавался в большие подробности, чтобы объяснить мне цель этой любопытной операции перевода количеств в звуки. Наконец, до меня дошло, что целью была своего рода система сокращений, с помощью которой многие количества могут быть сведены к короткой формуле. Но это не интересовало меня ни в коей мере. Я считал, что весь процесс был совершенно произвольным. Почему числа должны быть выражены звуками? С тем же успехом можно было выразить буквы через обиходные вещи, которые на эти буквы начинаются. А, Б, с, х, у не были конкретны и говорили мне о сущности чисел не более, чем их предметные символы. Но вещь, которая больше всего выводила меня из себя, было равенство: если $a = b$ и $b = c$, то $a = c$, если по определению a было чем-то отличным от b , оно не могло быть приравнено к b , не говоря уже о c . Когда вопрос касался эквивалентности, говорилось, что $a = a$ и $b = b$, и т.д. Это я мог понять, тогда как $a = b$ казалось мне сплошной ложью и надувательством. Точно так же я терял спокойствие, когда учитель, вопреки собственному определению, утверждал, что параллельные прямые встречаются в бесконечности.

Уроки математики стали для меня постоянным кошмаром. Другие предметы давались мне легко, а поскольку, благодаря хорошей зрительной памяти, я сумел в течение долгого времени не вполне честным образом успевать на уроках математики, у меня, как правило, были хорошие оценки. Но мой страх неудач и мое чувство собственной малозначительности перед лицом огромного мира породили во мне не только неприязнь, но и молчаливое отчаяние, с которым я теперь ходил в школу. Вдобавок я был освобожден от уроков рисования по причине полной неспособности. В этом был свой "+" — у меня оставалось больше свободного времени, но, с другой стороны, это было новым поражением, потому что на самом деле я не был лишен некоторых способностей к рисованию, но я не знал, что это существенно зависит от того, что я рисую. Я мог рисовать лишь то, что занимало мое воображение, а меня принуждали копировать головы греческих богов с незрячими глазами, и, когда это не получалось должным образом, учитель, очевидно, думал, что мне требуется что-то более реалистическое, и ставил передо мной картину с изображением козлиной головы. Эту задачу я провалил окончательно, что положило конец моим урокам рисования.

К двум моим провалам — математике и рисованию — добавился третий: с самого начала я ненавидел физкультуру. Я не выносил, когда меня учили, как я должен двигаться. Я ходил в школу, чтобы научиться чему-то новому, но не для того, чтобы отрабатывать бесполезные и бессмысленные акробатические упражнения. Более того, после несчастных происшествий моего раннего детства у меня осталась некоторая физическая робость, которую я так и не смог преодолеть. Робость эта происходила от недоверчивости к миру и собственным возможностям. Мир, определенно, казался мне прекрасным, но, вместе с тем, непостижимым и угрожающим. А я всегда с самого начала хотел знать, кому и чему я доверялся. Возможно, это было как-то связано с моей матерью, которая однажды покинула меня на несколько месяцев? Тогда, — и я опишу это позже, — у меня начались невротические обмороки и доктор к моему большому удовольствию запретил мне заниматься гимнастикой. Я избавился от этого бремени, но вынужден был проглотить еще одно поражение.

Освободившееся таким образом время тратилось не только на игру, я получил возможность предаваться своей новой страсти: читать любой попадавшийся мне на глаза кусок печатного текста.

У меня появились друзья, в большинстве — робкие ребята из простонародья. В школе я делал успехи. Потом я преуспел настолько, что даже стал лучшим учеником. Но я заметил, что те, кто учился хуже, мне завидовали и пытались при любой возможности сравняться со мною. Это портило мне настроение. Я ненавидел всякого рода состязания, я не играл в игры, где требовалось непременно победить, я предпочитал оставаться вторым. Школьные занятия были и без того достаточно утомительны. Очень немногие учителя, которых я вспоминаю с благодарностью, находили во мне особые способности. Прежде всего это был учитель латинского языка. Он был университетским профессором и очень мудрым человеком. Случилось так, что я учил латынь с шести лет, — отец занимался со мною. И вместо уроков этот

учитель зачастую отправлял меня в университетскую библиотеку за учебниками, и я выбирал самый длинный путь, оттягивая, насколько возможно, свое возвращение.

Но в большинстве своем учителя считали меня глупым и коварным. Когда в школе что-нибудь случалось, подозревали, как правило, меня. Если где-то начиналась заваруха, меня считали подстрекателем. В действительности, я лишь раз принимал участие в драке, обнаружив при этом, что немало одноклассников относятся ко мне враждебно. Они напали на меня сзади, их было семеро. Тогда, в мои пятнадцать лет, я был крупным и сильным подростком, и у меня случались приступы внезапной ярости. Разозлившись, я схватил обеими руками одного из них и, размахивая им вокруг себя, сбил его ногами несколько других. Учителя узнали обо всем, но я лишь смутно припоминаю какое-то наказание, казавшееся мне несправедливым. С того времени меня оставили в покое. Никто больше не смел напасть на меня.

То, что у меня были враги, и то, что я был несправедливо обвинен, стало для меня неожиданностью, но вполне понятной. Выговоры раздражали меня, но не казались мне несправедливыми. Я так мало знал о себе, и это немногое было столь противоречиво, что я мог бы, наверное, признать за собой любую вину. И действительно, я всегда чувствовал себя виноватым, сознавая все свои явные и скрытые недостатки. В силу этого, я был особенно чувствителен к порицаниям: все они более или менее попадали в цель. И хотя на самом деле я не совершал того, в чем меня обвиняли, я знал, что мог это сделать. Я даже записывал свое алиби на случай, если буду в чем-нибудь заподозрен. Мне было гораздо легче, когда я действительно совершал что-нибудь дурное. Тогда я, по крайней мере, знал, отчего я чувствую себя виноватым.

Естественно, я компенсировал свою внутреннюю неуверенность видимостью внешней уверенности или — лучше сказать — недостаток компенсировал себя сам, без моей воли. Я чувствовал себя виновным и невиновным одновременно. В глубине души я всегда знал, что во мне два человека. Один был сыном моих родителей, он ходил в школу и был глупее, ленивее, неряшливее многих. Другой, напротив, был взрослый — даже старый — скептический, недоверчивый, он удалился от людей. Он был близок природе, земле, солнцу, луне, ему ведомы были все живые существа, но более всего — ночная жизнь и сны, все, в чем находил он "живого Бога". ...

Тогда же случилась история, вконец меня раздавившая. Мы, наконец, получили тему для сочинения, которая показалась мне интересной. Я писал добросовестно и с увлечением, и, как мне казалось, мог рассчитывать на успех. Я надеялся получить один из высших баллов, не самый высший, конечно, это бы меня выделило, но что-то вроде этого.

У нашего учителя была привычка, обсуждая сочинения, начинать с лучших. Сначала он прочел сочинение первого ученика. Это было в порядке вещей. Затем последовали другие, а я все ждал и ждал, когда же назовут мое имя. Меня не называли. "Этого просто не может быть, — думал я, — неужели мое сочинение так плохо, ведь он уже говорит об откровенно слабых работах. Что же случилось?" Или я снова оказался "hors concours" [вне конкурса (*фр.*)] и таким образом обнаружил свою проклятую "особенность".

Наконец, когда все сочинения были прочитаны, учитель сделал паузу, после которой произнес: "У меня есть еще одно сочинение — Юнга. Оно намного превосходит другие, и я бы должен был отдать ему первое место. Но, к сожалению, это обман. Откуда ты списал его? Скажи правду!"

Я вскочил, в страхе и бешенстве, с криком: "Я не списал ничего! Я же потратил столько сил, я старался написать хорошее сочинение". Но учитель произнес: "Ты лжешь. Ты такое сочинение написать не мог. Это маловероятно. Итак — откуда ты его списал?"

Напрасно я клялся в моей невиновности. Учитель остался при своем. "Я тебе вот что скажу, — отвечал он, — если я узнаю, откуда ты его списал, тебя исключат из школы". И он отвернулся. Мои одноклассники бросали на меня странные взгляды, и я с ужасом понял, что они думают: "А, вот оно что". И я снова оказался перед глухой стеной.

Я чувствовал, что теперь на мне клеймо, мне никуда не спрятаться от моей проклятой

"особенности". Я был унижен и опозорен, и я поклялся отомстить учителю, и, если бы мне подвернулась такая возможность, я бы рассчитался с ним по закону джунглей. Но как мог я доказать всему свету, что не списывал сочинение?

Целыми днями я размышлял над этой историей и снова, и снова понимал, что я был бессилён, что волею слепой и глупой судьбы я стал лжецом и обманщиком. Теперь я понял многое, чего не понимал раньше, например, почему один из учителей сказал моему отцу, когда тот пришел спросить о моих занятиях: "О, он, конечно, средний ученик, но работает с похвальным прилежанием". Меня считали довольно глупым и поверхностным. Сказать по правде, меня это не раздражало. Меня убивало то, что они считали меня способным на обман.

Я уже не мог более сдерживать своей горечи и бешенства. И тут случилось нечто, что я уже замечал в себе прежде: наступила внезапная тьма в моем сознании, будто глухая дверь закрылась за мною, отгородив меня от всех. И я спросил себя с холодным любопытством: "И что же собственно произошло? Ну да, ты возмущен. Учитель, конечно, идиот, он ничего не понимает, он не понимает тебя, но ведь и ты понимаешь не больше. Он сомневается в тебе точно так же, как ты сам. Ты не веришь в себя и в других, и ты тянешься к тем, кто прост, наивен и виден насквозь. Естественно возмущение человека, который чего-то не понимает." <...>

Мои занятия философией продолжались с семнадцати лет вплоть до того времени, когда я всерьез стал изучать медицину. Они совершенно изменили мои взгляды на жизнь и мое отношение к миру. Прежде я был пуглив, робок и недоверчив, у меня был болезненный вид, я был худ и бледен. Теперь я знал, чего хотел, и стремился к этому. Я стал прост и общителен. Я понял, что бедность не порок, и далеко не главная причина страданий, что дети богатых на самом деле не имеют никаких преимуществ, и что существуют куда более серьезные причины для счастья и несчастья, нежели сумма выдаваемых карманных денег. Теперь у меня было больше друзей и это были хорошие друзья. Я чувствовал твердую почву под ногами и даже нашел смелость открыто говорить о своих идеях. Но это все-таки было недоразумением, и очень скоро мне пришлось пожалеть об этом. Я встретил не только отчуждение и насмешки, но и откровенное неприятие. Я с изумлением обнаружил, что некоторые люди считают меня хвастуном и позером. Давнишнее обвинение в нечестности всплыло снова, хоть и в более мягкой форме. И снова речь шла о сочинении, тема которого показалась мне интересной. Я писал очень старательно, на этот раз я особенно изощрялся в стиле. Результат был поразителен. "Вот работа Юнга, — сказал учитель, — в ней видна одаренность, но она сделана поспешно и так небрежно, что легко видеть, как мало усилий потрачено на нее. Вот что я тебе скажу, Юнг, ты ничего не добьешься в жизни с таким поверхностным отношением к делу. Жизнь требует серьезности и прилежания, работы и усилий. Посмотри на работу Д. Ему не достает твоего блеска, но он честен, прилежен и трудолюбив. А именно это и нужно для успеха в жизни".

На этот раз я был не столь задет, — все же учитель — *contre soi* [против желания (фр.)] — отдал мне должное, — по крайней мере, он не обвинил меня в краже. Я пытался протестовать, но он отделался замечанием: "Аристотель утверждает, что лучшая поэма — та, в которой не видны усилия, потраченные на ее создание. Но к твоему сочинению это не относится, ты можешь говорить все, что угодно, но оно написано поспешно и без каких-либо усилий". В моей работе, — я знал это, — было несколько хороших мыслей, но учитель предпочел их не заметить.

Едва ли я чувствовал горечь, но что-то изменилось в отношении ко мне моих школьных товарищей — я вновь оказался в изоляции и ощутил свою прежнюю угнетенность. Я ломал голову, пытаюсь понять, в чем причина их косых взглядов, наконец, задав несколько осторожных вопросов, я выяснил, что все дело в моих амбициях, зачастую безосновательных. Так, я давал понять, что знаю нечто о Канте и Шопенгауэре или, например, о палеонтологии, которых у нас в школе еще "не проходили". Теперь я понял, что собственно причина их недовольства кроется не в повседневности, но в моем тайном

"Божьем мире", о котором лучше было не говорить.

С тех пор я старался не посвящать одноклассников в свою "эзотерику", а среди знакомых взрослых я не знал никого, с кем бы я мог поговорить, не рискуя, что меня сочтут хвастуном и обманщиком. Самым болезненным оказался провал моих попыток преодолеть внутренний разрыв, мою пресловутую "раздвоенность". Снова и снова происходили события, уводившие меня от обыденного, повседневного существования в безграничный "Божий мир".

Выражение "Божий мир" может показаться сентиментальным, но для меня оно имеет совсем другой смысл. "Божий мир" — это все "сверхчеловеческое": слепящий свет, тьма пропасти, холодное бесчувствие вечности и таинственная причудливость иррационального мира случайности. "Бог" для меня был чем угодно, только не "поучением" [Юнг 1994, 39—41, 46, 53—55, 61].

Автодидакт

Я не любил корпуса, не любил военщины, все мне было не мило. Когда я поступил во второй класс кадетского корпуса и попал во время перемены между уроками в толпу товарищей кадетов, я почувствовал себя совершенно несчастным и потерянным. Я никогда не любил общества мальчиков-сверстников и избегал возвращаться в их общество. Лучшие отношения у меня были только с девочками и барышнями. Общество мальчиков мне всегда казалось очень грубым, разговоры низменными и глупыми. Я и сейчас думаю, что нет ничего отвратительнее разговоров мальчиков в их среде. Это источник порчи. Кадеты же мне показались особенно грубыми, неразвитыми, пошлыми. К тому же товарищи иногда насмеялись над моими нервными движениями хореического характера, присущими мне с детства. У меня совсем не выработалось товарищеских чувств, и это имело последствие для всей моей жизни. <...>

...Но в коллективной атмосфере военного учебного заведения я был резким индивидуалистом, очень отъединенным от других. На меня смотрели как на аристократическое дитя, пажа, будущего гвардейца. Преобладали же армейцы. Но мое расхождение с кадетами и со всей кадетской атмосферой имело более глубокие причины.

Учился я всегда посредственно и всегда чувствовал себя мало способным учеником. Одно время у меня был домашний репетитор. Однажды он пришел к отцу и сказал, что ему трудно заниматься с таким неспособным учеником. В это время я уже много читал и рано задумывался над смыслом жизни. Но я никогда не мог решить ни одной математической задачи, не мог выучить четырех строк стихотворения, не мог написать страницы диктовки, не сделав ряд ошибок. Если бы я не знал с детства французский и немецкий языки, то, вероятно, с большим трудом овладел бы ими. <...>

Мои способности обнаруживались лишь тогда, когда умственный процесс шел от меня, когда я был в активном и творческом состоянии, и я не мог обнаружить способностей, когда нужно было пассивное усвоение и запоминание, когда процесс шел извне ко мне. Я, в сущности, никогда не мог ничего пассивно усвоить, просто заучить и запомнить, не мог поставить себя в положение человека, которому задана задача. Поэтому экзамен был для меня невыносимой вещью. Я не могу пассивно отвечать. Мне сейчас же хочется развить собственные мысли. По Закону Божьему я однажды получил на экзамене единицу при двенадцатибалльной системе. Это был случай небывалый в истории кадетского корпуса. Но я читаю активно, а не пассивно, я непрерывно творчески реагирую на книгу и помню хорошо не столько содержание книги, сколько мысли, которые мне пришли в голову по поводу книги. Для меня это очень характерно. Вместе с тем я никогда не мог признать никакого учителя и руководителя занятий. В этом отношении я автодидакт. Во мне не было ничего педагогического. Я понимал жизнь не как воспитание, а как борьбу за свободу. Я сам составлял себе план занятий. Никогда никто не натолкнул меня на занятия философией, это родилось изнутри. Я никогда не мог принадлежать ни к какой школе. Я всю жизнь учился, учусь и сейчас. Но это есть свободное приобщение к мировому знанию, к которому я сам оп-

ределяю свое отношение [Бердяев 1990, 20—22].

Заключение

Мы подошли к концу книги, но отнюдь не закрыли ее тему. Особенность жанра этого издания такова, что оно может быть продолжено каждым, серьезно интересующимся проблемами педагогической антропологии. Посмотрите, как много интересных тем, связанных с природой детства, осталось нами не затронуто, как много воспоминаний не прочитано!

Обращаясь к автобиографической литературе, Вы еще не раз встретитесь с текстами, которые высветят новые грани проблем, затронутых в этой книге, и дадут импульс к постановке новых. А Ваш собственный личный опыт, Ваша память — она тоже не менее ценный материал для анализа. Да собственно, каждый знакомый Вам человек, если Вы сумеете его хорошо расспросить, расскажет Вам о себе и своем детстве сюжеты, отнюдь не менее интересные, чем те, о которых написано в книгах.

Конечно, воспоминания любого рода имеют хоть и обширные, но все же ограниченные пределы в освещении проблем детства. На многие затронутые ими вопросы помогают ответить психология, педология, педагогика. Эти дисциплины обычно апеллируют не столько к памяти, как сделали это мы с Вами, сколько к экспериментам с реальными детьми. Привлечение исследований из этих научных областей к автобиографиям даст новые повороты и решения в заинтересовавшей Вас теме. Дорога в мир детства, по которой мы путешествуем в карете памяти, никогда не кончается. Но путешествие это осуществляется нами не только ради своего удовольствия, но ради тех детей, которых мы беремся учить и воспитывать. Обращение к сокровищам памяти детства есть один из тех путей, идя по которому можно достичь педагогической мудрости.

АВТОБИОГРАФИИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ДАННОЙ КНИГЕ

Агранович-Шульман 1981 — Агранович-Шульман К.А. Необыкновенная жизнь одной женщины (Мемуары). Нью-Йорк, 1981.

Клара Ароновна Агранович-Шульман (р. 1895—?), актриса. Воспоминания написаны в 85-летнем возрасте в 1980 г.

Адамович 1993 — Адамович А. Vixi // Дружба народов. 1993. № 10.

Алесь Адамович (1927—1994), писатель.

Айбек 1959 — Айбек. Автобиография // Советские писатели: Автобиографии. М., 1959. Т. 1.

Муса Ташмухаммедов (Айбек) (1904—1968) поэт.

Бахметьев 1959 — Бахметьев В.М. От зари до зари // Советские писатели: Автобиографии. М., 1959. Т. 1.

Владимир Матвеевич Бахметьев (1885—1963), писатель.

Берберова 1996 — Берберова Н.Н. Курсив мой: Автобиография. М., 1996.

Нина Николаевна Берберова (1901—1993), писательница. Воспоминания написаны в 1960—1966 гг.

Бердяев 1990 — Бердяев Н.А. Самопознание. М., 1990.

Николай Александрович Бердяев (1874—1948), философ. Воспоминания впервые изданы в 1949 г.

Буков 1959 — Буков Е.Н. Автобиография // Советские писатели. Автобиографии. М., 1959. Т. 1.

Емилиан Несторович Буков (1909—1984), писатель. Автобиография написана специально к изданию 1959 г.

Бухарин 1927 — Бухарин Н.И. Автобиография // Деятели СССР и Октябрьской революции. М., 1927.

Николай Иванович Бухарин (1888—1938), революционер и государственный деятель.

Вертинский 1991 — Вертинский А.Н. Дорогой длиною... /Сост. и вступ.ст. Ю.Томашевского. М., 1991.

Александр Николаевич Вертинский (1889—1957), поэт, композитор, артист. Воспоминания о детских годах написаны в промежутке между 1943 и 1957 годами.

Водовозова 1987 — Водовозова Е.Н. На заре жизни. М., 1987. Т. 1.

Елизавета Николаевна Водовозова (урожд. Цевловская, 1844—1923), писательница, педагог. Воспоминания публиковались выборочно в 1887, 1908 гг., полностью — в 1911 г.

Вьюкова 1989 — Вьюкова Т.Б. Здесь жизнь моя... Записки актрисы народного театра. М., 1989.

Татьяна Борисовна Вьюкова (р. 1921), редактор, журналист. Воспоминания написаны в 1983—1989 гг.

Выгодская 1967 — Выгодская Н.Л. Друзья моего детства (биографическая повесть). Рукопись. 1967.

Наталья Лазаревна Выгодская (1898—1967), актриса.

Вышеславцев 1994 — Вышеславцев Б.П. Тайна детства // Просветитель. Вестник духовного просвещения. 1994. № 1.

Борис Петрович Вышеславцев (1877—1954), философ. Работа впервые опубликована в 1955 г.

Вяземский 1982 — Вяземский П.А. Из "Автобиографического введения" // Вяземский П.А. Соч.: В 2 т. М., 1982. Т. 2. Литературно-критические статьи.

Петр Андреевич Вяземский (1792—1878), писатель и журналист. Воспоминания написаны в издании 1878 года.

Герцен 1970 — Герцен А.И. Былое и думы. М., 1970.

Александр Иванович Герцен (1812—1870), философ и общественный деятель — 56,59—60,101,239.

Гессен 1995 — Гессен СИ. Мое жизнеописание // Гессен СИ. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. М., 1995.

Сергей Иосифович Гессен (1870—1950), педагог. Воспоминания закончены в 1947 г.

Гёте 1935 — Гёте ИВ. Из моей жизни. Поэзия и правда / Пер. Н.А. Холодков-ского, предисл., примеч. и ред. В.М. Жирмунского // Гёте. Собр. соч.: В 13 т. Юб. изд. / Под общ. ред. А.В. Луначарского и М.Н. Розанова. М., 1935. Т. 9, 10.

Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832), писатель, естествоиспытатель. Первый замысел автобиографии относится к 1806—1808 гг. План автобиографии в первый раз упоминается в 1809 г. Автору в это время было 60 лет.

Глинка 1988 — Глинка МИ. Записки. М., 1988.

Михаил Иванович Глинка (1804—1857), композитор. "Записки" писались в 1854—1855 гг.

Григорьев 1980 — Григорьев Ап. Мои литературные и нравственные скитальчества // Григорьев Ап. Воспоминания. Л., 1980.

Аполлон Александрович Григорьев (1822—1864), поэт и прозаик, педагог и переводчик. Воспоминания написаны и напечатаны впервые в 1862—1864 гг.

Гурченко 1982 — Гурченко Л.М. Мое взрослое детство. М., 1982.

Людмила Марковна Гурченко (р.1935), актриса.

Давыдов 1931 — Давыдов В.Н. Рассказ о прошлом / Запись, введение и примеч. А.М. Брянского. М.; Л., 1931.

Владимир Николаевич Давыдов (Горелов) (1849—1925), актер. Работа над воспоминаниями велась с 1915 г., когда автор начал их надиктовывать А.М. Брянскому.

Дали 1991 — Дали С. Тайная жизнь Сальвадора Дали, написанная им самим //

Иностранная литература. 1991. № 12 (продолжение — 1992. № 5—9).

Сальвадор Дали (1904—1989), художник.

Деникин 1990 — Деникин А.И. Путь русского офицера. М., 1990. Антон Иванович Деникин (1872—1947), генерал. Работа над книгой шла с начала 1940-х гг. Осталась незаконченной — 102, 104—106, 274, 275.

Дербышев 1927 — Дербышев НИ. Автобиография // Деятели СССР и Октябрьской революции. М., 1927.

Николай Иванович Дербышев (1879—1955), деятель коммунистической партии и советского государства.

Добужинский 1987 — Добужинский М.В. Воспоминания. М., 1987.

Мстислав Валерианович Добужинский (1875—1957), художник.

Донская 1996 — Донская И. Воспоминания. Рукопись. 1996.

Ирэна Донская (р. 1946), предприниматель. Воспоминания записаны в 1990-е годы.

Достоевская 1981 (1987) — Достоевская А.Г. Воспоминания. М., 1981.

Анна Григорьевна Достоевская (1846—1918), жена и соратник писателя Ф.М. Достоевского. Воспоминания написаны в 1911—1916 гг.

Дункан 1992 — Дункан А. Моя жизнь. Моя Россия. Мой Есенин: Воспоминания. М., 1992.

Айседора Дункан (1878—1927), балерина. Воспоминания заканчиваются 1921-м годом. Первое издание — 1927 г.

Зеньковский 1995 — Зеньковский ВВ. Психология детства. Екатеринбург 1995.

Василий Васильевич Зеньковский (1881—1962), психолог и педагог, богослов и философ. Работа впервые опубликована в 1924 г.

Ильинский 1961 — Ильинский И.В. Сам о себе. М., 1961.

Игорь Владимирович Ильинский (1901—1987), актер. Прижизненное издание.

Иров 1996 — Иров В.Г. Воспоминания. Рукопись. 1996.

Владимир Георгиевич Иров (р.1959), инженер.

Ковалевская 1989 — Ковалевская СВ. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1989.

Софья Васильевна Ковалевская (1850—1891), математик, писательница. Первое издание — 1890 г.

Коллингвуд 1980 — Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография / Пер. с англ. Ю.А. Асеева. М., 1980.

Робин Джордж Коллингвуд (1889—1943), историк. Первое издание — 1939 г.

Кон 1927 — Кон Ф.Я. Автобиография // Деятели СССР и Октябрьской революции. М., 1927.

Феликс Яковлевич Кон (1864—1941), революционер.

Конашевич 1968 — Конашевич В.М. О себе и своем деле. Воспоминания, статьи, письма, с приложением воспоминаний о художнике / Сост., подготовка текста и примеч. Ю. Молока. М., 1968.

Владимир Михайлович Конашевич (1888—1963), художник детской книги, первый вариант воспоминаний подготовил к печати в 1935 г. Считая его утерянным, он во время войны, в оккупированном Ленинграде, сел за воспоминания во второй раз, и тогда же, в 1942 г., выполнил для них иллюстрации. Опубликованы воспоминания впервые в 1965 г.

Коржавин 1992 — Коржавин Н.В. В соблазнах кровавой эпохи // Новый мир. 1992. № 7.

Наум Коржавин (р. 1925), поэт. Воспоминания о детстве до 1937 г. написаны в 1980 г., остальное — в 1991 г.

Кремер 1995 — Кремер Г. Осколки детства. М., 1995.

Гидон Кремер (р. 1947), скрипач. Воспоминания написаны в 1992—1993 гг.

Кропоткин 1988 — Кропоткин ПА. Записки революционера. М., 1988.

Петр Алексеевич Кропоткин (1842—1921), ученый и офицер, революционер и чиновник. Воспоминания написаны во второй половине 1890-х гг. на англ. яз. Первое русское издание 1902 г.

Крупская 1957 — Крупская Н.К. Что я помню из прочитанных в детстве книг // Крупская Н.К. Пед. соч.: В 10 т. М., 1957. Т. 1.

Надежда Константиновна Крупская (1869—1939), революционер, деятель народного образования Советской России. Работа написана в 1928 г.

Крылов 1949 — Крылов А. Н. Воспоминания и очерки. М., 1949.

Алексей Николаевич Крылов (1863—1945), академик, специалист в области кораблестроения. Воспоминания начал писать в возрасте 75 лет. В 1938—1945 гг. автор подготовил три издания своих "Воспоминаний".

Кузьминская 1986 — Кузьминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. Воспоминания. М., 1986.

Татьяна Андреевна Кузьминская (урожд. Берс, 1846—1925), свояченица Л.Н. Толстого. Воспоминания писались с 1907 по 1916 г., затем — с 1920 по 1924 г. .

Либединская 1966 — Либединская Л. Зеленая лампа. Воспоминания. М 1966.

Лидия Борисовна Либединская (р. 1921), писатель и литературовед.

Лосский 1991 — Лосский НО. Воспоминания. Жизнь и философский путь // Вопросы философии. 1991. № 10.

Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965), философ. Воспоминания написаны в 1933—1938 гг.

Макаров 1996 — Макаров М. Из жизни православной Москвы XX века. Воспоминания православного христианина. Калуга, 1996.

Михаил Макаров (р.1906), пенсионер.

Мамин-Сибиряк 1955 — Мамин-Сибиряк Д.Н. Собр. соч.: В 8 т. М 1955 Т. 8.

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк (1852—1912), писатель. Использованы автобиографические заметки и рассказы 1894—1900 гг. ("История одного пильщика", "Книжка с картинками", "Книжка" и др.)

Мандельштам 1990 — Мандельштам О.Э. Шум времени // Мандельштам О.Э. "И ты, Москва, сестра моя..." М., 1990.

Осип Эмильевич Мандельштам (1891 —1938), поэт. Автобиографическая проза под общим заглавием "Шум времени" писалась в 1923—1924 гг.

Мариенгоф 1990 — Мариенгоф А.Б. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова: Сборник / Сост., вступ. ст., комм. СВ. Шумихина КС. Юрьева. М., 1990.

Анатолий Борисович Мариенгоф (1897—1962), писатель. Воспоминания писались со второй половины 1953 по 1960 г. Первая редакция 1953—1956 гг., опубликована в издании 1988 г. под названием "Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги.

Мартынов 1961 — Мартынов Л.Н. Мой путь // Советские писатели: Автобиографии. М., 1961. Т. 3.

Леонид Николаевич Мартынов (1905—1980), поэт.

Маршак 1961 — Маршак С.Я. В начале жизни. Страницы воспоминаний М., 1961.

Самуил Яковлевич Маршак (1887—1964), писатель и переводчик. Автобиографическая повесть написана в 1960 г.

Марэ 1994 — Марэ Ж. О моей жизни / Пер. с фр. Н. Тодрия. М., 1994.

Жан Марэ (р.1913—1998), актер. Воспоминания опубликованы в 1975 г.

Меир 1994 — Меир Г. Моя жизнь // Иностранная литература. 1994. № 2.

Голда Меир (1898—1978), общественный и государственный деятель.

Милюков 1990 — Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1990. Т. 1: 1859—1917.

Павел Николаевич Милюков (1859—1943), политик, публицист, историк. Воспоминания писались в 1941—1943 гг. и остались незаконченными.

Набоков 1967 — Набоков Д. Детские годы в Супруновке. Из семейной хроники // Новый мир. 1967. № 11.

Дмитрий Петрович Набоков (р. 1889), инженер-электрик. Первоначальный текст — для журнала.

Набоков 1988 — Набоков В. Другие берега // Дружба народов. 1988. № 5.
Владимир Владимирович Набоков (1899—1977), писатель. Английский вариант — 1951 г., русский — 1954 г.

Нащокин 1974 — Воспоминания Павла Воиновича Нащокина, написанные в форме письма к А.С. Пушкину (Публикация Н.Я. Эйдельмана) // Прометей: Историо-биографический альманах. М. 1974. Т. 10.

Павел Воинович Нащокин (1801—1854), отставной поручик и друг А.С. Пушкина. Писались в 1830 и 1836 гг.

Неруда 1988 — Неруда П. Признаюсь: я жил. Воспоминания. М., 1988.

Пабло Неруда (Нефтали Рикардо Рейес Басуальто, 1904—1973), поэт и общественный деятель.

Оболенская 1988 — Оболенская С.В. Воспоминания об отце // Вопросы истории естествознания и техники. 1988. № 4. С. 31—40.

Светлана Валерьяновна Оболенская (р. 1925), историк, сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Образцов 1950 (1981) — Образцов С.В. Моя профессия. Книга 1. М., 1950.

Сергей Владимирович Образцов (1901—1992), театральный деятель.

Олеша 1965 — Олеша Ю.К. Ни дня без строчки. Из записных книжек. М., 1965.

Юрий Карлович Олеша (1899—1960), писатель. Книга воспоминаний осталась незаконченной.

Орлов-Скоморовский 1921 — Орлов-Скоморовский Ф.М. Голгофа ребенка. М., 1921.

Федор Мартынович Орлов-Скоморовский (р. 1889), врач. Работа над воспоминаниями начата в возрасте 31 года.

Панаев 1988 — Панаев И.И. Литературные воспоминания. М., 1988.

Иван Иванович Панаев (1812—1862), журналист. Книга писалась в 1860—1861 гг.

Пастернак 1983 — Пастернак Б.Л. Воздушные пути. Проза ранних лет. М., 1983.

Борис Леонидович Пастернак (1890—1960), поэт. "Люди и положения" написаны в 1956 г.

Петкер 1968 — Петкер Б.Я. Это мой мир. М., 1968.

Борис Яковлевич Петкер (1902—1983), актер и режиссер.

Печерин 1989 — Печерин В.С. Замогильные записки (Apoloigia pro vita mea) // Русское общество 30-х годов XIX века. Мемуары современников. М., 1989.

Владимир Сергеевич Печерин (1807—1885), мыслитель и религиозный деятель. Воспоминания написаны в 1860—1870-е гг.

Пирогов 1884 — Пирогов Н.И. Вопросы жизни. Дневник старого врача // Русская старина. 1884. Т. 43, сентябрь.

Николай Иванович Пирогов (1843—1891), врач и педагог.

Плевицкая 1993 — Плевицкая Н.В. Дежкин Карагод. Мой путь с песней. Неизвестные литературные произведения русской народной певицы. М., 1993.

Надежда Васильевна Плевицкая (урожд. Винникова, 1884—1940), певица. Первая часть воспоминаний впервые опубликована в 1925 г.

Прокофьев 1961 — Прокофьев С.С. Автобиография // Прокофьев С.С. Материалы, документы, воспоминания. Изд. 2-е, доп. М., 1961.

Сергей Сергеевич Прокофьев (1891—1953), композитор. Воспоминания о детстве написаны в 1937—1939 гг.

Рассел 1987 — Рассел Б. Мои религиозные воспоминания // Рассел Б. Почему я не христианин. М., 1987.

Бертран Рассел (1872—1970), философ, публицист, математик. Статья написана в 1938 г. Пер. с англ. А.А. Яковлева.

Репин 1960 — Репин И.Е. Далекое близкое. Изд. 5-е. М., 1960.

Илья Ефимович Репин (1844—1930), художник. Автор работал над книгой с 1901 по 1916 г.

Романов 1972 — Романов Н.А. История одного искания / Предисловие и публикация СИ.

Смуглого // Прометей: Историко-биографический альманах. М., 1972. Т. 8.

Николай Александрович Романов (1903—1943), математик. Воспоминания остались незаконченными.

Самойлов 1995 — Самойлов Д. Памятные записки. М., 1995.

Давид Самойлов (1920—1990), поэт. Впервые поэт обратился к написанию воспоминаний в 1961 г., с 1969 г. работа над ними шла постоянно до 1990 г. (с перерывом 1974—1976 гг.).

Сац 1984 — Сац Н.И. Новеллы моей жизни. Книга первая. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1984.

Наталья Ильинична Сац (1903—1993), основатель Детского музыкального театра в г. Москве. Первое издание — 1979 г.

Станиславский 1972 — Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. М., 1972.

Константин Сергеевич Станиславский (Алексеев, 1863—1938), режиссер. Написано в 1923—1924 гг.

Сухотина-Толстая 1980 — Сухотина-Толстая Т.Л. Воспоминания. М., 1980.

Татьяна Львовна Сухотина-Толстая (1864—1950), дочь Л.Н. Толстого, педагог. Первая публикация — 1975 г.

Тагор 1965 — Тагор Р. Воспоминания // Тагор Р. Собр. соч. М., 1965. Т. 12.

Рабиндранат Тагор (1861 — 1941), писатель и педагог.

Твен 1980 — Твен М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т.8.

Марк Твен (Самюэль Ленгхорн Клеменс, 1835—1910), писатель. Автобиография писалась и диктовалась в 1880—1890 гг. (детство и юность) и в 1906—1909 гг.

Тенишева 1991 — Тенишева М.К. Впечатления моей жизни. М., 1991.

Мария Клавдиевна Тенишева (1867?—1928), организатор культурного центра в Талашкино. Воспоминания закончены между 1917—1928 гг. Опубликованы после смерти.

Теодорович 1927 — Теодорович И.А. Автобиография // Деятели СССР и Октябрьской революции. 1927.

Иван Адольфович Теодорович (1875—1940), деятель компартии.

Тимофеев-Ресовский 1995 — Тимофеев-Ресовский Н. Воспоминания. М., 1995.

Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский (1900—1981), генетик. Устные рассказы, записанные в 1974—1978 гг.

Толстая 1988 — Толстая А.Л. Младшая дочь // Новый мир. 1988. № 11.

Александра Львовна Толстая (1884—1979), дочь Л.Н. Толстого.

Толстой 1878 — Толстой Л.Н. Первые воспоминания (Из автобиографических заметок) // Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. М., 1878. Т. 1.

Толстой 1906 — Толстой Л.Н. Воспоминания детства. 1903—1906 // Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. М., 1906. Т. 1.

Лев Николаевич Толстой (1828—1910), писатель.

Трубецкой 1989 — Трубецкой С.Е. Минувшее. Париж, 1989.

Сергей Евгеньевич Трубецкой (1890—1949), философ и общественный деятель, переводчик и публицист — 42, 116, 117, 131—132, 277—279, 313, 323—324.

Фет 1983 — Фет А.А. Воспоминания. М., 1983.

Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) (1820—1892), поэт. Приступил к мемуарам в начале 1860-х гг., начав с ближайших 1853—1856 гг. Доведя воспоминания до 1889 г., в 1890 г. выпустил их под названием "Мои воспоминания". Книгу, посвященную первой половине своей жизни, автор готовил в конце жизни, после 1890 г.; она была опубликована под заглавием "Ранние годы моей жизни" уже после смерти Фета (М., 1893).

Фигнер 1964 — Фигнер В.Н. Запечатленный труд. М., 1964. Т. 1—2.

Вера Николаевна Фигнер (1852—1942), профессиональная революционерка. Воспоминания написаны в 10—20-х гг. XX столетия.

Флоренский 1992 — Флоренский П.А. Детям моим. Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из соловецких писем. Завещание / Предисл. и комм. игумена Андроника (Трубачева). М., 1992.

Павел Александрович Флоренский (1882—1937), математик, инженер, искусствовед,

богослов, философ. Произведение "Детям моим. Воспоминанья прошлых дней" писалось в 1916—1925 гг.

Цветаева 1983 — Цветаева А.И. Воспоминания. М., 1983.

Анастасия Ивановна Цветаева (1894—1993), писательница-мемуарист.

Цветаева 1988 — Цветаева М. Автобиографическая проза // Цветаева М. Соч.: В 2 т. Проза. Минск, 1988. Т. 2.

Марина Ивановна Цветаева (1892—1941), поэт. Воспоминания писались в 1933—1935 гг.

Шагал 1994 — Шагал М. Моя жизнь. М., 1994.

Марк Шагал (1887—1985), художник. Книга написана в конце 1920-х гг. и впервые издана в 1931 г.

Шаляпин 1957 — Шаляпин Ф.И. Литературное наследство. Письма Н. Шаляпина. Воспоминания об отце. М., 1957.

Федор Иванович Шаляпин (1873—1938), певец. Автобиографическая повесть "Страницы из моей жизни" написана летом 1916 г. при участии М. Горького.

Шацкий 1958 — Шацкий С.Т. Мой педагогический путь // Черепанов С.А. С.Т. Шацкий в его педагогических высказываниях. М., 1958.

Станислав Теофилович Шацкий (1878—1934), педагог.

Шварц 1982 — Кириленко К.Н. Путешествие в детство сказочника. (Дневники-воспоминания Е.Л. Шварца) // Встречи с прошлым: Сборник материалов Центрального государственного архива литературы и искусства СССР. Вып. 4. М., 1982.

Евгений Львович Шварц (1896—1958), драматург-сказочник. Записи 1950—1951 гг.

Швейцер 1992 — Швейцер А. Из моего детства и юности / Пер. с нем. Е.Е. Нечаевой-Грассе // Швейцер А. Благоговение перед жизнью М., 1992.

Альберт Швейцер (1875—1965), миссионер и мыслитель-гуманист. Первая публикация книги "Из моего детства и юности" — 1924 г.

Шверубович 1990 — Шверубович В.В. О старом Художественном театре / Вступ. ст. В.Я. Виленкина. М., 1990.

Вадим Васильевич Шверубович (р. 1901—1981), театральный деятель и педагог, сын В.И. Качалова— 164, 174—178.

Шефнер 1995 — Шефнер В.С. Лачуга должника. Небесный подкидыш, или Исповедь трусоватого храбреца. Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде. СПб, 1995.

Вадим Сергеевич Шефнер (р. 1914—2002), поэт, писатель.

Щепкина-Куперник 1948 — Щепкина-Куперник Т.Л. Театр в моей жизни. М.; Л., 1948.

Татьяна Львовна Щепкина-Куперник (1874—1952), переводчица, писательница, актриса, завершила свои воспоминания после 1945 г. (до 1948 г.).

Юнг 1995 — Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. М., 1995.

Карл Густав Юнг (1875—1961), психоаналитик, культуролог.

Юрьев 1948 — Юрьев Ю.М. Записки / Ред. и вступ. ст. Евг. Кузнецова. Л.; М., 1948.

Юрий Михайлович Юрьев (1872—1948), актер. Первые страницы начаты в 1927 г. в возрасте 56 лет. В дальнейшем работа над рукописью прервана до 1934 г. Первая часть "Записок", публиковавшаяся в журналах с конца 1935 г., впервые напечатана полностью в 1939 г., вторая — в 1945 г. Редактировались и дополнялись вплоть до смерти в 1948 г.

Яковлев 1983 — Яковлев И.Я. Воспоминания. Изд. 2-е, доп. Чебоксары, 1983.

Иван Яковлевич Яковлев (1848—1930), педагог и просветитель. Работа написана в 1918—1922 гг.

СОВЕТУЕМ ПРОЧИТАТЬ

Азаров Ю.П. Игра и труд. М., 1973. Азбука любви: Книга для родителей. М., 1996.

Аникеева Н.П. Воспитание игрой. М., 1986.

Аркин Е.А. Ребенок и его игрушка в условиях первобытной культуры. М., 1935.

Барталон Ц.П. Воспитательное чтение как основа преподавания русского языка в семье и

- школе. М., 1901. Экспериментальное изучение классного чтения // Труды Второго Всероссийского съезда по педагогической психологии. СПб, 1910.
- Бартрам Н.* От игрушки к детскому театру. Л., 1925.
- Бауэр Т.* Психическое развитие младенца. М., 1979.
- Безруких М.М., Ефимова С.П.* Знаете ли Вы своего ученика? М., 1996.
- Безруких М., Ефимова С., Круглов Б.* Почему учиться трудно? М., 1996.
- Беркинблит М., Петровский А.* Фантазия и реальность. М., 1968.
- Берн Э.* Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы. СПб, 1992.
- Бернс Р.* Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986.
- Бим-Бад Б.М.* Щит и оборона детства. М., 1995.
- Бюлер Ш.* Сказки и фантазия ребенка. М.; Л., 1925.
- Венгер Л.* Психическое развитие в игре и подготовка детей к школе // Дошкольное воспитание. 1983. № 12.
- Венгер Л.А., Венгер А.Л.* Готов ли ваш ребенок к школе? М., 1994.
- Владиславский В.З.* Все начинается с детства. Минск, 1989.
- Вольперт И.Е.* Игровая психотерапия // Руководство по психотерапии / Под ред. В.Е. Рожнова. Ташкент, 1979.
- Выготский Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии. 1966. № 6.
- Гаупп Р.* Психология ребенка. СПб, 1910.
- Гессен С.И.* Основы педагогики. М., 1995.
- Гросс К.* Душевная жизнь ребенка. Киев, 1916.
- Гуткина Н.И.* Психологическая готовность к школе. М., 1993.
- Джеймс У.* Многообразие религиозного опыта. М., 1993.
- Доналдсон М.* Мыслительная деятельность детей. М., 1985.
- Жуковская Р.И.* Игра и ее педагогическое значение. М., 1975.
- Зайцев С.В.* Что мы хотим исследовать в ребенке (или о взрослом "эгоцентризме") // Вопросы психологии. 1991. № 4. С. 19—29.
- Запорожец А.В.* Психология восприятия сказки ребенком // Дошкольное воспитание. 1948. № 9.
- Захаров А.И.* Как преодолеть страхи у детей? М., 1986. Что снится нашим детям? СПб, 1997.
- Зеньковский В.В.* Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. М., 1993. Психология детства. Екатеринбург, 1995.
- Игрушка, ее история и значение: Сб. ст. М., 1912.
- Каптерев П.Ф.* О детских играх и развлечениях // Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1982. О детском страхе // Воспитание и обучение. 1901. № 2—4. О недостатках воли у детей // Воспитание и обучение. 1895. № 11. Подражание детей книжным героям и подвигам // Воспитание и обучение. 1893. № 4—5.
- Категории человеческого существования. Вып. 1. Страх. М., 1989.
- Кершенштейнер Г.* О характере и его воспитании. СПб, 1913.
- Кле М.* Психология подростка. М., 1991.
- Колодца Д.* Детские игры и их психологическое и педагогическое значение. М., 1911.
- Кон И.С.* Дружба. М., 1987. Психология старшеклассника. М., 1982. Психология юношеской дружбы. М., 1973. Проблемы исследования юношеской дружбы // Советская педагогика. 1974. № 10.
- Корнетов Г.Б.* Гуманистическое образование: традиции и перспективы. М., 1993.
- Королева К.П.* Семейное воспитание и школа в России в мемуарной и художественной литературе. М., 1994.
- Корчак Я.* Как любить детей (любое издание).
- Коссаковская Е.А.* Ребенку купили игрушку. М., 1967.

Кошелева О.Е. "История детства" как способ реконструкции и интерпретации истории воспитания и обучения в зарубежной историографии // Всемирный историко-педагогический процесс: концепции, модели, историография. М., 1966.

Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе. М., 1991.

Крюков С. Литературное творчество детей // Вестник воспитания. 1916. № 3.

Кулагина И.Ю. Возрастная психология. М., 1996.

Кумарин В.В. Педагогика стандартности, или Почему детям плохо в школе (педагогическое расследование). М., 1996.

Кэмпбелл Р. Как на самом деле любить детей. М., 1992.

Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры // Избранные психологические произведения. М., 1983. Т. 1.

Лехтман-Абрамович Р.Я., Фрадкина Ф.И. Этапы развития игры и действий с предметами в раннем детстве. М., 1949.

Линькова Н.П. Игры, игрушки и воспитание способностей. М., 1969.

Лисина М.И., Сильвестру А.И. Психология самосознания у дошкольников. Кишинев, 1983.

Лукашевич К. Мое любимое детство. М., 1994.

Марц В.Г. Беседы по методике и теории игры. М., 1925.

Мастрюков А. Пишите книгу своей жизни. М., 1916.

Менджеричкая Д.В. Воспитателю о детской игре. М., 1982.

Менчинская Н.А. Развитие психики ребенка. Дневник матери. М., 1957.

Моррис Г. Христианское образование для реального мира. М., 1993.

Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. М., 1995.

Мурзаев В. Место картинки в детской книге // Вестник воспитания. 1916. № 2.

Мухлынин М.А. Пародирование страшных рассказов в современном русском детском фольклоре // Мир детства и традиционная культура. М., 1995.

Нечаев А.П. Воспитание воли // Русская школа. 1907. № 4.

Озер Ф. Сколько религии нужно человеку? Воспитание и развитие религиозной автономии. М., 1995.

Оршанский Л.Г. Игрушки. М.; Пг., 1923.

Осорина М.В. "Черная простыня летит по городу", или Зачем дети рассказывают страшные истории // Знание—сила. 1986. № 10.

Павлова Н. Образ детства, образ времени. О современной автобиографической прозе. М., 1990.

Палагина Н.Н. Воображение у самого истока: психологические механизмы формирования. Бишкек, 1992.

Педология юности. М.; Л., 1931.

Покровский Е.А. Значение детских игр в отношении воспитания и здоровья. М., 1884.

Поливанова К.Н. Психологический анализ кризисов возрастного развития // Вопросы психологии. 1994. № 1.

Послушник и школяр, наставник и магистр: Средневековая педагогика в лицах и текстах. М., 1996.

Психологические основы формирования личности в условиях общественного воспитания. М., 1979.

Развитие личности ребенка. М., 1987.

Ремимидт Х. Подростковый и юношеский возраст. Проблемы становления личности. М., 1994.

Рибо Т. Творчество и воображение. М., 1910.

Родари Дж. Грамматика фантазии. М., 1978.

Розет И.М. Психология фантазии. Минск, 1977.

Рубинштейн М.М. О религиозном воспитании // Вестник воспитания. 1913. № 2.

- Рудик П.А.* Игры детей и их педагогическое значение. М.; Л., 1948.
- Рукавишников Г.* Воспитание капризных детей // Мир образования. 1996. № 2.
- Рыбников Н.А.* Автобиографии как психологические документы // Психология. 1930. № 3. Вып. 4. С. 440—458. Автобиографии рабочих и их изучение. Материалы к истории автобиографии как психологического документа. М.; Л., 1930. Биографический метод в изучении детского чтения // Детское чтение. Методы изучения / Сб. ст. под ред. Н.А. Рыбникова. М.; Л., 1928. С. 57—58. Биографический метод в изучении детства // Педология. 1928. № 2. Введение в изучение ребенка. Изд. 2-е. Минск, 1921. Религиозная драма ребенка. Психологический этюд. Изд. 3-е. М., 1918.
- Свободное воспитание: Хрестоматия / Сост. и авт. вступ. ст. Г.Б. Корнетов. М., 1995.
- Селли Дж.* Очерки по психологии детства. М., 1909.
- Слободчиков В.И., Исаев Е.И.* Психология человека. М., 1995.
- Снайдер Д.* Курс выживания для подростков. М., 1995. Психология для подростков, или Как найти свое место в жизни. М., 1997.
- Соловьев И.М.* Об изучении литературного творчества детей школьного возраста // Вестник воспитания. 1911. № 7.
- Сомов В.П.* Ранние впечатления — поздние установки // Приоритетные проблемы эстетического воспитания школьников: Сб. науч. тр. под ред. Л.П. Печко. М., 1990.
- Стиваковская А.С.* Игра — это серьезно. М., 1981. Нарушения игровой деятельности. М., 1980.
- Терский В.Н., Кель О.С.* Игра. Творчество. Жизнь. Организация досуга школьников. М., 1966.
- Тихомиров К.В.* Какие случаи чтения подлежат психологическому анализу в интересах дидактических? // Русская школа. 1900. № 12.
- Трошин А.* Психологические основы процесса чтения. СПб, 1900.
- Усова А.П.* Игра и игрушка. Л., 1940. Роль игры в воспитании детей. М., 1976.
- Флейк-Хобсон К., Робинсон Б.Е., Скин П.* Развитие ребенка и его отношение с окружающими. М., 1993.
- Флерина Е.А.* Игра и игрушка. М., 1973.
- Фридман И.К.* Себя как в зеркале я вижу... Взрослые в общении с детьми, дети в общении со взрослыми: взаимоотношения и взаимоотражения. М., 1996.
- Фурманов И.А.* Детская агрессивность: психодиагностика и коррекция. Минск, 1996.
- Хейзинга Й.* Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
- Холл Ст.* Собрание статей по педологии и педагогике. М., 1912.
- Цукерман Г.А.* Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. М., 1994. Школьные трудности благополучных детей. М., 1994.
- Чейпи Дж.* Готовность к школе: как родители могут подготовить детей к успешному обучению в школе. М., 1992.
- Шавир П.А.* Психология профессионального самоопределения в ранней юности. М., 1981.
- Шмаков С.А.* Игра и дети. М., 1968.
- Штерн В.* Психология раннего детства до шестилетнего возраста. Пг, 1915.
- Эйдельс Л.М., Толкачев А.Л.* Зарубежная игрушка. М., 1963.
- Эльконин Д.Б.* Как учить детей читать? М., 1976. Психология игры. М., 1978.
- Энциклопедия семейного воспитания и обучения. СПб, 1898.
- Эриксон Э.* Детство и общество. СПб, 1996.
- Яновская М.Г.* Творческая игра в воспитании младшего школьника. М., 1974.